

10

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

1977

10



1977



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1977 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПУТЕМ ОКТЯБРЯ — Илья Фоянков, Николай Флеров, Ст. Золотцев, Альберт Кравцов, Николай Зиновьев. Стихи	3
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Из новых стихов. Перевела с аварского Юнна Мориц	11
ЮРИЙ РЫТХЭУ — Конец вечной мерзлоты, роман	15

ПУБЛИЦИСТИКА

В. КОСОЛАПОВ — Всему исток... По страницам грехотника «Рассказы о партии»	163
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ИВАН ИВАНОВ — На пути к Октябрю	173
ИВАН ГРОНСКИЙ — 1917 год. Записки солдата	187

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ — Побеждает дружба. Окончание	218
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. ЖЕГАЛОВ — Время зрелости. Идеино-художественный арсенал социалистического реализма и теоретическая мысль	234
И. КРАМОВ — Разговоры с Маршаком. К 90-летию со дня рождения	247

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	254
В. Баранов, В. Терехов. Книга и революция.— Юрий Андреев. Эффект достоверности.— Ираида Воронина. Высокий костер.	
<i>Политика и наука</i>	267
Ю. Шарапов. Октябрь в Москве.— И. Дрейцер. Планета у нас одна.— Иг. Бубнов. Космос, общество, мысль.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	277
КОРОТКО О КНИГАХ: Г. Петрова.—Александр Вермишев. Избранное. ✦ Вл. Борщук. — В. С. Барахов. Искусство литературного портрета. Горький о В. И. Ленине, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове. ✦ А. Окладников.— А. И. Алексеев. Хождение от Байкала до Амурса. ✦ Ю. Амиантов.— Л. Л. Муравьева, И. И. Сиволап-Кафтанова. Ленин в Мюнхене. Памятные места	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

По красному бумажному цветку,
Теснятся дети, женщины, мужчины.
Справляем день Октябрьской годовщины
В который раз — в который? — на веку!

2

Вот я себе еще ребенком вижусь.
Все движутся, и я в колонне движусь,

Каким-то взрослым за руку влеком.
Я ничего еще не понимаю,
Но выше, выше руку поднимаю
С моим дареным красненьким флажком.

Как много солнца! Дали — в звуках трубных.
А сколько букв — красивых, четких, крупных,

На красном белых — видно здесь и там
На фоне голубого небосвода!
«Свобода», «счастье», «труд» и вновь «свобода»
Я в вышине читаю по складам.

Над нами солнце — желтым детским шаром.
Как хорошо! Недаром, ах, недаром
Я нервничал, ворочался во сне:
Ах, не проспать, ах, что-то завтра будет,
Не дай-то бог забудут, не разбудят,
Не дай-то бог оставят в стороне!

3

И век наш в стороне нас не оставил:
Будил, и звал, и в строй, конечно, ставил
И в праздничный и в будничный — любой,
Шел рядом, вел, поддерживал, толкался
И в душу непосредственно вторгался
Сигналами «тревога» и «отбой».

Я вспоминаю: город затемненный,
В квартире мерзлой угол затененный,
Коптилка, скудным пламенем горя,
Протуберанцем крохотным казалась.
Таким навеки в памяти осталось
Блокадное седьмое ноября.

Тот день встречал я в разной обстановке:
В японском доме сидя на циновке,
В сибирских угловатых городах,
Встречал однажды в глубине расейской,
В какой-то неказистой хате сельской,
И даже — в самолетах, в поездах.

4

Люблю тебя, земля моя Россия,
Люблю березки нежно-золотые —
Осенние твои календари,

Роняющие листики-зубчатки
На стройплощадки и на спортплощадки,
На огороды и на пустыри,
Райкомам, школам, загсам — на ступени,
Влюбленным в тихом сквере — на колени,
В развернутую книгу, в тишину
Озер, где тонет золото заката,
А в самый грозный час, под звук набата —
На плечи уходящих на войну.

Люблю твоей истории страницы,
Задумавшись, люблю остановиться
Среди Москвы, у церковки одной.
Но кажется ненужным и нарочным
Подчеркнуто искать отчизну в прошлом:
Я не терял ее,
 она со мной
Была всегда такой, какой досталась,
Какой на карте школьной распласталась,
Какой навек вошла в мою судьбу
С ее Кремлем, с березкой над оврагом,
С прорабкой на санях, под красным флагом
И со звездой у воина во лбу!

5

Есть формула: люблю тебя до боли.
Ее когда-то затвердил я в школе,
Но лишь с годами начал понимать.
Мы помним всё: как наши деды жили,
Где головы свои отцы сложили —
Не надо ничего напоминать.

С годами понял: в праздничной столице,
В районном центре, в кишлаке, в станице
Или в глуши медвежьего угла
Не будет мне ни муторно, ни скучно,
Лишь только б ты была благополучна,
Лишь только б ты счастливая была.

Всю жизнь готов довольствоваться малым,
Лишь только б вновь пожаров светом алым
Твои не озарились небеса,
Лишь были б твои нивы хлебородны,
Лишь были б твои реки полноводны —
Ах, не пустые это словеса!

Я слушаю, как музыка играет,
И не стыжусь, что сердце замирает
Над сумрачной и праздничной Невой,
Когда колышет ветер транспаранты
И слышно, как звучат, звучат куранты
Истории

у нас над головой...

НИКОЛАЙ ФЛЕРОВ

Герои Октября

Думаю о тех, кто были старше,
Может быть, всего на десять лет,
Но зато прошли в октябрьском марше,
Вознеся над миром новый свет.

Юноши великого свершенья,
Мальчики, в четырнадцать — бойцы,
В двадцать, возвратившись из сраженья,
Строили заводы и дворцы.

Это к вам на выучку фасонкой
На «Серпе и молоте» я шел.
Это с вашей флотской дудкой звонкой
Покидали мы балтийский мол.

И еще под вашим комиссарством,
В огненную кинувшись волну,
Вопреки невзгодам и мытарствам
Не сдались в последнюю войну.

Нынче мы годами подравнялись —
Невелик он к старости, зазор.
Для меня вы старшими остались
По горению октябрьских зорь.

Зори те в московском переулке
Я мальчишкой видел из окна,
Вы ж тем переулком шагом гулким
Шли туда, где юнкеров стена.

Вы тогда сломали стену эту,
Взяв у Петрограда эстафету,
Будто радуги скрепив концы.
И прошли, гремя, по белу свету
И Кремля и Зимнего бойцы.

Слово благодарности летит к вам,
Светом той же радуги горя,
Старшие товарищи по битвам,
Юные герои Октября!

СТ. ЗОЛОТЦЕВ

Музыка века

Над Петропавловкой пушка гремит.
Это — двенадцать.
Вздыбленный всадник уперся в гранит
в центре Сенатской.

Вижу, хотя этот день и далек,
 невские тучи.
 Взором в столицу врезается Блок
 хмурым и жгучим.
 Щедро посыпаны все острова
 огненным градом.
 Морем суровым бушует страна
 за Петроградом.
 Кто в ее далях сегодня найдет
 остров покоя! —
 Так он вещал в «Куликовом», и вот —
 время для боя.
 Ночью и днем среди сумрачных дум
 тайных и скрытых
 Блоку давно уже слышался шум
 из-под гранита.
 Это подспудно вскипавшая месть
 сонным и сытым
 Слышалась как безглагольная весть
 из-под гранита.
 Вот она вырвалась — Блок услышал! —
 музыка века,
 Шквалом огня заливая канал,
 ночь и аптеку.
 Колокол сердца в полуночный дым
 пробил — двенадцать!
 Пушкин — за ним и Некрасов — за ним:
 надо ль бояться?
 Вот уже слышатся издалека
 сытых упреки...
 Словно на площадь, выводит рука
 первые строки.
 Градом свинцовым исколот гранит.
 Строки теснятся...
 Над Петропавловкой пушка гремит.
 Это — двенадцать!

Трон

В дворцовом зале я увидел трон.
 Под балдахином, золотом обложен,
 метелкою служителя ухожен
 и огорожен с четырех сторон —

мне катафалком показался он.
 Проезд на нем уж больше невозможен,
 поэтому он списан... Век тревожен
 и не выносит пышных похорон.

Такой уж век! — слетают в грязь короны
 и головы владельцев их. И троны
 сшибает наземь огненная плеть.

Но этот трон, рук мастера создание,
стоит в музее как напоминанье,
что никому на нем не уцелеть.

Камень

Когда-то, работая на стройке,
я впервые попробовал вывернуть булыжник —
булыжник, до блеска надраенный
колесами машин за много десятилетий, —
и убедился, как это нелегко. Потребовался ломик,
и, нажав на него, я вывернул камень из мостовой.
Первой мыслью было: как же им некогда
орудовали в уличных схватках? —
такой изящный сверху, он оказался
похожим на айсберг — почти весь под землей.
Я еле поднял его обеими руками.
Сколько ж ярости нужно было, подумалось мне,
чтобы швырнуть такой камень!
И все-таки их кидали неоднократно.
И удары их сбивали с копыт лошадей
с восседавшими на них стражами порядка.
И это было неоднократно.
И даже совсем недавно
в столицах некоторых европейских стран.
Вот почему там теперь отцы городов
распорядились покрывать брусчатку асфальтом.
Но асфальт — недолговечное покрытие.
Колеса плющат и сдирают его.
И в жаркие дни, когда дышать неумоготу,
на мостовых вновь проступает брусчатка,
чтобы оказаться под руками тех,
у кого нет иного выбора
и иного оружия.

Этот город

Из тумана сотканный свитер
мы с тобой носили вдвоем...
Город юности, милый Питер,
ты, как прежде, в сердце моем.
У гранитного парапета
я встречал седые рассветы
над плескучей невской волной.
И, спускаясь к морю и лету,
корабельные силуэты
проходили передо мной.
Мост крылом махал свысока мне,
на шлифованном древнем камне
просыхали капли дождя.
И, над городом восходя,
мне шептало солнце: «Согрейся,
протяни мне руки свои!»

И застывший на Невке крейсер
вспоминал былые бои...
Я протягивал к солнцу руки,
но в руках у моей подруги
вдруг оказывались они
в те шальные юные дни.

В этом городе столько пыла —
в нем нельзя прожить не любя.
В этом городе столько было —
он еще не жалел себя
от рождения и доньне.
Не случайно под грозный гул
он однажды в осенней сини
всю историю развернул.
Не пропал в блокадной остуде —
только часть живущих отдал...
Никогда его не забудет,
кто его хоть раз повидал.
По его каналам и рекам
столько крови перетекло —
он мне кажется человеком,
сохранившим в стуже тепло.

Так зови к себе невским ветром
и своим меня назови,
город юности, берег светлый,
город доблести и любви.

АЛЬБЕРТ КРАВЦОВ

Фронтовые поэты

Поднималась Россия по вздыбленным черным дорогам,
глядя смерти в глаза и слагая стихи на ходу.
Вы из тех одержимых, что прямо с родного порога
в злое пекло войны в сорок первом шагнули году.

Все обиды земли вы несли в вещмешках за плечами.
Мстили за Человека, в себе человечность храня.
За комзводом вы шли, вы «за Родину!» грозно кричали,
вы писали любимым с фронтов: «Жди меня!»

Вы остались верны этим кровным заслуженным темам,
вы дрались за идею, работая за троих.
Возвратившись назад, к довоенным забытым поэмам,
вы зачислили павших навечно в колонны живых.

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Плечи

И все-таки это бывает —
в строю или в тесном трамвае
ток времени плечи сшивает,
и душу душа осязает.

...Качнется плечо космонавта.
Лицо в гермошлеме блеснет...
Контакт
 между прошлым и завтра
по нашему сердцу пройдет.

...И в доме на дальней орбите
свет жизни угасшей мигнет.

Смыкаются плечи и дали.
Стыковка отцов и детей.
Здесь радость смешалась с печалью,
Здесь звездная сварка страстей.

А где-то средь вешнего дыма,
в земном преломленьи луча
на миг
 нас коснется незримо,
коснется плечо Ильича...

Смыкаются плечи и дали.
Иные гранитными стали...
А эти —
 им впору кольчуги!
О плечи! О братья! О други! —

здесь тяжесть иного значенья —
земля
 на плечах поколенья...



РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

С аварского

* * *

Киноаппараты, телеаппараты, фотоаппараты —
Черные пираты,
Это автоматчики, стихоперехватчики,
В их присутствии стихи свернуты в калачики.

Вот я не взъерошен, в пиджаке хорошем
Телеулыбаюсь, а музами заброшен.
Чудный телеголос у Телерасула —
Свежий телеветер из телеаула!
Только песня оба уха пальцами заткнула...

Эй! Не телегоры Теледагестана
Воспевал я в детстве, просыпаясь рано!
Разве киносакли или кинобурки
Я увидел, когда вылез на траву из люльки?

Нет, на свет родился человек Гамзатов
Не от кинофототелеаппаратов,
А от превосходной пары азиатов!
Я летал по небу с этим человеком,
Со скалы срывался, плыл по темным рекам...

Вам его не видно, когда его не слышно.
Вам его не слышно, когда его не видно.
• Мертвого, живого (тебя, тебя, проклятого!),
Ох, я знаю как никто этого Гамзатова...

* * *

Омар Хайям, кому ты дал зарок,
Какой пророк мог быть к тебе так строг,
Что в каждом из твоих стихотворений
Всего четыре — и не больше! — строк?

Ответил он, издав глубокий стон:
«О, сколько я ни лез из кожи вон —
Укоротить не смог я ни на строчку
Свои стихи, свой страшный, сладкий сон!

В твоём бы веке разбудить меня —
 На птицу променял бы я коня,
 Ведь пара крыльев унеслась бы дальше
 Двух пар копыт, что тащатся, звеня.

Твой век — летит, мой — плелся без дорог.
 Изъян Хайяма для тебя урок:
 В бараний рог согнув мои четыре,
 Ты вдвое больше скажешь парой строк».

Его ответом я убит совсем —
 И по заслугам эту горечь съем!
 Что делать? В кулаке не спрячешь поезда,
 Вагоны сочиненных мной поэм.

.

Ответь, куда ты держишь путь
 И к берегам каким причалишь,
 Живой корабль моей судьбы,
 Отплывший, кажется, вчера лишь?

Стою на диком валуне,
 Твой образ провожаю взором.
 Я остаюсь наедине
 С собой, а ты — с морским простором.

Меж нами ветер и волна,
 Ты удаляешься рывками.
 Душа моя тревог полна,
 А ты исчез за облаками!

Раскрылись крылья мглы ночной,
 Закат сошел и растворился.
 А меж утесов, подо мной,
 Челн допотопный притаился —

Я к морю в нем приплыл вчера
 По речке, вьющейся в ауле,
 А в море плавает корабль —
 Там жизнь в разгаре и в разгуле!

Там вал, вставая на дыбы,
 В грудь корабля по-зверски хлещет.
 Живой корабль моей судьбы,
 Куда плывешь и что нам блещет?

К каким еще летишь горам
 С воспевшим горы Дагестана?
 Весь мир — корабль, корабль, корабль,
 Который мчится неустанно...

.

Я ехал к тебе, а мой конь ревновал:
«Не надо, вернись, там другой ночевал,
Другие садились на спину мою —
Я эти ворота в лицо узнаю!»

Огрел я хлыстиной коня своего,
А будь он мужчиной — убил бы его!
Что будет с двуногими, если под нами
Четвероногие станут лгунами?!

Обратно — ни шагу, к воротам иди
И ржаньем скорее же всех разбуди!..
...И конь мой прекрасный заржал в тишине.
И свечка в твоём задохнулась окне,

И звезды погасли на небе моем,
И мир покачулся, как чаша весов,
И головы мы опустили с конем —
Не дрогнул в воротах железный засов.

Ах, нету бесстыжих лгунов среди коней,
Ведь кони не люди... А дождь все сильнее.
Прости, вороной, удила не грызи
И к выси родной поскорей увези.

.

Говорят мне птицы, говорят:
Подожди весны — и вот тогда
Мы вернемся в горы, в города
И споем тебе как никогда.
О весна моя, иди сюда!

Говорит мне роща, говорит:
Подожди весны — и вот тогда
Раскудрявлюсь, буду молода,
Так стройна, свежа как никогда.
О весна моя, иди сюда!

Говорят ручьи мне, говорят:
Подожди весны — и вот тогда,
Грудь свою освободив от льда,
Бросимся к тебе как никогда.
О весна моя, иди сюда!

Говорит мне солнце, говорит:
Подожди весны — и вот тогда,
Я пойду сквозь облаков стада
Для тебя сиять как никогда.
О весна моя, иди сюда!

Но мои ушедшие года
Говорят, ныряя в никуда:
Сколько б раз весна ни возвращалась,
Мы не возвратимся никогда.
Молодость моя, иди сюда!

Отвечает молодость на это:
— Что ты, что ты! Моя песня спета,
Я свое взяла и отлюбила,
На одном дыханье оттрубила!
Время исчезает навсегда...

...Как перо, потерянное птицей,
В зимнем небе плавает звезда.
Разлетелись птицы кто куда,
А метель из перьев их кружится
И ложится снегом, снегом, снегом,
И кругом бело как никогда.
О весна моя, иди сюда!

Перевела ЮННА МОРИЦ.



ЮРИЙ РЫТХЭУ

★

КОНЕЦ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

...оных немирных чукч военною оружейною
рукою наступить и искоренить вовсе...

Сенатский указ от 3 февраля 1742 года.

По делам видно и Правительствующему Се-
нату уже известно, что чукоцкий народ вимало
в подданство не приведен..

Предложение Ф. И. Соимонова сенату. ЦГАДВ.

Женщина снова приснилась ему в час, когда на обнажившихся проталинах в весеннем предрассветном хоркании телились важенки.

Армагиргин долго не открывал глаз, переживая видение, удерживая красочный, полный горячего волнения сон, когда он неся по тундре, словно раззадоренный близостью оленухи бык.

Но сон безвозвратно уходил, таял вешним снегом под лучами солнца, оставляя лишь ускользящее воспоминание.

Армагиргин высунул голову в чоттагин¹, и свежий воздух ворвался в смятые, закопченные дымом жирника легкие, расправил их складки, оживил кровь.

Протерев загноившиеся глаза пушистой оленьей шерстью, Армагиргин несколько раз моргнул и разглядел у костра присевших на корточки жен. Они усердно дули на разгорающийся огонь, щурясь от дыма, покраснев от натуги.

Та, что была ближе ко входу, происходила из чаунских чукчей. Стадо Армагиргина заметно выросло, когда он взял Нутэнзут в свою ярангу. Как женщина она ему скоро наскучила, но помня о свадебном подарочном стаде, Армагиргин обращался с Нутэнзут не то чтобы ласково, но сдержанно и не колотил ее, даже одурманившись дурной веселящей водой.

А вторая — Гувана — долго была любимой женой, и он тосковал по ней в достопамятном путешествии в Якутск, когда задумал склонить свою голову перед Солнечным владыкой и положить к подножию русского престола все чукотское население от реки Колымы до Каменного Носа.

¹ Холодная часть яранги.

Давнее воспоминание подняло со дна памяти горький осадок: не удалась поездка, хотя внешне все было благополучно.

Встретили Армагиргина, тогда еще молодого и ловкого, в Якутске с великими почестями. Громкими выстрелами из огнеизвергающих пушек напугали его оленей. И те понесли, уронив на снег чукотского короля, всю его свиту и марковского исправника Кобелева.

Сам губернатор вышел на крыльцо огромного каменного дома, похожего на чудом вылезший на сушу айсберг, и протянул руку для пожатия.

Однако Армагиргин не стал пожимать руку якутскому губернатору, а приник к ней губами, как учил тому исправник Кобелев.

— Как поживает мой брат? — со слезой в голосе спросил чукча. — Как его здоровье, благополучны ли его жена и дети?

Губернатор поначалу не понял, о каком брате идет речь, но Кобелев подсказал, и хозяин якутской земли сообщил высокому чукотскому гостю, что его величество император всея Руси живы и здоровы и так же в добром здравии находится государыня императрица.

Армагиргин удовлетворенно хмыкнул, утер слезу умиления росомашьей оторочкой нарядной кухлянки и проследовал в губернаторский дворец, стараясь не показать, что поражен пышностью и богатством чудного дома, по сравнению с которым его большая яранга в тундре не то что была ничтожной, а просто недостойна упоминания.

Полы в губернаторском дворце были покрыты огромными лоскутами пестрых шкур неведомых зверей. Ноги мягко ступали по короткому меху, похожему на нерпичий. Армагиргин несколько раз споткнулся, и один из вооруженных слуг, молодой и усатый, подбежал к нему и взял под руку.

В зале с высокими окнами, светлом и просторном, как тундра, Армагиргина и его свиту усадили на мягкие сиденья, поставили перед ними угощения — разное вареное мясо, рыбу и еще что-то мягкое и непонятное, тающее во рту.

Пот заливал глаза, растекался по всему телу, щекотал укромные места и вызывал нестерпимый зуд.

Однако Армагиргин стойко переносил все эти муки, строго кося глазом на свиту: иные уже в открытую зачесались.

Хотелось скинуть с себя кухлянку, подставить голое тело теплому воздуху, волнами идущему от высоких изразцовых печей, но об этом и думать было невозможно: ни у Армагиргина, ни у кого из его свиты, если не считать исправника Кобелева, не было натальной матерчатой одежды. Надо было терпеть.

Якутский губернатор с нескрываемым любопытством разглядывал чукотского короля. Несмотря на непривычное окружение и жару, Армагиргин держался с приличествующим ему достоинством, говорил громко и внятно, часто упоминая имя «брата своего», российского императора.

Все видели, что он хоть и поражен и домом и торжественной встречей, но не потерялся и обращался к губернатору как к лицу, который всего лишь находился на службе у «брата».

Голос Армагиргина разносился по приемному залу, отражаясь от больших стеклянных окон, от теплых стенок кафельных печей:

— Твоего царя я и мои чукчи, как чаунцы, так и носовые, признаем полным нашим государем. Русский царь пусть даст мне какое-либо отличие или подарок, чтобы чукчи меня слушались и повинно-

вались. Все повеления нового моего государя я и родовичи мои будем исполнять свято и безо всякого упорства. Русские не должны на нашей земле строить никаких крепостей и вообще поселений. Дозволить нам держаться при ссорах и торговых сделках своего обычая и в том только случае входить в разбирательство наших жалоб, когда я или мои родовичи попросим об этом. Лекарей и лекарства посылать к нам, ежели мы будем требовать их. Защищать нас от всех притеснений наравне с русскими. Вера, обычаи, нравы и одежда наши да останутся неприкосновенными. Дозволить нам покупать от купцов ружья, винтовки и свинец, а казна пусть нас снабжает порохом за плату. Купцам торговать с нами полюбовно и о времени ярмарки заблаговременно условиться, и сие держать свято, потому что мы разоряемся от позднего приезда русских купцов. Я обещаю, что мы будем платить ясак своему государю императору по своей возможности и непринуждению, то есть кто сколько может внести в пользу его императорского величества. И я, заботясь о благе чукотского народа, решился всеподданнейше умолять его императорское величество всея России принять меня и весь мой чукотский народ в вечное и покорное ему подданство.

Армагиргин говорил по-чукотски, а исправник Кобелев читал по-русски.

Якутский губернатор принял бумагу, украшенную вместо печати отпечатком большого пальца и рисунком оленьего тавра Армагиргина.

— Я непременно передам бумагу его величеству, — обещался губернатор, упираясь в лицо Армагиргина светлыми, словно вываженными глазами.

После первой встречи Армагиргина и его свиту отвели в предназначенный для их пребывания дом.

Здесь толпилось множество разного народу. Каждый хотел сказать что-то свое, и Армагиргин чувствовал себя словно в большой вороньей стае, не разумея ни одного слова.

В отведенной для него спальной комнате стояла широченная кровать с великим множеством подушек.

Кобелев приволок большой штоф дурной веселящей воды, и Армагиргин с устатку сделал большой глоток, с удовольствием ощутив, как потоки бодрости растеклись по всему телу, изгоняя усталость, сомнения и нерешительность. Глаза как бы промылись и прояснились, уши стали различать не только отдельные знакомые русские слова, но и связную речь.

В облаках табачного дыма, среди множества толпящихся, галдящих, глядевших на него с любопытством, с подобострастием, Армагиргин заметил прислуживающую женщину — полную, с большими грудями, отчетливо выпирающими под тонкой матерчатой одеждой. Лицо у женщины было большое, круглое и ласковое. Она все время улыбалась и говорила: «Ми-лай! Ми-лай!»

Армагиргин игриво ущипнул женщину за грудь. Она дробно рассмееалась, словно рассыпав цветной бисер по большой комнате с огромной, пугающей своей пышностью кроватью.

Армагиргин выпростал из дорожного мешка и протянул женщине связку белых песцовых шкур. Но Кобелев отобрал подарок и вернул с укоризной:

— Пошто ей такое?

— А мне хочется одарить ее, — упрямо сказал Армагиргин.

— Сиводушки за глаза будет. — Кобелев со знанием дела выбирал песца с пегим — некачественным — мехом.

И верно, Дуня удовольствовалась сиводушкой и позволила Армагиргину ласкать себя в мягких волнах губернаторских перин, из которых он выбрался в полном недоумении: в этой пышности невозможно было разобрать, где женское тело, а где одеяло...

На следующий день губернатор снова призвал Армагиргина в свой дом и передал царские подарки: расшитый золотом кафтан с золотыми же наплечниками, штаны, обшитые галуном, нижнюю белую батистовую рубашку, кортик в серебряных ножнах и большую красивую бумагу, в которой говорилось от имени брата, Солнечного владыки, о даровании Армагиргину царских милостей, подарков, а также выражалась уверенность в том, что он, Армагиргин, вместе с поименованным своим народом будет отныне верой и правдой служить русскому царю.

Некоторые выражения царской бумаги Армагиргину не понравились, но он промолчал. Он чувствовал слабость от обильных возлияний, и туман в голове не расходился с утра.

Получив царские подарки, Армагиргин с помощью Кобелева тут же облачился во все новое, необычное и тесное.

Тугой воротник душил, а расшитые галуном штаны не давали широко шагнуть. Дольше всего возились с поясом, но наконец все приладили и вышли в большой зал, где уже толпились приближенные губернатора, его жена, напомнившая Армагиргину пышную Дуню, чиновники и духовные лица. Армагиргин встал рядом с губернатором и вдруг узрел прямо перед собой, в проеме меж двух высоких белых колонн чукчу в мундире, при кортике, но в оленьих торбасах. Чукча стоял, глупо ухмыляясь, с посиневшим от натуги лицом, а рядом с ним возвышался якутский генерал-губернатор почти в таком же одеянии с яркой голубой орденской лентой через плечо. Армагиргин тут же догадался, что это он сам с губернатором отражается в большом зеркале.

После торжественного и обильного обеда, где высокому гостю было позволено орудовать его собственным ножом из опасения, что он вилок может проколоть себе язык, Армагиргин пожелал проществовать в новом одеянии по улицам губернского города, чтобы все, а особенно эти якуты, которые часто обижали его родичей в союзе с русскими в прошлых войнах, видели, какими высокими царскими милостями удостоен чукотский король, повелитель оленных и морских жителей от Колымы в сторону восхода, до самого Каменного Носа, где оканчивается чукотская земля.

В ту пору в Якутске еще сильны были зимние морозы.

Армагиргин ощутил царапание стужи в коленках, а потом холод охватил все его тело потуже мундирного воротничка. Шествовавший медленно и торжественно в окружении любопытных якутских обывателей Армагиргин зашагал быстрее, а потом пустился рысью и вбежал в гостевой дом, где с помощью Дуни поспешил освободиться от непривычной одежды.

Однако все — и мундир, и штаны, и металлические кружочки, надеваемые на грудь, он повелел аккуратно сложить в большой сундук.

Зачастил к Армагиргину отец Дионисий, давний знакомый, объездивший тундру с походным алтарем от Колымы до мыса Дежнева. Священник хорошо знал чукотский разговор и увещевал Армагиргина, кося глазом на Дуню:

— Ох, грех это! Великий грех!

Армагиргин взбадривал себя глотками дурной веселящей воды и слабо возражал отцу Дионисию:

— Грех — обманывать, воровать, таиться при еде, не накормить и не приютить путника, обидеть ребенка и старика...

— И прелюбодейство тоже великий грех! — поднимал палец с синим кривым ногтем отец Дионисий.

Он вел долгие речи о могуществе и доброте тангитанского² бога. По словам священника выходило, что русский царь, теперь доводившийся братом Армагиргину, был не чем иным, как наместником бога на земле... Армагиргин и сам понимал, что теперь у него нет иного пути как принять русскую веру.

И в конце концов, сломленный уговорами и водкой, дал согласие креститься.

Впервые в жизни тундровый житель входил в храм тангитанского бога.

Сначала в дымной полутьме он ничего не мог разглядеть. Похоже было на чоттагин, когда собирается множество гостей и костер горит не потухая.

Гудел, как комариный звон, приглушенный говор.

Когда глаза привыкли, Армагиргин узрел перед собой отца Дионисия в таком облачении, что свой мундир с кортикам и расшитые донизу штаны показались ему просто жалкими. В храме божьем все блестело и переливалось в мерцающем свете множества свечей.

Люди подходили к изображению лика божьего, чем-то напоминающего Армагиргину эскимоса с острова Имаклин, целовали раму, склонялись и шептали священные заклинания.

Сердце у Армагиргина сильно забилося от волнения.

В глубине души он уже жалел, что согласился креститься. Может, все это ни к чему: заигрывания с далеким русским царем, с губернатором, затея с крещением?.. И как же свои боги, такие привычные, понятные?..

Армагиргин искоса с опаской глянул на икону.

И тогда у алтаря он заметил огромный медный сосуд, похожий на котел. Сходство увеличивалось водой, налитой в него.

— Варить что-нибудь собираются? — шепотом спросил Армагиргин Кобелева, кивнув на сосуд.

— Вас будут в нем крестить, ваше сиятельство, — ответил Кобелев.

С ужасом поглядывая на купель-котел, Армагиргин уже не слушал слаженного священного песнопения, исполняемого хором молодых якутов.

Отец Дионисий разглядел своим пронизательным оком растерянность Армагиргина, подошел и ласково коснулся мягкой рукой:

— Бог милостив...

Бог... Кто знает, каков он окажется для тундрового оленевода? Когда Армагиргин уезжал, старый родовой шаман Эль-Эль предостерегал от принятия русской веры. Подобием человеку тангитанский бог не внушал доверия и священного трепета, и к тому же он часто изображался в страдальческом и болезненном виде, приколоченным к деревянной крестовине. Что же он за бог в таком обличье?

Размышления Армагиргина прервал отец Дионисий. Он подвел чукчу к священному сосуду, продолжая протяжно, словно изголодавшийся за зиму тундровый волк, подвывать. Изредка на помощь

² Общее название чужеплеменников — европейцев и американцев, обладателей огнестрельного оружия.

ему вступал якутский хор, и ровное пение молодых голосов тревожило душу еще больше, словно посвист долгой полярной пурги.

Армагиргин, уже не властный над собой, крепко закрыл глаза: будь что будет...

Он ощутил бритой макушкой холодные капли, струйка воды скатилась на лоб, на нос, упала на верхнюю губу. Армагиргин невольно слизнул каплю и открыл глаза.

Отец Дионисий уже протягивал ему крестик на тонкой металлической цепочке.

Армагиргин наклонил голову и почувствовал кожей холодок стылого металла.

После крещения дни покатались как снежные комья, пропитанные дурной веселящей водой и нарастающей слабостью. Дуня была услана, и вместо нее стал прислуживать одноглазый якут с таким хитрым лицом, что эта хитрость оставалась, даже когда он спал в соседней комнате на большом сундуке. Уже и не звал каждый вечер губернатор в свой дворец, реже приходил отец Дионисий поговорить с новообращенным, перестали заходить широкоскулые якутские князья, охочие до водки, как и сам Армагиргин, и только верный исправник Кобелев да вечно ноющие земляки составляли постоянное окружение чукотского короля Армагиргина.

Пора было ехать домой, в родную тундру, тем паче что надвигалась весна. Скоро тронутся реки, зарыхлится снег, обнажатся каменные склоны, и по ним уже не пройдут деревянные полозья легких нарт... Да и оленей оставалось самая малость — поели, поменяли на дурную веселящую воду у ненасытного якутского кабатчика, только ездовые были еще не тронуты: за ними бережно ухаживали пастухи на окраине Якутска, у леса.

Губернатор прощался с Армагиргином торжественно, не скрывая, однако, радости по поводу отъезда долгого и беспокойного гостя. Он устроил большое сборище, на которое сошлись знатные и именитые лица губернского города — купцы, священнослужители, чиновники и богатые якуты. Был даже юкагирский князек с огромным крестом на вытертой замшевой кухлянке. Он истово крестился на поясной портрет государя императора, принимая за икону, пока отец Дионисий не остановил его.

Губернатор произнес большую речь, которую старательно перевел исправник Кобелев. Армагиргин, снова вынужденный облачиться в мундир с кортиком, смешно болтающимся против срамного места, слушал заверения, произносимые от имени брата — русского императора, пожелания верной и исправной службы жителям далекой окраины царю, вере и отечеству.

В своем ответе чукотский король Армагиргин был краток. Он поблагодарил брата-императора в лице якутского губернатора за гостеприимство и обещал российским купцам и чиновникам давать предпочтение перед американскими.

Губернский город долго маячил на горизонте высокими дымами от множества печей.

Впереди лежал долгий путь на родину. Часто, во время ночевок, Армагиргину снился Якутск, белая женщина, потерянная им в мягких пуховых перинах удивительной и коварной тангитанской постели. Он мысленно жалел людей, избравших непонятную странную жизнь в каменных мешках, при тесном скопище, без радости частых перекочевков, когда глаза и душа радуются новому очертанию стыка между небом и землей.

В родном стойбище Армагиргин обнаружил, что за время его отсутствия стада сильно поределели — часты были нападения волков,

копытка косила оленей, да и пастухи разленились без твердой хозяйской воли.

Несколько дней и ночей Армагиргин бил людей, пока не заболела и не распухла рука.

Наведя порядок в своем стойбище, он отправился в путешествие по северным и северно-восточным тундрам, чтобы сообщить о царской милости и показать тамошним хозяевам мундир, крест и другие отличия, полученные от царской власти.

Глава чаунских чукчей Леут отвел для жительства Армагиргину самую ветхую ярангу. Даже угощение дурной веселящей водой не расположило владельца огромных стад. Леут с усмешкой слушал рассказы Армагиргина о пребывании в Якутске и ронял обидные замечания.

Так же сдержанны были и восточнотундровые эрмэчины³. И чем дальше продвигался по чукотской тундре Армагиргин, тем больше он убеждался в том, что его власть над всем чукотским народом такая же прозрачная, как тускнеющий блеск на пуговицах его мундира.

Армагиргин соблазнял их преимуществами дружбы с русскими, но Леут вытасил в ответ хорошо упакованный американский табак, раскурил его и дал попробовать гостю. А на его связку черного табака, принесенного в дар, и глядеть не стал, велел отдать пастухам...

Армагиргин вернулся в свое стойбище раздосадованный и разгневанный крахом его надежд. Но вечерами, напившись, он надевал свой мундир, цеплял кортик против срамного места и, воображая себя русским царем, велел домочадцам называть его не иначе как «ваше величество солнечный владыка». Исправник Кобелев наотрез отказывался величать его таким образом и увещевал:

— Пошто дуришь, оленья морда? Какое из тебя величество, прости господи душу твою грешную...

Нательный крест свой Армагиргин давно потерял. Оставалась одна цепочка, и в один из приездов надменный Леут язвительно заметил:

— Что ты цепь на шее таскаешь, словно ездовой пес?

Но был мундир да кортик и еще — наследственное стадо, которое с годами таяло, как таяла мужская сила, здоровье и уважение советенных сородичей.

Теперь о его королевском звании чукчи упоминали не иначе как с усмешкой и тайным злорадством.

Лишь некоторые русские еще выказывали знаки уважения, особенно когда Армагиргин появлялся в Маркове, старинном казацком селении в верховьях великой чукотской реки Анадырь. Тамошнее население давно перемешалось с юкагирами да ламутами, образовав особый народ — марковских чуванцев, которые, однако, пуще всего гордились тем, что вели свое начало еще от казаков времен Дежнева и Анкудинова...

Давно помер верный друг — исправник Кобелев, другие люди появились на реке: в Маркове и в Ново-Мариинском посту, что в устье Анадыря, на топком рыбном берегу лимана.

Марково ближе всего к стойбищу и к пастбищам Армагиргина. Оттуда чаще всего и наезжали русские и более всех лекарь Черепакхин, в пьяном образе состязавшийся с шаманом Эль-Элем. Поначалу он был послан якутским губернатором во исполнение просьбы Армагиргина о медицинской помощи. В первый же год Черепакхин выгодно променял весь запас медицинского спирта на пушнину, и с

³ Глава оленьего стойбища. Дословно — сильнейший.

той поры забота о выгодной торговле стала для него превыше охраны здоровья тундровых жителей, кои пеклись об этом сами, прибегая в трудных случаях к испытанной веками помощи шамана.

Армагиргин втайне презирал Черепяхина, которого недолюбливали его же собственные соплеменники и пуце всех купец первой гильдии Малков, владелец больших складов, обшитых волнистым светлым металлом. Однако любил, когда лекарь приезжал, ибо Черепяхин звал его не иначе как ваше величество и признавал за брата императора.

Так текла жизнь. И оставалось ее, наверное, уже немного — это пугало, словно чернеющая на пути бездонная пропасть.

Насладившись запахом теплого дыма и уваривающегося мяса, Армагиргин кашлянул, давая знать женщинам, что он проснулся и готов к утренней трапезе.

Еда казалась пресной и невкусной, хотя и состояла из самых лакомых частей оленя. Были поданы нежнейшие ребрышки, сами тающие во рту, с мягкими хрящами, прэрэм — колбаса, сваренная в крепком бульоне, нежно-розовый костный мозг, опаленные на углях оленины губы... Все это было щедро сдобрено тюленьим жиром и обложено квашеной зеленью, оставшейся с прошлого года.

Поклевав одного, другого, Армагиргин недовольным жестом отодвинул от себя деревянное блюдо-корытце и потребовал чаю. Хлебнув горячей жидкости, он гневно спросил:

— Отчего чай такой слабый?

Подбежала Гувана.

— Заварки больше нет... Вывариваем старый да траву добавляем...

— Сами вылакали, ненасытные! — заорал Армагиргин и замахнулся на женщину. — Нет чтобы сберечь для хозяина! Негодные!

Однако бить Гувану Армагиргин не стал, вспомнив вдруг свой утренний сон.

— Где та женщина? — грозно спросил он замершую в ожидании удара Гувану.

— Какая женщина?

— Что из Голодного стойбища пришла.

— У Теневиля остановилась, — тихо ответила Гувана.

— Как ее зовут?

— Милюнэ, — еле слышно выдохнула Гувана.

— Подать мне мундир с ножиком тангитанским!

Это было так необычно, что Гувана осмелилась поднять глаза на мужа: давным-давно он не надевал царский мундир и не трогал поржавевший ножик в металлическом чехле.

Мундир был так стар и ветх, что при каждом резком движении он угрожающе трещал по швам, и Армагиргин шел в нем неторопливо, с опаской. Его яранга, по обычаю, стояла чуть впереди остальных жилищ стойбища, над крутым берегом еще скованной льдом и засыпанной снегом речки. Пастух Теневиля, молодой парень, жил в одной из задних яранг. Кто-то сказывал, что парень не совсем в уме — что-то вычерчивает на обертках чая да на дощечках из товарных ящиков выцарапывает. Будто бы изобретает чукотский письменный разговор вроде тангитанского. Совсем рехнулся парень. За оленями бы лучше доглядывал. Своих потерял, теперь и хозяйские порастеряет...

Гнев накалил в душе Армагиргина, заставляя прибавлять шаг, спешить в дальнюю, самую последнюю ярангу стойбища, которое так и называлось — стойбище Армагиргина и было известно не толь-

ко на всем протяжении великой чукотской реки Анадырь, но и на Колыме, на Чауне, на скалистом Чукотском Носу, где жили китобойцы-чукчи да айваналины — эскимосы, имевшие сородичей на другом берегу пролива Ирвыттыр.

Теневиль только что вернулся из стада. Он устал, истомился от изнурительной беготни за убегающими важенками по снегу, по влажным проплешинам, налитым вешней водой.

Он наслаждался отдыхом и покоем у мехового полога. В ожидании еды он разглаживал старые чайные обертки, на которые были нанесены понятные ему одному значки.

Года два назад его озарило.

Он знал, что тангитаны, кроме словесного разговора, имеют еще и начертанный на бумажных листах, сшитых вместе, называемых коротким словом — книга. Слышал Теневиль от стариков, что этот разговор — как бы природная особенность белого человека, тангитана, как его светлая кожа, обильная растительность на лице... У каждой тангитанской породы свой начертанный язык — у американцев свой, у русских свой... Теневиль подолгу разглядывал значки на товарных ярлыках, чайных и табачных обертках, стремясь вникнуть в тайну обозначенных слов. Он даже украдкой прикладывал к уху печатные слова в надежде услышать какие-то звуки. Но ничего не было слышно. Теневиль уходил в тундру, чтобы ни один посторонний шум не мог помешать ему уловить тихое рокотание написанного разговора, но бумага хранила упорное шелестящее молчание.

И тогда его озарило: начертанный разговор — это просто обозначения слов, точно так же, как слова обозначают предметы. Значит, если нарисовать маленького человечка, а рядом с ним оленя, то будет это олений человек, в отличие от человечка рядом с моржом, выражающего морского охотника.

В первый же вечер Теневиль покрыл собственными рисунками-значками две длинные оструганные доски, предназначенные для новых полозьев, выдавливая картинки на гладкой поверхности острием ножа.

Выпросил у торговца-фельдшера Черепажина огрызок карандаша, который берег пуще глаза, и стал писать на настоящей бумаге — чайных обертках, табачных упаковках, иногда выменивал их, а чаще получал в дар от друзей, которые с уважительным любопытством относились к его чудачеству.

Шаман Эль-Эль, сын покойного Эль-Эля, взявший имя отца, попробовал высмеять пастуха, но Теневиль дерзко ответил, что придет время и он запишет значками все шаманские заклинания наподобие того как русские священники хранят все тангитанские заклинания в обшитых кожей священных книгах.

Понемногу Теневиль с его значками оставили в покое — никому он вреда не делал, никому не досаждал.

Неожиданный приезд дальней родственницы Милюнэ надо было запечатлеть на особом листочке, куда Теневиль записывал все примечательные события. Правда, значков было маловато, чтобы рассказать обо всем, что претерпела Милюнэ на пути в стойбище.

В Голодном стойбище издавна селились малооленные, а то и вообще потерявшие свои стада. Люди занимались рыбной ловлей, вялили кету, кислили в ямах улов для собачьего корма, в зимнее время ставили капканы на песца и лисицу. Каждую зиму вымирали целыми семьями от голода и болезней. Прошлой осенью скончались брат и мать Милюнэ, оставив ее круглой сиротой. А виной тому было то, что рыба перестала доходить до Голодного стойбища. Двое владель-

цев больших сетей японец Сооне и русский промышленник Грушецкий перегородили Анадырь и стали брать всю рыбу себе. Жители Маркова и других селений пытались было жаловаться, но слова их не были услышаны властями.

В поисках еды и родичей пустилась Милюнэ в тундру, в стойбище Армагиргина, в ярангу Теневиля и Раулены.

Теневиля посматривал на девушку и дивился, как при голодной и трудной жизни смогла она сберечь такую красоту и добрую улыбку.

За те немногие дни, как Милюнэ поселилась в стойбище, многие парни заметили девушку... Да и не только парни.

Милюнэ и Раулена вполголоса переговаривались у костра, обсуждая свои женские дела, а Теневиля пытался изобразить историю девушки на берегу голодной реки Анадырь. Все они — и Теневиля, и Раулена, и Милюнэ — были людьми одного рода, и предки их жили в долине тихой реки Танюрер.

На миг свет в распахнутой двери померк, и в проеме возник странно одетый человек.

— Како! — сказал в удивлении Теневиля.

— Кыкэ! — в один голос воскликнули женщины.

— Это я, — громко сказал Армагиргин, и все тотчас узнали не только его голос, но и его самого в рваном мундире, обвешанном позеленевшими металлическими пуговицами и круглыми плоскими железками.

Он прошел в глубину чоттагина и важно опустился на оленью шкуру.

Армагиргин оглядел женщин и, задержав взгляд на Милюнэ, произнес:

— Раулена да Милюнэ — родичи пушистых грызунов...

Трудно было уразуметь, какой таинственный смысл крылся в этом выражении, и обитатели яранги промолчали.

— Я говорю вам, — продолжал Армагиргин после некоторого молчания, — что имена ваши от грызунов....

Опять же никто ничего не понял, и в молчании лишь шелестела бумага, которую Теневиля складывал.

— Откуда у тебя чайная бумага? — подозрительно спросил Армагиргин. — Чай в стойбище нет, опивки старые заваривают.

— Милюнэ немного принесла, — ответил Теневиля.

— Можем угостить, — услужливо сказала Раулена, — только что заварила.

— Так, значит, и живете, — сердито заметил Армагиргин, — хозяин опивками довольствуется, а вы настоящий крепкий чай пьете..

— Только одна пачка и была, — виновато сказал Теневиля, — делиться нечем...

Странное чувство было у пастуха к своему хозяину. Он уважал старика, в душе даже побаивался, но часто разум затуманивался гневом и презрением, особенно когда Армагиргин несправедливо обижал кого-нибудь из жителей стойбища, лишая свежего мяса, новых шкур для кухляни.

— Помнить надо старинный обычай, — наставительно произнес Армагиргин, — коли что появилось — первым делом с хозяином надо делиться... А тебе особливо, ты совсем безоглаженный и только по милости моей живешь в стойбище. Помнить должен. И пришел я к тебе при знаках власти, чтобы напомнить тебе, кто я такой, в какой силе обретаюсь...

Армагиргин говорил и боком высматривал, какое впечатление производят его слова на Милюнэ. Какая девушка! И откуда такие

появляются в нищете да грязи? Вот так и бывает. Другой раз бредешь по тундре, где вроде бы ничего не должно быть, и вдруг попадается тебе на пути цветок, да такой прекрасный, что остановишься и духу не можешь перевести от восхищения... Кажется, еще мудрый Эль-Эль говорил, что молодая женщина старому телу дает новые силы.

Теневиль быстро спрятал исписанный листок. Что он мог возразить Армагиргину? Его правда — нет у Теневиля своих оленей, нет жизненной опоры... Не будь милостив хозяин, глотать бы ему сухую иколу на берегу голодной реки...

Армагиргин принял из рук Раулены большую фарфоровую чашку, оплетенную проволокой, чтобы не развалилась на куски, и шумно втянул в себя пахучий напиток. Да, только дурная веселящая вода может сравниться с крепким, наваристым чаем.

Милюнэ ловила на себе цепкий, будто царапающий взгляд Армагиргина и с тоской понимала значение его жадных, ищущих глаз. Ей казалось, что она бежит по ледяной реке, преследуемая голодным волком, ноги уже не идут, подгибаются от слабости, а волк все ближе и ближе, уже слышно его тяжелое, зловонное дыхание... Она собирала остатки сил и вырывалась вперед, уходя на несколько шагов от преследователя.

Армагиргин пил чай, оглядывая чоттагин со скудной утварью и все же чувствовал нечто вроде зависти к Теневилу. Он дивился этому чувству: ну чего завидовать тому, у которого ничего нет? Может, он завидует его молодости, беспечности, а более тому, что в его яранге две молодые женщины?

Армагиргин подставил опорожненную чашку.

— Однако что будешь делать с женщиной? — спросил он.

— С какой женщиной? — не понял Теневиль.

— С пришедшей.

— С Милюнэ?

Армагиргин молча кивнул.

— Пусть живет у меня, — сказал Теневиль.

— Второй женой берешь? — усмехнулся Армагиргин.

— Рад был бы, но пуста моя яранга, оленей своих не имею, — ответил Теневиль.

— Об этом я и толкую тебе, — сказал Армагиргин. — Что зря женщине пропадать? Пусть перебирается в мою ярангу... Будет мне новой женой...

Армагиргин расправил грудь, и в отблеске костра сверкнули зеленые от старости медали.

— Отчего ты не радуешься? — весело спросил он Милюнэ.

Женщина молчала, и в это мгновение она и впрямь напоминала испуганного, затравленного волком зайчонка.

— Такое счастье приходит человеку не каждый день, — продолжал Армагиргин, чуя невысказанное сопротивление и неодобрение и со стороны Теневиля. — Войдя в мою ярангу, ты сделаешь своего родовича Теневиля и моим родственником. Появятся у него олени, станет он владельцем стада, и никто его не будет больше попрекать бедностью... Торговать будет с Черепакком, а может, даже и с самим Малковым, много у него будет бумаги от чайных и табачных оберток для забавы... — Армагиргин не сдержался и сам усмехнулся своей речи. — Ну, что молчишь?

Встал, подошел к девушке и положил ей руку на плечо.

Он ощутил дрожь и сдержанное рыдание.

— Поплачь, поплачь, это бывает, — ласково произнес Армагиргин. — Так было и с первой моей женой и со второй, Гуваной. — Армагиргин поправил на поясе кортик и попросил еще чаю.

Пока он пил, Милюнэ всхлипывала все громче и громче, пока не заплакала в полный голос, заставив насторожиться спящих в чоттагине собак.

— Теневиль, не отдавай меня этому старику... Не хочу к нему... Буду тебе верной рабой, лучше ты меня возьми себе второй женой...

Армагиргин был так удивлен, что даже отставил чашку с чаем и повернул голову в сторону плачущей.

— Неразумное говоришь,— увещевая, заметил он.—Теневиль еле себя с женой может прокормить, на что ты ему — второй женой?

— Пусть буду голодная...

— У меня будешь сытая, кэркэр⁴ сошьешь себе из тонкой шкуры осеннего убоа...

— Ничего мне не надо...

Армагиргин залпом допил остывший чай и резко сказал:

— Довольно плакать, идем!

Милюнэ подняла полные слез глаза и умоляюще посмотрела на Теневиля. Потом перевела взгляд на Раулену, застывшую у костра.

— Теневиль, что ты молчишь? — услышал Теневиль голос жены.

Слушая разговор, Теневиль видел, как дрожала Милюнэ всем телом, напоминая испуганного звереныша, и жалость охватила его.

Он решительно встал между Милюнэ и Армагиргином.

— Не пойдет она за тебя!

Армагиргин, не ожидавший такого, удивленно посмотрел на пастуха. Как он осмелился сказать это?

— Видно, ты весь свой разум потратил на пустое придумывание значков, похожих на вошкины следы... Я сказал, что Милюнэ будет жить в моей яранге,— так и будет... Идем, женщина!

— Она не пойдет,— повторил Теневиль.

Он старался говорить спокойно, пряча выползающий страх. Еще сегодня утром он и думать не посмел бы так разговаривать с хозяином стойбища. И вдруг что-то нашло на него, чего он и сам боялся. Но дороги назад уже не было. Это все равно как перепрыгнул через пропасть, а обратно уже не решаешься...

— Ах ты безоленный мышеед! — закричал Армагиргин.— Да я тебя выгоню из моего стойбища, и пропадешь ты с голоду и холоду в тундре! Мэркырчгыргын!⁵

Армагиргин замахнулся и ударил бы Теневиля, если бы с легким треском не распозлся мундир, дарованный от имени его величества якутским генерал-губернатором. Остатки его упали к ногам, прямо на земляной пол с желтыми ледяными пятнышками собачьей мочи. Под мундиром у Армагиргина ничего не было, и он оказался голым по пояс перед двумя испуганными женщинами и Теневилем. Видно, одеяние многое значит для человека. Вместе с мундиром с Армагиргина спала вся его сила и смелость, и он почувствовал, что не взять ему сейчас этой женщины, как и то, что пастух Теневиль одержал над ним верх.

— Мэй! Мэй! — послышалось снаружи яранги.— Черепак приехал!

Армагиргин сгреб со стены яранги вывешенную для просушки камлейку⁶ Теневиля, торопливо напялил на себя, подхватил лохмотья мундира и выскочил из яранги.

⁴ Женский меховой комбинезон.

⁵ Чукотское ругательство.

⁶ Верхний балахон из ткани или оленьей замши для защиты от снега меховой одежды.

— Спасибо тебе, Теневиль,— сквозь слезы поблагодарила спасителя Милюнэ.

— Худо нам теперь будет,— пробормотал Теневиль.— Хозяин обиду хорошо помнит... И тебя все равно не оставит в покое.

— Что же делать? — тихо спросила Милюнэ.

— Уезжай отсюда, если и вправду не хочешь становиться третьей женой Армагиргина.

— Куда ехать?

— В Маринский пост,— ответил Теневиль.— Там много народу. Живут не больно богато, но еда всегда есть. На прибрежной тундре поставил года три назад ярангу мой двоюродный брат Тымнэро. Пока у него поживешь.

Милюнэ в знак согласия низко наклонила голову.

— А вы здесь как будете жить?

— Худо будет, тоже переберемся на пост,— ответил Теневиль.— Видно, никогда больше не будет у меня своих оленей. Да и на посту много грамотного народу. Может, удача выпадет — узнаем тангитанский письменный разговор, а уж через него улучшим наш чукотский... Не горюй, Милюнэ, надо жить, раз мы появились на свет...

Модест Черепахин торговал с чукчами просто и понятно: осенью он получал закупленные во Владивостоке и в Номе товары и тут же раздавал тундровым чукчам и береговым рыбакам в кредит. Людям не надо было думать, где взять песцовые и лисьи шкурки, пыжики и выпоротки⁷ — все потом, когда будет... В несколько дней Модест Черепахин избавлялся от своих товаров и, посмеиваясь, смотрел, как купец первой гильдии Малков утепляет свои склады, нанимал сторожей, заводил какие-то специальные договоры-обязательства. Конечно, у Малкова размах поболее, чем у Черепахина, однако же фельдшер в иные годы прибыл куда куда как гуще, нежели купец. Черепахин завел отличную собачью упряжку, нанял в каюры Ивашку Рольтыта, хорошего собачника и знатока тундры, и с установлением санного пути объезжал верховья реки Анадырь, имея на нарте несколько железных канистр с дурной веселящей водой да немного табака для угощения. Куда бы ни приехал Черепахин — повсюду у него были должники, повсюду он чувствовал себя не столько желанным гостем, сколько хозяином.

Свободными от долгов были несколько владельцев стад, таких, как Армагиргин. Но и с ними бывший фельдшер умел ладить: привозил им подарки, не требуя отдарка, поил до посинения и всячески подчеркивал дружеское к ним расположение.

Черепахин уже был здесь в пору долгих зимних ночей, забрал пушнину и умчался на быстроходных собаках обратно в Марково, опасаясь долгой зимней пурги.

Нынешний его приезд был неурочен, и Армагиргин издали пылливо разглядывал упряжку и ее хозяина в полосатой яркой матерчатой камлейке, стоящего возле собак и груженной нарты.

— Здорово, ваше величество! — крикнул еще издали Черепахин.

Армагиргин начинал с годами догадываться, что в таком обращении более насмешки, нежели уважительности, но уже привык, и в ответ, как это водилось, задал обычный свой вопрос:

— Как поживает мой брат Николай?

— Худо с твоим братом,— мрачно отвечал Черепахин, входя следом за Армагиргином в ярангу.

— Заболел? — с сочувствием спросил Армагиргин.

⁷ Выпороток — сорт оленьей шкуры.

— Хуже...

Армагиргин вспомнил разговоры о большой драке с ружьями и пушками между тангитанами и решил:

— На войне погиб?

— Если бы так,— с прежней мрачностью процедил сквозь зубы Черепяхин.— Скинули царя, нету его больше у российского народа...

— Как — скинули? — растерянно пробормотал Армагиргин.— Кто же осмелился?

Армагиргин почему-то представлял Солнечного владыку, российского царя, восседающим на высоком золоченом сиденье. Выходит, нашлись такие злые люди, которые взяли да и стащили его оттуда.

— Как же это случилось? — бормотал в недоумении Армагиргин.— Что же будет? Как вы, русские, будете жить без власти? Это мы, чукчи, привыкли вольно, а вы?

— Нынче и у нас будет воля, народная власть,— туманно пояснил Черепяхин.— В Петрограде власть перешла к Временному правительству...

Армагиргин никак не мог уразуметь новость. Он только почему-то видел у подножия российского трона — золоченого сиденья — множество Теневилей, что-то выкрикивающих, размахивающих пестрыми чайными обертками...

— Бедный мой брат! — сочувственно произнес Армагиргин и с удивлением ощутил, как по его щеке покатились слезинки.

Глава вторая

Пост Ново-Мариинск (старое название города Анадыря), являвшийся центром всей Анадырской округи, насчитывал несколько десятков построек. Население поселка в основном было русское. Но проживало также несколько десятков семей чукчей, чуванцев, камчадалов, занимавшихся главным образом охотой, рыбной ловлей, каюрьством — извозом...

Н. А. Жихарев, «В борьбе за Советы на Чукотке». Магадан. 1958.

Две высокие металлические мачты, поставленные на прибрежном тундровом холме Анадырского лимана, придали облику Ново-Мариинского поста новый вид. И откуда бы ни приближался путник — с верховьев ли реки, с моря или из-за одинокого скалистого острова Алюмка, торчащего посередине лимана, он видел эти ажурные мачты, вознесенные в небо, еще более подчеркивающие убожество анадырских жилищ — врытых в землю домишек и нескольких яранг на возвышенном дернистом берегу, неподалеку от русского кладбища с покосившимися крестами.

Поселение разделяла тундровая речка Казачка, берущая начало у подножия горы Святого Дионисия к югу от Анадырского лимана.

Радиомачты были поставлены Российско-американской компанией по сооружению всемирной телеграфной линии через Америку, Берингов пролив, Азию — в Европу. После успешной прокладки подводного кабеля по дну Атлантического океана надобность в постройке трансасиатской телеграфной линии отпала, но в память об этом великом проекте кое-где на северо-востоке остались вот такие мачты и серые бетонные строения для аппаратуры и жилья обслуживающего персонала.

И мачты и эти низкие бетонные коробки вызывали у анадырских чукчей боязливое любопытство: с их помощью черный, заросший до ушей тангитан Асаевич ловил слова. Лишь единственному из чук-

чей — Тымнэро доводилось входить внутрь радиостанции, и он долго помнил охвативший его затаенный страх в полумраке, испещренном разноцветными мигающими огоньками, какие-то ручки, мерцающие круги из блестящей красной меди, тонкий птичий писк, словно в большом деревянном ящике в неволе держали сказочную птицу-проводницу.

Тымнэро возил на радиостанцию уголь с другого берега Анадыря, из копей, где в подземелье рублили горячий камень для отопления домишек Ново-Мариинского поста.

Вот и сегодня он поднялся спозаранку, благо дни были уже долгие, снарядил нарту и по наезженной колее пересек скованный льдом лиман. В копиях с помощью сонного охранника погрузил три мешка угля и пустился в обратный путь.

Над Ново-Мариинским постом висело низкое облако черного угольного дыма, хорошо заметное со льда Анадырского лимана. Жители деревянных домишек не торопились вставать: купеческие лавки открывались не ранее полудня, а уездное правление, располагавшееся в большом доме у самого устья реки Казачки, в иные дни вообще оставалось под замком; особо срочных дел у его начальника Царегородцева не было. Так же редко посещал присутственное место секретарь, который больше сидел за картами у Ивана Тренева, местного коммерсанта, которого знали от Ново-Мариинского поста до далекого Узлена. У Тренева был просторный дом, занесенный по самую крышу снегом. По вечерам здесь собирались картежники уездного центра и под водочку и строганину⁸ из жирного белого жира гоняли пульку до того часу, пока не тускнели сполохи полярного сияния, предвещающая наступление нового темного зимнего дня. Туда заглаживал и телеграфист Асаевич, прозываемый за глаза анадырцами обезьяной.

Тымнэро держал путь на высокие мачты. На душе против зимней мрачности было куда светлее: худо-бедно, а зима оставалась позади, солнце вырвалось из-за горизонта и уже с каждым днем поднимается выше и выше. По кромке крыши уездного правления уже народились еле заметные сосульки.

Трудно было в этом году. Рыбы наловили едва-едва. Того, что оставалось в кислых ямах, едва ли хватит до новой путины. От мыса Обсервации до Второй бухты протянули невода Сооне и Грушецкий, перегородив реку. Остальным досталось лишь то немногое, что миновало эти сети...

В верховье вовсе ничего не попадало. Всю зиму голодали тамошние жители, мерли как мухи. Иные бросали яранги и подавались к кочевникам: там хоть изредка перепадал кусок старой жилистой оленины. Худо стало жить чукотскому народу на собственной земле. Год от году все голоднее, нищета такая, что иные анадырские соплеменники Тымнэро часто копались вместе с собаками на тангитанских помойках. Гордость свою начисто утратили... Да и какая гордость, если есть хочется. Тымнэро вспомнил своих детишек — мальчонку и девочку, совсем еще крохотных. Девочка, та постарше, а сынок, которого так долго ждали, еще грудь сосет... Мысли о детях согрели Тымнэро.

Тяжело груженная нарта пересекла гряду прибрежных торосов, поднялась на материковый берег и проехала мимо дома уездного правления. Переводчик из чуванского рода Колька Кулиновский очищал от снега крыльцо.

— Амын ети, паря! — приветствовал он Тымнэро. — Ойнако, мольч, погодка доспелась нонче...

⁸ Стрoгaннa — мороженая рыба, наструганная ножом.

Кулиновский говорил на старинном анадырском наречии, и смысл его слов был таков: здорово, парень... погода хорошая установилась.

Чукча Тымнэро и этот русский язык едва понимал, а из настоящего русского разговора едва доходили до него лишь отдельные слова.

Он по-чукотски ответил Кулиновскому:

— И впрямь погода хорошая. Надо бы на кромку съездить, может, нерпа вылегла на солнышко.

— Добудешь нерпу, угости свежатиной,— напросился Кулиновский, который, несмотря на близость к уездному начальству, жил бедно и не брезговал куском мяса у чукотских охотников.

Тымнэро впрягся вместе с собаками и потащил нарту с углем вверх по косогору, к радиостанции.

На Казачке у проруби толпились анадырские бабы, судачили, звенели ведрами. Был отлив, и вода в реке стала пресная, надо запастись до прилива, нагоняющего в речку соленую воду.

Нарта выбралась на ровное место, и Тымнэро, усевшись верхом на угольный мешок, подъехал к радиостанции.

Похоже, что Асаевич уже был на месте.

Тымнэро толкнул обитую облезлыми оленьими шкурами дверь. В доме было тепло. По утверждению радиста, аппараты для ловли слов боялись холода. В комнате стояла большая кирпичная печь, выбеленная белой глиной, и поменьше, сделанная из железной полубочки. Асаевич держал ее раскаленной докрасна и ставил на нее чайник с оббитой, словно пораженной чесоткой эмалью.

Асаевич сидел возле аппарата, спиной к двери и неотрывно смотрел на ползущую из аппарата бумажную ленту с точками и тире.

Тымнэро не впервые видел это, но привыкнуть не мог. Он с разинутым ртом смотрел на ползущую ленту, слушал постукивание телеграфного аппарата и вспоминал своего родича из стойбища Армагиргина Теневиля, вознамерившегося учинить письменную чукотскую речь. Как-то приезжал Теневиля в Ново-Мариинск, показывал значки и говорил, что придет такое время и чукотский разговор будет положен на бумагу, как и тангитанские языки... В пуржистые ночи он учил Тымнэро значкам, придвигаясь вплотную к чающему пламени мохового светильника. Удивительный парень!

Асаевич не слышал, как вошел Тымнэро.

Он машинально читал азбуку Морзе, точки и тире складывались в слова... «Ввиду отречения государя от престола... старое правительство низложено...» Вдруг что-то словно изнутри ударило Асаевича. Он схватил ленту, поднес к глазам, нашел начало и вполголоса стал читать: «Ввиду отречения государя от престола в пользу великого князя Михаила Александровича, который также отрекся, старое правительство низложено. Войска перешли на сторону нового правительства, образовавшегося из членов Думы, составившего Временный исполнительный комитет Государственной думы. Распоряжения его беспрекословно должны выполняться. По всем случаям, вызывающим сомнение, обращаться за разъяснением ко мне. Предлагаю поддерживать строгий порядок и спокойно и непрерывно продолжать работу».

За губернатора Чаплинский».

Асаевич дочитал телеграмму и дрожащими руками снял копию. Только после этого, вспотевший от волнения, растерянности и страха, он обернулся и увидел стоявшего в безмолвии каюра Тымнэро.

— Ты что подглядываешь, дикоплеший?

— Уголь варкын⁹,— ответил Тымнэро, привычный к такому обращению.

Тангитаны любили лаяться не хуже вздорных, никчемных собак, и Тымнэро давно научился не отзываться на это.

— Почему не постучался? Сколько раз тебе говорено? Да неужто вас ничему путному не обучить? Дикий и есть дикий, даром что человекье обличье имеешь...

— Три мешок уголь варкын,— спокойно продолжал Тымнэро.— Плата тавай, теньга тавай...

— Только и выучил «теньга тавай»,— передразнил Асаевич.— Деньги потом получишь. Ступай...

Тымнэро понял, что радист сейчас не расположен платить. И такое случалось с тангитанами — забывали заплатить, и если кто-то осмеливался напомнить, смеялись, а то и кулаком замахивались. Поэтому надо постараться получить плату немедленно.

Он стоял, загораживая дверь.

— Пошто застыл как торос? — взъярился на него радист.— Сказано, ступай!

Тымнэро не шелохнулся.

— Теньга тавай, плата тавай,— повторял он невозмутимо.

Телеграмма, лежащая в кармане Асаевича, словно бы прожигала ткань и напоминала о себе необычными, запретными сочетаниями слов, которые даже в мыслях никогда бы не посмел соединить в одну фразу анадырский радист: «Ввиду отречения государя от престола...»

Кому же отдать телеграмму? Начальник в отъезде... Или огласить всем? С кем бы посоветоваться?

— Ну что стал, идол? На тебе деньги!

Асаевич сунул в руку Тымнэро смятые бумажки и приказал:

— Отвезешь меня на нарте! Давай шевелись, дикоплеший!

На облегченных нартах мигом докатили до здания уездного правления. Кулиновский уже очистил от снега крыльцо и сидел на ступеньке, покуривая.

Двери по-прежнему были на запоре.

Асаевич потрогал стылый железный замок и поймал на себе насмешливый взгляд Кулиновского.

— Не пришли еще...— бормотал Асаевич, глядя вслед отъезжающей упряжке Тымнэро.

По улице селения двигался кто-то, закутанный в оленью шубу. Приглядевшись, Асаевич узнал Тренева, славившегося некоторой смелостью суждений среди верхушки Ново-Мариинского поста.

— Здорово, Асаевич, что такой хмурый? Плохие новости?

Асаевич замылся: Тренив — человек знающий. Поговаривали: в свое время пострадал от правительства. Какое-то темное дело было, да сам Тренив не любил об этом вспоминать. Он может дать дельный совет.

— Да... кое-что есть...— дрогнувшим голосом произнес Асаевич.

Тренив хищно потянул носом. По всему видать, какие-то важные новости получил радист. В этой скудной событиями жизни всякое слово, полученное по радио, ценилось высоко, начальник радиостанции почитался за лицо значительное и уважаемое. Надо быть осторожнее и постараться первому выведать о новостях.

— Ну, прощай, Асаевич, а я пошел чайком побаловаться со строганинкой. Вчера свежего чира прислали с реки Великой... А может, со мной пойдешь? Новости, наверно, не стоят того, чтобы пренебрегать душевным и телесным комфортом...

⁹ Уголь есть.

Тренев любил говорить изысканно.

— Пожалуй, пойду с вами, — как-то суетливо и судорожно сказал Асаевич, и Тренев понял, что радист «клюнул».

Тренев и Асаевич шли молча до самого дома в центральной части поселка, чуть ближе к морской стороне. Издали дом, занесенный снегом, почти не был виден. Откопаны были лишь два крохотных окошка, да сверху торчала железная обгорелая труба.

— Зиновьевна! — крикнул еще из сеней Тренев. — Гостя веду!

Агриппина Зиновьевна, жена Тренева, в засаленном китайском халате с драконами и какими-то экзотическими длиннохвостыми птицами, видно, только что встала. Она криво улыбнулась Асаевичу.

Тренев быстро прошел в другую комнату и вышел оттуда со стаканами и штофом водки.

— С морозцу!

Асаевич не заставил себя упрашивать. С того самого мгновения, как он двинулся вместе с Треневым от дома уездного правления, его не покидала мысль, что какая-то неведомая сила заставляет поступать совсем не так, как он привык. Вместо того, чтобы разбудить Оноприенко, секретаря правления, и отдать ему телеграмму, он идет в дом Тренева, человека сомнительного, с точки зрения властей...

Тренев только пригубил свой стакан, но тут же налил еще радисту.

— Погодите, — отстранил рукой стакан радист. — Такое дело...

Он покосился в сторону жены Тренева.

— Зиновьевна, выйди на минутку...

Женщина подняла удивленные глаза на мужа, на радиста, молча пожала плечами и медленно выплыла в спальню.

— Телеграмма пришла из Петропавловска, — запинаясь и захлебываясь словами, начал Асаевич, — царь отрекся от престола... великий князь тоже... образовано новое правительство...

— Так-так. — Лицо Тренева переменилось, он весь как-то напрягся, словно в его хилое и тощее тело вставили стальную пружину. — Дальше что?

— Вот читайте сами. — Асаевич подал Треневу телеграмму и неожиданно почувствовал странное облегчение, будто свалил с себя тяжкий груз.

Тренев быстро пробежал глазами телеграмму, повторяя:

— Так-так... Так-так... Никто не знает еще в Анадыре?

— Никто, — мотнул головой Асаевич.

— Никого не было на радиостанции?

— Никого! — решительно сказал Асаевич. — Хотя, постойте, этот чукча, который возит нам уголь... Тымнэро.

— Ну, он не в счет, — коротко сказал Тренев. — А теперь — обратно на радиостанцию! Станете слушаться — всю жизнь потом будете благодарить меня.

— Да? — как-то растерянно отозвался Асаевич.

— Именно! — сказал Тренев. — Могу пока только сказать, что восходит самая яркая звезда в вашей жизни.

— А им не стоит сообщать? — Асаевич неопределенно кивнул в сторону лимана.

— Совершенно ни к чему, — ответил Тренев. — Вы должны уразуметь — старого царского правительства больше нет. Пришло время демократических преобразований. Россия вступает в эру народоправства, свободы и твердой демократической власти...

— Как же теперь, а? — растерянно бормотал Асаевич, выходя из дома Тренева.

Агриппина Зиновьевна окликнула мужа.

Тренев поколебался, но взгляд жены был настойчив, и он все рассказал ей.

— Ванечка, что же будет? — тихо произнесла Агриппина Зиновьевна. — Вспомни Петербург девятьсот пятого!

— Теперь не то, — расправляя плечи, блестя загоревшимися глазами, ответил Тренев. — Царь сам отрекся от престола! Понимаешь, Груша, — сам! Новые времена начинаются, Агриппина Зиновьевна, наши времена!

И Иван Архипыч поспешил вслед за радистом.

Петр Каширин, золотоискатель, человек наблюдательный и трезвый, не мог взять в толк, отчего это Тренев и Асаевич почти что крадучись поднялись на радиостанцию.

Петр Каширин мог считать себя чукотским старожилом. В 1913 году он сошел с парохода на мыс Дежнева и поступил развозным приказчиком к торговцам Караевым.

Караевы не походили на остальных купцов, беззастенчиво обиравших и грабивших местное население.

— Петр Васильевич, — не раз говаривал старший Караев своему приказчику, — нет настоящего хозяина на этой благодатной земле. Не гляди, что тут льды да снега. Под ними лежат такие богатства, которые могут заставить расцвести и тундру. Мы берем нонче только что поверху лежит — пушнину. А настоящее процветание здешнего края заключено в недрах его. Американцы это поняли. Крупные капиталисты пушниной не занимаются. Дело это они отдали на откуп Свенсонам да Томсонам... Большая денга к большой денге идет: поэтому-то богатые американцы щедры, когда дело идет о чукотском золоте.

Мечтой российского купца Караева было избавление Чукотки от американских хищников-торговцев, от заокеанских золотоискателей, устройство хорошо налаженной промышленности — и пушной, и охотничьей, и горной, в которой бы работали и чукчи, и эскимосы, и чуванцы, и юкагиры.

— Дать грамоту этим людям, научить их ремеслам — да они такое чудо тут сотворят, какое господу богу присниться не могло!

На Чукотке в то время работали экспедиции предпринимателя Вонлярлярского, получившего совместно с американцами исключительные права на разведку и добычу золота и других полезных ископаемых.

Петр Каширин перешел от Караевых к ним. Искал золото. Довольно скоро прояснилось настоящее лицо главного попечителя дела — Вонлярлярского. Царское правительство вынуждено было начать следствие. Выявились крупные хищения. Золото от старателей скупалось по дешевке и отправлялось в Америку. В Петербург же шли донесения о крайней скудости природных богатств Чукотки и невыгодности дальнейшей разработки. Свидетелем по делу Вонлярлярского перед следственной комиссией выступил Петр Каширин.

В отместку за это Вонлярлярский не заплатил ему ни гроша за целый год работы.

Однако неутомимый Петр Каширин на свой страх и риск продолжал изыскания, памятуя рассуждения старшего Караева о будущем расцвете чукотской земли.

Летом 1915 года Петр Каширин вернулся из очередной поездки в верховья реки Волчьей. Он не скрывал своей радости, однако точно не называл места находок. Его звали на рыбалки Сооне и Грушецкого, где он мог неплохо заработать, потому что умел хорошо солить икру и кетовые жирные брюшки.

Каширин отказался от заманчивых предложений и на последние деньги отправил частную телеграмму на имя Приамурского генерал-губернатора Гондатти и в Иркутское горное управление с просьбой разрешить ему в лице новоучреждаемой компании Каширина-Стивенсона разработку золотоносных россыпей Анадырского уезда. Никто не ожидал, да и сам Каширин не сразу поверил, когда пришло телеграфное разрешение «допустить золотопромышленников Каширина и Стивенсона к разведкам золота, платины и полезных ископаемых, по статье 308 Устава горного на Чукотском полуострове».

Правительственная телеграмма произвела большой шум в сонном Ново-Мариинске. Начальник уезда Царегородцев вызвал Каширина и долго допытывался, кто стоит за его спиной, кем на самом деле является Стивенсон.

Джим Стивенсон... Горячая голова, мечтатель, заступник обиженных, учитель Каширина по золотоискательскому делу. Он взял под свое покровительство русского паренька и открыл ему великую тайну — месторождение золота за знаменитым Чилкутским перевалом на Аляске, в местах давно копанных и перекопанных. Ранней весной 1910 года Джим Стивенсон и Петр Каширин поднялись на Чилкутский перевал. Перед ними лежал снежный склон, а внизу расстилалась долина, широкая и вольная. Надо было спустить двое тяжело груженных саней. На них было увязано горное снаряжение, продовольствие, инструменты и взрывчатка. Первые сани спустили благополучно, а вторые сшибли с ног Стивенсона, проехали по нему и умчались вниз. На второй день у Стивенсона отнялись ноги. Весна отрезала обратный путь через Чилкутский перевал. Петр Каширин ловил рыбу, пытался охотиться, однако ни свежая уха, ни дичь уже не могли помочь Стивенсону. Каширин похоронил товарища в высоком сухом галечнике и соорудил над ним крест из полозьев саней.

В память о нем Петр Каширин прибавил к своей фамилии имя американского парня Стивенсона...

Узнав, что Стивенсона на белом свете не существует, Царегородцев разразился ругательствами:

— Холопская твоя рожа! Ишь, прикрылся иностранным именем — Стивенсон! Может, Стивенсону бы и дали концессию, но тебе... Кто ты такой?

— Русский я, — стараясь сдерживаться, отвечал Каширин. — Как русский человек и прошу предоставить право разведки и разработки подземных сокровищ Российского государства... Да, я не Стивенсон, но больно мне видеть, как вы с готовностью предоставляете преимущества иностранным купцам и промышленникам, а своим, исконно русским, чините всяческие препятствия.

— Пошел вон! Не хочу тебя слушать! А об этом, — Царегородцев помахал телеграммой перед носом Каширина, — можешь забыть навсегда!

Тут Каширин не сдержался.

— Продажные гады! За полушку готовы родную землю продать!

Присутствовавший при этом секретарь уездного правления Оноприенко и казак Кудрявцев схватили за руки Каширина и вытолкали из комнаты.

В тот же день в Петропавловск была отправлена телеграмма о нанесении оскорбления представителям законной власти Анадырского уезда.

Однако власти Анадырского уезда плохо знали Каширина. Он не утомился до тех пор, пока ему не разрешено было производить изыскания и старательство. Короткое северное лето недолго держало золотоискателя в тундре: все остальное время Каширин жил в Ана-

дыре, общался более с беднейшими обывателями, с чукчами и чуванцами. Зная чукотскую речь, он вмешивался в торговые сделки, уличал торговцев в надувательстве, писал жалобы за неграмотных, посылал письма губернатору и даже на высочайшее имя.

Царегородцев уже не мог слышать имени Каширина и только думал, как заставить его уехать из Ново-Мариинска. Однако повода высказать не находилось, а сам Каширин приобрел прочную репутацию защитника обездоленных.

Петр Каширин поглядел вслед вошедшим на радиостанцию Асаевичу и Трениву и поспешил в ярангу Тымнэро.

Шагал он широко, чем-то похожий на тундровика — то ли походкой, то ли крепко сбитой, плотной фигурой. Малахай был откинут, лицо, скуластое, широкое, открыто студеному ветру.

Не впервые Петр Каширин входил сюда. И каждый раз дивился, как может человек жить в такой нищете. В холодной части лежали собаки. От разохшихся бочек несло острой вонью. Шатер-крыша был составлен из лоскутков моржовой кожи, обрывков брезента, кусков жести и фанеры. В глубине чоттагина виднелась передняя стенка полога, сшитая из облезлых оленьих шкур, испещренных множеством проплешин и заплат. Подушкой служило длинное бревно-изголовье. Из полога торчали головки детей — мальчонки и девочки. Слезящимися глазками они с любопытством смотрели на тангитана и о чем-то перешептывались. Жена Тымнэро, облаченная в меховой кэркэр, вынесла из полога чайник и принялась разливать кипяток по плохо мытым чашкам. Каширин давно одолел брезгливость, мог спокойно жить в яранге, есть из длинного деревянного блюда, которое давали потом облизать собакам, пить чай из чашек и погрязнее, чем эти.

Каюр уже распряг собак и в задумчивости стоял перед жалкой кучкой замерзших прокисших кетин, соображая, как накормить ими свою небольшую, но прожорливую упряжку.

— На кромку льда пойти надо, — задумчиво сказал Тымнэро. — Может, нерпу добуду. Рыба кончится, собачкам придет конец.

— Да, без собаки худо чукотскому человеку, — посочувствовал Каширин. — Одна надежда нерпу добыть. Может, и я с тобой схожу к воде.

— Пойдем, может, двоим добудем! — обрадовался Тымнэро.

В дыры крыши пробивались солнечные лучи, и множество солнечных зайчиков было рассыпано по грязному земляному полу с замерзшими лужицами собачьей мочи, оленьей шерстью, обглоданными костями.

— Что летом будешь делать? — спросил Каширин. — Может, подашься со мной на Волчью? Глядишь, заработаешь на домик и поставишь настоящее человеческое жилье..

Тымнэро отрицательно покачал головой.

— Чем плоха яранга? Главное, чтобы горели жирники, чтобы было тепло да еда.

— Скромное, однако, у тебя желание, — задумчиво произнес Каширин. — Что там случилось на радиостанции? Асаевич и Тренив забегали, как потревоженные тараканы.

— Какая-нибудь новость, — равнодушно ответил Тымнэро, прихлебывая горячий кипяток. — Скажи, могу я купить плитку чаю на вот это?

Тымнэро показал деньги.

— Полплитки дадут.

— Значит, сегодня хорошего, настоящего чаю попьем, — обрадованно сказала жена Тымнэро. — Приходи, Каширин, угостим.

— Приду, — быстро согласился Каширин, продолжая думать о

странном поведении радиста и Тренева.— А как твой родич, все изобретает письменность?

— Давно не было вестей от Теневиля,— ответил Тымнэро.— Однако не на чем ему чертить. Бумаги нет.

— Пошлем ему бумаги, пусть старается парень,— пообещал Каширин.— Ты понимаешь то, что он пишет?

— Немного понимаю,— ответил Тымнэро и достал откуда-то из глубины чоттагина гладко оструганную дощечку. Поднеся под солнечный луч, Тымнэро показал ряды значков.

— Здесь давние вести,— сказал Тымнэро.— Нерадостные вести. Вот видишь, олень лежит? Копытка была, подошли олени. Хозяин сильно сердился, бил Теневиля. От битья сильно болела голова. А вот дальше вести повеселее — сука оценилась, прибавилось в упряжке собак. Когда-нибудь собирается приехать и навестить меня здесь в Ново-Мариинске.

Каширин легко прочитал или догадался о знаке, обозначающем Ново-Мариинск — на дощечке были выцарапаны изображения железных мачт радиостанции.

— Надо же! — с нескрываемым изумлением произнес Каширин.— А что, придет время и собственная грамота будет у чукчей.

— Коо,— с сомнением произнес Тымнэро.

Послышался скрип снега, и в чоттагин вошли Асаевич и Трнев. Они не ожидали застать здесь Каширина и в замешательстве остановились в дверях.

— Еттык,— с удивлением и растерянностью произнес Тымнэро: эти люди никогда не входили в чукотские жилища.

Испуганные ребяташки скрылись в пологе. Туда же юркнула жена Тымнэро. Неожиданный приход тангитанов не предвещал ничего хорошего.

— Упряжка готова? — спросил Трнев.

— Запрячь недолго,— ответил Тымнэро.— Однако собачки устали, отдохнуть хотят.

Трнев еще раз глянул на Каширина и сказал:

— Дело государственной важности. Надо поехать в угольные копи и позвать людей на сход.

— Что же случилось, господа хорошие? — с насмешкой спросил Каширин.— Россия германца победила? Или миром покончили войну?

— Его величество Николай Второй отрекся от престола,— строго сказал Трнев.

— Шутишь? — Глаза Каширина широко раскрылись от удивления. Любой новости он ожидал, но такую...

— Истинно так.— Асаевич в знак доказательства перекрестился.

Тымнэро прислушивался к незнакомым словам, переводя пытливый взгляд с одного тангитана на другого, с того на третьего...

— Слышь, Тымнэро,— обернулся к нему Каширин,— царь-то наш, Солнечный владыка, с трона того... сошел...

— Навсегда? — с изумлением спросил Тымнэро.— Чего это он? Ослаб?

— Похоже, что ослаб,— согласился с ним Каширин.

Трнев строго глянул на Каширина и процедил сквозь зубы:

— Дикарю-то знать это ни к чему, все равно не поймет... До поры до времени нет смысла широко оповещать об этом население. Надо создать Комитет общественного спасения, охранять порядок, чтобы не было погромов, насилий, грабежей.

— Уж хуже того, что было, навряд ли будет,— заметил Каширин, еще не пришедший в себя от такой новости.— Какая же власть в России нынче? Неужто германца кайзера?

— Власть в Петрограде перешла в руки Временного правительства, — сообщил Тренев. — Самодержавие пало, управление государством переходит в руки энергичных, понимающих людей...

— Уж не к тебе ли? — насмешливо спросил Каширин.

— Кого изберут уполномоченные, — солидно ответил Тренев. — Вот для этого и нужно собрать сход... Давай, Тымнэро, запрягай собак и поезжай на тот берег. Передашь вот эту бумагу управляющему копиями.

Пришлось Тымнэро снова собираться на тот берег.

Кулиновский затопил печи в уездном правлении, отомкнутом по настоянию Тренева. Коммерсант успел нацепить на рукав красную тряпицу и выглядел необыкновенно важным.

Анадырский народ сходился в уездное правление, заполняя большую комнату. Уже некуда было протиснуться, а люди все прибывали, напирали на тех, кто был в комнате, гаддели.

— Верно ли, что царь приехал в Петропавловск и оттуда дал телеграмму? — спрашивал широкоплечий шахтер в облезлой оленьей кухлянке.

— Кака телеграмма? — отвечал рыбак Ермачков, мужичок неопределенного возраста, со сморщенным лицом. — Преставился ампирактор, нового будут выбирать...

— А наследник?

— И наследник отперся от престола... Не хочет царствовать. Отказывается.

— Чего он так доспел? Сдурел, однако... Кто ж добровольно от царства отказывается? Что-то напутал радист. Не пьян ли был, когда слушал-то?

— Тверезый, кажись... Шибко пуганый только. Вона руки как дрожат.

Подталкиваемый Треневым, Асаевич встал на табуретку, держа в руках бумагу с расшифрованным телеграфным текстом.

— Господа!

— Не господа, а граждане! — подсказал Тренев.

— Граждане Анадырского уезда! — Асаевич откашлялся. — Телеграфно сообщено следующее...

Притихшая толпа внимательно выслушала телеграмму, подписанную Чаплинским, а за ней другую — уже от имени Петропавловского комитета общественного спасения, в которой предлагалось избрать такого же рода комитет и в Анадырском уезде.

Каширину удалось пробиться в первые ряды, и золотоискатель с волнением прослушал содержание телеграммы.

Слово взял Тренев:

— Комитет общественного спасения будет осуществлять полноту власти в уезде, согласуя действия с Временным правительством в Петрограде, с правительством демократического большинства. Самодержавие пало, да здравствует конституция!

Многие не поняли последнего слова и загалдели, требуя объяснения.

— Конституция — это правление без царя, — пояснил Тренев. — Граждане, просим высказать свои предложения по составу комитета.

Каширин протолкнулся вперед, отстранил секретаря Оноприенко и крикнул:

— Граждане анадырцы! Есть такое соображение — власть-то чья? Народная! Народ-то он разный. У одних, значит, и сети и рыбалки, у других ничего, кроме старательского лотка. И еще — как местный народ? Будет ли он к новой власти причастен или же нет?

— Понятие народа — понятие демократическое, — принялся объяснять Тренев. — Народ включает в себя представителей всех сословий, но могущих нести ответственность за безопасность населения, печься о благе и иметь соображение...

— Ты говори прямо, Тренев, не юли, — тихо, но внятно попросил его Каширин.

— Местное население по причине крайней дикости, невежеству и склонности к пьянству не может быть привлечено к управлению краем...

— Посмотришь вокруг — одни трезвенники, — зло заметил Каширин.

Начали выкликать имена будущих членов комитета.

Первым был назван Асаевич. Видно, телеграммы, которые он принимал, неожиданно повысили его авторитет.

Тренев, примостившись у края стола, записывал фамилии.

Рыбак Ермачков выкликнул:

— Петра Каширина в комитет!

— И то верно! — поддержали шахтеры с угольных копей. — Пошто только купцов да чиновников в комитет?

— Граждане анадырцы! — поднял ладонь Иван Тренев. — Комитет — переходный. Главная задача — охрана порядка, нормальной жизни, недопущение грабежей и всяких вольностей.

Он внимательно оглядел присутствующих. Откуда нашли эти оборванцы? Против ожидания, несмотря на дальнюю ледовую дорогу через Анадырский лиман, пришло довольно много шахтеров. Поколебавшись, сказал:

— От трудящегося сословия предлагается Петр Васильевич Каширин.

Кроме Каширина, в комитет прошли делопроизводитель уездного полицейского управления Мишин, Иван Тренев, промышленник Бессекерский и еще несколько человек. Уездным комиссаром после долгих споров был избран Матвей Станчиковский, бывший помощник начальника полицейского управления.

Возбужденные, но несколько растерянные расходились по домам жители Ново-Мариинского поста.

— Неизвестно, что еще будет, — произнес Ермачков. — А может, радист все наврал? Кто знает, может, словеса эти в пургу попали да перемешались, всяко бывает...

В мартовской светлой ночи лишь громко скрипел снег под ногами торопившихся по своим домишкам, а за лиманом, в отрогах Золотого хребта, нарождался новый день.

Начальник Анадырского уезда Царегородцев подъезжал к Ново-Мариинску со стороны Туманского мыса. Каюр Иван Куркутский, имевший родичей и знакомых по всей тундре от Ново-Мариинского поста до Маркова, правил собаками и пел песню, в которой смешалось все — и радость по поводу возвращения домой, и прямые намеки на то, что высокий начальник будет щедр при расплате и поверх всего выдаст бутылку огненной дурной веселящей воды. Это еще больше разожжет любовь к начальству, к его величеству царю Николаю Второму, которого представляет на анадырской земле такой достойный и щедрый человек, мудро нареченный дальновидными родителями Царегородцевым.

Царегородцев, намерзшийся и предельно уставший за долгую поездку, нагледевший на нищету и грязь, испытывал не меньшую радость по поводу возвращения, предвкушая горячую баню, чистую теплую постель и жаркое тело своей благоверной.

Сердце и душа таяли при этих мыслях, и он, прервав песню каюра, громко сказал:

— Ладно, Ваня, будет тебе бутылка...

— Спасибо, вот спасибо! — Каюр обернулся на пассажира. — Я всегда думал, что ты широкий человек и душа твоя щедрая... Да не обойдет тебя милостью своей бог...

Куркутский перекрестился, не снимая оленьей рукавицы.

— Скажи, Ваня. — Царегородцев переменял позу на нарте, стараясь найти удобное место на мерзлых рыбаках собачьего корма. — Какого же роду-племени ты человек? По наружности ты вроде бы на чукчу похож, но крестишься, да и по-русски похоже говоришь...

— Верноподданный его ампирасторского величества, — быстро ответил каюр, — слуга царю и православной церкви...

— Да не об этом речь, — нетерпеливо сказал Царегородцев, — я спрашиваю про породу вашу. Язык ваш вроде бы русский, но черт знает чего вы туда понаехали... Будто бы российский говор, а понять ни хрена нельзя. Да и обличье ваше... Иной раз поглядишь — дикарь дикарем, а в другом виде вроде бы русские. Одно утешение — бабы ваши больно красивы да ласковы.

— Это верно, — крикнул Куркутский. — Бабы наши, мольч, скусные...

— И что это за словечко «мольч», которое вы суете куда попало в речь?

— Будет твоя воля, скажу землякам, чтоб «мольч» этого не говорили, — обещал Куркутский. — А порода наша российская. Происходим мы с дальних веков от Дежнева да Анкудинова и их верных сопутников, которые первыми пришли на чукотскую землю. Да с тех времен много лет прошло, порода оскудела да поразбавилась другой кровью — юкагирской, ламутской и чукотской. И речь наша замусорилась разными дикоплешими словесами...

— И это слово «дикоплеший»... — снова заметил Царегородцев.

— Оно-то ничего, это слово, — слегка возразил Куркутский, — пусть живет.

Во время своей поездки Царегородцев понял, что исконно богатые чукчи, владельцы оленьих стад в тундре и байдарочные хозяева в прибрежных селениях, не то что свысока относились к Куркутскому, но посмеивались втихомолку над его и русской и чукотской речью.

В свою очередь, Куркутский не упускал случая подчеркнуть принадлежность к чуванскому роду, свое отличие от чукчей. Он громко ругал грязь в ярангах, неопрятность пищи, и в такой речи слово «дикоплеший» использовалось им вовсю.

Царегородцев добрался до Хатырки, убедился в правильности донесений о том, что в этих местах хозяйничали американские и японские скупщики пушнины, обирая коряков и чукчей. Японские рыболовы перегораживали реки, закрывая доступ кете в нерестилища, к чукчам, жившим в верховьях рек.

Положение края предстало ужасным: болезни, нищета, невежество, а у многих было какое-то странное безразличие к жизни. Иные чукчи, отчаявшись, кончали жизнь, увлекая «в путешествие через облака» всех своих домочадцев, малых детей и глубоких стариков.

Поездка не на шутку напугала Царегородцева, и он решил, вернувшись в Ново-Мариинск, немедленно подать прошение об отставке. Надо возвращаться в Россию, в привычную жизнь. Поселиться где-нибудь в маленьком городке средней России в чистеньком доме, где печи отапливаются не этим вонючим углем, а жаркими березовыми дровами, где по утрам слуга подает тебе настоящий кофе со

сливками, горячие булочки, а на сковородке шкворчит янтарная яичница... И никаких тебе дикарей, изнуряющего бесконечного холода, который, казалось, навеки сковал эту неласковую, богом забытую землю, обезумевших от беспробудного пьянства чиновников и алчных купцов, начисто лишившихся приличного вида представителей цивилизованного мира.

И еще — отсутствие газет... Невозможно понять, что творится в России. Победные телеграфные реляции об успехах на германском фронте и тут же — сообщения американского радио об измене, о предательстве. Намеки на существование сильного антиправительственного заговора, создание каких-то непонятных, несвойственных, как полагал Царегородцев, для института самодержавия учреждений вроде Государственной думы...

Справа, на льду лимана, показалась Алюмка — одинокий остров, круто возвышающийся над торосами.

Еще один поворот, низкий мыс, и на бледном вечернем мартовском небе показались ажурные мачты анадырской радиостанции.

Куркутский почмокал губами.

Ему тоже не терпелось домой, в жарко натопленную избу за речкой Казачкой. Он уже до мелочей продумал свое возвращение. Отвезет пассажира к его дому. Сдаст на руки обрадованной жене, получит свою бутылку и направит упряжку за реку. Пока будет ехать через весь Ново-Мариинск, дома уже будет знать о его возвращении. Жена поставит варить юхалу¹⁰, а может, и пельмени будут, ежели мука не кончилась... Покормит Куркутский собак, уберет на крышу нарту и войдет в дом. Намучался в ярангах да в брезентовой палатке. На бутылку можно Анемподиста Парфентьева позвать. Тоже чуванского роду мужик, расскажет все новости.

Собаки почуяли жильё: за кладбищем уже виднелись яранги.

Возле своей яранги Тымнэро окликнул путников:

— Какомэй, никак Куркут?

— Это я, верно доспел, — отозвался Куркутский.

Ему недосуг было разговаривать. На воле еще было светло, но во многих окошках Ново-Мариинска зажглись огоньки, и мутный желтый свет лег на посеревший от угольного дыма снег, смешиваясь с долгими весенними сумерками.

Тымнэро глядел вслед нарте и думал, что же будет с Царегородцевым, с этим самым главным тангитаном Анадырского уезда, который больше не является тем, кем был...

Куркутский гнал собак от свенсоновского склада — длинного приземистого здания из волнистого железа — по единственной улице Ново-Мариинска. Редкие прохожие шарахались от упряжки, однако никто не останавливался и не спешил поздравить с благополучным возвращением уездного начальника.

Дом, где жил Царегородцев, располагался почти впритык к дому уездного правления у впадения реки Казачки в Анадырский лиман.

На крыльце присутственного дома толпилось несколько человек. Еще издали Царегородцев узнал Ивана Тренева, Матвея Станчиковского и своего давнего врага — Петра Каширина, которого он намеревался выслать с первым же пароходом в Петропавловск, а лучше подальше — во Владивосток.

«Встречать собрались», — с удовлетворением подумал Царегородцев, внутренне готовясь достойно ответить на приветствия, принять знаки верности и преданности.

¹⁰ Суп из соленой кеты.

Куркутский просунул палку-остол с железным наконечником меж копыльев нарты, притормозил и остановил упряжку.

Молчание толпы было странно.

Только вынырнувший откуда-то из-за людей радист Асаевич закивал неизвестно кому, стал низко кланяться, быстро приговаривая, словно отстукивая телеграфным ключом:

— С прибытием, ваше благородие, с благополучным возвращением, ваше благородие...

Однако остальные молчали, и ни один из них не бросился помочь сойти с нарты.

Царегородцев подождал и крикнул Каширину:

— Эй ты, пособи подняться!

Каширин только улыбнулся в ответ, а остальные стояли с такими же непроницаемыми лицами.

— Давайте я, ваше благородие,— подбежал Асаевич.— Извольте вот так.

Царегородцев поднялся, сделал шаг по направлению к крыльцу.

— Прочь с дороги! — строго сказал он оказавшемуся на пути Ивану Трениву, которого он всегда открыто презирал. Сказав это, Царегородцев заметил на рукаве коммерсанта красный бант.

— Это что такое? Вы что тут, опились до белой горячки? Свихнулись? Где Оноприенко? А ты что тут застыл, как кусок замерзшего дерьма? — накинулся он на Матвея Станчиковского.— Отопри дверь.

Станчиковский сделал неопределенное движение, как бы намереваясь повиноваться оклику Царегородцева, но его опередил Каширин. Он загородил дорогу бывшему начальнику уезда и сказал:

— Кончилась ваша, гражданин Царегородцев, власть. Нынче в Ново-Мариинске и по всей России власть нового демократического Временного правительства. Самодержавие пало.

— Кто тебе позволил сюда прийти?

— Я член Комитета общественного спасения,— спокойно, с достоинством ответил Каширин.— В интересах общества, сохранения спокойствия, а также, чтобы не дать иноземцам на разграбление окраины нашего отечества, мы и создали такой комитет. Отныне, Царегородцев, вы не начальник уезда, не представитель его императорского величества и не ваше благородие, как вас тут ошибочно назвал Асаевич, а гражданин Царегородцев.

По мере того как Каширин говорил, выражение лица Царегородцева менялось.

— Ваш кабинет, бумаги — все опечатано впредь до особого распоряжения из Петропавловска,— сообщил Станчиковский.

Царегородцев тяжело повернулся и пошел, сгорбившись, к своему дому.

Через несколько дней в Петропавловск ушла телеграмма, переданная тайком от Комитета общественного спасения перепуганным и ничего до сих пор не понявшим радистом Асаевичем:

«Опечатан в моей квартире домашний кабинет. В канцелярии опечатаны денежный ящик, шкафы с делами, бумагами, архив. Опечатаны склады с казенными припасами, экономическими товарами. Доступа без членов комитета нет. В канцелярии во время занятий находятся члены комитета, через руки которых проходят все исходящие и входящие бумаги, телеграммы. Последние принимаются радиостанцией только с цензурной пометкой комитета. Даже частные мои телеграммы без пометки комитета не пропускаются... Председатель **комитета требует предъявить на ревизию денежные книги, докумен-**

ты кассы специального сборщика, а также экономического капитала, стремится играть роль не контролера, а распорядителя... Царего-родцев».

Чукотская весна семнадцатого года шла своим чередом. Исподволь таял и оседал снег, крыши ошметинились ледяными сосульками, блестящими на ярком солнце. Собаки выбирали для лежек кучи шлака возле домов: они нагревались на солнце и держали тепло до утренних заморозков, когда уже начинал образовываться наст — гладкая блестящая поверхность на снегу, отрада для каюра, облегчение для ездовых собак.

В оленьих стадах крепили новорожденные телята.

Возвратившись из стада, Теневиль обнаружил в яранге полный разгром. Полог был сорван с подпорок, жирник опрокинут. В чоттагине разворошен очаг, сдвинуты камни и пепел развеян по всей яранге. Даже бревно-изголовье было сорвано с места и лежало наискось.

Сами женщины были растрепаны, а Милюнэ со слезами зашивала свой изодранный в клочья кэркэр.

— Что случилось? — встревоженно спросил Теневиль, подбирая разбросанные по земляному полу клочки шерсти.

— Он опять приходил, — всхлипывая, ответила Милюнэ.

— Сначала долго упрашивал Милюнэ, — рассказала Раулена. — Сулил лакомую еду, пыжики, лахтачы кожи. Потом стал говорить, что выкинет из яранги всех старых жен и сделает Милюнэ единственной и самой главной женой. Долго говорил, даже плакал иногда. О своем брате тосковал, что-то с ним случилось...

— С каким братом? — не понял Теневиль.

— С русским царем, — пояснила Раулена. — Какое-то несчастье произошло с Солнечным владыкой... Поплакал Армагиргин, а потом стал хватать Милюнэ. Повалить хотел на постель. Однако не смог. Слабый стал... Сильно разгневался и стал крушить все. Порвал кэркэр на Милюнэ.

Милюнэ, не поднимая головы, всхлипывала, голые ее плечи, покрытые синяками и царапинами, вздрагивали.

— Уполз он, — заключила Раулена. — Однако погрозился, что все равно не отстанет от Милюнэ и сделает ее своей женой... Пожалел бы ты, Теневиль, ее, взял бы себе второй женой. Все равно ведь она живет в твоей яранге, ест тобой добытое, спит с нами в подоге...

Теневиль устало опустил на сдвинутое бревно-изголовье. Бедная Раулена! Доброе, щедрое сердце. Она готова даже разделить супружеское ложе, только бы другому обездоленному тоже было хорошо. Милюнэ Теневилю приходилась дальней родственницей. И в этом была опасность ее присутствия в яранге — она как бы и вправду могла считаться второй женой. Что же делать? Одно было ясно — нельзя ей оставаться в стойбище Армагиргина. Старик упорен и настойчив, и если ему этого сильно захотелось, он не оставит бедную девушку в покое. А ей идти в ярангу Армагиргина — значит обречь себя на вечное несчастье и рабство.

Приречного поселения, откуда ушла Милюнэ, уже больше не существует... Ехать ей в Марково — это слишком близко, да и больно много там дружков Армагиргина — тот же Черепак или купец Малков...

Оставался еще один родич — житель Ново-Мариинска — Тымнэро. К нему и придется отвезить бедную Милюнэ. А второй женой

братъ нет резона, хоть она и хорошая, работающая женщина. Детей пока у Теневиля нет, Раулена одна справляется, шьет одежду, готовит еду... Много ли надо шить, если не каждый год перепадает шкуры.

Самое время ехать сейчас в Ново-Мариинск. Отел закончился, до летовки еще далеко. Четыре песцовые шкурки припрятаны в тайнике да две лисицы-огневки. Держал, не соблазнился дурной веселящей водой, не променял их Черепаку, хоть тот и напирал, догадываясь, что у пишущего чукчи есть пушнина.

Приняв решение, Теневиля успокоил женщин и начал готовиться к дальней дороге.

Армагиргин прослышал о его намерении и призвал к себе.

Не любил Теневиля ходить в ярангу, поставленную впереди всего стойбища.

Армагиргин сидел у полога и скоблил ножом оленью ногу.

Он едва глянул на вошедшего и даже не сказал обычного в таком случае «етти».

Теневиля остановился у очага, плетеным кэнчиком¹¹ легонько постукивая по ноге.

Армагиргин молча глянул на кэнчик, на Теневиля, оставил полуобглоданную оленью ногу, и спросил:

— Слышал — ехать собрался?

— Собрался.

— Совсем уходишь из моего стойбища?

— Не совсем, скоро вернусь, — ответил Теневиля.

— Кто же будет вместо тебя ходить в стадо? Родича какого-нибудь оставляешь?

— Жена моя остается в яранге, — спокойно ответил Теневиля. — Она будет вам шить зимний полог.

— А Милюнэ?

— Милюнэ едет к своему родичу в Ново-Мариинск.

— Это кто же у нее там родич?

— Тымнэро.

— Этот нищий рыбоед? Да она там подохнет с голоду на второй же день приезда.

— Найдет себе работу, — так же не повышая голоса, отвечал Теневиля. — У тангитанов на рыбалке постирать да убрать... Поселок большой, неужто для одной женщины работы не будет?

— Да первый же тангитан повалит ее в постель! — убежденно, с каким-то жалостным стоном проговорил Армагиргин. — Среди белых, выморочных русских баб она будет лакомым кусочком, и всяк будет на нее зариться! Чем на такое толкать родственницу, взял бы уговорил перейти в мою ярангу.

— Сам же знаешь — не хочет она к тебе переходить.

Теневиля слушал и дивился тому, что хозяин стойбища иной раз даже сдерживает голос. Почему он не кричит, не грозит, не говорит, что сгноит Теневиля и всех его родичей в дальнем стойбище, уморит их голодом, заморозит в дырявой нечиненой яранге?

— Хочу тебе дать добрый совет, — заговорил Армагиргин вкрадчиво и доверительно. — Нынче не время в Ново-Мариинск ездить. Похоже, среди тангитанов большая драка назревает. Худо будет тем, кто попадется под их горячую руку. Жалеть да рассматривать не будут, кто под пули да под казацкие сабли попадет.

— С чего бы им драться между собой? — подозрительно вгля-

¹¹ Плетка.

дываясь, стараясь угадать истинную цель увещевания, спросил Теневиля.

— Так и быть, скажу тебе тайну.— Армагиргин придвинулся к пастуху, понизил голос почти до шепота.— Свалили Солнечного владыку!

Теневиля, пораженный этой новостью, огляделся в чоттагине. У самого входа, возле очага копошились жены Армагиргина.

— Как же это случилось?

— Черепак говорит — свалили его насильно,— сообщил Армагиргин.— Злые люди.

— Пришельцы?

— Свои же соплеменники, тангитаны,— махнул рукой Армагиргин.— Так что сейчас в Ново-Мариинск ехать опасно.

В большом сомнении вышел Теневиля из яранги Армагиргина.

Солнце высоко стояло в небе, ослепительное, горячее, сжигающее снег... А Солнечный владыка сошел с золоченого сиденья. Лишился своего брата Армагиргин.

Весеннее стойбище было оживленно — из яранги в ярангу спешили люди, ребятишки играли возле высокого, вкопанного в снег столба, пытаясь забросить на его вершину чаат. Чинили расслабившиеся за зиму нарты, меняли деревянные полозья на металлические, чтобы можно было ездить по талому снегу, мокрой тундре и каменистым осыпям.

Если промедлить, придется отказаться от поездки в Ново-Мариинск — солнце топит снег, съедает нартовую дорогу.

Возле своей яранги Теневиля остановился в раздумье. Много лет назад, когда он еще жил в долине Танюрера и его отец имел собственных оленей, проезжал там один человек, прозванный чукчами Вэйпом¹². Человек тот поражал всех знанием чукотского разговора. Теневиля даже иногда закрывал глаза, и тогда невозможно было догадаться, что разговаривает тангитан, а не приезжий оленевод с восточной тундры. Тогда Теневиля не обратил внимания на то, о чем негромко, почти что тайком говорили в стойбище. Мальчишка тогда интересовался знаками речи, которыми Вэйп покрывал множество белых страниц. А говорили вот о чем, теперь это вспомнилось Теневилю: Вэйп был сослан самим Солнечным владыкой за великое дерзновение — попытку свергнуть царя. За одно только это на Вэйпа стали смотреть по-особому, с удивлением, смешанным со страхом. И говорили еще вот что: царская власть и богатства Солнечного владыки и его приближенных, многих его богатых слуг от великого царского стойбища Петербурга до Чукотки, должны быть переданы бедным и трудовым людям как истинным создателям богатства. Олены должны принадлежать тем, кто их пасет...

И тут-то догадался Теневиля, отчего Армагиргин был не то что мягок и ласков, а нерешителен и больше полагался на силу слов, нежели кулаков своих.

Если в царском стойбище Петербурге власть перешла к бедным, то, быть может, в уездном центре Ново-Мариинске... А кто еще беднее Тымнэро да тамошних чуванцев-каюров?

Теневиля быстро вошел в чоттагин своей яранги и громко сказал:

— Собирайся, Милюнэ! Завтра на рассвете едем в Ново-Мариинск!

¹² Вэйпом чукчи называли известного народовольца, впоследствии ученого, этнографа и писателя, советского общественного деятеля Владимира Германовича Богораз-Тана, отбывавшего ссылку на Чукотке.

Глава третья

Весной и летом 1917 года буржуазный Камчатский областной комитет стал активно готовиться к первому областному съезду представителей населения. На нем предполагалось избрать постоянный областной комитет, областного комиссара, обсудить вопросы экономической жизни. Буржуазия Северо-Востока стремилась закрепиться у власти, используя демократические формы представительства...

*Сборник «Время. События. Люди».
Магадан, 1967.*

С каждым днем жизнь чукчей в Ново-Мариинске становилась все хуже. Торговцы, напуганные неопределенностью, перестали давать в долг. Ближние оленеводы откочевали подальше от набегов родичей и знакомых, которых по старинным обычаям надо было не только приветливо встречать, угощать, но и кормить их собак.

Тымнэро копался в яме, где всю зиму хранилась кислая, с прошлого лета запасенная рыба, в надежде найти прилипшую к земляной стене рыбину. Он водил по стенам лопатой, однако, кроме зловонной, пропитанной прокисшим рыбным духом земли, ничего не мог наскрести. И эту землю собаки пытались есть, грызли ее, смешивая с горькой слюной, а потом, корчась от боли в животах, валялись на снегу.

Жалко было смотреть на мучения кормильцев своих.

Охота на краю припая, за островом Алюмка, принесла пока только двух нерп. Съели их быстро. Много ли это на четверых человек и двенадцать собачьих голодных пастей?

С властью в Ново-Мариинске творилось что-то непонятное. С одной стороны, существовал комитет, который собирался чуть ли не каждый день. Разговоры там велись громкие, и Тымнэро, проходя мимо здания уездного правления, часто слышал возбужденные голоса. Явственно различался пронзительный, лисий говорок Ивана Тренева, который совсем забросил свои дела и повесил большой замок на склад. С утра до позднего вечера бегал он по единственной улице Ново-Мариинска. Красный бант на рукаве давно снял, зато завел специальный мешок из нерпичьей кожи для бумаг. По вечерам у него по-прежнему собирались торговые люди Ново-Мариинска и громко кричали охрипшими пьяными голосами...

Иногда захаживал к Тымнэро Петр Васильевич Каширин. Без шапки ходил он берегом лимана к кладбищу. Оттуда сворачивал к яранге Тымнэро.

Он жадно пил заваренный спитым чаем кипятком и жаловался:

— Погубят они Чукотку, эти говоруны! Слышь, о чем запели? Товару в нынешний год Владивосток не даст, с Камчатки тоже нечего ожидать, черт разберет какая там власть. Вот и хотят американцев призвать и наладить с ними торговлю на все — и на пушнину, и на оленей, и даже на землю...

— Да как можно землю продавать-то? — с сомнением спросил Тымнэро, представляя, как американцы торгуют у него пропитанную рыбным жиром вонючую налипь в яме для кислой рыбы.

— Земля, даже чукотская, — это самый дорогой товар! — горячился Петр Васильевич. — Слышал, сколько отвалили американцы за аляскинскую землю? Миллионы! И не ассигнациями, а долларами. Понимаешь, что это такое? Да где это тебе понять. Для Тренева те-

перь самое время и Чукотку продать. Вот и рвут друг у друга власть, чтобы миллионы эти себе в карман положить.

Тымнэро вежливо и внимательно слушал Каширина, однако все равно ничего не понимал.

Когда Каширин уходил и Тымнэро заползал в остывший за день полог и ложился рядом с женой, он долго не мог уснуть, соображая и пытаясь понять, как это можно торговать землей, пространствами тундры, покрытыми едва начавшим таять снегом, скованными льдом реками, горами, долинами, морскими берегами.

Иногда ему снилось, как тангитаны распродают чукотскую землю американцам. В Анадырском лимане на рейде стояли большие железные пароходы, парусно-моторные шхуны. А на берегу кипела работа — люди рвали лопатами тундровый дерн, береговой песок, гальку, глину, набивали мешки и грузили на большие черные кунгасы. Никто не ловил рыбу — главной ценностью теперь была земля, и ею же кормились все. Землю варили в больших котлах, ели сырой, приправленной нерпичьим жиром и даже пекли из нее особый земляной хлеб.

Тымнэро просыпался, напуганный бессмысленностью странного сна, высовывал голову в чоттагин и, посасывая пустую, но хранившую слабый табачный дух трубку, вспоминал рассказы дальних оленеводов о съедобной земле, якобы существующей где-то на границе с якутской землей, в краю поднебесных островершинных гор. Бывало, люди, отчаявшиеся в поисках еды, изнуренные голодной жизнью, вдруг снимались с родной тундры и отправлялись в путь в поисках удивительной, съедобной земли. Никто не возвращался из этого путешествия, и это доказывало, что такая земля существует: кто же будет уезжать от обильной еды?

Главная забота в яранге Тымнэро состояла в том, чтобы хоть чем-то накормить детей и собак. Первых — потому что они продолжение рода, а без собак невозможно прожить в Ново-Мариинске: зимой собачий извоз был единственным средством существования.

А самим можно продержаться на спитом чае, на жалких остатках собачьего корма.

В короткие минуты роздыха Тымнэро вспоминал собственное детство, прошедшее в оленьей тундре, время, когда, казалось, не существовало забот о еде, о прокормлении. Они кочевали возле Тянюрера, красивой реки, в зарослях высоких кустов ольхи, такой редкой на безлесной чукотской земле. То было счастливое время, единственный светлый проблеск в многотрудной жизни... Нет, еще была одна весна, когда телились важенки, когда на теплых весенних проталинах рядом с подснежниками он познал женщину, молчаливую, покорную, нежную Тынатваль, которая за годы совместной жизни стала частью его самого.

Что же будет дальше?

Зачем понадобилось свергать со своего сиденья Солнечного владыку, изменять заведенный порядок, когда каждый знал свое место, свое положение, свою надежду? Была и у Тымнэро надежда. Мечтал он вырастить детей, сделать их лучшими каюрами на всем протяжении снежного нартового пути от Уэлена до Вьэна, как чукчи называли пост Ново-Мариинск, каждому снарядить хорошую упряжку самых сильных и выносливых собак.

И тогда они с Тынатваль могли бы спокойно доживать свою старость, ожидая детей, отправившихся в дальний путь.

Сам Тымнэро чинил бы нарты, мастерил новые, растил смену для собачьих упряжек.

Это была бы достойная настоящего человека жизнь.

А нынче из-за этой неразберихи даже не купишь порошу и дрови для старого дробовика. Скоро полетят гуси и утки. Можно выехать на дальние косы и там поохотиться. Русские хорошо платят за свежую дичь, да и самим не худо подкормиться нежным птичьим мясом.

...Тяжкий дух в кислой яме выгнал Тымнэро на волю, и он уселся на краю, поглядел на лиман, на слегка потемневшие от солнца снежные склоны дальнего Золотого хребта, потом перевел взгляд на Ново-Мариинск, на домишки, освобождающиеся от снега,— хозяева откапывали их, отбрасывая снег: теперь он, отсыревший, представлял опасность для деревянных стен.

Отдышавшись на краю ямы, оглянув на прощание заснеженный простор, Тымнэро хотел было снова спуститься вниз и уже свесил ноги, но тут его внимание привлекло что-то новое на белом снежном поле Анадырского лимана, напротив мыса Обсервации.

Это была собака упряжка. И шла она с верховьев реки.

Собрав в старый, проржавленный таз наскребенную вязкую землю, Тымнэро прикрыл яму китовой лопаткой и заспешил в ярангу: давно с верховьев не было вестей, а дальний гость — всегда новости, рассказы о знакомых и дальних родичах.

Комитет общественного спасения Анадырского уезда собрался на свое очередное заседание.

Члены комитета шумно входили в сени, громко топали ногами, отряхивая с торбасов и валенок липкий весенний снег, и пробирались в накуренную комнату, здороваясь и громко окликавая знакомых.

Наискось от председательского стола сидел бледный начальник радиостанции Асаевич. Голова у него шла кругом от противоречивых телеграмм и слухов. Порой ему казалось, что он видит какой-то странный затянувшийся сон — проснется он в своей каморке и все станет на прежние места. Снова Царегородцев будет занимать место за главным столом в уездной канцелярии, в сенях будут толпиться торговцы и промышленники, богатые оленеводы, мелкие анадырские мещане, промышленяющие ростовщицеством, тайной скупкой пушнины за водку, золотоискатели в ожидании разрешения на старательство и разведку драгоценного металла.

Совсем еще недавно все сидели в строгом порядке, соблюдая свое место в небольшом анадырском обществе, и Асаевич отлично знал, как с кем разговаривать.

Вот пришел Иван Тренев. «Лис Тренев», как за глаза называли его многие в Ново-Мариинске. Сходство с лисой-огневкой подчеркивала рыжеватость волос, бородки и даже бровей Ивана Архиповича. Глухая ненависть шевельнулась в душе Асаевича. Как он мог тогда поддаться уговорам этого хитреца, скрыть телеграмму от законных представителей власти да еще согласиться возглавить Комитет общественного спасения? Какой из него председатель? В этом, правда, быстро убедились все члены комитета. Он легко уступил место Ивану Мишину, бывшему делопроизводителю полицейского управления. Низкорослый, лысоватый мужчина, которого все за глаза звали Ванькой, теперь принял важный вид и надулся, как пузырь. Даже голос у него заметно изменился. Когда смещали Асаевича, много толковали о демократии и о том, что надо прислушиваться к голосу народа. Но больше прислушивались к телеграммам из Петропавловска, где настойчиво советовалось Комитету общественного спасения Ново-Мариинска оставить у власти Царегородцева... Эти телеграммы насторожили всех анадырских политиков, и Тренев, теребя жиденькую рыжеватую бородку, задумчиво повторял:

— Так-так-так... Так-так-так...

Вошел Петр Каширин, и все притихли, как бы сжались. Асаевич не совсем понимал силу этого человека, у которого, знал, за душой ничего не было, кроме кайла, остро отточенной лопаты да старательского лотка. Но Каширина с доверием принимали в чукотских ярангах, водили с ним дружбу углекопы на другом берегу лимана. Какая-то сила была у этого старателя, присоединившего к своей исконно русской фамилии еще инородную — Стивенсон.

Каширин прошел в глубь комнаты, и Царегородцев с судорожным испугом убрал с его пути вытянутые ноги.

Асаевич обратил внимание на торбаса Каширина и с завистью подумал, что такую обувь чукчи ему ни за какие деньги не сошьют — тут надо нечто большее. Знал толк в хороших торбасах старый тундровый волк Каширин...

Последним явился Мишин и положил на стол потертый тощий кожаный портфель. Обведя собравшихся строгим взглядом, он сказал:

— Господа!

Каширин громко крикнул, насмешливо посмотрел на Мишина. Именно Мишин по приказу Царегородцева долго не выдавал ему высочайшее разрешение на разведку и добычу золота на реке Волчьей. Бывший царский делопроизводитель отвел взгляд и поправился:

— Граждане! Приближается лето. Перед нами встают большие трудности. Продовольственные запасы в уезде истощены, а источники их восполнения остаются до сих пор неизвестными. У нас нет связей с торговым домом Чурина из Владивостока. Братья Караевы, находящиеся на мысе Восточном, не отозвались на наши запросы. Анадырскому уезду в таком положении угрожают голод и беспорядки...

— Однако вся надежда на рыбалки,— сказал рыбак Ермачков, хитро взглянув на анадырских рыбопромышленников — молчаливого флегматичного японца Сооне и благообразного, дородного Грушецкого.

Без Ермачкова не обходилось ни одно примечательное событие в Ново-Мариинске. Он умел проникать всюду и в нужное время, хотя его никогда никуда не звали.

— Моя имей опизатерства,— с удивительной для него быстротой отозвался Сооне,— моя давай рыба компания, моя своя рыба нет!..

— Сооне-сан прав,— заговорил сытым басом Грушецкий.— У каждого из нас есть свои обязательства перед компанией, и выловленная нами рыба, если бог ее нам пошлет, будет полностью отпущена заказчику.

Иван Тренев, теребя бородку, медленно поднялся с места.

— Граждане,— заговорил он негромко, но проникновенно.— Новая Россия ждет помощи от деловых людей, от людей, готовых поступиться личным благополучием во имя спасения общественного порядка. Мы все ждем от промышленников и коммерсантов деловых предложений.

Все молчали, и каждый поглядывал на другого.

Тренев понимал, что ни один из них не отважится на то, чтобы сказать действительно дельное. Все они — даже те, кто корчил из себя настоящих хозяев,— на самом деле таковыми не являлись, представляя в Ново-Мариинске и во всей анадырской округе крупные торговые фирмы, связь с которыми в теперешних условиях была весьма затрудненной.

Иван Мишин оторвался от замусоленных бумажек, которых он для пущей важности навалил на стол, и громко спросил:

— Кто первый?

— В чем первый? — переспросил Каширин.

— В том, чтобы, значит, поступиться личным, — растерянно про-
бормотал Мишин, произнеся застрявшие в его сознании слова Ивана
Тренева.

— Да речь не об этом, — перебил его Грушецкий. — Гражданин
Трнев, видимо, хотел сказать о том, что надо изыскать другие ис-
точники для продовольственного снабжения. Могу вам указать на
такие источники — близкие, надежные и весьма обильные.

Все присутствующие с оживлением повернулись в его сторону.

— Рыбопромышленным оборудованием, сетями, лодками, кунга-
сами и катерами нас может в обилии снабдить Япония, — продолжал
Грушецкий, — а все остальное даст Америка,

— А за какие шиши? — насмешливо спросил Ермачков.

— За ту же рыбу и пушнину, — спокойным деловым тоном от-
ветил Грушецкий. — И если хотите знать мое мнение, гражданин
Трнев, то именно нынешнее наше положение открывает огромные
возможности. Американцы готовы начать широкие работы по раз-
ведке и добыче полезных ископаемых Чукотского полуострова. На-
ше географическое положение обязывает нас реально смотреть на
эти перспективы...

Трнев слушал Грушецкого с тайной завистью: тот сумел сказать
прямо и с достоинством о том, что Трнев побаивался сказать все эти
месяцы.

— Граждане!

Это был Каширин.

— Граждане! — повторил он. — Да вы думаете о том, что говори-
те? В России — свобода! Свобода для всего народа, как это заявлено.
А это значит, что весь народ должен решать, как жить дальше. По-
чему же у нас, в Ново-Мариинске, этого нет? Отчего это у нас у
власти все те же люди — Мишин, Асаевич и этот еще? — Каширин
небрежно кивнул в сторону Царегородцева.

— Петропавловск предписывает, — нервно заговорил Мишин, —
чтобы в уезде была крепкая власть. Вот здесь у меня телеграмма,
подписанная Добровольским и Емельяновым...

— Эти господа хорошо мне известны, — оборвал Мишина Каши-
рин. — Они как были царскими слугами, так ими и остались. И мно-
гие из вас, знаю, по ночам видят его величество обратно возвратив-
шимся на престол. Но этого, господа, не будет! Народ не допустит!
И того, что вы предлагаете, господин Грушецкий, тоже не будет. На-
род не позволит распродавать по кускам Россию иностранцам...

— Ну и с голоду подохнет ваш народ! — со злостью заметил
Грушецкий.

— А вот не подохнет! — с вызовом ответил Каширин. — Сколько
лет голодали, терпели — еще год потерпим, но Россию продавать по
кускам не дадим! Да вы спросили, господа хорошие, хоть одного
чукчу или эскимоса, что им надобно? Это же они тут живут. и здесь
ихняя земля! Господин Грушецкий и господин Сооне, спрашивали ли
вы позволения перегораживать реку, чтобы всю рыбу себе вылавли-
вать у исконных жителей Чукотки?

— У нас есть лицензии, законно выданные господином Царего-
родцевым, — сухо ответил Грушецкий.

— От имени его величества, которого теперь нет! — торжествую-
ще заявил Каширин. — Значит, ваши лицензии законной силы не име-
ют. Это пустые, никому не нужные бумажки!..

Сооне-сан в испуге завертел коротко остриженной головой.

— Граждане! — Иван Мишин поднялся с председательского места. — Наш комитет законно избран жителями Ново-Мариинска, и сомнений в его полномочиях, кроме как у гражданина Каширина, не имеется. Что же касается привлечения дикарей к управлению, то просвещенные государства, как известно, этого не делают для блага самих же дикарей. По причине их особого пристрастия к спиртному, полной неспособности и непонимания сущности верховной власти.

— А не лучше ли запросить по этому важному вопросу Петропавловск? — предложил Тренев. — У них есть связь с Хабаровском и Владивостоком. Они-то уж знают, как поступать.

— Вы что же, ничего не слышали? — обернулся к нему Каширин. — Хоть Петропавловский комитет и называет себя новой властью, но он не спешит расстаться со старыми порядками. Ясно ведь, что Емельянов и Добровольский — это те же чиновники, которые стоят за старые порядки. А мы должны требовать своего. Сейчас нас немного. Но с парходом приедут наши люди...

— Это какие такие ваши люди? — подозрительно спросил Мишин.

— А те, которые передадут власть чукчишкам и чуванцам, — процедил сквозь зубы молчавший до этого Царегородцев.

— А я официально ставлю на голосование комитета предложение об аресте господина Царегородцева и всех старых чиновников как уездного, так и полицейского управлений!

Каширин стоял бледный, но всем своим видом выражал решительность.

Тишина нависла в переполненной комнате.

Японец зашевелился и простонал:

— Моя борьной, моя ходи домой... Моя очень борьной...

Сооне поднялся и, спотыкаясь о торбаса и отсыревшие валенки, стал пробираться к выходу.

Проводив взглядом уходящего, Тренев примирительно сказал:

— К чему такие крайности, гражданин Каширин? Ежели мы всех начнем сейчас арестовывать да сажать в тюрьму, кто останется? Надо быть снисходительными и терпеливыми. Искать пути сотрудничества и объединяться на основе общей идеи...

— Объединишь волка с оленем, — проворчал Каширин и громко сказал: — Я настаиваю на голосовании.

Проголосовали. Большинство высказалось против ареста, остальные воздержались, в том числе и Иван Тренев.

— Следующий вопрос, который нам надо обсудить, — продолжал деловитым тоном, словно ничего особенного не случилось, Мишин, — это выборы делегатов на съезд представителей в Петропавловск.

— Послать Каширина! — выкрикнул учитель Сосновский, давно забросивший педагогическую деятельность и понемногу сливавшийся. — Пусть он там и митингует.

— Хотите избавиться от меня? — усмехнулся Каширин. — Но ведь я вернусь...

Большинством голосов представителем на съезд был избран Петр Васильевич Каширин. Тренев снова воздержался от голосования, но первым поздравил его.

— Все равно от своего не отступлюсь, — хмуро заявил Каширин. — Рано или поздно, но и вы, господин Царегородцев, и вы, господин Оноприенко, и все, кто верой и правдой служил царской власти, получите сполна за свои преступления...

По Ново-Мариинску, по домишкам, по купеческим, большей частью закрытым по причине отсутствия товара лавкам, у проруби на Казачке, где бабы брали воду, пронесся слух, обраставший чудовищными подробностями: Каширин поднимает восстание против Временного правительства; со стороны Туманского мыса идут вооруженные луками и стрелами чукотские отряды; эскимосский полк с многозарядными винчестерами американского производства снаряжается в Уэлькале; из Маркова уже движутся на нартах оленные пастухи, добывшие где-то пушки.

Сам Каширин загадочно улыбался и о чем-то часто совещался со своим другом Аренсом Волтером, занимавшимся починкой металлических изделий — от примусов до оружия. Аренс Волтер — норвежец — служил на американских судах. Несколько лет назад был списан на берег здесь, в Ново-Мариинске, капитаном, которому не понравились его проповеди о всеобщем христианском братстве. Поначалу Аренс Волтер намеревался основать первую на Чукотке баптистскую общину, но встреча с Петром Кашириным переменяла понемногу его взгляды...

— Ваня, скажи, что будет? — пытала Агриппина Зиновьевна мужа.

Но Тренев ничего определенного не мог сказать. Никто не знал точно, что происходит в Петропавловске, во всей России. Телеграммы противоречили одна другой.

— Насчет Каширина все враки, — успокоил жену Тренев. — Никакого восстания дикарей нет и не предвидится.

Легкий на помине Каширин постучался в дом Тренева.

— Здорово, коммерсант! — иронически приветствовал он торговца, зная, что Тренев любит называть себя так, отделяясь от всех других.

— Здравствуйте, гражданин Каширин, — настороженно отозвался Тренев.

Золотоискатель не был частым гостем у Тренева, никогда не принимал участия в вечерних картежных играх с выпивкой.

— По делу я к тебе пришел, — сказал Каширин. — Надобно мне кумачу аршин двадцать.

— На что тебе столько? — удивился Тренев. Красный кумач в основном шел на женские камлейки и расходился довольно туго. — Иль камлейки будешь шить?

— Не на камлейки, а на флаги и лозунги, — пояснил Каширин. — Праздничное шествие будем проводить первого мая.

— Пасхальное, что ли? — заинтересовалась Агриппина Зиновьевна.

— Красная пасха, — ответил с улыбкой Каширин. — Праздник рабочего люда.

— Откуда этот обычай? — с любопытством спросил Тренев.

— От чикагских пролетариев, — ответил Каширин. — Был у меня дружок, Стивенсон, вот он мне и рассказывал. Есть своя красная пасха у трудовых людей земного шара, и проводится она весной, когда расцветают цветы — первого мая.

— Чудное говорите, Петр Васильевич, — пожала плечами Агриппина Зиновьевна. — Кто же будет праздновать здесь, в Ново-Мариинске? Да и какие цветы в таких снегах?

— Рабочие будут праздновать и туземное население, — ответил Каширин. — Там, где есть угнетатели, есть и угнетенные... А цветы будут, как стает снег.

— Я могу и так дать,— задумчиво произнес Тренев, взвешивая на руках ворошок царских ассигнаций. Сейчас самое время прослыть щедрым, тем более царские деньги теперь, видать, ничего не стоили.

— Нет уж, возьмите,—настойчиво, с улыбкой сказал Каширин.— Нам милостыня не нужна.

Ранним первомайским утром жители Ново-Мариинска увидели странное шествие, двигавшееся со стороны дальнего конца поселка, где между кучкой яранг и кладбищем селились чуванцы и другой бедный люд Ново-Мариинского поста.

Кто-то из баб истошно закричал:

— Идут, идут разбойники! Дикари двинулись!

Из дома уездного правления выбежал Мишин, за ним Сосновский и Станчиковский. Вскоре к ним присоединились торговцы. Из своих домов вышли Царегородцев и Грушецкий. Японец Сооне укордкой выглядывал из полуотворенной двери.

Над толпой надетые на длинные палки реяли красные полотнища. Всего шло человек пятнадцать. Впереди важно вышагивал Каширин. Куркутский и Волтер держали длинное полотнище, на котором белой краской было написано: «Вся власть трудовому народу и туземцам!» На другом лозунге выведено: «Да здравствует революция! Долой царских чиновников и эксплуататоров».

Обнаружив ошибку в последнем слове, Тренев тайно усмехнулся.

По мере того как двигалась процессия, к ней присоединялись рыбаки, служащие торговых компаний, каюры, чуванцы и анадырские русские. Бабы принарядились. Возле церкви останавливались и крестились, иные даже отвешивали земные поклоны, стигаясь до грязного снега.

Стец Николай, только что отслуживший раннюю обедню, во всем церковном облачении стоял на подтаявшем сугробе, чтобы лучше видеть.

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Вставай на борьбу, люд голодный!

Громко пел Петр Васильевич Каширин, и ему громко вторил, переирая слова, Волтер.

Пели чуванцы — мужчины и женщины. Многие угостились заранее припасенной бражкой и были навеселе.

У крыльца уездного правления Каширин повернулся к собравшимся и громко крикнул:

— Долой царских прихвостней и кровопийц трудового народа!

— Надо бы его заарестовать за нарушение общественного порядка,— злобно произнес Станчиковский.

— Не имеем права,— сказал подошедший Тренев.— Свобода слова и демонстраций гарантируется Временным правительством.

— С этой свободой как бы он вправду не поднял свой «люд голодный»,— мрачно произнес Желтухин.— Люди озлоблены, жрать нечего. Поднеси спичку — вспыхнут.

— Вот и надо дать им возможность выпустить пар,— сказал Тренев, пряча улыбку.— Пусть митингуют, тешат себя.

Между тем процессия остановилась на берегу Казачки, где из снега торчали борта зимовавшего кунгаса. Взобравшись на кунгас, Каширин простер руку над толпой и заговорил.

Издали было плохо слышно, и люди с крыльца уездного правления, стоявшие кучками у своих домов, понемногу собрались позади участников демонстрации.

— Граждане и товарищи! — говорил Каширин. — Сегодня впервые в жизни чукотский край празднует Первомай, праздник трудовых людей всего мира! Мы собрались здесь, чтобы напомнить некоторым людям — настоящая сила в наших руках и нам должна принадлежать власть. Оглянитесь вокруг. Какая нищета и несправедливость окружают нас! Из революционного Петрограда к нам пришла весть о свержении самодержавия, об установлении народной власти. Это значит, что в край холода и голода пришла новая жизнь. Царские чиновники не должны больше чинить произвол, а торговцы не будут больше грабить и обманывать местное туземное население. А на самом деле — что мы видим? Люди, которые должны сидеть в тюрьме или на каторге замаливать свой грех перед народом, свободно разгуливают по Ново-Мариинску. Мало этого, они еще и входят в комитет! До сих пор торговцам, всякого рода коммерсантам и промышленникам принадлежат товары, невода, склады. А по справедливости и по смыслу революции они должны отойти в собственность народа. Дорогие сограждане Анадырского края и всей Чукотки! Смертельная опасность нависла над нашим краем. Враги новой России из алчных своих побуждений, ради сохранения своих привилегий готовы продать Чукотку и все окраины нашей родины иностранному капиталу. Не дадим в обиду родную землю!

— Не дадим! — крикнул каюр Ваня Куркутский.

— Не дадим! — пронзительным голосом отозвалась какая-то женщина.

— Не дадим! — крикнул Волтер, резко взмахнув своим плакатом.

После речи Каширина процессия спустилась на лед лимана. Прошеествовав вдоль гряды торосов, демонстранты стали потихоньку расходиться, пока из всей толпы не остались лишь те, кто нес знамена и лозунги.

Они поднялись у коммерческих складов и направились к домику Аренса Волтера, где запасливый норвежец приготовил нехитрое угощение — огромного замороженного чира и довольно светлый самогон собственной выгонки.

Каширин аккуратно спрятал флаги и транспаранты в кладовую, прикрыл для верности сверху линялыми оленьими шкурами и сказал:

— Еще нам пригодится красное знамя.

За строганиной рыбак Ермачков и младший брат Ивана Куркутского Михаил, обучавшийся грамоте у марковского священника, расспрашивали Каширина о будущем и с сомнением и недоверием перелазывались, слушая его горячие речи.

— У нас будет пролетарская республика! Погодите немного, дайте расшевелить народ. Эх, ну почему не пришел Тымнэро?

— Темный он совсем, — авторитетно заявил Ермачков. — Збитый да робкий.

— Для таких и революция! Чтобы поднять людей с коленей, — заявил Каширин. — Вот вспомните мои слова. Гнев скручен в их душах подобно стальной пружине.

Первомайская демонстрация напугала анадырский комитет, никто не хотел собираться на заседания, отсиживались, чего-то выжидали в своих домишках.

Каширин спешил к яранге Тымнэро.

В ночи далеко светился огонек костра, горевший в чоттагине.

Проходя мимо дома Тренева, Каширин услышал музыку. У торговца, как всегда, были гости, и они шумно веселились под граммофон.

Каширин прошел мимо торговых складов, спугнул японца Сооне, метнувшегося от него, словно заяц от волка. Из отверстия в крыше яранги к бледному небу тянулся столбик дыма, внутри слышались приглушенные голоса.

На длинной цепи поодаль от хозяйских собак отдыхала гостевая упряжка. Собаки лежали тихо, уткнув морды в животы,— видно, измотались за долгую дорогу.

Кашлянув несколько раз, Каширин низко нагнулся и вошел в полутемный, едва освещенный костром чоттагин.

— Амын етти, Кассир,— радушно встретил его Тымнэро.

— Сколько я тебе говорил — зови меня лучше Петром, какой я тебе кассир? — заметил Каширин, глядя на незнакомого ему чукчу в замшелой камлейке и молодую красивую женщину в кэркэре, смущенно опустившую глаза при появлении гостя.

— Мои родичи приехали,— сообщил Тымнэро.— Это Теневиль, а женщина — Милюнэ. С верховьев они, из стойбища самого Армагиргина.

— А-а,— протянул Каширин,— вон ты какой, пишущий Теневиль! Как поживает брат Солнечного владыки Армагиргин?

— Живет,— просто ответил Теневиль, разглядывая удивительного тангитана, который без брезгливой гримасы вошел в ярангу и, главное, хорошо говорил по-чукотски.

Уловив во взгляде оленного чукчи изумление, Каширин пояснил:

— Давно я на чукотской земле. Разговору научился в Уэлене, когда работал у Караева и строил школу.

— А разве на нашей земле есть школа? — с удивлением спросил Теневиль.

— Школа-то есть, да не учат там,— вздохнул Каширин.

Летом 1915 года по решению губернатора в Уэлен был отправлен сруб для школы. Каширин вместе со своим другом Ваней Лариным подрядились собрать это здание. Собрать-то собрали, да в тот год обещанный учитель не приехал. Ванюша Ларин уплыл обратно во Владивосток, а Каширин подался искать золото.

— Слышал я,— обратился Каширин к Теневилу,— что ты письменный чукотский разговор придумал. Это что же, ты буквы изобрел, азбуку?

Эти слова не были понятны ни Теневилу, ни Тымнэро, но Теневиль с достоинством пояснил:

— Мой чукотский знаковый разговор только для нашего языка.

— А ну покажи!

Теневиль вытащил из дорожного мешка гладкую дощечку, отскобленную до бумажной белизны. Каширин взял ее и придвинулся к племени костра.

Знаки были выдавлены на мягкой древесине чем-то острым — то ли шилом, то ли гвоздем. Иные были похожи на изображения людей, животных, предметов, но больше было непонятных, странных, иной раз чем-то напоминающих Каширину вывески в японских и китайских лавках во Владивостоке. Несколько раз на глаза Каширину попадались изображения двух радиомачт Ново-Маринска, знакомых ему по дощечке, принадлежащей Тымнэро.

— Любопытно,— пробормотал он.— А прочитать написанное можешь?

— Я же писал, почему не могу? — удивился несообразительности тангитана Теневиль.

Он взял дощечку:

— «Пришла весть от Черпака о Солнечном владыке. Будто сошел

он с золоченого сиденья навсегда. Уехал Черепак. Сильно стал пить Армагиргин и хотел взять Милюнэ...»

— Милюнэ — вот она, — кивнул Теневиль на молодую женщину, оторвавшись на миг от чтения.

— Ну-ну, читай дальше, — в нетерпении попросил Каширин.

— «Однако Милюнэ не хочет быть женой старика, и единственное спасение для женщины ехать во Вьэн».

Теневиль отложил дощечку.

— Да, брат, — в задумчивом удивлении пробормотал Каширин, — надо же сообразить такое. Выходит, ты сотворил письмо для чукотского языка. Кто же, кроме тебя и Тымнэро, еще знает его?

— Раулена — моя жена, — ответил Теневиль, — да вот Милюнэ начала учить.

— Трудное это дело, — заметил Тымнэро. — А нужен ли для чукчи письменный разговор? Может, этого совсем и не надобно?

— Нужно! — убежденно произнес Каширин. — Мне мой дружок Ваня Ларин говаривал — будет у чукчей, эскимосов и чуванцев свой письменный разговор. Свой, понимаете? Не тангитанский, а свой! Может быть, скоро все люди Чукотки начнут изучать твою, Теневиль, грамоту! Дело к этому идет, друзья.

Тымнэро и Теневиль внимательно прислушивались к взволнованной речи Каширина. Тангитан казался чуть-чуть выпившим, хотя запаха дурной веселящей воды от него не чувствовалось. Милюнэ слушала словно чуть прихваченную весенним заморозком чукотскую речь тангитана, и боязнь заползала в душу: как-то ей доведется жить в этом непривычном селении, увенчанном железными мачтами для ловли далеких слов? Но куда пойти девушке-сироте, негде искать защиты.

Каширин поглядел на Милюнэ. Красавица! И откуда только берутся такие здесь, в холодном краю, в грязных и дымных ярангах, при постоянном голоде?

— Погостевать приехала?

— Насовсем она переехала сюда, — ответил за девушку Тымнэро. — Сирота она, а мне дальняя родственница... Может, кто из тангитанов возьмет ее в услужение?

— Да ты что? — Каширин еще раз пристально посмотрел на девушку. — Такую красу на растерзание анадырским волкам отдавать!.. Постой-ка. Кажись, Треневу нужна прислуга. Потолкую с ним. Хоть и лисоватый он, но все же семейный дом у него. А ты, Теневиль, в обратный путь когда поедешь?

— Поскорее бы, солнце съедает дорогу, — ответил Теневиль. — Маленько поторговать надо.

— Возьмешь меня? В Марково мне надобно да в Усть-Белую, с людьми поговорить. Делегатов на большой сход в Петропавловск надо выбрать.

— Возьму, чего не взять — нарта все равно пустая, вдвоем веселее ехать.

Утром того дня, когда Милюнэ надо было показаться жене торговца Тренева, Тынатваль наставляла ее:

— Главное в тангитанской жизни — это чистота. Любят они все мыть да скоблить. Раз в неделю жарко нагревают особую деревянную ярангу, войди внутрь — сваришься. В этой яранге хлебут себя связками березового стланика. От этого они и белые. Снаружи не так, а вот доведется увидеть тебе голого тангитана, так он такой белый, буд-то и впрямь вареный.

Женщины сидели у едва тлеющего костра в чоттагине, ожидая мужчин, которые пошли на переговоры к Ивану Треневу.

Тынатваль уступила Милюнэ матерчатую рубашку под кэркэр, нагрела воды и заставила помыть лицо, шею, оттереть руки. Достала редкий гребень и, причесав густые лоснящиеся черные волосы, заплегла в две толстые аккуратные косы.

— И еще хочу тебе сказать — тангитаны охочи до женщин. Как звери кидаются, без слов. Только рычат сквозь зубы. Будь начеку...

— Ну, считай, что мы тебя просватали! — громко объявил Каширин, входя в чоттагин. — Агриппина Зиновьевна берет тебя в услужение, будет тебя кормить, приоденет соответственно да еще раз в месяц товарами будет платить.

Тымнэро и Теневиль тоже были довольны. Благодаря помощи Каширина, который торговался с коммерсантом изо всех сил, взывая к его совести, страдая народным гневом, Теневиль продал пушнину за хорошую цену.

Да еще получил сверх всего толстую конторскую книгу с сотней чистых страниц и непочатый карандаш.

Оленевод больше всего радовался этому приобретению.

— А ты, Милюнэ, собирайся, поведем тебя на смотрины, — сказал Каширин девушке.

С замиранием сердца Милюнэ шла следом за широко шагавшим Кашириным. Лишь сейчас она могла вблизи рассмотреть тангитанское стойбище, застроенное будто выросшими из земли домишками. Среди них торчали два-три больших деревянных здания, одно из которых было увенчано крестом, как церковь в Маркове. Снег в Ново-Мариинске был грязный, закопченный угольным дымом. Возле каждого дома высилась мусорная куча. От угольного дыма першило в горле и все время хотелось кашлять. Милюнэ сдерживалась и с опаской поглядывала на своего спутника, такого непохожего на марковских тангитанов. Этот и говорил по-чукотски, не брезговал ярангой, и лицо у него было не худое, а широкое, обрамленное черной с сильной проседью бородой. Такому человеку по его обличью иметь большую семью, множество уже взрослых детей и даже внуков. Но не было никого у Петра Каширина, одинок он был, как отбившийся от стада олень...

Дом Тренева встретил Милюнэ громкими голосами:

— Рыбья твоя душа! Нет у тебя мужской твердости, даром что штаны носишь!

Голос был пронзительный, казалось, он протыкал кожу человека, словно железная игла.

— Что за шум, а драки нет? — крикнул Каширин, распахивая дверь в дом и пропуская вперед Милюнэ.

Агриппина Зиновьевна, раскрасневшаяся, с растрепанными волосами, стояла в тесных сенях и выговаривала мужу. Иван Тренев по обыкновению тербил бородку и еле слышно частил:

— Так-так-так... Так-так-так...

— А, Петр Васильевич! — Агриппина Зиновьевна обратилась к Каширину. — Явились! Что же это творится? А?

— Об чем речь? — спокойно спросил Каширин.

— А о том, что вы заставили мужа моего торговать в убыток! — крикнула Агриппина Зиновьевна. — Сейчас весна, товару недостаток, а он отдает за песка две плитки чая! Вы хотите нас по миру пустить!

— Успокойтесь, Агриппина Зиновьевна, — сказал Каширин так, словно ничего особенного не произошло. — Две плитки черного чая — это еще не все счастье на земле. Лучше поглядите-ка, какую работницу я к вам привел...

С этими словами он слегка подтолкнул вперед засмущавшуюся Милюнэ.

— **Выходите в комнату, — пригласила Агриппина Зиновьевна.**

Она искося быстро взглянула на чукчанку и не увидела в ней ничего особенного — обыкновенная чукотская девушка в меховом кэрэ, застенчивая и робкая. Но в комнате, когда Агриппина Зиновьевна пристальнее рассмотрела будущую свою работницу, она не могла не поразиться умиротворяющей ее красоте. Доброта так и лучилась от всего ее облика, от выражения лица, чуть округлого, мягкого, глаз, светящихся внутренним теплом.

— Как тебя зовут? — спросила Агриппина Зиновьевна.

— Микигыт? — перевел вопрос Каширин.

— Милюнэ...

Голос был низковатый, глубокий, мягкий.

— Что это значит?

— Заяц вроде бы, — пояснил Каширин. — Да что имя, вы на нее поглядите!

— А можно Машей звать? — вступил в беседу Тренев. — Зайчихой такую прелесть звать как-то... не очень... Словом, Маша было бы для нее неплохо... А, Груша?

— Ну что же, можно и Машей звать, — медленно согласилась Агриппина Зиновьевна. — Только вот делать она, видно, ничего не умеет.

— Да научите ее в два счета! — горячо заговорил Каширин. — Это же такой сообразительный народ! Вы только представьте себе, Иван Архипыч, ее дядя грамоту чукотскую изобрел!

— Петр Васильевич, вы в своих симпатиях к дикарям черт знает до чего можете договориться, — со снисходительной улыбкой заметил Тренев.

— Ну вот — не верит! — сокрушенно развел руками Каширин. — Вы мне скажите, Агриппина Зиновьевна, что надо делать, а я ей переведу.

Милюнэ поняла, что главные ее обязанности — ходить на лиман и на снежницы за пресной водой, держать запас горючего черного камня в железном ящике возле печи, поддерживать огонь в большом каменном очаге, выгребать из поддувала горячую золу и выносить из дому.

— Стирать покажу как, — сказала в заключение Агриппина Зиновьевна. — Жить будет на кухне, там можно закуток отгородить.

Пока Агриппина Зиновьевна учила Милюнэ орудовать совком и кочергой, мужчины курили и разговаривали.

— Поручение комитета почетное и важное, — солидно говорил Иван Тренев. — Я даже вам несколько завидую: вы избраны делегатом и вам же поручено подобрать еще двух представителей. Может статься, что вы вернетесь в Ново-Мариинск полномочным хозяином Анадырской округи, а то и всей Чукотки.

— Хозяином Чукотки является прежде всего народ, — ответил Каширин. — Вот этого главного никак не может понять ни ваш комитет, ни Петропавловск. В этом-то и был смысл свержения самодержавия. Главная идея — народовластие.

— Конечно, конечно — демократия, — закивал Тренев, — так-так-так... Но избранный народом комитет олицетворяет, так сказать...

— Ни хрена он не олицетворяет, — отрезал Каширин. — Вы поглядите на эти рожки: Асаевич — лакеем был, таким и остался, Сосновский — неудавшийся учитель, Царегородцев, Оноприенко, Мишин — одна шайка... Ведь главная сила осталась за Грушецким, Сооне и за теми, кто владеет лавками и складами. Есть ха-ро-шая идея!

— Какая же? — насторожился Тренев.

— Отобрать все склады, все товары, все рыбалки — все в пользование народа! — резко сказал Каширин. — Народ должен владеть всем.

Тренив испуганно огляделся, но быстро взял себя в руки и с вымученной улыбкой ответил:

— Для вас народ — это нечто идеальное... А вы поглядите вокруг. Ну кому вы отдадите склады? Пьяницам и картежникам? Смею вас уверить — через два дня во всех складах будет пусто и начнется такая анархия, что не приведет господь...

— Бойтесь? — усмехнулся Каширин. — Вижу, что боитесь. А народ, он не такой, как вы думаете. Царя-то кто скинул? Неужто чиновники да адвокаты? Или офицеры, продававшие Россию немцам? Не было бы напора народа — до сих пор Николай сидел бы на престоле.. Вот чую, что в России происходит совсем другое, чем в нашем Ново-Мариинске. Чую — есть сила, только не знаю, какая.

Тренив внимательно слушал Каширина и часто, дробно приговаривал свое:

— Так-так-так... Так-так-так... Ну вот, с первым пароходом поплывете в Петропавловск, оттуда во Владивосток. Своими глазами посмотрите...

— В Петроград бы, — вздохнул Каширин. — Там главное дело делается.

— Можете и в Петроград податься, — кивнул Тренив, словно от него самого зависело, куда направиться Каширину.

Каширин поднял глаза на Тренива.

— Знаю, костью я застрял у вас тут поперек горла... Лишь бы уехал — куда угодно: в тундру, в Петропавловск, во Владивосток, в Петроград. Только бы не мозолил глаза да не мешал жить. Но я скажу вот что, гражданин Тренив: я уеду — другие приедут. И такие, которые знают, что делать, с какого края взяться за жизнь, чтобы все тут перевернуть. А покуда верю, что вернусь с крепкими людьми, с настоящей верой в лучшую долю для таких, как вот она — Милюнэ-Маша...

Милюнэ и Агриппина Зиновьевна только вошли в комнату. Каширин широко раскрыл глаза и от удивления поцокал языком. Не менее его пораженный Тренив затакал:

— Так-так-так... Так-так-так... — и затеребил свою рыжеватую бородку.

Милюнэ облачилась в старое платье Агриппины Зиновьевны, которое на ней сидело словно богатое, самое красивое в мире платье.

— Королева! — выдохнул Тренив.

— Ну, Милюнэ, — хмыкнул Каширин, — затмила ты всех ново-мариинских красавиц!

— В бане помоем — будет у меня самая лучшая горничная в Ново-Мариинске, — заявила Агриппина Зиновьевна.

Проводив Теневиля и Каширина в дальний путь, Милюнэ перебралась к Тренивым, заняв угол в кухне. Агриппина Зиновьевна устроила ей постель на досках, настелив оленьих шкур и набросив поверх старое, прохудившееся лоскутное ватное одеяло, показавшееся Милюнэ таким роскошным, что первое время даже жалко было укрываться им. Хозяйка потребовала, чтобы Милюнэ больше не носила кэрок, и Милюнэ теперь ходила в облезлой заячьей шубейке, повязывая голову матерчатым платком. Сначала с непривычки было студено — особо мерзли ноги, живот, но весна набирала силу и с каждым днем становилось теплее.

Работы оказалось не так много. Через несколько дней Милюнэ уже умело растапливала большую печку, разводила огонь в плите, ставила самовар и, приготовив все на небольшом медном подносе, украшенном драконами и длиннохвостыми птицами, вносила утреннюю еду в ком-

нату. Агриппина Зиновьевна любила завтракать в постели, капая на простыни чаем и сладкой американской патокой — меляссой.

Этот обычай хозяйка завела с появлением Милюнэ и приохотила к нему и своего мужа.

Потом Милюнэ доедала остатки барского завтрака, вылизывая блюдо с меляссой с таким тщанием, что его больше и не надо было мыть. Вроде бы вдоволь было еды в доме, но она была какая-то легкая, словно игрушечная, и Милюнэ с удивлением прислушивалась к своему нутру, всегда ощущая легкий голод и странную пустоту в желудке.

Самая тяжелая работа — стирка постельного белья. Сначала на плите в большом, вмazanном прямо в камень чугунном котле грели воду до того — хоть заваривай в ней чай. Отливали кипятку в длинное деревянное корыто и замачивали в нем все матерчатое, натирая его скользким серым камешком, выделявшим обильную пену. Эта-то пена и смывала, как догадалась Милюнэ, грязь. Однако после всего этого надо было еще нести тяжелое мокрое белье к проруби на реке Казачке и там полоскать его, освобождая от остатков мыла. Руки стыли в холодной, ледяной воде, покрывались пупырышками, кости ныли до самого плеча. В довершение всего белье развешивалось на длинной веревке, натянутой от угла крыши к отдельно вбитому столбу. Белье прихватывало морозом, и оно гремело как железное. Мороз быстро высушивал мокрое белье, и к утру оно было сухое, чистое, пахнущее ветром и родной тундрой.

Хозяйская постель поразила Милюнэ. В этой постели лежать и лежать, не вставая. На железную пружинящую сеть были настелены олени шкуры. На шкуры во всю постель был положен толстый мешок, набитый птичьим пухом, мягкий, как мыльная пена. Этот мешок накрывался белыми простынями. Одеяло было простеганное, сверху гладкое, как бы покрытое легким невидимым льдом. И на одеяло тоже надевалось белое покрывало. В этой неге и белизне спали хозяева Милюнэ — тангитанская женщина Агриппина Зиновьевна и Иван Архипыч Тренев.

В первую ночь, точнее ранним утром, хозяев разбудил истошный крик новой служанки. Путаясь в завязках подштанников, Тренев выбежал в кухню и нашел Милюнэ страшно перепуганной. Она стояла голая, словно выточенная из темноватого старого дерева, перед своей постелью, и даже страх не портил ее красоты.

Заикаясь, она показала на постель, потом на стену над ней. По стене полз крупный, упитанный анадырский клоп, знаменитый тем, что его ничто не брало — ни страшные морозы, ни серный дым. Другой, раздавленный, лежал на матрасе.

— Эти огромные вши! Я их боюсь!

Тренев послюнил палец и осторожно снял со стены ползущего клопа, демонстрируя и свою храбрость и полную безвредность «этих огромных тангитанских вшей».

— Видишь? Не бойся, не съедят они тебя.

Утешая девушку, он не сводил с нее тяжелого, какого-то сонного взгляда. Горячая кровь поднималась, и Тренев вспоминал рассказы о тундровых женщинах, таких доступных, ласковых, нагишом разгуливающих в теплом меховом пологе. Воровато оглянувшись, он приблизился к Милюнэ, протянул руки, чтобы обнять ее, но громкий скрипучий голос Агриппины Зиновьевны заставил его отскочить:

— Ну что там случилось?

Тренев торопливо вернулся в комнату и, укладываясь рядом с рыхлым телом супруги, сказал коротко:

— Клопов испугалась, дура.

Первые дни Милюнэ часто ходила в ярангу Тымнэро и рассказывала Тангитаваль о странных обычаях тангитанов: вшах-великанах, кусавших по ночам, как голодные собаки, о любви к чистоте, доходившей до смешного — Агриппина Зиновьевна особой щеточкой полировала десны и зубы.

С едой в яранге Тымнэро по-прежнему было худо. Каюр Ваня Куркутский поделился остатками прошлогодней рыбы, и подруга угостила Милюнэ кислыми рыбьими головами.

Когда Милюнэ вернулась в тренеvский дом, Агриппина Зиновьевна повела носом, как собака, почуявшая оленье стадо, приблизилась, сморщила нос и сердито сказала:

— Чем это от тебя пахнет?

— Рыпа,— ответила с замиранием сердца Милюнэ.

— Вонница какая! — Хозяйка даже сплюнула от отвращения.— Не смей больше ходить в ярангу! Завтра же помоешься в бане — и чтобы никаких посещений грязных родичей!

Баня ТрENEvых стояла на берегу Казачки, и дверь открывалась прямо на прорубь, пробитую с самого ледостава и нынче уже не нуждающуюся в поддержании — вода больше не замерзала.

Милюнэ с утра натаскала с Казачки воды, наполнила большой вмазанный в печь котел, две железные бочки, зажгла огонь. Несколько раз в баню приходил сам хозяин, пробовал пальцем воду, брызгал на камни, наложенные грудой с другой стороны плиты, там, где одна над другой возвышались деревянные полки, чисто выскобленные и белые от частого мытья.

В бане становилось теплее.

В самом же доме ТрENEvых готовилось угощение. Хозяйка варила нерпичьи ласты — накануне Тымнэро удалось подстрелить на кромке льда двух нерп, готовила студень, а сам ТрENEv закопал в снег двух больших чиров, привезенных с реки Великой, и поставил студить в сугроб водку.

После полудня в баню направились ТрENEv и Грушецкий, прихватив с собой ведро квасу и березовые с осени заготовленные веники, которые хранились в сенях под потолочными перекладинами. Снимая их оттуда, Милюнэ вдохнула до боли знакомый запах березового стланика на берегу реки Танюер — невольное напоминание о навсегда ушедшем счастливым детстве. Она прижимала лицо к жухлым, ломким от сухости листьям и плакала тихими слезами, вспоминая родные яранги на высоком берегу реки, дым очагов — легкий, прозрачный в отличие от тяжелого угольного жирного дыма.

В баню невозможно было войти — такая там стояла жара.

Возбужденно переговариваясь, Грушецкий и ТрENEv раздевались в предбаннике. В ожидании приказаний Милюнэ сидела у полуотворенной двери и с изумлением глядела, как разоблачались тангитаны. Сначала они скинули шубы, сняли шапки и валенки. Остались во всем белом. Посидели некоторое время, как бы привыкая к жаре. Первым скинул последнюю рубашку рыбопромышленник Грушецкий. Его большое тело удивило Милюнэ яркой белизной. Сквозь тонкую прозрачную кожу просвечивали синие жилы. Грудь тангитана поросла курчавой темной бородкой, хотя на лице растительности никакой не было. Таким же белым оказался ТрENEv, но грудная борода у него была совсем светлой. Вообще телом он был тощ и походил на поджарого выносливого ездового оленя.

Когда тангитаны скинули белые полотняные нижние штаны, открыв глазам Милюнэ сморщенную свою срамоту, она не выдержала, отвернулась и услышала изумленное восклицание Грушецкого:

— Дикая, а стыд имеет...

Оба тангитана скрылись в клубах пара в главной банной комнате, и вскоре оттуда раздались вопли и стоны, свистящий звук рассекаемого распаренным веником жаркого, насыщенного паром горячего воздуха. В столах и возгласах чуялось наслаждение. Хорошо бы заглянуть в жаркую комнату и увидеть, что вытворяют друг с другом эти чудные, бесстыжие тангитаны. Вспомнив белые, поросшие волосами тела их, Милюнэ почему-то зябко поежилась, и тут ее едва не сшиб Грушецкий, пулей выскочивший из жаркой комнаты. Он промчался мимо Милюнэ, ногой распахнул дверь и в облаке пара нырнул в прорубь. Милюнэ в ужасе отпрянула; следом за первым тангитаном выскочил другой и с громким воплем погрузился в студёные воды еще покрытой льдом Качки.

Милюнэ от ужаса и изумления не знала, что делать. Она стояла у дверей бани, слушая вскрики распаренных тангитанов, всплески воды. Затем оба тангитана снова пробежали мимо девушки и скрылись в жаркой комнате.

Видимо, так было надо. Милюнэ взяла тряпку и вытерла на дощатом полу большие мокрые следы.

Еще несколько раз Грушецкий и Тренев выбегали окунуться в прорубь, растягивались на лавках в предбаннике, не обращая внимания на Милюнэ, пили большими глотками квас, настоящий на тундровой морошке, и, уже еле волоча ноги, снова скрывались в жаркой комнате.

Каждый раз, когда голые мужчины оказывались в предбаннике, Милюнэ старалась не смотреть на них, хотя трудно было справиться с любопытством.

Вскоре Грушецкий перестал возвращаться в жаркую комнату, видно, сил у него больше не было. Несмотря на тощее телосложение, Тренев оказался намного выносливее Грушецкого. Он чаще окунался в холодную воду и бегал все быстрее. Проходя мимо Милюнэ, он старался или ущипнуть ее за щеку, или прижать голой мокрой ногой, волосатой грудью. Милюнэ сторонилась, как от гигантского мокрого белого червя.

Наконец мужчины вымылись, оделись в чистую нижнюю матерчатую одежду, оберегая от грязи раскрасневшиеся тела.

Пришла Агриппина Зиновьевна с большим эмалированным белым тазом. Она велела мужчинам убираться, села на скамью и с помощью Милюнэ принялась разоблачаться.

— Ты тоже будешь мыться,— сказала Агриппина Зиновьевна, произнося слова медленно и ясно, и показала, что надо раздеться.

С бьющимся сердцем Милюнэ разделась.

Агриппина Зиновьевна внимательно оглядела Милюнэ, провела ладонью по коже живота и восхищенно произнесла непонятные слова:

— Атлас, шелк.

Стена горячего воздуха остановила Милюнэ на пороге. Верхушки легких ошпарило паром. В глазах заципало, удивительно было, что глаза чувствовали жар.

Агриппина Зиновьевна взяла Милюнэ за руку и потянула за собой, приговаривая:

— Идем, идем, не бойся...

Сгибаясь под горячим парным облаком, Милюнэ прошла в глубь жаркой комнаты и уселась на самую низкую ступеньку, где, как ей показалось, было чуть легче дышать.

Милюнэ таскала наверх попеременно то горячую воду из котла, то холодную из бочки и, к своему удивлению, чувствовала, что в этом жарком горячем воздухе вовсе не так плохо.

Тангитанская женщина распласталась на верхней полке, замочила в тазу березовый веник и позвала Милюнэ.

— Иди сюда! Вот гляди — бей меня вот так, так и еще так!

Мокрый веник хлопал изо всех сил по горячему распаренному женскому телу, и Милюнэ невольно вздрагивала.

Она взяла веник и несколько раз легонько стукнула хозяйку.

— Не так! — закричала Агриппина Зиновьевна. — Бей изо всех сил!

Милюнэ повиновалась, удивляясь тому, что чем сильнее она бьет, тем больше удовольствия получает хозяйка.

— Давай! Давай! — кричала Агриппина Зиновьевна, подставляя под удары разные части своего пышного тела. Она поворачивалась то одним плечом, то другим, охала, ахала, стонала, причмокивала, то широко расставляла ноги, то крепко их сводила. Судорожные подергивания тангитанской женщины пугали бедную Милюнэ, но стоило ей ослабить удары, как Агриппина Зиновьевна криком требовала, чтобы ее били, били как можно сильнее.

Обливаясь потом, застилавшим глаза, шкочотавшим кончик носа, Милюнэ хлестала тангитанскую женщину. Ей казалось, что она во сне.

Наконец, вздрогнув всем телом, Агриппина Зиновьевна обмякла, расслабилась.

— Довольно, Маша...

Отдышавшись в предбаннике и осушив полведра квасу, хозяйка показала Милюнэ, как мыться, и даже соблаговолила окатить ее холодной водой.

В отдельном сверточке она принесла для служанки старенькое, поношенное, но чистое белье.

Натянув на вымытое до скрипа голое тело матерчатую одежду, Милюнэ почувствовала себя такой легкой, что казалось: разбегись — и взлетишь как птица в весеннее, пронизанное солнцем небо.

У Трневых уже шел пир.

За столом тесно сидели изрядно охмелевшие гости.

— Хлебни-ка после бани. — Трнев поднес Милюнэ налитую до краев рюмку.

Милюнэ беспомощно огляделась. Она в жизни не пробовала дурной веселящей воды, хотя вдоволь нагладелась на пьяных. Но как отказать, если хозяин угощает?

— Дурень ты, — спокойно сказала Агриппина Зиновьевна мужу и отобрала рюмку. — Научишь пить, потом хлопот не оберешься.

— Вы совершенно правы, — заметил Сосновский, — дикарь быстро привыкает к спиртному. Оно для него как наркотик. Потом душу готов прозакладывать за глоток.

— На ней, на водке, и держится вся чукотская торговля! — воскликнул больше всех опьяневший председатель комитета Мишин.

Милюнэ вышла в кухню.

Отсюда ей хорошо был слышен разговор за столом.

— Задумка с Кашириным — это гениально, — громко сказал Мишин. — Я распорядился послать в Петропавловск телеграмму, что в Анадырском уезде полное спокойствие и народ целиком на стороне Временного правительства.

— Погоди радоваться, — предостерег Оноприенко. — Каширин не таков. Вернется и по-прежнему будет мутить воду. Одна надежда, что в Петропавловске одумались и установили твердую власть.

— Но какую власть? — усмехнулся Трнев. — Кому она принадлежит?

— По мне хороша любая власть, только бы порядок был в промышленных и торговых делах, — сказал Грушецкий, отошедший от

банной усталости.— Сейчас надо установить твердые торговые отношения с американскими фирмами. Только в этом и спасение Чукотки и Камчатки.

— Братья Караевы будут противиться,— угрюмо произнес Мишин.— Я с ними знаком. Крепкие мужики, знатоки в торговых делах, но патриоты не приведи господь. Они там на мысе Дежнева спят и видят как бы вытеснить с Чукотки всех американцев. Да и торгуют они не по-нашему.

— Как это понимать? — спросил Оноприенко.— Я им выправлял бумаги: вроде все у них законно.

— Законно-то законно, но подло бьют конкурентов. Платят много дикарям, да еще льготный кредит дают,— пояснил Мишин.

— Но дикарь тоже вроде бы человек,— вмешалась в разговор Агриппина Зиновьевна.— Поглядите-ка на мою новую горничную... Маша! Маша!

Милюнэ сообразила, что это ее зовут. Трудно привыкать к новому, незнакомому имени.

Она быстро вошла в комнату и остановилась в дверях, встретив стену пытливых, щупающих глаз.

— Ну что, видели, господа? — торжествующе спросила Агриппина Зиновьевна.

— И где же вы раздобыли такую прелесть? — спросил Оноприенко.

— В королевстве Армагиргина,— ответил Тренев.— Привез ее дальний родич нашего каюра Тымнэро.

— Хороша, хороша, ничего не скажешь.— Мишин встал и потрепал девушку по щеке липкой ладонью.

— Ладно, ступай, Маша,— величественно кивнула хозяйка.

Как смотрели тангитаны на нее! Пронизывали острыми глазами, светлыми, колючими, словно ледяными сосульками. И хоть глаза у тангитанов различались от глаз Армагиргина, но в них была такая же жадная похоть.

Несмотря на жарко натопленную кухню, Милюнэ вдруг почувствовала проникающую под матерчатую жесткую одежду стужу одиночества. Уйти бы сейчас в ярангу Тымнэро, посидеть у вольного пламени, не заключенного в каменный мешок, погреться теплым дымом, послушать знакомый чукотский разговор.

— Машка! Неси строганину!

Милюнэ кинулась в сени и достала слегка подтаявшую рыбу. Тепло уже. А в тундре появились проталины и маленькие телята прыгают вслед за оленухами, смешно взбрыкивая ногами. Речки и озера набухли водой и вот-вот тронутся, зажурчат, заискрятся на солнце...

Милюнэ проглотила возникший в горле комок и, стараясь быть спокойной, внесла тазик со строганиной в комнату.

Как тонка тангитанская матерчатая одежда! Сквозь нее все чувствуешь, словно ничего на тебе нет. И эту сильную, жаркую руку, огнем обжигающую тонкую девичью кожу.

Милюнэ торопливо поставила блюдо и вышла на кухню. Устало опустившись на жесткую лежанку, вытерла вспотевший от волнения лоб и снова услышала:

— Машка! Самовар!

Это было чудовищное сооружение — огромное, тяжелое, угрожающе полное каких-то внутренних звуков. Самовар стоял на краю плиты, горячий, с синеющими углями в дырчатом поддоне.

Милюнэ ухватила его обеими руками и потащила в комнату... Гости понемногу расходились. Оставались игроки в карты.

Они смачно и много курили, пили чай и лишь изредка произносили непонятные слова. Сама Агриппина Зиновьевна играла и громко покрикивала на мужа.

Музыкальный ящик возбудил у Милюнэ любопытство и страх. Когда крутили ручку, внутри что-то поскрипывало и стонало, будто страдал человек. Из широкой трубы вылетал хриплый женский голос.

Милюнэ поела остатков из разных тарелок, помыла посуду и почувствовала сонливость. Она прилегла на лежанку — час уже был поздний, хоть на воле было светло, будто в дневной час.

Она прилегла не раздеваясь, готовая по первому зову хозяйки вскочить. То засыпала, то открывала глаза, прислушиваясь: женщины из ящика больше не пела. Уже под утро поняла, что все гости разошлись, разделась и залезла под лоскутное ватное одеяло, с некоторым удивлением прислушиваясь к своему необычно чистому, легкому телу.

Что же будет дальше с ней?.. Еды, точнее остатков от хозяйского стола, было куда больше, чем она могла съесть. Она припасла мятую жестянку, куда складывала остатки, чтобы передать Тымнэро. Вспоминались голодные годы на берегу большой реки, детство, рано умершие родители, радуга над рекой, плещущаяся рыба в неводе, тальниковые заросли по берегам родного Танюрера и материнские песни... И еще думалось о будущем, о завтрашнем дне, когда начнется все сначала — тяжелые ведра с водой, стирка, черный пачкающий уголь, зола, при легком дуновении летящая в рот и ноздри... А что же дальше? Что будет дальше?

Слезы накатывались и тихо капали на лоскутное одеяло, о котором еще несколько дней назад Милюнэ не могла и мечтать... Но что дальше?

Тишина стояла над Анадырским лиманом, над уснувшим Ново-Мариинском. Тяжело дышали супруги Треневы, стонали во сне, видно переживая заново банное удовольствие.

Вдруг Милюнэ почудилось, что кто-то вошел в кухню. Это был хозяин. Он ощупью, с полузакрытыми глазами пробрался к котлу с талой водой, зачерпнул ковшом и долго пил, икая и крихтя. Он был в исподнем и придерживал спадавшие нижние белые штаны с завязками у щиколоток.

Напившись, сунул ковш в котел. Легко звякнула жесь.

Милюнэ, сердцем чуя опасность, смотрела на хозяина сквозь полузакрытые глаза.

Тренев быстро оглянулся на дверь и шагнул к лежанке. Милюнэ вся напряглась, задержав дыхание. Тренев навалился сразу, мешком упав на девушку. Он шарил руками по ее телу, старался откинуть одеяло и втиснуть свое тощее белое тело. Милюнэ молча отпихивала его, крепко стиснув зубы, стараясь криком не разбудить Агриппину Зиновьевну. Едва ей удавалось отпихнуть одну руку, как другая уже протискивалась, и порой ей казалось, что у Тренева по меньшей мере четыре руки.

— Ты что? Ах ты... Так-так-так... — пыхтел Тренев. — О-о, дикарка... Ах ты...

Со стола полетела пустая бутылка, за ней жестяная кружка.

Тренев подбирался все ближе. Спасительное одеяло, отделявшее Милюнэ от хозяина, сползло на пол. Самое противное было то, что Тренев пытался лизнуть в губы, обдавая запахом перегара, пиццы, табака. Тошнота подступила к горлу Милюнэ, наполнила рот горечью.

— Ах ты рыбья душа! А ну слезай с девки!

Тренев так и застыл на Милюнэ, словно неожиданно прихваченный морозом.

Она почувствовала, как Агриппина Зиновьевна изо всех сил ударила мужа по оголившемуся заду.

— Слезай, тебе говорят!

Тренев покорно сполз и так, на четвереньках, уполз в комнату, подталкиваемый и подгоняемый разъяренной женой.

Такого Милюнэ в жизни не доводилось видеть и слышать. Иногда ей казалось, что дом рухнет и погребет их всех гроих под развалинами. Агриппина Зиновьевна кричала, как разъяренная медведица. Бедный Тренев орал от боли и молил о прощении, пытался уползти из спальни, волоча по полу кровавые сопли, но его возвращала твердая рука жены.

Сжавшись в комочек, Милюнэ ожидала своей доли наказания. В лучшем случае ей придется расстаться с местом.

На восходе солнца Агриппина Зиновьевна, утомленная, охрипшая от ругани, уснула.

Стонущий Тренев обмыл холодной водой окровавленное, покрытое синяками лицо, осторожно вытер полотенцем и прикорнул на краю обширной супружеской постели.

Прошло несколько дней, зажали синяки на лице Тренева, но Милюнэ оставалась на месте, и речи не было о том, чтобы уйти ей обратно в ярангу Тымнэро.

Глава четвертая

В отношении снабжения товарами и продовольствием Чукотка в 1917 году опять была отдана на откуп американским капиталистам. Камчатский областной комиссар телеграфировал краевому комиссару Русанову, что в качестве снабженца Чукотки может быть рекомендован Олаф Свенсон. В 1917 году Свенсон завез на Чукотку товаров и продовольствия на сумму 5784 доллара.

ЦГАДВ.

Тымнэро встретил Милюнэ у свенсоновских складов и посоветовал:

— На лед за водой больше не ходи. Опасно. Не сегодня завтра тронется. Видишь, снегу почти не осталось, лиман весь прогнил до самой матерой воды, до анадырского течения.

Нартовая дорога до угольных копей перестала действовать: узкая колея, обозначенная черной пылью и выпавшими из прохудившихся мешков кусками угля, полностью исчезла под водой.

Весенние птицы пересекали испещренный талой водой лед Анадырского лимана и уходили в сторону залива Креста, на вольные пастбища, скалистые морские берега, чтобы вывести там потомство.

Ранним утром Милюнэ разбудил глухой взрыв.

Будто сдвинулась сама земля, весь низменный правый берег Анадырского лимана, на котором располагались дома Ново-Маринского поста.

Наскоро одевшись, Милюнэ выбежала из дома.

К лиману с криком бежали люди:

— Пошел лед! Лед тронулся!

Большие торосы, грядой возвышавшиеся у самого берега, шевелились, терлись друг о друга, валились и двигались, ровняя галечный

берег, подхватывая с собой всякий мусор — тронутые ржавчиной жестяные консервные банки, пустые бутылки, обрывки тряпок, куски облезлой шерсти, олений волос, собачье дерьмо, все, что было спрячено под снегом.

Жители Ново-Мариинского поста стояли на высоком берегу. Грохот заглушал ликующие возгласы, громкий возбужденный разговор.

Наконец-то дождалось этого дня! Освобождение Анадырского лимана ото льда значило, что по-настоящему кончилась полярная зима, пришло короткое, но долгожданное лето с кораблями, новыми людьми, новостями, газетами годичной давности, но все же газетами, и новыми товарами... Через месяц начнется страдная пора на Анадыре-реке — путина, великая рыбная ловля.

Комитет общественного спасения распределил рыбалки между промышленниками и владельцами сетей.

Сооне и Грушецкий остались при прежних рыбалках, хотя требовали отведения новых участков. Тренев осторожно наметнул другу, что нынче не время спорить и требовать. Лучше притаиться и довольствоваться тем, что дают. Из Петропавловска запросили: могут ли анадырцы предоставить рыбные концессии американцам? После бурного совещания было отвечено категорическим отказом: самим не хватает, чего тут еще делиться с американцами.

Мир и спокойствие воцарились в анадырском комитете после отъезда Каширина. По-прежнему собирались у Тренева, играли в карты и обсуждали будущее Чукотки.

Милюнэ тайком от хозяйки бегала к Тымнэро.

В яранге к весне стало совсем худо. Ребятишки держались лишь теми объедками, что приносила Милюнэ. В редкие дни, когда Тымнэро удавалось добыть нерпу, в яранге жарко пылал костер и большой котел, повешенный над огнем, клокотал, испуская дразнящий запах вареной нерпятины. Милюнэ вместе с обитателями яранги уписывала за обе щеки полусваренное, кровоточащее свежее мясо и рассказывала:

— Самая главная еда у них называется котлет... Для приготовления берут мясо, срезают кости, а потом кусками суют в железную машинку навроде челюстей. Глодает машинка это мясо, жует, а с другой стороны выпускает...

— Что ты говоришь, Милюнэ? — Тынатваль сморщила в брезгливой гримасе выпачканное кровью лицо.

— Это правда! — уверяла Милюнэ. — С другой стороны машинки выходит измельченное мясо. Разве только без дурного запаха. Затем из такого мяса с помощью моченого хлеба делают эти самые котлеты и жарят на толстой железной тарелке. Уж какая голодная бываю, однако такое могу есть только сильно зажмурившись.

— И как нутро у них не выворачивает от такой еды! — осуждающе замечала Тынатваль.

— А то есть у них другая чудная еда — длинная, как веревка, а изнутри пустая, макарон называется, — продолжала Милюнэ. — Вот это вкусно! Была бы моя воля, только эти макароны и ела!

Как не хотелось уходить из яранги, но надо было — Агриппина Зиновьевна не любила, когда Милюнэ надолго отлучалась.

После того дня, точнее утра, когда Иван Тренев был застигнут в постели Милюнэ, он делал вид, что не замечает девушку. Он даже ухитрился смотреть так, словно перед ним ничего не было.

Не до амурных дел ему было. Ожидали пароход из Владивостока или, на худой конец, из Петропавловска. Комитет как-то само собой прекратил деятельность: хозяева пропадали в своих лавках, пакуя пушной товар к отправке на материк, рыбопромышленники готови-

лись к путине, а Тымнэро обтягивал новой кожей свою крохотную байдарку.

Обычно после ухода поздних гостей Милюнэ мыла посуду и слушала жаркие споры хозяйской четы. Она уже кое-что понимала и догадывалась, что Агриппина Зиновьевна попрекала своего мужа. Тренев защищался и, кажется, оправдывался.

— И кончится дело тем, что ты останешься на бобах! Сейчас самое время лезть вперед, к власти! Все боятся, никто не знает, кто будет дальше. А мое сердце чует — по-старому уже не будет! Те, кто похрабрее да порасторопнее, — те и вылезут.

— Что-то таких у нас на Анадыре не видать, — заметил Тренев.

— Вот и хорошо! Этим надо и пользоваться!.. Представь себе, Вань... Проходит смута, настает спокойствие и твердость власти, а ты — губернатор Чукотки. Хозяин от Анадыря до мыса Дежнева. Мы строим дворец. Приемная зала в коврах, электрическое освещение. Шампанское в высоких хрустальных бокалах. Ты — во фраке, производишь речь о свободе и демократии. Вокруг — шепот на русском и английском языках: это Тренев, сильный человек, светлая голова, умница... Вся пушная торговля в наших руках, Каширин копает для нас золото, дикари платят ясак... Зимой будем уезжать в Калифорнию или во Флориду... Эх, какую жизнь упускаешь, Вань!.. Может быть, это наш последний шанс.

— Погоди, Зиновьевна, погоди... Уж можешь мне поверить: своего не упущу. Только надо сделать верный ход... Вчера мы избрали нового председателя. Иван Мишин собрался уезжать во Владивосток... Желтухина поставили.

— А почему не тебя? — возмутилась Агриппина Зиновьевна.

— Я еще подожду...

Первый корабль вошел в Анадырский лиман светлой ночью. Обогнув остров Алюмка, моторно-парусное судно «Полар Бэр» торговой промышленной компании Гудзонова залива медленно, словно на ощупь пробиралось к мысу Обсервации. Дно Анадырского лимана коварно, фарватер часто меняется, появляются не обозначенные на картах мели.

Судно стало на якорь против устья Казачки, приблизившись сколько возможно к берегу.

Разбуженный новым председателем комитета Желтухиным, Тренев неторопливо одевался, соображая, как ему держаться с американцами.

Можно будет обойтись строго — внушить капитану, что заход в территориальные воды России без особого разрешения властей грозит штрафом... А можно вообще об этом не заговаривать, тем более что американцы никогда не испрашивали разрешения на заход в чукотские воды, считая это излишним... В Ново-Мариинске английский знали двое — Тренев и бывший американский моряк норвежского происхождения Волтер. Третий знаток английского — Каширин — в отъезде.

Тренев тщательно побрился, побрызгался остатками одеколона, надел суконный скюртук и критически оглядел себя в зеркало. Не мешало бы постричься, но времени на это уже не было.

Глядясь в зеркало, Тренев представил себя во фраке, как мечтала Агриппина Зиновьевна, в цилиндре, в руках черная трость с белым набалдашником из моржовой кости. Именно из моржовой, а не из слоновой...

На берегу уже была приготовлена лодка — утлое суденышко, щедро залитое черным варом. Лодка принадлежала Волтеру, и это

означало, что и он поплывет на судно. Кроме Тренева, в лодку сели Желтухин, Сосновский, Грушецкий и Бессекерский.

Шел прилив, и надо было грести изо всех сил, чтобы не промахнуться, не проскочить мимо корабля. На весла сели Бессекерский и Волтер.

Стоявший на носу Сосновский ловко ухватил брошенный с корабля конец.

Шхуна была знакомая, но капитан новый. Он встретил у борта представителей местной власти. Не успели все поздороваться с капитаном, как Тренив услышал знакомый голос:

— Мистер Тренив! Рад вас видеть здоровым и живым!

Тренив поднял голову и увидел на капитанском мостике старого знакомого Олафа Свенсона. Американец, не очень представительный с виду, был одет как простой матрос. Он широко улыбался, махал рукой, и по виду трудно было догадаться о его истинном положении на корабле. Но именно к нему сходились все торговые связи на громадном протяжении от северной Камчатки до устья реки Колымы. И так называемые коммерсанты, вроде Тренева, не обходились без Свенсона, даже братья Караевы, мечтавшие о том, чтобы Чукотка снабжалась только русскими товарами.

Сам Олаф умел располагать к себе людей. Он не гнушался чашкой чая, поданной грязными руками эскимосской хозяйки, входил в яранги не зажимая носа, знал эскимосский и чукотский языки в пределах, достаточных для торговых сделок. Он помнил все пожелания и заказы охотников и исполнял их с исключительной добросовестностью. У местных покупателей частенько случалось так, что товар почему-то на второй или третий день переставал нравиться. Свенсон менял его немедленно да еще приговаривал при этом, что если и эта покупка не подойдет, он готов еще раз обменять ее.

На все другие торговые и транспортные корабли местные жители обычно не допускались из «гигиенических соображений», но на корабль Олафа Свенсона, где в кают-компании всегда был накрыт стол для чаепития, их приглашали с радушной улыбкой. И еще одно обстоятельство — Олаф Свенсон никогда лично не торговал спиртным и, во всяком случае на словах, был ярким противником спаивания местного населения. Тренив хорошо помнил его поучения прошлых лет: «Вы рубите сук, на котором сидите. Охотник, ослабленный действием алкоголя,— плохой охотник. Если вы хотите иметь устойчивый источник пушного товара — продавайте ружья, капканы, приучайте охотника и членов его семьи пользоваться вещами цивилизованного обихода. Больше внимания женщинам! Привлекайте их яркими тканями, лакомствами, украшениями...»

Сам Олаф Свенсон поддерживал личные связи лишь с несколькими жителями прибрежных селений. Остальное население довольствовалось легендами о добром и отзывчивом, справедливом американце.

Обычно Олаф Свенсон редко заходил в Анадырский лиман, предпочитая плавать в районе Берингова пролива, где были сосредоточены его фактории. Но в эту навигацию первым он сделал заход в уездный центр, чтобы разузнать о политическом положении края.

Тренив поднялся на мостик и прошел вместе с сопровождавшими его анадырцами в каюту капитана, где их ждал улыбающийся, весь сияющий радушием Олаф Свенсон.

— Здравствуйте, господа! — сказал, пожимая всем руки, заглядывая в глаза. — Вы превосходно выглядите! Тяготы полярной ночи идут вам на пользу. Рассаживайтесь, почувствуйте себя как дома...

Вошел стюард с огромным медным подносом, уставленным раз-

нокалиберными бутылками и стаканами. Здесь было множество сортов виски, джин, имбирное пиво и даже безалкогольное пиво для трезвенников. Таковых среди анадырцев не оказалось, и большинство предпочло янтарное неразбавленное пшеничное виски.

Желтухин очистил большой калифорнийский апельсин и вонзил крепкие зубы в сочную мякоть. Сок потек между пальцами, закапал на засаленный рукав сюртука.

Пока гости насыщались фруктами, пили и закусывали, Олаф Свенсон говорил сам:

— Во-первых, позвольте вас, господа, поздравить с победой революции. С установлением новой демократической власти. Честно говоря, я ожидал, что это когда-нибудь случится. Россия нуждается в новом энергичном правительстве, не связанном с прошлым. Мы внимательно следим за развитием событий в вашей стране, желаем победы в войне и скорейшего возврата к мирной жизни... Однако судя по сообщениям наших газет, Россия не достигла стабилизации. Идет противоборство различных партий, и какие-то большевики во главе с Лениным пытаются захватить власть. Они подстрекают самые низменные, темные слои общества — заводских рабочих, неграмотных крестьян — на захват власти, на уничтожение всякой собственности и передаче всех богатств так называемому народу...

Анадырцы, оставив угощение, внимательно слушали американца. Переводил Аренс Волтер.

— Но просвещенный мир и цивилизованное человечество внимательно следят за Россией, — продолжал Свенсон. — И я уверен, что в мире найдутся разумные силы, которые не дадут ввергнуть в окончательный хаос вашу страну... У меня есть полномочия от нашего правительства внимательно выслушать ваши пожелания и помочь, если нужно.

Свенсон умолк и снова очень дружелюбно улыбнулся.

Почесав в голове, Бессекерский спросил:

— Кто же они такие, эти большевики? И откуда они объявились?

— По-видимому, это течение в русской революции существовало и раньше, — ответил Свенсон. — Такие крайние намерения не являются чем-то новым и неожиданным. Еще в сочинениях древних авторов вы можете прочитать об идеальном обществе, где нет собственности и все поровну принадлежит всем людям без исключения... Однако согласитесь, господа, это утопично и противоречит человеческой натуре.

Свенсон произносил слова со вкусом, наслаждаясь превосходством над этими жалкими русскими, явно растерянными, затаившимися в собственном страхе.

— Мое правительство обеспокоено положением огромного края, который практически остался без продовольственного снабжения, — продолжал Свенсон. — И оно изъявило готовность прийти на помощь. Однако в связи с ухудшением общей конъюнктуры, транспортными затруднениями, неустойчивостью политического положения России, валютными ограничениями торговля в этом году будет происходить на несколько иных условиях, чем в прошлые годы...

— И каковы эти условия? — спросил Грушецкий.

— О, для вас они, можно сказать, даже облегчены, — улыбнулся в ответ Свенсон. — Вам не надо думать о том, как переправить пушнину во Владивосток и Петропавловск — всю ее возьмут мои корабли через торговые пункты: в Ново-Мариинске — торговый дом Бессекерского, бухта Провидения — фактория Томсона и мыс Дежнева — фактория Карпентера. Через эти же три пункта все, кто согла-

сится сотрудничать с нами, получат необходимые товары, кредиты... Надеюсь, вам все понятно?

Грушецкий обвел взглядом присутствующих. Это означало, что если в прошлые годы у анадырских коммерсантов был хоть какой-то выбор цен и товаров, то сегодня и этого больше нет. Все так называемые независимые торговцы анадырского края переходили в услужение к Олафу Свенсону, а через него к могущественной компании Гудзонова залива. Однако другого выхода не было.

— Вы, стало быть, и рыбу будете покупать? — осторожно спросил Грушецкий.

— Не всю рыбу, не всю, — поспешил ответить с улыбкой Свенсон. — Мы возьмем икру в небольших бочонках — тару привезет пароход из Сизэтла, малосоленные лососевые пупки, а остальную рыбу советуем оставить себе — на корм собакам, для собственного потребления.

— Но это как же? — растерянно пробормотал Грушецкий. — Владивосток у меня забирал пластанную соленую рыбу, балыки... Куда же теперь все это?

— Если вам удастся переправить улов во Владивосток — ваша удача, — с прежней улыбкой ответил Свенсон. — Но я могу посоветоваться с оптовыми покупателями на Аляске — может, кто-нибудь и возьмет соленую рыбу и балыки... Но не думаю, что они предложат ту цену, на которую вы рассчитываете.

Тренев заерзал на привинченном к палубе стуле и заговорил:

— Господа. — Он пытливым взглядом обвел собравшихся. — Мы тут все свои и можем откровенно высказываться. Я не понимаю вашей нерешительности. Еще в прошлом году мы мечтали о тех днях, которые наконец-то настали для нас — неограниченная торговля на Чукотке, никаких формальностей и пошлинных и таможенных ограничений. С одной стороны — Америка с ее огромными товарными запасами, нужными для Чукотки, с другой — Чукотка, готовая продавать пушнину, открыть тундровые долины для разведки золота и других полезных ископаемых... Все это еще вчера из ложно понятого чувства патриотизма было невозможно. Сегодня мы присутствуем при зарождении свободного рынка на Дальнем Севере, рынка, который сулит огромные прибыли и процветание этому краю.

Свенсон внимательно слушал и одобрительно кивал.

— Думаю, что все мы будем дружно сотрудничать в освоении Чукотского полуострова, — заключил Тренев.

Все получили от Олафа Свенсона по большому свертку — бутылка калифорнийского сухого вина, фрукты, табак.

Аренс Волтер взялся за весла и погнал лодку по отливу к берегу, высадив пассажиров напротив чукотских яранг, возле которых стояли чукчи, с надеждой поглядывающие на корабль тангитанов. Во всех других чукотских приморских селениях местные жители сами торговали с американцами, но не в Ново-Мариинске.

Тымнэро с грустью смотрел на уходящий за остров Алюмка корабль и с тоской думал о том, когда еще придется покурить настоящий американский табак.

Олаф Свенсон любил эти синие, красиво изогнутые берега, знакомые с молодых лет, когда юнгой он плывал на китобойце, провонявшем ворванью от трюмов до матросского кубрика.

Они били кита в Мечигменской губе, загоня стадо морских великанов в узкий проход. Вода становилась красной от крови, и тяжкий дух медленно поднимался в стлелое небо.

На берегу негры топили из сала жир и по ночам уходили в чукотские яранги в поисках женщин.

И сейчас еще в некоторых прибрежных чукотских селениях можно увидеть темнокожих и курчавых мужчин и женщин, напоминавших Олафу Свенсону его китобойную молодость.

Остался позади Анадырский лиман, и вода заметно изменила цвет — сюда уже не достигала пресная мутная вода великой чукотской реки, вбравшей в себя влагу огромных пространств болотистой полярной тундры, редких лесов и горных склонов. Сколько же богатств таится в недрах этих почти безлюдных просторов? Золотоискатели, которые чаще всего работали на свой страх и риск и таились друг от друга, иногда в каюте Свенсона после обильного угощения развязывали языки и рассказывали такое, что дух захватывало. Именно это и было главным, что теперь интересовало Олафу Свенсона и его покровителей в «Гудзон бей компани».

Американские деловые люди издавна рвались на земли Чукотки. Первой попыткой был проект калифорнийского эсквайра, бывшего торгового уполномоченного на Амуре Перри Коллинса. Предполагалось проложить телеграфную линию из США через Британскую Колумбию, Аляску, Чукотку и Восточную Сибирь. Эта линия должна была соединиться с уже действовавшей линией телеграфной связи Москва — Николаевск-на Амуре и замкнуть вокруг земного шара всемирную телеграфную линию. Один из деятелей этого проекта — инженер и журналист Джордж Кеннан — широко печатал в американских газетах и журналах увлекательные очерки о дикой красоте Дальнего Заполярья, Чукотки и Камчатки. Была образована «Российско-Американская телеграфная компания». Главный штаб азиатского отряда изыскателей и строителей располагался в Гижиге. В некоторых пунктах были поставлены металлические мачты, заготовлены столбы, прорублены просеки.

Но успешно закончились работы по прокладке телеграфного кабеля по дну Атлантического океана. Европа соединилась с Америкой надежной линией связи. Надобность в азиатской линии отпала — и работы пришлось прекратить.

В начале XX века был выдвинут другой проект, не менее грандиозный и впечатляющий, — постройка железной дороги из Азии в Америку с туннелем под Беринговым проливом.

Французский инженер Лойк де Лобль по заданию американского железнодорожного магната Генри Гарримана изучает Аляску и дно Берингова пролива. В газетах появляется описание проекта железнодорожной линии «Париж — Нью-Йорк». Предполагалось создать синдикат «Транс-Аляска — Сибирь». Железную дорогу намеревались построить в направлении Красноярск — Якутск — Верхне-Колымск — мыс Дежнева, общей протяженностью пять тысяч верст. В виде компенсации за понесенные затраты Россия должна была передать синдикату на девяносто лет помимо полосы отчуждения под рельсовые пути железнодорожные постройки и устройство телеграфа еще по восемь миль (двенадцать верст) с каждой стороны дороги. На эти земли концессионеры предполагали получить все права государственного владения, их общая площадь должна была составить сто двадцать тысяч квадратных верст.

Свенсон хорошо помнил слова, сказанные тогда на заседании американского конгресса сенатором Бевериджем и напечатанные в газетах: «Мы создадим опорные американские пункты по всему миру. Вокруг этих пунктов вырастут великие американские колонии, в которых будет развеяться наш флаг». Этот план разрушила первая русская революция 1905 года.

Под негласным покровительством самого императора Николая Второго и императрицы Александры Федоровны была создана Компания по изысканию и разработке полезных ископаемых. Это, казалось бы, верное дело было загублено безудержной алчностью царских чиновников и прежде всего самого Вонлярлярского, сбывавшего добытое золото американцам.

Результаты всех трех проектов — карты, данные геологических изысканий — все это осталось в руках американцев.

Теперь, казалось, история сама предоставляла Америке реальную возможность овладения Чукоткой и Камчаткой.

Капитан вышел на палубу и вполголоса спросил:

— Будем заходить в Уэлькаль?

Свенсон молча кивнул, но потом вернул капитана.

— Сэр, идите ближе к берегу. Вам тут нечего опасаться, я хорошо знаю эти места.

Склоны гор уже покрылись зеленью, испещренной яркими полярными цветами. Из-под снежниц и ледников в море падали прозрачные водопады. Стаи птиц низко тянулись над морем, устремляясь на скалистые гнездовья. То и дело по курсу выныривали нерпы и, высоко высываясь из воды, с любопытством рассматривали идущий в светлой ночи корабль. На горизонте киты пускали фонтаны, и редкие льдины смешивались очертаниями с низкими облаками.

Каждый раз, выходя после зимы в первое плавание по знакомым морям — Чукотскому и Берингову, Свенсон поражался обилию жизни в этих, казалось бы, холодных водах. И это обилие жизни в студеных глубинах бодрило, рождало смутные надежды.

Человек из Вашингтона, встретившийся с Олафом Свенсоном в Номе, был немногословен: поддержать любое движение, любую политическую группировку или даже личную диктатуру, выступающую за отделение Камчатки и Чукотки от бывшей Российской империи. Это первое. Второе — ни в коем случае не демонстрировать свою заинтересованность, тем более заинтересованность государственного департамента. «Все остальное произойдет естественным путем», — туманно изрек человек из Вашингтона, провожая Олафа Свенсона в плавание.

Откровенно говоря, Свенсон не нуждался в подсказках: за многие годы он изучил все, что касалось политических проблем этого края. Начало было положено покупкой Аляски. Но это только начало!

Полночное солнце, искупавшись в ледяных водах Берингова пролива, медленно поднималось в небо, стряхивая с кончиков лучей морские капли.

Стюард принес толстую глиняную кружку с крепким кофе.

— Принесите бинокль, — попросил Свенсон.

Безмолвные берега, ярко освещенные встающим солнцем, подступили вплотную к кораблю. Они волновали Олафа старыми воспоминаниями.

Поднеся к глазам окуляры, время от времени прихлебывая быстро остывающий кофе, Свенсон принялся рассматривать берег, прибойную черту, на которой вперемежку с тающими льдинами белели кости морских зверей — моржей, лахтаков, а кое-где к гальке подступала зеленая тундра, из мха торчали челюстные кости китов: чукчи и эскимосы ставили их в честь предков, связанных родством с обитателями морских пучин.

Впереди по курсу виднелась коса, отделяющая от моря мелководную лагуну. Прибой ласкал чистую гальку. Когда-то здесь было большое эскимосское поселение. Свенсон еще помнил последние яранги, исчезнувшие лет десять назад. Люди вымерли от неизвестной

в этих краях болезни — трудно поверить! — от детской кори. Обыкновенная детская корь оказалась смертельно опасной и опустошительной болезнью для людей, казалось, способных противостоять любому натиску природы, если уж им удалось выжить среди морозов и снежных ураганов.

Свенсон быстро поставил на палубу недопитую кружку с кофе и обеими руками взялся за бинокль.

Да, сомнений больше не было — на другом берегу лагуны паслось оленье стадо.

Свенсон заспешил на капитанский мостик.

Приближаясь на шлюпке к берегу, Свенсон вспомнил о давнем разговоре с братьями Ломен, поручившими разузнать, можно ли купить оленей на Чукотке для разведения их на Аляске.

После того как белые охотники свели на нет огромные стада карibu, аляскинская тундра опустела. Правда, здесь никогда не было домашнего оленеводства, но знающие люди говорили, что чукотский олень не только приживется на Аляске, но будет чувствовать себя намного лучше, потому что здесь пастбища обильнее, а гнуса меньше.

Однако купить живых оленей на Чукотке оказалось невозможно. Повинуясь каким-то смутным суевериям, чукотские оленеводы наотрез отказывались продавать живых оленей, зато предлагали сколько угодно мяса и шкур. Самые щедрые посулы ни к чему не привели. Переговоры о покупке оленей зашли в тупик, и надо было искать другой выход.

Шлюпка мягко ткнулась носом о гальку. Свенсон первым спрыгнул на берег, стараясь не замочить ног, и оказался лицом к лицу со своим старым знакомым Кашириным-Стивенсоном.

— Хэлоу, мистер Стивенсон,— стараясь скрыть удивление, поздоровался Свенсон.

— Хэлоу, мистер Свенсон.— Каширин пытливо поглядел на американца.— Плаваете? И куда, позвольте вас спросить?

— Из Ново-Мариинска на мыс Дежнева,— учтиво ответил Свенсон.— Мы предварительно встретились с местными властями и поставили их в известность о предстоящем маршруте. А вы-то что тут подельваете? — поинтересовался, в свою очередь, Свенсон.— Оленеводом заделались? Или продолжаете мыть золото?

— Ни то, ни другое,— ответил Каширин.— Я уполномоченный Анадырского уездного комитета. Вместе с двумя избранными делегатами мы едем в Ново-Мариинск, а оттуда на съезд в Петропавловск.

— Очень сожалею,— сказал Свенсон,— но мне совсем в другую сторону.

— Да мы на вас и не рассчитывали,— ответил Каширин.— Нам главное добраться до Уэлькаля. Оттуда на вельботе доплывем до устья Анадыря.

— Вот в Уэлькаль мы вас доставим с радостью,— обещал Свенсон.— Но прежде нам бы хотелось запастись свежим оленьим мясом. Мистер Каширин, согласитесь, что на свете нет ничего лучше оленьих языков?

— Это точно,— ответил Каширин.

Три дня назад вместе с оленьим стадом Армагиргина, спасавшимся от тундровых комаров и овода, Каширин пришел на берег этой лагуны. Позади был долгий и трудный путь по горам и тундрам южной Чукотки. Два представителя местного населения — чукча Тынанто и ламут Дулган,— избранные на сельских сходах, заскучали и просились обратно. Тынанто вчера попытался бежать, но Каширину удалось его настигнуть и вернуть в стойбище.

Узнав, чьи это олени, Свенсон уважительно заметил:

— Как же! Я много слышал о чукотском короле Армагиргине. Буду рад с ним познакомиться.

Свенсон вернулся на корабль и через полчаса на той же шлюпке возвратился с подарками для оленевода.

Яранги оленеводов располагались на высоком берегу речки, впадающей в лагуну. Издали стойбище производило впечатление полной идиллии — мирно поднимались в прозрачное светлое небо струйки дыма, на мягком мху, на свежей новой траве носились ребятишки, одетые в хорошо выделанные летние кухлянки, украшенные орнаментом и длинным белым волосом с шеи матерого оленя. Молодые женщины кормили младенцев, выставив смуглые, тугие, закапанные белым молоком груди.

Свенсон любовался гребцами — сильные, здоровые люди, с широкими улыбающимися лицами. Они заметно отличались от береговых чукчей и эскимосов, среди которых были уже с явными признаками цивилизации: попрошайки, пьяницы, зараженные венерическими болезнями, пораженные туберкулезом. Совершенно правы те, кто советует местные племена ограждать от длительного и тесного соприкосновения с белым человеком. Не зря бог распорядился для каждого народа, для каждого племени создать свой образ жизни.

На низком мягком тундровом берегу впереди толпы стоял старик. Он был дряхл и слаб, и его колени, обтянутые нарядным тонким пестрым камусом, заметно дрожали. На тело был надет старый засаленный то ли мундир, то ли кафтан, тщательно заштопанный оленьими нитками и кое-где заплатанный замшей. На ветхом поясе под животом висел морской кортик. На плечах старика виднелись диковинные погоны, из-под левого свешивался сильно потемневший, похожий на медвежьи жилы аксельбант.

— Амын етти! — громко, с дрожью в голосе поздоровался старик, протягивая Свенсону руку.

— Ии, — подобающим образом ответил американец. — Ты-тык.

— Какомэй! — удивленно воскликнул старик. — Да ты, оказывается, по-нашему разговариваешь? Я думал, один только такой тангитан есть — Кассира, — кивнул Армагиргин в сторону Каширина.

— Кит-кит¹³, — скромно сказал Свенсон. — Мой чукотский разговор скуден, как обмелевшая речка.

— Друзья общаются и сердцами, не только словами, — заметил Армагиргин, жестом приглашая гостей следовать за собой.

В обширном чоттагине хозяйской яранги пылали два костра. Над огнем висели котлы, в одном варилось нерпичье мясо, в другом — оленина. Молодой парень бил каменным молотком оленины ноги, раскалывал кость, вынимал оттуда розовый костный мозг, обсасывал от приставших мелких обломков и складывал в деревянную миску для угощения.

У полога уже были разложены белые оленины шкуры, на которые и уселись гости.

Свенсон положил перед Армагиргином подарки и торжественно произнес:

— Мы не предполагали встретить вас на морском берегу и поэтому не подготовились. Позвольте преподнести вам эти скромные подарки как знак уважения к вам и к вашему высокому званию — зрыма.

Эрым и эрмэчин на чукотском языке значили многое. Прежде всего — сильный, сильнейший. Но для того, чтобы прозываться так, совсем не обязательно одерживать верх на весенних состязаниях ве-

¹³ Немножко.

ликого празднества килвэй. Эрмэчины имели совсем другую силу, точное название которой — власть. Власть над богатствами тундры и над людьми, кормящимися вокруг тучных оленьих стад эрмэчинов.

Армагиргин, сохраняя достоинство, небрежным кивком велел унести подарки в боковые кладовые, и на опустевшее место тотчас были положены несколько связок горностаев и пыжиков.

— Мои скромные от дарки никак не могут покрыть великую ценность твоего уважения, — сказал Армагиргин. — Прошу принять в знак расположения эти жалкие меха.

Свенсон велел сопровождавшему его матросу взять шкурки.

Подали в двух длинных деревянных корытах оленье мясо, нерпичьи ребрышки и розовый олений костный мозг, заботливо обсо- санный парнем.

Свенсон вытащил из-за голенища большой пружинный складной нож и принялся за еду. Он ел как заправский чукча, отрезая мясо у самого кончика носа, громко чавкая, выражая этим явное удовольствие, и ни о чем не говорил, соблюдая обычай.

Каширин поглядывал на него из-за края наполненного вареным мясом блюда, сквозь пахучий пар и едва заметно улыбался.

Американец ловил на себе пытливые взгляды Каширина и злился: чему радуется этот неудачник-золотоискатель? Он говорил, что является уполномоченным Анадырского комитета и даже едет на какой-то съезд в Петропавловск. Что это значит? Надо бы его порасспросить поподробнее. Потом, на корабле.

Армагиргин ел нерпичье мясо. За зиму ему надоедала оленина, и он мечтал о весне и лете как о времени, когда он будет держать во рту молодое нерпичье мясо, исходящее горячей соленой кровью. Нерпятину и вообще мясо морских зверей сытнее оленьего. Чтобы ощутить желудочную истому, иной раз надо чуть ли не четверть оленя съесть. А моржатины и нерпятины куда меньше требуется, и к тому же она долго дает ощущение сытости и внутренней силы.

Он искренне обрадовался появлению Свенсона, о котором много слышал, но никогда не видел его. Американец был представителем привычного мира тангитанов, богатых, щедрых к друзьям, уверенных в себе, знающих цену пушному товару. В последние дни Армагиргин был растерян и молчалив. И виной всему этот тангитан Кассира, принесший худые вести о новой власти, которая должна объединить людей. Такая мечта, как чуял Армагиргин, среди бедного люда жила всегда. Жила и никому не мешала, потому что каждый здравомыслящий человек понимал, что это никак невозможно. Это все равно что кочевать на луну. Такая мысль иной раз появляется в голове, но всем известно, что это несбыточно. Каширин устроил большой сход в Маркове и в Усть-Белой. Выбрали двух несчастных людей — Тынанто и Дулгана, — оторвали от семей, от родного селения и везут невесть куда... Может, Кассира просто самозванец и никакой новой власти нет? И брат Армагиргина — Солнечный владыка по-прежнему восседает на золотом сиденье?

Оленевод кинул быстрый взгляд на Свенсона. Американец был увлечен едой. Негоже отрывать его. За чаем можно будет порасспросить.

Давно такого чая не пивали в яранге Армагиргина. Чтобы окончательно погрузить себя в удовольствие, Армагиргин набил трубку мягким, как гагачий пух, виргинским табаком и несколько раз глубоко затянулся, стараясь как можно дольше удержать драгоценный дым.

— Что слышно о моем брате? — вкрадчиво спросил Армагиргин, склонившись к американцу.

— К сожалению, я не имею чести быть с ним знакомым,— растерянно ответил Свенсон, стараясь сообразить, почему именно к нему был обращен этот вопрос.

— Вы, видно, не знаете, что братом моим называется император Николай,— несколько суховаато пояснил Армагиргин и добавил: — У меня на этот счет есть бумага.

— Прошу прощения,— засмутился Свенсон.— Я просто запамятовал. По сообщениям американских газет ваш брат вместе с семьей живет в Тобольске, в глубине России... Но сейчас у власти Временное правительство.

— Об этом мне Кассира говорил,— заметил Армагиргин.— Не думает ли мой брат возвратиться на свое золоченое сиденье?

Свенсон заерзал на белой оленьей шкуре, словно под него попала искра из костра.

— Видите ли, тут такое дело... Мои познания в чукотском языке слишком скудны, чтобы обсуждать такой вопрос.— Свенсон искаса глянул на Каширина.

— Я думаю, что мой брат найдет в себе силы вернуться,— убежденно сказал Армагиргин.— Когда люди увидят, что без него худо, сами призовут обратно Солнечного владыку. А смута и беспокойство уже начинается. Добро бы тангитаны меж собой ссорились и делили власть, а то ведь вовлекают и моих соплеменников, мутят им разум, вселяют в них несбыточные надежды, сулят им невозможное.

Говоря это, Армагиргин смотрел в глаза Каширину, но этот человек не отводил взгляда, выдерживал, словно за ним стояло бесчисленное войско или громадное оленье стадо.

Свенсон приложил некоторые усилия, чтобы отвести разговор в другую сторону: ему было настрого сказано человеком из Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела России и не обсуждать ни с какой стороной политические вопросы.

— Тундры на том берегу пролива обширны и пустынно,— начал он,— пастбища тучны и просторны. Но оленей там нет, не водится друг тундрового человека на том берегу.

— Слышал я об этом,— кивнул Армагиргин.— Тамошные люди не раз на моей памяти желали переселить чукотского оленя на американскую землю...

Армагиргин задумчиво уставился на огонь. Говорят, собирався сделать это Рольтыргин, и даже намерение, а не деяние, погубило его стада, искоренило весь род. Сначала страшная копытка сгубила всех оленей, а потом болезнь. Три стойбища было у Рольтыргина, и теперь на той тундре, на водоразделе, гниют старые жерди опустевших яранг и белеют многочисленные олени рога когда-то огромного стада. Тот, кто создал оленей, не желает, чтобы они переселялись на другую землю.

— Есть дела или даже тайные намерения, которые, однако, совершать не дано никому во имя жизни и дальнейшего существования,— напыщенно и важно ответил Армагиргин, и Свенсон понял, что лучше ему не возобновлять разговора о покупке оленей.

Зато на просьбу продать оленье мясо Армагиргин отозвался с великой щедростью и сверх проданного подарил Свенсону десяток языков и связку прэрэма — оленьей колбасы, редкого тундрового лакомства.

Когда погрузили мясо на корабль, Каширин обнаружил исчезновение своих спутников — Тынанто и Дулгана, делегатов, избранных на сельских сходах.

С нарастающей тревогой Каширин обошел все яранги, сбегал в

стадо, но нигде не было и следов народных избранников. Он расспрашивал пастухов, обращался ко всем встречным — малым и старикам, женщинам и мужчинам, но каждый отговаривался многозначительным чукотским словом:

— Ко-о-о...

Догадку подтвердил Теневиль.

— Они сбежали,— сказал изобретатель чукотской письменности.— Ушли еще днем.

— Что же мне делать? — растерянно пробормотал Каширин, не ожидавший от делегатов такого подвоха.

— Коо,— пожал плечами Теневиль.— Тебе их не догнать, не найти в тундре.

— Может, ты поедешь на съезд? — спросил его Каширин.

— Как я могу поехать? — возразил Теневиль.— Работать много надо. Хозяин еще не забыл моей отлучки весной, когда я отвозил Милюнэ в Ново-Мариинск. А мне нужны шкуры для зимней одежды, да и полог надо починить. Нет уж, ищи кого-нибудь другого, а я не могу.

Каширину отвели место в кают-компании, постелив на прохладном клеенчатом диване. Поворочавшись, Петр Васильевич вышел на палубу покурить на вольном воздухе.

На палубе в складном парусиновом кресле сидел Олаф Свенсон и смотрел на берега Чукотки.

— Не спится, мистер Стивенсон? Не принимайте близко к сердцу случившееся. Может быть, это и к лучшему, что дикари сбежали. Мне доводилось наблюдать их в городе. Поверьте — они попросту страдают от непривычной и чуждой обстановки. Жалко на них смотреть. А тут еще — политический съезд! Нет, вы не должны со мной спорить, мистер Стивенсон, вы тут глубоко ошиблись — рано еще чукчам и эскимосам вязываться в политику. Да они и сами рады, чтобы этим делом занимались тангитаны. Посмотрите на Армагиргина. Наверное, для своего общества он значительный и мудрый человек, но как он меняется, когда надевает этот клоунский мундир и пытается играть роль российского вельможи... Нет-нет, это не для них....

Каширин поначалу не отвечал. Он медленно набивал трубку, а потом примащивался на крышке трюма рядом с Олафом Свенсоном, раскуривал трубку и долго смотрел вместе с американцем на синие чуть розовеющие от полуденного солнца берега чукотской земли.

— Мистер Свенсон,— откашливаясь, заговорил Каширин,— чукчей и эскимосов я видел не только в общении с тангитанами, с торговцами на берегу, на палубах кораблей, я их видел в каждодневной жизни. Это совсем другие люди. То, что они иногда дурашливы и будто непонятливы — маска, защита собственного достоинства. Их жизнь необыкновенно трудна и, прямо скажу, героична. Никто, пожалуй, на нашей грешной земле больше так не живет: в постоянном страхе перед голодом и холодом. Но при всем при этом какое великое жизнелюбие, доброта и природный ум! Да-да, именно ум. Мы сами виноваты в том, какими они предстают перед нами. Они играют ту роль, какую мы придумали для них.

— Вы что же, хотите сказать, что они перед нами притворяются? — усмехнулся Свенсон.

— Если хотите — да,— ответил Каширин.

— Ну что же,— заметил после некоторого раздумья Свенсон,— если эта игра устраивает обе стороны, почему бы ее не продолжать?

— Но всякая игра рано или поздно надоедает, даже самая увлекательная,— сказал Каширин.

Свенсон повернулся к Каширину.

— Что вы имеете в виду?

— Чукчи и эскимосы, все местные жители Чукотки, догадываются о великих переменах, происходящих в России. Есть даже такие, кто уверен, что эти перемены рано или поздно отзовутся на их собственной судьбе. Да, может быть, вы правы, для этих двоих участие в политической жизни преждевременно... Но все они полноправные люди, и как все люди должны сами решать свою судьбу. Я верю, что русская революция во многом отличается от американской.

— Я бы этого не сказал,— заметил Свенсон.— Пока что русская революция очень робка, и я бы сказал, весьма неопределенна. Война с Германией продолжается, и новое русское правительство выдвинуло лозунг о войне до победного конца. А это при нынешнем соотношении сил — война на полное истощение России, на полное обнищание народа...

— У русской революции найдутся другие силы,— убежденно произнес Каширин.

— Вы имеете в виду большевиков? Ленина?

— Кого? — переспросил Каширин.

— Экстремистскую партию, возглавляемую русским адвокатом Лениным и называющую себя большевистской,— пояснил Свенсон.

— Может быть,— с сомнением покачал головой Каширин.— Но понимаете, если уж в мою голову пришли вот такие мысли, значит, они пришли и к другим, лучше организованным умам. Если что-то взбредет одному человеку, то наверняка это же самое занимает умы многих других людей. Лучше расскажите мне, что происходит в России на самом деле...

— Я могу дать вам газеты....

— Знаю я ваши газеты,— усмехнулся Каширин.— Вы человек умный, и я вас не один год знаю — вы лучше сами мне скажите, что происходит в России.

— Но это будет мое личное мнение,— предупредил Свенсон.

— Вот его-то мне и надо знать,— улыбнулся в ответ Каширин.

— По моему личному мнению, то, что произошло в России, рано или поздно должно было произойти. Дело шло именно к этому. Старый строй не соответствовал задачам, которые стояли перед русским народом, перед русским государством. Царизм должен был рухнуть. Однако сейчас самое главное — построить то общество, которое обеспечит наибольшие возможности для деловых людей. Деловые люди знают, что нужно, чтобы было изобилие работы, чтобы вдоволь было пищи, чтобы над головой человека была надежная крыша. Опыт такой есть — построение Соединенных Штатов Америки, самой богатой страны в мире...

— Богатой не для всех,— усмехнулся Каширин.— Вот теперь слушайте мое мнение. Я думаю, что революция продолжается. Не кончилась она. Раз правительство временное, что-то это значит. Да и не согласен трудовой человек — а таких, как я, в России миллионы — удовлетвориться ролью рабочей скотины для делового человека. И еще надо учитывать окраины России, такие, к примеру, как Чукотка, Камчатка. Что будет с местным населением? Может, история дает первый и последний шанс для их развития? Слышал я от одного своего дружка Ларина о большевиках. Я еще не все знаю о них, может быть, это те самые, кого я ищущ?

— Насколько мне известно, большевики пытаются взрастить на

русской почве идеи немецкой социал-демократии, претворить в жизнь экономические идеи немецких ученых,— сказал Свенсон.

— Да, мистер Свенсон, все запутано, и надо самому поглядеть и разобраться... Только вот что скажу — такие, как я, не допустят, чтобы Чукотка, или Камчатка, или другие окраины России были отданы в чужие руки. Временно или насовсем — этого мы не допустим.

Ранним утром, когда солнце оторвалось от тяжелой воды Берингова пролива и устремилось вверх, Каширин сошел в Уэлькале, сухо попрощавшись с Олафом Свенсоном.

Собравшиеся для обычного торгового эскимосы были несказанно удивлены и огорчены тем, что добрейший и такой отзывчивый Олаф даже не бросил якорь.

Каширина отправили на шлюпке, посланной с борта корабля. Свенсон с мостика наблюдал за ним.

Золотоискатель ловко спрыгнул с носа лодки, преодолев приборную черту, и растворился в толпе собравшихся.

Откидываясь в парусиновом кресле, Свенсон поймал себя на мысли, что Каширин внушает наибольшую тревогу — ведь таких, как он, действительно много! И они представляют реальную силу многочисленностью и привлекательностью идеи общего владения богатствами этой земли, забытой богом и историей.

Погода ухудшилась. Иногда на корабль напал туман, и приходилось плыть в сырости, словно продираясь сквозь развешанные для просушки простыни. Вахтенный отбивал склянки, давая сигнал встречным судам, и звон меди был тускл и быстро гас, падая на свинцовую воду. Иногда корабль натывался на плавучую льдину и вздрагивал от киля до верхушек мачт.

Свенсон просыпался и прислушивался, как с шуршанием льдина проходила вдоль борта.

Перед входом в Берингов пролив туман разошелся и открылись острова Диомиды.

Они лежали на воде, как гигантские зеленые звери, ощерившиеся скалистыми берегами, усеянными тысячами птиц.

Свенсона разбудили близкие выстрелы. Горюливо одевшись, он вышел на палубу и увидел белые вельботы охотников. Два судна уже плыли пересекающим курсом.

Здесь, в Беринговом проливе, ощутимо чувствовался Ледовитый океан. На горизонте виднелся пак, сливающийся в сплошную белую черту. Но в проливе было довольно чисто, если не считать отдельных плавающих льдин, на которых охотники и били спящих на солнце моржей.

Слева по борту, чуть севернее, нависла массивная скала мыса Дежнева, тянущаяся на северо-запад к Уэлену. В двух часах ходу, на низком галечном берегу располагалось чукотское селение Кэникун, где находилась основная чукотская база «Гудзон бей компани», фактория под управлением Чарльза Карпентера. Туда и держал курс корабль Олафа Свенсона.

— Лечь в дрейф!

Корабль замедлил ход и остановился. Матросы завели на ближайшую льдину якорь.

Люди в вельботах пребли длинными и упругими веслами.

Один из вельботов был из Наукана, эскимосского селения на мысе Дежнева, а другой из Уэлена. Свенсон уже различал на задних кормовых площадках их владельцев — эскимоса Ерока и чукчу Гэмалькота, людей значительных, вполне состоятельных и крепко

стоящих на ногах. Оба — и чукча и эскимос — считались приближенными Свенсона и искренне радовались свиданию со своим старым другом, возможности поговорить, выпить крепкого кофе, может, даже стаканчик бренди и всласть накуриться ароматным виргинским табаком.

Оба вельбота почти одновременно пристали к льдине, к которой пришвартовалась шхуна, и Ерок с Гэмалькотом быстро поднялись на палубу, широко улыбаясь и еще издали здороваясь со Свенсоном и капитаном Свердрупом.

— Хэлоу, мистер Олаф, хэлоу, мистер Отто, хау а ю?

— Амын еттык, хуанкута санахакья! — отвечал им по-чукотски и по-эскимосски Свенсон. — Я рад всех вас видеть в добром здравии. Как ваши жена и дети? Все здоровы? Как это радостно слышать! Старый Мильгын умер? Ай-ай, — покачал головой Свенсон. — Он был хороший мореход. Моряки с многострадальной «Карлук» до сих пор хорошо его помнят. Идемте, идемте со мной!

Охотники с нескрываемой завистью проводили взглядами своих эрмэчинов, скрывшихся в чреве тангитанского корабля. Введя в кают-компанию гостей, Свердруп распорядился одарить табаком команды обеих вельботов.

— Что тут у вас нового? — спросил Свенсон, наливая виски в стаканы.

— Что может быть нового? — усмехнулся Ерок. — Все идет по-прежнему. Охота нынче добрая, все снежные хранилища забиты мясом и жиром моржа. Ждем гостей с американского берега — будем много петь и танцевать.

— А как в Уэлене? — обратился Свенсон к Гэмалькоту.

Гэмалькот был абсолютным трезвенником и свой стаканчик виски оставил нетронутым.

— В Уэлене все спокойно, — негромко ответил Гэмалькот. — Однако разных разговоров о новой власти в России много.

— У вас тоже сменилась власть? — поинтересовался Свенсон.

В Уэлене жил представитель Анадырского уезда, исполнявший обязанности полицейского пристава, таможенника и судьи... Особого рвения к служебным делам Хренов не проявлял, и Свенсон с удовлетворением услышал от Гэмалькота, что он продолжает свою деятельность, точнее бездеятельность, и никакого нового комитета в Уэлене не создано.

Теперь положение на Чукотском полуострове для Свенсона было более или менее ясно.

— А как братья Караевы? — задал он последний вопрос Гэмалькоту. — Надеюсь, что они здоровы?

— Здоровы, — коротко ответил Гэмалькот.

Караевы представляли в Уэлене владивостокскую русскую торговую фирму.

Получившие подарки Ерок и Гэмалькот спустились в вельботы и направились в пролив к белеющим льдинам с черными пятнами моржей на них.

«Полар Бэр» изменила курс и вошла в небольшой залив, вернее излучину, под защитой мыса Дежнева.

С рейда хорошо были видны приземистые яранги и отсвечивающие на солнце гофрированным железом склады «Гудзон бей компани». Когда искали место для торговой базы, перебрали несколько пунктов, пока не остановились на этом малолюдном селении, в навигационном отношении, однако, довольно удобном. Здесь неплохая якорная стоянка. До побережья Ледовитого океана всего около десяти морских миль. Правда, морской путь в Уэлен был дольше — миль

около сорока. В Кэнискун можно было зайти не объявляясь русским— от Нома при полном парусном вооружении и помощи машины около полусуток.

Свенсон, намереваясь сойти на берег, переделался, натянул на ноги высокие резиновые сапоги.

Чарльз Карпентер приплыл на кожаной байдаре. Он помог Свенсону сойти и усесться на деревянное узкое сиденье.

— Вы снова пополнели, мистер Карпентер,— осуждающе сказал Свенсон, оглядев своего агента.

— Полярная зима,— беспомощно развел руками Карпентер.— Ходить некуда, неделями сидишь взаперти в пургу, не смея высунуть носа на улицу.

— В следующий раз завезу вам гимнастические снаряды,— пригрозил Свенсон, легко прыгивая через пенистый вал приюта на берег.

Он с широкой улыбкой поздоровался с жителями Кэнискуна, преимущественно стариками, старухами и женщинами с малолетними детьми — взрослое мужское население находилось на охоте.

— Груз придется самим доставлять на берег,— виновато сказал Карпентер,— некому сейчас работать.

— Ничего,— ответил Свенсон.— Своими силами сгрузим на берег, покроем брезентом, а вернутся охотники, перенесут на склад.

Чарльз Карпентер помещался тут же при лавке. Его дом наполовину был ярангой. В пологе жили его жена чукчанка Элизабет и детишки. Сам же Чарльз Карпентер располагался в комнате, обставленной европейской мебелью и освещаемой большой керосиновой лампой с прозрачным резервуаром.

Приветливо поздоровавшись с принаряженной по такому поводу Элизабет, с умытыми и причесанными многочисленными ребятишками, Свенсон прошел на половину Карпентера и, усевшись в кресло, недовольно заметил:

— Сколько раз я вам говорил: поселитесь вместе с семьей. Хотите, мы привезем настоящий трехкомнатный дом? Сейчас делают неплохие в Сизтле.

— Извините меня, мистер Свенсон. Я не раз намеревался хотя бы Элизабет поселить здесь в комнате, но — не могу... Не переношу запаха жира морского зверя... И к тому же сознание, что в вашем жилище живет дикарка... Такое ощущение, что живешь в клетке со зверем.

— Смотрю я на вас, мистер Карпентер, и не перестаю удивляться,— произнес Свенсон, глядя прямо в большие, бесцветные глаза кэнискунского торговца.— Откуда у вас такая... мнительность?

— Сам не знаю,— добродушно ответил Карпентер.

Чарльз Карпентер был родом из Австралии, его предки были английскими уголовниками, сосланными королевским указом на торговлю.

Кэнискунская фактория славилась прекрасными горячими источниками. С помощью чукчей Чарльз Карпентер соорудил небольшой бассейн, правда, напомнивший Свенсону могилу, вырытую в тундровом черном дерне, отвел туда два потока — один из горячего ручья, другой из холодного. Карпентер купался и зимой, благо вода всегда была теплой. В его домике-яранге все блестело, даже дверца железной печки была начищена толченым кирпичом.

С утра до вечера его многочисленное семейство, кроме грудного младенца, только тем и занималось, что скребло и мыло комнату своего отца и повелителя.

Ел Карпентер также отдельно от семьи. Сначала ему прислужи-

вала Элизабет, а когда подросла старшая дочь, то она стала исполнять эту обязанность.

Все эти слабости и привычки Карпентера Свенсон хорошо знал и осуждал торговца за его откровенное пренебрежение к местным жителям.

— Скоро уже двадцать лет вы здесь, а ни одного слова ни по-чукотски, ни по-эскимосски произнести не можете! — упрекал его Свенсон.

— Пробовал, — виновато оправдывался Карпентер. — Ничего не получается. Язык и горло болят после этого. Такие варварские языки — слушать и то нелегко. Я, знаете, стал замечать — как послушаю их разговор более или менее долго, так у меня потом целый день болит голова...

На письменном столе Карпентера аккуратно разложены деловые бумаги и Библия в красном кожаном переплете.

Свенсон задал несколько вопросов.

Карпентер, не заглядывая в бумаги, ибо в его мозгу был такой же порядок, как и вокруг, перечислил, сколько и какого пушного товара имеется на складе, кто не уплатил долг, — словом, дал полный отчет о деятельности фактории.

От Карпентера на побережье торговали еще несколько мелких агентов. Из них он особенно отметил деятельность Магомета Гулиева, бывшего аляскинского золотоискателя.

— Вам должно понравиться, — с некоторым сарказмом сказал Карпентер, — что Магомет, прозванный чукчами Купкылином-тощим, прекрасно овладел чукотским и эскимосским языками, наделал кучу детей и ведет такой образ жизни, словно он родом отсюда. Но в торговых делах излишне жесток и алчен, иной раз неровит и меня обчитать.

— Весь товар, который вы получите, немедленно рассредоточьте среди агентов, не скупитесь давать в долг, откройте широкий кредит, — наставлял Свенсон Карпентера. — Сейчас для нас главное — удержать покупателя, оставить за собой рынок. Пусть иногда не будет прибыли — все равно не теряйте связей...

Карпентер молча слушал, изредка согласно кивая.

Элизабет внесла ужин — жареную нежную рыбу гольца, заливное из ластов молодого моржонка и олени бифштексы.

Свенсон принялся за еду.

— Как быть с Караевыми? — после долгого молчания спросил Карпентер.

Свенсон не сразу ответил.

— По всей видимости, они сами будут искать со мной встречи, — задумчиво проронил он. — Из-за этой революции они остались с пустыми складами... Послушайте, если они будут обращаться к вам — можете и их ссудить товарами. На любых условиях...

Плотно поужинав, Карпентер и Свенсон вышли из дома-яранги поглядеть, как идет разгрузка.

— После еды необходимо движение, — поучал Свенсон Карпентера. — Это способствует пищеварению. В нашем возрасте надо думать о таких вещах.

На берегу уже выросли кучи ящиков, мешков и тюков. Между ними в прятки играли кэникунские ребята и вместе с ними дети Чарльза Карпентера, одетые в летние кухлянки, нерпичьи торбасы, но голубоглазые и светловолосые. Старший был вовсе рыжий и резко выделялся среди черноголовых.

— Много огнестрельного оружия, — заметил Карпентер, наблю-

дая, как матросы с корабля тащили на берег продолговатые тяжелые ящики.

— Там, где война или пахнет ею, мой друг, оружие становится самым дорогим и ходким товаром,— улыбнулся Свенсон и добавил:— Советую этот товар запрятать подальше... Когда надобность в нем возникнет, вспомните мои слова.

— Магляльыт! Рэмкыльыт!¹⁴

Рыжеволосый отпрыск Карпендера бежал с пригорка.

— Едет нарта со стороны Уэлена! — сказал он по-чукотски.

На границе галечной косы собаки остановились — дальше им не пройти: полозья по камням не пойдут.

Двое мужчин в хорошо выдубленных кухлянках подошли и учтиво поздоровались.

— Я рад вас видеть! — громко приветствовал их Свенсон.— Как дела?

— Наши охотники сообщили о вашем прибытии,— строго сказал старший Караев.— Почему вы сначала не зашли в Уэлен? У нас ведь договоренность. В противном случае все это,— Караев показал на кучу выгруженных товаров,— будет считаться контрабандой.

— Извините меня, господа,— улыбнулся в ответ Свенсон.— Но наш корабль сначала сделал заход в Ново-Мариинск. Надеюсь, что вы в курсе — в России новая власть, Временное правительство и, соответственно, переменилась и местная власть. В Ново-Мариинске создан Комитет общественного спасения, и этот комитет любезно просил меня заняться снабжением побережья Чукотки от Ново-Мариинского поста до устья Колымы.

Братья Караевы переглянулись.

— У нас никаких известий об этом нет,— сказал старший.

— Я вам передал то, что мне известно,— повторил Свенсон.— Мы обсудили и такой вопрос: если русским коммерсантам будет угодно, то «Гудзон бей компани», от чьего имени я веду торговлю, готова на приемлемых условиях снабжать вас нужными товарами.

— Вы считаете, что в этом году из Владивостока не будет парохода?

— Если и будет пароход, то отнюдь не с товарами,— улыбнулся Свенсон.— Я собирался зайти завтра утром в Уэлен. Буду рад, если вы мне составите компанию и проделаете этот путь на моем корабле.

Каждый раз, приплывая в Уэлен, Олаф Свенсон чувствовал странное волнение. Вроде бы обычный чукотский поселок — яранги располагались на косе. С запада и востока косу обрамляли довольно высокие мысы. За косой — обширная, но мелководная лагуна с зелеными берегами.

Яранги в Уэлене стояли в два ряда, обращенные входами на запад, откуда меньше всего дули ветры. Среди приземистых серых, а то вовсе черных жилищ — это зависело от возраста моржовой кожи — выделялись два-три домика европейского типа.

Свенсон стоял на мостике вместе с братьями Караевыми, российскими купцами, и глядел вперед.

Вчера проговорили до поздней ночи, обсуждая торговое и экономическое положение края. Говорить о политике Олаф Свенсон категорически отказался.

— Политическое положение России — это внутреннее дело вашего государства,— повторил он несколько раз, добавив при этом, одна-

¹⁴ Нарты! Гости!

ко, что он готов сотрудничать с любой властью, соблюдающей интересы взаимовыгодной торговли.

Ледовый припай, несмотря на конец июня, все еще держался у берега Уэлена. На этом льду и собрались встречающие. Люди были одеты пестро, ярко — сказывались оживленные торговые связи с американцами.

Отто Свердруп осторожно подвел «Поляр Бэр» к ледовому берегу, и встречающие ловко и прочно закрепили якоря. Трап переборосил с низкого борта шхуны прямо на лед.

Уэленцы встретили Свенсона громогласно. Каждый считал своим долгом протиснуться вперед, пожать ему руку. Многие довольно свободно говорили по-английски. Старушки бросались его обнимать. Со стороны можно было подумать, что встречают близкого родича, возвратившегося после долгого путешествия.

— Хэлоу! Хэлоу! Ии! Ии! — раскланивался Олаф Свенсон.

Да, он любил это селение, потому что именно здесь в давней молодости он познал туземную любовь. И может быть, среди этих молодых парней, многие из которых носили на себе следы смешанной крови, есть и его сын или дочь... Сама Нутэнэут скончалась, говорят, лет семь-восемь назад. Давно была замужем, но каждый раз, встречая Свенсона, она в затаенной нежности прятала глаза, и волнение охватывало Олафа, человека уже степенного, давно женатого и имевшего взрослых детей в Номе.

Караевы повели гостя в свой домик, возле которого в полицейской фуражке стоял исправник Хренов. Он не знал, как себя держать, не получив еще никаких указаний на отрешение от должности. Здороваясь со старым знакомцем Свенсоном, Хренов чувствовал себя тоскливо, словно в одиночку вышел в пустынный холодный тундровый простор.

На возвышении сияла стеклами больших окон школа. Она была поставлена два года назад по распоряжению губернатора. Собирал эту школу Петр Каширин вместе со своим дружкой Иваном Лариным.

— Школа работает? — спросил Свенсон.

— Учителя нет, — ответил старший Караев. — Приезжала одна дама, попробовала, но ничего у нее не вышло: ее не понимают и она не понимает.

— Я слышал, что в стойбище Армагиргина есть чукча, который изобрел чукотскую грамоту, — сказал Свенсон. — Может быть, он подойдет?

— Возможно, — пожал плечами старший Караев. — Одно ясно — прежде чем учить грамоте, надо эту грамоту еще создать.

— Может быть, новое правительство энергично возьмется за это, — сказал младший Караев, и лицом и голосом копия старшего брата. — У нас много надежд, но мы не имеем никаких известий о характере перемен и не знаем, что делать.

— Я встретил в стойбище Армагиргина Петра Каширина, бывшего вашего приказчика, — с улыбкой сообщил Свенсон. — Он ехал в Петропавловск вместе с двумя делегатами на какое-то учредительное собрание.

— Петька Каширин? — удивился Караев-старший. — Хотя он всегда отличался весьма вольным и смелым образом мыслей.

— По-моему, он даже член этого самого Анадырского комитета, — добавил Свенсон. — Правда, должен вам сказать, что делегаты... сбежали от него, отказавшись от политической деятельности.

Свенсон широко улыбался, как бы приглашая собеседников пошутиться над этим забавным происшествием.

Но братья Караевы не улыбались. Они думали о том, что будет дальше: в этом году им не дожидаться парохода от торгового дома Чурина во Владивостоке. Оставалось одно: договориться со Свенсоном, который в нынешней обстановке являлся хозяином положения.

Пришлось не только взять товар у Свенсона, но и дать обязательство расплатиться пушниной или, как было записано в соглашении, «эквивалентным товаром, валютой или же золотом».

...Свенсон по обыкновению сидел на палубе в своем парусиновом кресле и смотрел, как исчезали за поворотом мыса яранги и домики Уэлена и вместе с ними уходили воспоминания о молодости, о том прекрасном времени, когда даль будущего была захватывающе прекрасна в своей нескончаемой протяженности.

Петр Васильевич Каширин добрался до Ново-Мариинска в самый разгар ожесточенных споров и раздоров в комитете.

В ожидании парохода из Владивостока руководство комитета пыталось возродить порядки, существовавшие при Царегородцеве. Мало того, и сам Царегородцев и Оноприенко были введены в комитет и верховодили в нем.

— А где же делегаты? — с ехидцей спросил Каширина Желтухин. — Где представители народа?

— Они уполномочили меня, — сердито ответил Каширин, и сам удивился тому, что сказал. — В настоящий момент представители местного населения еще не готовы принять участие в съезде, — продолжал, смеясь, Каширин. — По причине незнания языка, а также невозможности отлучиться: пасут оленей.

Желтухин пытливо смотрел на загорелого и похудевшего Каширина, подавляя поднимающуюся в душе неприязнь к этому непонятному мужику, вечно готовому заступиться за обиженного и обделенного.

— Первым пароходом поедешь в Петропавловск, — строго сказал Желтухин.

— Ну это мы еще посмотрим! Надо сначала здесь оглядеться.

У дома Трениных Милюнэ развешивала белье. Девушка была в платье, аккуратно причесанная, совсем иная, чем в яранге Тымнэро, когда Каширин впервые увидел ее.

— Кыкэ вай! Я вас не узнала, — смутилась Милюнэ, путая чукотские и русские слова. — Вы стали совсем черный и худой. Однако лицо веселое.

— Скорее сердитое, — усмехнулся Каширин. — Ну как тебе живется у Тренива? Не обижают хозяин с хозяйкой?

— Не обижают.

— Будут обижать — скажи мне. Нынче просто человека обижать нельзя.

В Ново-Мариинске, который чаще называли Анадырем по имени реки, на которой стоял центр Чукотского уезда, все было по-прежнему.

На рыбалках Сооне и Грушецкого готовились к путине, и первые рыбыны уже попались в сети, свидетельствуя о близком подходе косяков красной тихоокеанской кеты. Остальным рыбакам были отведены места даже худшие, чем в прошлые годы. Местные жители — чуванцы и чукчи — ходили жаловаться в комитет, но их не стали слушать, сославшись на решение комитета. Вдобавок ко всему по предложению Царегородцева были учреждены специальные билеты на право лова рыбы для рабочих каменноугольных копей и всех остальных «инородцев», как было записано в решении.

Обо всем этом Каширин узнал от Аренса Волтера, который также попадал под определение «прочие инородцы».

— Видишь ли, Аренс,— угрюмо сказал Каширин,— людской род делится на сытых и голодных. Это самое главное различие. Так мне говорил мой друг Иван Ларин. И объединение людей должно идти по этому признаку — по одну сторону сытобрюхие, по другую те, у которых пусто в желудках.

Прежняя нищета и голод и в яранге Тымнэро. Грязная и исхудавшая Тынатваль сидела у погашеого очага и, раскачиваясь, с закрытыми глазами, напевала. Она даже не подняла головы, когда Каширин вошел в чоттагин.

«Из дальней ледяной дали приближались черные люди-тэрыки в одежде из черных шкур. И шерстью обросли их лица, и вокруг рта их заpekлась черная кровь. Рыщут и ищут они человеческую плоть, чтобы насытиться ею, испить горячей красной крови. Они приближаются к нашей яранге, и нет силы, которая бы остановила их... Из дальней ледяной дали приближаются черные люди-тэрыки...»

Каширин потоптался у входа, давая знать о своем приходе, и громко кашлянул несколько раз.

Тынатваль все тянула свою песню. Зашевелилась меховая занавесь полога, и в чоттагин высунулся взлохмаченный Тымнэро.

— Етти, Кассира,— хрипло сказал он.— Этки¹⁵ наша жизнь. Заболел я, жена тоже нездорова, и сын вот лежит рядом без памяти. Еды нет, огня нет... Глаза закрою — вижу путь сквозь облака...

— Ты это брось! — строго произнес Каширин. Сердце у него сжалось при виде всего этого.— Какая дорога сквозь облака? Настоящая жизнь только начинается... Ты погоди-ка. А ты, Таня (так он называл Тынатваль), перестань скулить! И брось про свою чертовщину петь!

Каширин выскочил из мрачного чоттагина. Сиял теплый летний день.

Почти бегом он добрался до домика Аренса Волтера.

Норвежец что-то паял, и едкий зеленый дымок поднимался над его головой.

— Аренс!

Норвежец поднял голову.

— Человек погибает! Спасать надо!

— Где? — вскочил на ноги Волтер.— Я готов идти. Весла брать?

— Еду возьми, какая только у тебя есть, да примус прихвати,— уже спокойнее сказал Каширин и рассказал Волтеру, в каком положении он застал семью Тымнэро.

— Гордость их губит,— мрачно произнес Волтер.— Ведь я его встречал, спрашивал, может, чем помочь, а он отвечает — хорошо, все хорошо...

Волтер собрал кое-что из своих запасов и даже откуда-то достал банку сгущенного молока.

— Продукты есть,— сказал он,— но, может, им доктор нужен?

— Верно,— сняв шапку, почесал голову Каширин.— Фельдшера надо позвать.

— Если он трезв,— угрюмо заметил Волтер.

Волтер и Каширин завернули в домик фельдшера, но нашли его в таком состоянии, что вести к больным было бесполезно.

В яранге Тымнэро зашумел примус, запахло едой.

Каширин сварил суп.

Тынатваль отчужденно наблюдала за действиями тангитанов.

¹⁵ Плохо.

Она оживилась, когда в ярангу бочком вошла Милюнэ со свертком еды.

— Хозяйка следит, не разрешает мне ходить сюда,— призналась она Каширину.

— Знаю я эту гадину,— пробормотал Каширин, сосредоточенно помешивая ложкой в котелке.

Накормили больных. Волтер раздобыл тюленьего жира для светильника в пологе.

Каширин смотрел, как Тымнэро жадно, обжигаясь, ел непривычную жидкую тангитанскую еду, и укоризненно говорил ему:

— А ты — сквозь облака... Мы сейчас должны не сквозь облака, а через жизнь, к новому будущему. Такое время пришло. А ты — сквозь облака...

Убедившись в том, что в яранге стало веселее, Каширин с Волтером покинули жилище Тымнэро и отправились на берег лимана, где с кунгаса люди Грушецкого и Сооне ставили большие ставные невода. Анадырский лиман перегораживался во всю ширину.

Ваня Куркутский молча наблюдал за ставкой невода.

— Видал, что делают? — заметил Каширин.

— Видать-то вижу, а што толку? — сердито ответил Куркутский. — Мои-то собаки, мольч, голодать будут. И так-то бегают в тундру, мышей давят, у песка еду отбирают. Дикие стали собаки-то, доспели совсем до голода.

— Ты о собаках погоди,— прервал его Каширин. — А люди? Почему люди молчат, глядя на все это?

— Говори не говори, все одно — сила-то она у того, у кого большая сетка и невод,— безнадежно махнул рукой Куркутский. — Можно сети поставить на Русской Кошке, но там ветрено да и рыбка нежесткая. Что поймает — самим на юхалу не хватит.

— Надо собирать комитет и все это,— Каширин показал на кунгас,— по-другому сделать. Почему нельзя все сделать общественным? И кунгас, и сети, и невода? Вместе работать, на всех делить добытое?

— Да ведь только дикие чукчишки такое делают,— усмехнулся Куркутский. — Сообща на кита охотятся, вытащат животную на берег и делают его на куски.

— Они вовсе не поровну делят,— ответил Каширин. — Я-то знаю, жил в Узене. Гэмалькоту, значит, как владельцу вельбота — весь китовый ус, а с добытого моржа — клыки. А с клыками да китовым усом можно со Свенсоном крепко дружить. Надо людей на сход звать да разобраться в делах комитета. Похоже, что мы вернулись назад, к царской власти...

— Да навряд ли мы от нее далече и не отходили,— заметил Куркутский. — Как были при ней, так и остались.

— Да уж верно,— угрюмо согласился Каширин.

Кунгас с рыбаками отходил все дальше от берега, и на воде оставались большие продолговатые поплавки, отмечая ловушку. Иногда до берега доносились громкие дружные возгласы рыбаков.

Постояв на берегу великой рыбной реки Анадырь, Каширин пошел в свой домик: усталость давала о себе знать, так хотелось спать, что глаза сами собой закрывались.

Его разбудил Волтер.

Всегда спокойный и невозмутимый, Аренс был крайне взволнован и говорил быстро, путая русские и английские слова: что-то случилось с Тымнэро.

Летний анадырский ледяной дождь хлестал по лицу. Желто от

свечивали лужи, а тундру, на которой стояли чукотские яранги, совсем развезло, и в раскисшей жиже тонули сапоги.

— Я пришел к ним, а мальчишка совсем плох стал. И Тымнэро плачет, и Тынатваль, и второй ребенок... Что-то надо делать.

— Знаешь,— Каширин остановился, отворачивая лицо от секущего дождя,— ты все-таки разбуди фельдшера. Выволоки его, что хочешь с ним делай, но приведи его в ярангу Тымнэро. А не захочет — скажи, комитетом накажем.

Еще издали Каширин услышал какие-то звуки из яранги. Он остановился и прислушался.

Голос поющего то прорывался сквозь шум дождя, то его гасили глухие удары кожаного бубна. В Ново-Мариинске, насколько знал Каширин, шамана не было. Может, кто-нибудь приехал из тундры?

В чоттагине сгустилась полутьма. Свет пасмурного дождливого дня едва проникал. Трудно было понять, откуда идет пение и удары шаманского бубна. Приглядевшись, Каширин заметил на своем обычном месте возле очага Тынатваль. Она держала на руках старшую и качала ее, убаюкивая.

А камлание шло в пологе, за опущенным меховым занавесом.

Давным-давно Каширин был свидетелем шаманского действия в глухой тундре, на полдороге от Уэлена в бухту Эмма. Но никогда не думал, что Тымнэро может такое... Ведь сами же чукчи говорили, что шаманами становятся судьбой предназначенные. Они и по виду своему, если внимательно приглядеться, часто отличались от других. Откуда же у Тымнэро такое?

Каширин стоял в полутемном чоттагине, не зная, что делать. Он понимал, что негоже грубо вторгаться в священное дело, но и уйти уже не мог.

Тынатваль, казалось, и не заметила прихода Каширина. Она слушала пение мужа и изредка как бы откликалась, подавала голос.

Каширин медленно опустился на китовый позвонок и затаился, чтобы не мешать. Голос Тымнэро то нарастал, то угасал... Он странно обволакивал, вызывал непонятное беспокойство, глухой отзвук далеких, тревожных мыслей. Каширин стряхивал с себя это наваждение, но непонятная сила захватывала его, и Каширину порой казалось, что он подпевает Тымнэро, мерно покачиваясь точно так, как бедная, ушедшая в свое несчастье Тынатваль.

В чоттагине не было ни одной собаки. Они разбрелись в поисках еды по берегу лимана, по тундре, у стоячих ржавых озер. В общем-то, так случалось в каждой яранге, в каждой семье, где была ездовая упряжка. Но всегда оставалась любимая собака, щенята или брюхатая сука... А тут — пусто как в тундре перед первым снегом, как в море перед приходом тяжелого ледового покрова.

Пронзительный, быстро потухший стон поколебал меховую занавесь полога, умчался через открытое дымовое отверстие в серое, сочащееся холодным дождем низкое небо.

Тынатваль вздрогнула, словно кто-то ожег ее опущенные плечи плетью-кэнчиком. Она обернулась к пологу и застыла в напряженном ожидании. Олений мех откинулся, в чоттагин вывалился обнаженный по пояс Тымнэро. Открыв потухшие глаза, он увидел Каширина и осипшим, угасшим голосом произнес:

— Он ушел...

Женщина запричитала, забилась в истерике, разметая остывший пепел костра.

— Кто ушел? — тихо спросил Каширин.

— Мой сын ушел сквозь облака,— внятно, но как-то бесцветно и покорно произнес Тымнэро.— Навсегда....

Он опустился рядом с Кашириным и вздохнул, как после тяжелой и долгой работы.

Каширин не знал, как себя вести, чем утешить пораженного горем отца. Но вдруг Тымнэро слабо улыбнулся. Каширин подумал, что это пробился солнечный свет сквозь разорванную тучу, но слабая, словно бы виноватая улыбка на лице Тымнэро разрасталась. Затихла и его жена возле потухшего и холодного очага.

— Теперь ему хорошо, — твердеющим голосом сказал Тымнэро. — Он теперь больше не страдает.

— Умер он, что ли? — со стоном спросил Каширин.

Тымнэро кивнул и уточнил:

— Ушел сквозь облака...

Горечь и гнев захлестнули сердце Каширина. Он обхватил мощными большими руками Тымнэро, прижал лицо к его разгоряченному худому телу и зарыдал как-то обрывками, глухо.

— Ты не плачь, Кассира, — утешал его Тымнэро. — Не жалею моего сына. Ему там хорошо. Он несется сквозь облака, а дождь остается на земле. Расступаются перед ним тучи, солнечный луч ласкает его измученное и исхудавшее лицо, мягкий пух высоких облаков греет его... Не плачь, Кассира, не жалею моего сына... — Тымнэро гладил его по голове неумелой заскорузлой ладонью. — Не плачь... Он, наверное, найдет то, что ты ищешь на земле. Мир без слез, без голода, без несправедливости... Хорошо, что он идет туда молодым. Почему мы так держимся за эту землю, что-то ищем, копошимся, словно черви на куске гнилого мяса, когда есть другой мир? Почему печалимся, когда близкий наш находит туда дорогу? Сейчас не понимаю. Может, нам всем уйти сквозь облака?

Каширин всхлипнул и оторвал лицо от плеча Тымнэро.

— Нет, друг мой! — крикнул он. — Нет!

Тымнэро испугался и отодвинулся от него.

— Нет! — продолжал Каширин. — Лучший мир здесь, на нашей грешной земле! И мы его добудем своими руками. Вот увидишь, Тымнэро. Понимаешь — на земле, тут, в этой яранге, далеко в тундре, на Чукотке, Камчатке, во всей нашей большой России!.. Ах, сволочи они! Да доколе человек ни за что будет помирать, когда у иного брюхо лопається от сытости? Нет, братцы, такого больше не должно быть. Не должно быть!

Испуганная его гневом, Тынатваль поднялась с земляного пола, прижимая к себе второго ребенка, и принялась приглаживать свои спутанные, присыпанные пеплом волосы.

Послышались шаги, и в ярангу вошел Аренс Волтер, пропустив вперед фельдшера.

— Ну кто тут с поносом аль с чесоткой? — вызывающе крикнул фельдшер, оставаясь у входа.

Каширин взглянул на вошедшего, отстранил от себя Тымнэро, молча подошел к фельдшеру и изо всех сил ударил в лицо кулаком. Фельдшер взвыл, упал и с недоумением спросил:

— За что, господа? За что бьете-то?

— Мразь ты! Ты хуже вши ползучей! Это ты — с душевной чесоткой да с пьяным поносом! — кричал на него Каширин. — Уползай отсюда, пока я тебя не растоптал!

Фельдшер в испуге поднялся на колени и быстро перевалился через невысокий порог яранги.

Аренс Волтер с недоумением смотрел на своего друга.

— Помер у Тымнэро сын, — объяснил ему Каширин. — Пошли отсюда! Нам тут с тобой больше нечего делать.

Волтер и Каширин вышли из яранги.

Тымнэро и Тынатваль переглянулись. Так близко они еще не видели, как один тангитан бьет другого...

Дождь перестал, и с верховьев реки над Ново-Мариинском открылось светлое, чистое небо. Вместе с отливом уходили тяжелые, пропитанные влагой тучи.

Аренс Волтер и Каширин вошли в здание уездного правления.

Желтухин вопросительно поднял голову.

— Требуем общего схода,— сказал Каширин.

— Нужды в этом нет,— сухо ответил Желтухин.

— Ежели комитет не соберет схода, то соберем его мы,— пригрозил Каширин.

— Кто это — вы?

— Я, Аренс Волтер, рабочие угольных копей, рыбаки, каюры, моряки... Народу в нашем Ново-Мариинске предостаточно,— стараясь говорить спокойно, заявил Каширин.

Внимательно оглядев возбужденного Каширина и стоящего за ним невозмутимого Волтера, Желтухин неопределенно протянул:

— Согласовать бы надо...

— Нечего согласовывать! — ответил Каширин.— Досогласовывались до того, что детишки мрут! Зовите народ, будем говорить!

Печаль сближает людей в молчаливом выражении сочувствия.

Тымнэро готовил своего сына, надежду на лучшую жизнь, в путь сквозь облака. Тынатваль шила из лоскутков погребальную одежду, стараясь, чтобы сын достойно предстал перед теми, кто ушел раньше. Слезы падали на выделанную мездру, растекались темным пятном, и мысль бродила среди тамошних, более многочисленных, чем здесь, на этой земле, родственников и знакомых. И, вспомнив их, Тынатваль с грустью думала о том, что, может быть, и прав муж: там, за облаками, и народу знакомого и близкого больше, чем здесь, и те люди оставили о себе память добром и отзывчивостью.

Тихо вошла в чоттагин Милюнэ с привычным узелком тайком собранных объедков и молча присоединилась к Тынатваль, взявшись за торбаса усопшего.

Тымнэро отдавал последний долг уходящему сквозь облака, совершая обряд вопрошения. Смерть в чукотских семьях была так часта, что каждому известно, что надо делать. Взяв у жены палку для выделки шкур, Тымнэро угнездил один конец под голову покойника, а середину положил на колени, соорудив таким образом нечто вроде рычага. Он мысленно спрашивал сына и, прислушиваясь, тихонько пытался приподнять его голову. Если голова поднималась легко, то это означало утвердительный ответ, а если нет — покойный не соглашался. Вопросы были простые, как проста была жизнь мальчика. Он «пожелал» взять с собой небольшой кусок сахара, треснутое фарфоровое блюдце, из которого пил чай, кожаную пращу и острогу.

Полагалось спросить и о том, нет ли зла на тех, кто оставался на земле. И здесь ответы были простые и ясные: откуда зло у совсем еще маленького человека, который знал только мать, сестренку, отца, тетю Милюнэ да изредка приезжавших родственников? Какое зло они могли сделать ребенку, едва научившемуся разговаривать? Много ли добра видел ушедший? Скорее у него надо было просить прощения за то, что в его короткой жизни так мало было светлых дней...

Жгучие слезы мешали спрашивать, они падали на легкое, неподвижное тело.

Сквозь тонкий меховой полог до Тымнэро иногда доходили женские голоса, редкий всхлип Тынатваль, приглушенный голос Милюнэ.

Эти голоса врывались в безмолвие печали, напоминая о жизни, возвращая Тымнэро из синей дали дороги сквозь облака.

Движение гадательной палки становилось все незаметнее — последняя связь истончалась, пока не оборвалась окончательно еле слышным вздохом отца. Тымнэро вынул палку из-под головы умершего сына. Тот больше не хотел отвечать на вопросы, высказав все.

Тымнэро выполз в чоттагин и увидел Ваню Куркутского. Чуванец пришел разделить горе. И как это водилось среди чуванцев, эскимосов и других жителей чукотской земли, он ничего не сказал о случившемся, только заметил, что погода улучшается и уже солнце начинает выглядывать из-за туч. Это означало, что дорога уходящего сквозь облака ничем не омрачена и его путь оберегают высшие силы.

Куркутский присел на китовый позвонок. Он знал чукотский разговор. Каюру подолгу приходилось отсиживаться в ярангах чукчей, поневоле заговоришь. Да и не было у него неприязни к чукчам, как у прочих анадырских чуванцев, которые при всяком случае подчеркивали, что родство свое они ведут от древних русских пришельцев и ничего общего не имеют с «дикоплешими чукчишками».

— Ты послушай, Тымнэро, что сейчас было в комитете, — принялся рассказывать Куркутский. — Похоже, что с властью трясушка. Кассира арестовал Царегородцева, Оноприенко и посадил в сумеречный дом. Сказано — до парохода. С пароходом он их отвезет в Петропавловск, а может, оттуда в главный сумеречный дом, где сидит сам Солнечный владыка и его приближенные. Пуцай, говорит Кассира, оне там вместе сидят и не притесняют народы...

Куркутский с благодарным кивком принял из рук почерневшей от горя Тынатваль чашку горячей воды вместо чая и продолжал, обращаясь к Милюнэ:

— Твой-то хозяин, Тренев Ванька, возьми да и поддержи Кассиру и Волтера. Иначе им вдвоем ни за что не одолеть Желтухина... Вона какие дела-то среди тангитанов случились...

Сумеречный дом... Тымнэро не раз проезжал мимо него. Он стоял на левом берегу Казачки, недалеко от устья, впритык к высокому дернистому тундровому берегу. Дом как дом. Внешне он выглядел даже получше некоторых анадырских домишек, во всяком случае с ярангой его не сравнить. Окошечки крохотные, как и у всех, но еще забраны частой железной решеткой. Дверь в том доме была кованым железом перехвачена. В сумеречный дом помещали убийц, воров... Правда, в тихом Ново-Мариинске такие люди объявлялись не часто, но будучи единственной тюрьмой на всем протяжении Чукотского уезда, анадырский сумеречный дом к прибытию парохода обычно содержал несколько человек.

Наказание лишением свободы казалось Тымнэро самым страшным. Бывало, что зверя некоторое время приходилось держать в неволе, но каково человеку... И каждый раз, проходя мимо сумеречного дома, Тымнэро невольно ускорял шаг, словно боясь, что какая-то темная сила затаит его туда, в сумрак неволи.

Светлым вечером Тымнэро нес покойного сына на гору, откуда открывались дали, весь Анадырский лиман с его разветвлениями, зеленые берега и уходящая к дальним горам тундра. Отец нес сына на ноше за спиной, будто шел к оленьему стаду за высокие мачты. На радиостанции, низко склонив голову, слушал занебесный разговор радист Асаевич. И подумалось опустошенному горем отцу: а не го-

ворят ли там, за облаками, этим птичьим языком, тонким и пронзительным, не знающим преград?

Тымнэро поднялся на вершину сопки и остановился. Снял свою печальную ношу и осторожно опустил на мягкий, нетронутый мох, еще хранящий тепло дневного солнца.

Посидел, бездумно глядя на Анадырский лиман, на бесконечный простор залива за островом Алюмка.

Вытащил нож и аккуратно разрезал одежду мальчика, обнажая его высохшее, словно сушеная рыба юкола, тело. Оно почернело, и на черной коже отчетливо белели приставшие оленьи шерстинки. Тымнэро заботливо снял волосинки, соорудил маленькое каменное ложе для тела и положил сына головой к восходу. Одежду еще раз порезал и сложил рядом, придавив камнем. Пристроил фарфоровое блюдечко, кожаную пращу и кусочек сахара.

Тымнэро все делал аккуратно, невольно растягивая время последнего пребывания с сыном. Ведь покончив со всем, он должен уйти, не оглядываясь, навсегда...

Вроде бы все сделано, Тымнэро еще осмотрел обнаженное, такое беззащитное под этим огромным небом тельце.

На горизонте темнел дым — пароход входил в Анадырский лиман.

Каширин, прощаясь с Тымнэро, сказал:

— Я скоро вернусь... Знай и помни об этом — я скоро вернусь. Если не я, кто же еще должен вернуться? Мы выведем тебя и твоих родичей к свету... Вот вспомнишь меня... Понял?

Тымнэро стоял чуть в стороне от толпы, провожавшей Каширина и двух арестованных, отъезжавших в Петропавловск. Он смотрел на черный кунгас. На него по качающейся и пружинящей доске перебирались с берега арестованные. Последним взмог Петр Васильевич Каширин. Он надеялся скоро вернуться в Ново-Мариинск, но этому не суждено было свершиться. Каширин уехал навсегда с Чукотки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Известие о Великой Октябрьской социалистической революции радиотелеграф принес на Северо-Восток (в Петропавловск) 26 октября 1917 года. Через несколько дней оно было передано Анадырскому уездному комитету, однако в искаженном виде. Большевики объявлялись в нем узурпаторами, захватившими власть в Петрограде против воли народа.

В Анадырь это известие никаких изменений не принесло. У власти по-прежнему оставался буржуазный комитет... Ни революционных организаций, ни коммунистов здесь не было, поэтому организовать трудящихся на борьбу за власть Советов было некому.

«Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней». «Наука». Сибирское отделение. Новосибирск. 1974.

Агрипшина Зиновьевна устала от всего — от вечной слежки за мужем, чтобы, не дай бог, не оказался один на один с Милюнэ, от холодов, нагрянувших в эту осень с таким снегом, что побелело все враз, от неопределенности положения нынешнего и будущего.

Она сидела перед зеркалом в выцветшем китайском халате с желтыми драконами на зеленом поле и рассматривала свое помятое после сна лицо. Вот уже и тени появились в уголках глаз, протянулись морщинки. За окнами выла первая в этом году пурга. Агриппина Зиновьевна зябко поводила плечами, ежилась от холода и с тоской вспоминала городские улицы Петербурга, Гостиный двор, где она служила в модном дамском заведении мадам Тимофеевой. Правду сказать, конец октября в Петербурге тоже не курорт, но все же... В запотевших от первой стужи стеклах больших окон ресторанов можно увидеть нарядных дам и господ в ярких жилетах, с сигарами в зубах. Автомобили шуршат шинами, проносясь по Невскому проспекту, лихачи жмутся к тротуарам, уступая мотору... Как завидовала Агриппина Зиновьевна, звавшаяся в ту пору просто Грушей, одетым в меха дамам! Иной раз воображала себя в какой-нибудь нарядке: в песцах или лисах, соболях или горностаях, ласкающих обнаженные плечи. Она жадно присматривалась к своим богатым клиентам, к их манерам, разговору. Дома, в своей комнатке, часто садилась перед зеркалом с потускневшим стеклом и изображала важную даму. Произносила запавшие ей в память слова, надувала губы, щурилась и даже порой брала в рот огрызок карандаша, словно это изящная, тонкая, длинная папироска.

Она встретила Ваню Тренева в кондитерской на Невском. Одет он был странно — студент не студент и не чиновник. При знакомстве выяснилось, что он служащий петербургской таможни и бывший студент университета, изгнанный, как он сам сказал, «за вольнодумство». Ему сразу же приглянулась Агриппина Зиновьевна именно тем же неопределенным видом — не белошвейка и не барыня, но отнюдь не просто барышня из тех, что наводняли кондитерские Невского проспекта в этот час. Сначала Трениев решил, что девушка учится на Бестужевских женских курсах на Десятой линии Васильевского острова, но первые же слова, произнесенные ею, убедили Трениева, что Груша и близко не подходила к науке.

Они потянулись друг к другу, эти два по существу одиноких человека, неожиданно нашедших друг друга в огромном сыром городе. Сочетались гражданским браком, и Агриппина Зиновьевна не настаивала на венчании, ибо в то время еще уважала «вольнодумство» мужа. Оно состояло в том, что по вечерам, просматривая газеты, Трениев во весь голос ругал царя, все его окружение, совет министров, социалистов и все политические партии. Грушенька слушала его с раскрытым ртом, обмирая, кидаясь к окну, чтобы плотнее задернуть занавески, запирая побыстрее дверь, чтобы ненароком не заглянула квартирная хозяйка...

Сейчас бы в салон мадам Тимофеевой... Разгладить эти морщинки, вернуть лицу былую свежесть и румянность...

Как-то Трениев встретил на набережной старого университетского товарища. Он носил форму горного департамента и закурил голову другу рассказами о несметных богатствах Камчатки и Чукотки.

— А осенью можно уезжать в Калифорнию и до весны жрать апельсины и лимоны, — смачно говорил гость. — Дикарь там непуганный и все задарма отдает — и меха, и моржовый зуб...

«Задаром меха»... Эти слова запали в душу Грушеньки. Всю ту ночь она не сомкнула глаз, а утром объявила своему растерявшемуся мужу, что надо ехать.

— Ты представь себе только, — соблазняла Агриппина Зиновьевна мужа, — кругом голые дикари, а ты в мехах...

— Тамшний дикарь голый не может, — заметил Трениев. — Там

страшная холодина. Извини, справляешь малую нужду, а струя, так сказать, натурально на ходу замерзает, обращается в лед.

Вскоре Таможенное ведомство вознамерилось послать группу ревизоров во Владивосток. Охотников ехать в такую даль оказалось немного, и начальство было весьма радо, когда Тренев сам вызвался войти в состав комиссии.

Во Владивостоке Тренев подал прошение — уволить его. Набрал товара и на попутном пароходе отбыл в Ново-Мариинск, столицу Чукотского уезда.

Здесь его ожидало большое разочарование: таких, как он, «коммерсантов» оказалось порядочно и дикарь хорошо разбирался в товарах и пушнину даром отдавать не собирался.

Слов нет, теперь мехов у Агриппины Зиновьевны было вдоволь. Да и деньги поднакопили, однако не так много, чтобы кататься каждую зиму за апельсинами в Калифорнию.

Агриппина Зиновьевна пыталась разобраться в происходящих событиях. Порой ей казалось, что настал долгожданный момент, когда ее Ваня может возвыситься... Но не тут-то было. Случалось что-то такое, совсем неожиданное — и все прахом. После отъезда Каширина с арестованными Царегородцевым и Оноприенко Тренев только выразительно посмотрел на свою супругу, и та понимающе опустила глаза: как всегда, Ванюша оказался прав...

Но когда наступит настоящее время? Может быть, теперь, в эту зиму? Сколько еще ждать? Усталость жмет сердце, сковывает руки и ноги, а тут еще возраст... Агриппина Зиновьевна искоса глянула на лежащего в постели мужа. Пренебрегать стал ею Иван Архипыч, скуп на ласки. Может, виной всему Милюнэ? Уж больно хороша девушка, даром что дикарка. А недавно Агриппина Зиновьевна достала из сундука горностаевые накидки, две лисьи шубы, песцовые палантинны, накинула на плечи служанки, чтобы осмотреть, глянула и обмерла — такая красавица; ну чисто царица! Испугалась и давай срывать с нее все, аж надорвала тонкую мездру горностаевая... И чем больше она торчит на кухне, тем краше становится. Убирать ее надо из дому, а то и до беды недалго.

Вчера сидели допоздна у Бессекерского, пили настойку на морошке, ароматную, одуряющую, ели строганину из нежнейшей озерной рыбы и опять говорили, говорили, говорили. Бессекерский все призывал вооружаться, запастись патронами, сделать каждый дом настоящей крепостью.

— Кого боишься? — мрачно спросил его захмелевший Желтухин. — Каширин уехал, мутит воду где-нибудь на Второй речке во Владивостоке.

— А скорее всего сидит в тюрьме, — добавил Грушецкий. — Никак не могу взять в толк, неужто в России нет здравомыслящих людей для наведения порядка?

— А может, уже нашлись? — отозвался Тренев. — Что мы здесь знаем, в Ново-Мариинске?

— Теперь принято говорить — в Анадыре, — заметил Станчиковский.

После отъезда Каширина бывший помощник начальника полицейского управления приободрился, стал выходить из дому и даже наведываться в комитет.

— Пусть будет в Анадыре, — махнул рукой Тренев.

— А зря! — вдруг рявкнул Желтухин, и яркое пламя в тридцатилитровой керосиновой лампе подпрыгнуло. — Я говорю, зря вы думаете, что с отъездом Каширина здесь никого не осталось... Норвежец мне что-то не нравится. И чего он тут сидит, на Чукотке, что ему

тут надо на исконно русской земле? Мишин, есть у него вид на жительство? — обратился он к бывшему чиновнику полицейского управления.

— Так здесь, на Чукотке, нет черты оседлости, — усмехнулся Тренев.

— А ты, Тренев, не юли, — погрозил грязным пальцем Желтухин. — Будут нас сгонять в один корабль и тебя прихватят. Ты думаешь, все мы здесь дураки и не видим, какую линию ты гнешь? Хочешь среди всех остаться чистеньким?

— Господа, господа! — Бессекерский заволновался, чуя назревающий скандал. Такого рода стычки в Анадыре частенько кончались мордобоем, кровопролитием, битьем посуды, иной раз и разорением целого дома. В прошлом году в такой пьяной ссоре нечаянно подожгли домик одного служащего, и человек среди зимы остался без крыши над головой.

— Что же ты не поправляешь? — продолжал наседавать на Тренева Желтухин. — Ведь не господа, а граждане, не правда ли? Или еще — товарищи?

Агриппина Зиновьевна, встревоженная, вступилась за мужа, строго прикрикнув на Желтухина:

— Ты что, пьяная рожа? Чего кидаешься на людей? Думаешь, если тебя поставили во главе комитета, так ты уже все можешь? А если завтра другого изберут? И тебе глотку заткнут, чтобы не тявкал?

Желтухин, не ожидавший такого поворота, замолчал, ошарашенно глядя на Агриппину Зиновьевну.

Кто-то, молча наблюдавший ссору, проронил:

— Ну и баба...

Агриппина Зиновьевна, бросив на ходу мужу: «Пошли» — направилась в сени одеваться.

Иван Архипович понуро поплелся за ней при всеобщем напряженном молчании.

Пурга уже начиналась, крутясь между домами, завывая в печных трубах, унося на лиман снопы искр. В лицо била острая снежная крупа, и приходилось прятаться в высокий воротник. В душе Тренев был благодарен жене: как-никак, она его выручила, но все же был несколько обескуражен ее поведением. Уж очень грубо она разговаривала с Желтухиным, хотя, если откровенно признаться, тот вполне заслужил такое обращение. Но настоящей светской даме не пристало произносить грубые и почти что неприличные слова...

Улегшись рядом с супругой в пышную уютную постель, Тренев отодвинулся к краешку, закрыл глаза и принялся мечтать. Особенно хорошо мечталось вот в таком состоянии легкого опьянения, когда мысли становились необыкновенно ясными и рисовали соблазнительные картины, которые никогда бы не пришли в отягощенную заботами трезвую голову. Чудилось же Треневу, что в конце концов какие-то внешние силы, ну, допустим, американцы или японцы, решили создать на северо-востоке особое государство. Чтобы оно было, с одной стороны, в меру демократическим, с другой — с твердой единоличной властью. Может быть, даже в виде конституционной монархии. И чтобы это государство в глазах просвещенного мира вызывало симпатии, здесь должны быть ученые интересы и местного населения. В поисках человека, который мог возглавить такое государство, решающие силы обращают внимание на Ивана Тренева... Эх, жаль, не выучил в свое время чукотский язык!.. Хотя в Ново-Мариинске где его выучишь? Не будешь же ходить в грязные, вонючие яранги. Тренев не переносил запаха чукотского жилища и по этой причине не любил ездить по тундре... Нет, это придется преодолеть. Чтобы стать во главе этого

края и считаться предводителем чукчей, надо соединиться с ними родственными узами. Жениться на чукчанке. На Милюнэ! Это ничего, что она служанка, кое-что есть в ее происхождении. Будто она родом из стойбища короля Армагиргина. Даже если это не так, всегда можно сочинить такую родословную, какая нужна... И вот — Иван Тренев правитель Чукотки. Вместе с женой — Милюнэ, одетой в горноставую мантию, — он едет на большом пароходе с дружеским визитом в Америку, к самому президенту... А может, для начала в Японию. Микадо принимает его во дворце в Киото и замечает, что Милюнэ напоминает ему японку... Почести, почести и почести... И Милюнэ — красивая, нежная, покорная, молчаливая, не знающая ни одного грубого слова...

— Ну что разлегся, как свинья, прости господи! — вернула утром мужа на землю Агриппина Зиновьевна.

Тренев молча сел в постели и невольно оглядел расплывшуюся фигуру жены, скрытую под одеялом.

— Вот слушай, Ваня, об чем я подумала: надо что-то делать с нашей Милюнэ...

— А что? — насторожился Тренев.

— Девка в самом соку, хорошеет со дня на день, как бы беды не вышло.

— О чем ты говоришь? — Тренев чувствовал нарастающую тоску в душе.

— Будто не понимаешь? — Агриппина Зиновьевна повернулась к мужу и насмешливо посмотрела на него, прищурив глаза. Отчего он всегда такой тощий? Вроде ест много. Другие на глазах расплываются. А у Ивана тело поджарое, молодое, чего ему не заглядываться на Милюнэ...

— Выдавать надо замуж Милюнэ, — прямо сказала Агриппина Зиновьевна.

Стараясь казаться равнодушным, Тренев проронил:

— Это ее забота.

— Ну нет! — отрезала Агриппина Зиновьевна. — Зря мы, что ли, ее мыли, чистили, приучили к хорошим манерам, чтобы отдать в руки какому-нибудь дикарю?

В памяти Тренева мелькнули картины его мечтательного предводительства чукотским народом, и он с укоризной заметил:

— Ну какие они дикари... Не все же...

— Не все? — Агриппина Зиновьевна прищурилась. — Все как один! Вчера вылила Милюнэ на помойку ведро, так эти самые ламуты отпихнули собак! А помнишь, летось на берегу байдара пришла из Уэлькаля? На которой Каширин приплыл? Старуху я там видела. Страшнее не бывает!

— Перестань! — простонал Тренев.

— А почему бы нам не посватать Милюнэ Станчиковскому? А? Человек он образованный, в уездном комитете видная фигура...

— Он же пьяница, — заметил Тренев.

— На Чукотке найти непьющего — это все равно что ананас на снегу отыскать, — засмеялась Агриппина Зиновьевна. — Или вот еще — норвежец. Красивый мужик, здоровый. И помет будет хороший — представляешь, чукчанка и норвежец? А?

— Тьфу, — не сдержался Тренев. — Как ты рассуждаешь — помет... Да разве сука она, чтобы о ней так выражаться?

— А что ты-то за нее заступаешься? Знаю-знаю, виды у тебя на нее. — Агриппина Зиновьевна сердито погрозила пальцем. — Я хорошо помню, как стаскивала тебя с нее...

Милюнэ сидела на кухне, прислушиваясь к грохоту пурги. Заслонка в печной трубе позвякивала, и пламя в трубе гудело ровно и надежно. Самовар уже был готов, испечены утренние лепешки, а приказа от хозяйки все не было, хотя по голосам было слышно, что они встали. Услышав в их разговоре свое имя, Милюнэ прислушалась. Она уже хорошо понимала русский разговор.

Однако дослушать ей не пришлось. Кто-то колотил во входную дверь.

Милюнэ вышла в тамбур, откинула деревянную щеколду с двери и впустила в сени запорошенного снегом человека. Она помогла ему отряхнуться и узнала Асаевича.

— Хозяева встали?

— Встали.

Асаевич прошел на кухню, там еще топнул несколько раз, чтобы стряхнуть с торбасов последние снежинки, и деликатно постучался в тонкую дверь, отделявшую спальню от кухни.

— Это там, Машенька? — спросила Агриппина Зиновьевна.

— Это я, Асаевич.

— Ой, извините, я еще не одета, — жеманно произнесла Агриппина Зиновьевна, но вскоре широко открыла дверь и впустила радиста.

Милюнэ все было слышно, как если бы она находилась там же, рядом с широкой кроватью.

— Не знаю, как и быть, — дрожащим голосом сообщал Асаевич. — Вот две телеграммы. Одна послана из Петрограда новым правительством и подписана — Ленин...

— Ленин? — переспросил Тренев.

— Похоже так, — ответил Асаевич, — Ленин — странно звучит... Фамилия какая-то мягкая... И это название партии — большевики. Не большаки, не великаны — а большевики. А вот тут телеграмма из Петропавловска. В первой телеграмме говорится о власти каких-то рабочих, крестьянских депутатов, о Всероссийском съезде Советов, а во второй...

Тренев читал вполголоса для Агриппины Зиновьевны:

— «...Вышшим носителем правительственной власти в области является областной комиссар, а на местах — уездные комиссары, утвержденные Временным правительством... Органом общественного управления в Петропавловске остается Городская дума, впредь, до образования земства, Камчатский областной комитет несет обязанности земской управы и в лице своем заменяет Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а на местах — волостные и сельские комитеты. Всякие посягательства с чьей бы то ни было стороны на эти органы власти будут искореняться самым решительным образом».

— Гражданин Асаевич! — услышала Милюнэ твердый голос Тренева. — Вам надлежит доставить обе эти телеграммы по назначению.

— Это куда же? — спросил Асаевич.

— В комитет, — сухо ответил Тренев. — Нехорошо получается, гражданин радист... Адресом ошиблись.

Испуганный, растерянный Асаевич пробежал мимо Милюнэ и выскочил в пургу, в крутящуюся снежную метель.

Тренев выглянул на кухню, увидел Милюнэ, занятую своими делами, и приказал:

— Подавай завтрак, Маша!

За завтраком супруги живо обсуждали обе телеграммы.

— Я слышал о большевиках, — признался жене Тренев. — Еще в пятом году, помнишь, в Петербурге? Это они там всю кашу заварили.

Я-то грешным делом думал, что Ленин навсегда осел за границей и наукой занялся... А вот объявился... Надо же.

Тренев помолчал, наморщил высокий с далекими залысинами лоб, что свидетельствовало об упорной работе мысли.

— Представь себе, Груша, какие дела творятся в Питере, если даже такие, как большевики, хватают власть... Н-да... Черт знает, может, мы прогадали, что поехали сюда. Может, наша фортуна дожидается нас где-нибудь на Васильевском острове...

Члены уездного комитета, несмотря на пургу, потянулись со всего Ново-Мариинска на совещание.

Кулиновский лопатой отгребал снег от двери, но ее тут же снова заносило и приходилось чуть ли не для каждого посетителя заново откапывать вход.

Желтухин разглаживал телеграммы на столе и дул на руки, чтобы согреть пальцы. Дом не топили, и холодина была такая, что никто даже шапок не снимал. По углам белел снег, и повсюду в стенах светились заиндевевшие шляпки гвоздей.

В комнату набилось полно народу, и вскоре с потолка закапало.

— Граждане,— заговорил Желтухин,— нами получены две телеграммы. Сейчас я вам прочитаю сначала ту, что из Петропавловска, а потом — из Петрограда.

Слушали молча.

— Переворотов вроде бы много, а все по-прежнему,— заметил рыбак Ермачков — без него и сегодня не обошлось.

— Есть предложение.— Бессекерский поднялся, роняя на пол и на окружающих олений волос из своей старой, но богато сшитой кухлянки.— Выразить нашу верность Временному правительству.

— Так Временного правительства в Петрограде уже нет,— возразил Грушецкий,— кому выражать-то?

— Нонче любое правительство временное,— выкрикнул Ермачков,— не ошибетесь.

— Граждане,— Тренев подошел к столу, он лихорадочно соображал, как быть,— ничего не ясно, все словно в пурге. Я так думаю — держаться.

— За что держаться? — насмешливо спросил Грушецкий.

— А я предлагаю вооружаться,— мрачно буркнул Бессекерский.

— Тебе вооружаться не надо, у тебя и так полно оружия,— заметил Грушецкий.

Бессекерский специализировался на торговле оружием и сбывал местным охотникам все, что могло стрелять. Он продавал русские кавалерийские карабины, трехлинейные винтовки, японские «арисаки» и американские винчестеры. На берегу лимана с помощью Олафа Свенсона выстроил склад из гофрированного железа, который анадырские острословы нарекли арсеналом.

— Ежели нам надо удерживать существующий порядок в уезде, то мы должны иметь на это вооруженную охрану,— продолжал Бессекерский.— Собрать отряд, вооружить его, обучить военному искусству и держать наготове.

— Граждане,— снова встал Тренев,— это же смешно. Если придут американцы или японцы на военных кораблях с регулярными войсками, то они даже и глядеть не станут на наше войско.

— А наше войско не против них,— возразил Бессекерский.— Против большевиков.

В комнате стало тихо. Смачно капала вода с потолка от таявшего инея.

Грушецкий засмеялся. Его густой, басовитый смех заполнил всю комнату.

— Граждане.— Тренев чувствовал необыкновенный прилив сил. Может, подействовали ночные мечтания, разговор с Агриппиной Зиновьевной.— Организовать дружину — это, конечно, важно и, может быть, в соответствующих условиях полезно. Но поскольку зримого врага мы не имеем, то надобность в таком отряде отпадает сама собой. Граждане, быть может, я единственный среди вас, который своими глазами видел большевиков.

— Да ну! — не выдержал Ермачков.

— Заткнись, рыбоед! — оборвал его Станчиковский.

Тренев, чувствуя, как собравшиеся заинтересовались, заговорил медленнее, но еще проникновеннее:

— Граждане, есть большевизм и большевики. Большевизм — учение о равном распределении богатств, о всеобщем дележе. Выдумал его немецкий философ Карл Маркс.

— Так каков он, этот большак? — в нетерпении прервал Тренева Ермачков.

Сидевший поблизости Станчиковский обернулся, приблизил нос к лицу рыбака и раздраженно предупредил:

— Хлебнул с утра, так сиди и помалкивай.

— Это учение весьма привлекательно для лиц, не имеющих никакой собственности и с вожделением и завистью взирающих на тех, кто владеет богатством в виде ли дела какого-нибудь или просто деньгами. А так как неимущих большинство в России, то учение с необыкновенной быстротой распространилось. Все смуты тысяча девятьсот пятого года от большевиков, и кровавые бунты происходили под их предводительством. Опасность большевизма в самой идее. Стоит этой идее запасть в гуцу нашей толпы, как она зажигает ее будто спичка, брошенная в стог сена...

Тренев мысленно отметил, что говорит необыкновенно красноречиво и образно.

— Чтобы предотвратить опасность большевизма в нашем уезде, где неимущих гораздо больше, чем владельцев, промышленников и коммерсантов, предлагаю расширить состав нашего комитета, введя в него представителей местного населения из неимущих слоев. Такой жест с нашей стороны ослабит напряжение и вызовет доверие у народа.

— Был уже один — Каширин, и все знают, чем это кончилось, — заметил Грушецкий.

— Вот это да! — удивленно произнес Желтухин.— Начал за здравие, а кончил за упокой. А я вот рядом с дикарем сидеть не буду!

— С меня довольно и того, что сажу с пьяным Ермачковым, — брезгливо заметил Станчиковский.— Граждане, это даже как-то неестественно, то, что предлагает Тренев. Натаскают вшей, оленьей шерсти и еще черт знает чего. Да ведь сам не так давно говаривал, что привлечение дикарей к политической деятельности нежелательно.

— Развитие событий заставляет нас менять привычные представления, — туманно заметил Тренев, чувствуя, что его предложение никакой поддержки не получает.

— Граждане, — сказал Желтухин устало, — сейчас в Ново-Мариинске пурга. По всему видать, она продлится не один день. Горопитесь нам некуда. Поэтому предлагаю разойтись по домам, крепко подумать. Тем временем, может, придет какое-нибудь разъяснение...

Один за другим скрывались в молочно-белой круговерти члены комитета Анадырского уезда, растревоженные не столько телеграммами, сколько загадочными большевиками.

Отворачивая лицо от секущего снега, Тренев пробирался к своему дому, стараясь держаться под защитой стен. На повороте он столкнулся с Тымнэро, родичем Милюнэ-Маши. Чукча шагал сквозь снег весь белый, и лицо его вместе с редкими усами было облеплено снегом. Тренев шарахнулся, испуганный неожиданным появлением.

Отряхиваясь в снях, он все видел перед собой рослого чукчу, возникшего из пурги, словно порождение самой снежной бури.

Ушедший вперед на легких беговых нартах Армагиргин облюбовал место в узкой долине, между двумя высокими холмами. Горы защищали от ветров, а склоны были покрыты тонким слоем снега, оленям легко будет добывать корм.

Езда по снежной целине, среди снега и холодного пронизывающего воздуха ободрила Армагиргина. Он думал о том, что в том и настоящая жизнь, чтобы вот так кочевать по тундре, находиться в вечном движении, в поиске лучшего места, хотя эти лучшие места и повторялись из года в год. Оленевод жалел береговых родичей, обреченных всю жизнь видеть из двери своего жилища одно и то же.

Армагиргин сидел на нарте, ожидая, пока растянувшийся аргиш¹⁶ догонит их и люди выберут места для своих яранг, расположив их позади жилища хозяина и главы стойбища.

Стадо обогнуло холм, и пастухи направили его на нетронутое пастбище, неподалеку от яранг. Им было наказано забить оленей для жертвоприношения и для еды.

Подъехала нарта Теневиля. В душе Армагиргина шевельнулось странное чувство то ли зависти, то ли еще чего-то. Он смотрел, как Раулена ловко распрягала ездовых оленей, ставила ярангу. Под неуклюжим меховым кэркэром угадывалось гибкое молодое тело. Армагиргин вспомнил Милюнэ и представил себе, как сейчас она бы ставила его ярангу, так же вот легко сгибаясь под тяжестью жердей, сопротивляясь надутому ветром шатру — рэтэму. Да, его обидел свое нравный пастух, по сути отнявший у него радость, может быть последнюю радость жизни.

Жены Армагиргина — старая Нутэнзут, ровесница Армагиргина, и считавшаяся когда-то молодой Гувана — ставили хозяйскую ярангу. Так уж повелось испокон веков, что установка жилища было делом женщины, хранительницы семейного очага. Сначала возвели остов из почерневших деревянных жердей, служивших не один век роду Армагиринов.

Когда каркас был поставлен, на него натянули огромный рэтэм — покрышку из обстриженных оленьих шкур. На самой макушке яранги, где пучком сходились жерди, оставалось дымовое отверстие. Оно же и служило источником дневного света.

В эту пору сумерки наступают рано, и поэтому все спешили поставить яранги, внести утварь и повесить спальные пологи.

Пока Гувана укрепляла стенки только что возведенной яранги, обкладывая камнями со снегом полы рэтэма, Нутэнзут разостлала на снегу меховой полог и выбивала его гнутым оленьим рогом — тивычгыном. Она как бы полоскала в чистом снегу оленью шерсть, очищая ее от копоты жирника, выветривая от пота и запахов еды. После этого полог наполнился тундровым зимним ветром и свежестью.

Когда рэтэм покрыл жерди, Армагиргин, нагнувшись, вошел в чоттагин и приготовился добыть огонь из длинной ритуальной дощечки. Вообще-то у него был достаточный запас американских спичек, которые загорались стоило их чиркнуть обо что-нибудь, даже об зуб,

¹⁶ Олений караван.

но уж так полагалось, что первый огонь в заново установленном жилище добывался древним способом. Считалось, что такой огонь более чистый и только он годился для разных священных обрядов.

В левом от входа углу, возле двери уже были приготовлены закопченные камни очага, которые образовали круг, а внутри лежали ветки стланика, белые стружки растопки.

Армагиргин достал из священного мешочка дощечку с обуглившимися углублениями, трут, палочку из твердой породы дерева и лучок, с помощью тетивы которого вращалась в углублении палочка. Мелкая древесная пыль задымилась, мелькнул синий огонек, а потом и появилось пламя, бережно перенесенное в очаг.

Увидев синий дымок над передней ярангой, и остальные жители стойбища зажгли свои костры.

Из стада притащили ободранные туши оленей.

Молодой Эль-Эль вошел в чоттагин и громко спросил:

— Можем начинать?

Армагиргин молча кивнул и тяжело поднялся с бревна-изголовья. С каждым днем все труднее владеть телом. Будто не свои, а чужие кости у тебя, и не желают они тебе повиноваться.

Еще утром здесь была снежная пустыня, безмолвная, погруженная в зимнюю спячку долина, а сейчас под полной луной сверкали огоньки вечерних костров, в морозном воздухе далеко разносились звонкие детские и женские голоса. У подножия холма, над речкой, промерзшей до дна, на чистом снежном поле собрались пастухи на священное жертвоприношение Тэнантомгыну — верховному создателю, великому богу, вездесущему, всепроникающему и не имеющему равных среди прочих богов. С той самой минуты, когда отец Динисий окропил бритую макушку оленевода прохладной водой из купели, Армагиргин чувствовал вину перед Тэнантомгыном и старался загладить ее щедрым жертвоприношением. Он и мысленно и даже иной раз вслух, когда рядом никого не было, обращался к богу со словами оправдания. А что тут делать? Такова жизнь. На краю земли, меж двумя большими тангитанскими державами — Россией и Америкой — надо было куда-то приткнуться, искать защиты и покровительства. Об этом он думал еще в молодости, унаследовав мысли от своего отца, которого тоже звали Армагиргином. Опыт жизни подсказал Армагиргину, что лучше иметь крепкую дружбу с русскими. Прошло время хвастливых сказаний, где русский казак выставлялся в самом смешном и плачевном виде. В сказаниях говорилось о великих победах чукотского народа, однако где следы этих побед? На чукотской земле повыврастали крепости, тангитанские деревянные дома, обнесенные высоким бревенчатым частоколом. Они стояли на реке Анюе, у села Островного, под самым носом у гордого и насмешливого Леута, по великой реке Анадырь, в верховьях ее и в устье... Но с другого боку был американец. Он бил кита в Беринговом проливе и врывался в яранги береговых, изголодавшийся в морском походе по женскому телу. Оттого в Уэлене, Инчоуне, Янранае — повсюду полно светловолосых и голубоглазых, будто родившихся с осколками ясного неба в глазах. Американец торговал жадно и торопливо. Если надо — он возил все, что ни попроси у него. И хоть был ласков и улыбчив американец, но своей чукотскую землю он не считал... Покойный исправник Кобелев, царство ему небесное, познакомил Армагиргина с «Положением об инородцах», где чукотскому народу было отведено сомнительно почетное место «не вполне покоренного народа». Зачем же покорять, ежели добровольно можно побрататься с русскими, с Солнечным владыкой? Такая мысль пришла в голову еще старому

Армагиргину, а после его смерти к младшему, который и попытался осуществить родительскую волю... Не получилось... Опоздал...

Молодой Эль-Эль, мало похожий на шамана, робкий и застенчивый, вполголоса беседовал с Тэнантомгыном, обращая лицо свое ввысь, в побледневшее от яркой луны небо.

И зачем он смотрит ввысь? Тэнантомгын везде, его присутствие может быть даже и под землей, под толщей льда и мерзлоты. Свидетельство этому — горячие источники. В их целительных водах находят облегчение звери и люди. Больные копыткой олени готовы пройти большие расстояния до горячих ключей.

Эль-Эль благодарил Тэнантомгына за милости, ниспосланные живущим на земле, а Армагиргин по привычке шептал свои покаянные слова:

— Хотел я тебя побратать с русским, тангитанским богом, который в человецьем обличье изображен на больших картинах — иконах. Не предательства я искал, а дружбы, не забвения твоих милостей, а лучшего и полного понимания. Думал я так: если я буду почитать и русского бога и тебя, то мой бедный народ удвоит силы, умножатся олени стада, уменьшатся пурги и ненастья, мхи тучнее будут расти, люди вдвое меньше будут страдать от злых кэле, меньше будут болеть. Радел я не о собственной славе, а о благе всего живущего вокруг оленей. Я говорю правду: не скрыть мне от тебя самых сокровенных мыслей, не убежать ни в высокие горы, ни в узкие ущелья, ни в открытое море, потому что ты вездесущ и всепроникающ... И открываюсь весь тебе такой, какой есть. Да, хотел я понять русского бога и даже одно тангитанское заклинание знал. Говорилось там, что бог есть отец и живет он на небесах... Это совсем не то, что ты — ты везде, а он, значит, только на небесах... Люди просили о пришествии его царства. Возносилась благодарность за хлеб, который он дает. Видишь — каков он перед тобой? Что хлеб против жирного оленьего мяса? Трава да и только... А ты даешь нам настоящую еду, достойную лыгьорав-этльанов¹⁷. Я смиренно склоняю перед тобой свою старую седую голову. Уже нет надобности стричь мне макушку, поредели волосы так, что и без бритья макушка моя голая... Гнев твой я понимаю и принимаю со смирением: не дал ты мне потомства, потому что предательство не может иметь продолжения в роду... Но укажи моему народу, как жить дальше? Смута отовсюду идет, дурные слухи, страхи наползают. Укажи и просвети нас, покажи настоящую дорогу...

Младший Эль-Эль уже давно закончил священное действие, принес жертву не только Тэнантомгыну, но и множеству других, второстепенных богов, попросил хорошей погоды и мягкого мороза, а Армагиргин все был в состоянии глубокого размышления и, судя по движениям его губ, все еще беседовал с Тэнантомгыном. Иногда молодому Эль-Элю казалось, что Армагиргин гораздо больший шаман, чем он сам, прошедший сызмальства выучку у отца: в отношениях с высшими силами хозяин стойбища был неистов, суров и предан. Иные считали, что это усердие от вины: ведь в свое время Армагиргин принял русского бога во время знаменитого путешествия в Якутск на поклонение к Солнечному владыке.

О том достопамятном событии уже сложились легенды, одна причудливее другой.

В одних говорилось о том, что сам Солнечный владыка из дальнего своего стойбища, застроенного огромными каменными ярангами, приезжал на свидание с Армагиргином в Якутск и там называл своего чукотского подданного братом, одарив его одеждой, ритуальным

¹⁷ Настоящий человек.

ножом, а также специальной бумагой, которая от долгого хранения в берестяном проткоочгыне¹⁸ истлела и искрошилась и от нее остались лишь желтые клочья.

По другим сказаниям выходило так, что Армагиргин получил от русского царя власть над всей чукотской землей, но враги его — чаунский эрмэчин Леут и другие — отказались повиноваться.

Говорили и о том, что Армагиргин покорился русскому борода-тому богу и в знак полного повиновения надел на шею цепь, будто невольная собака.

Все это давно стало сказками, а на шее у Армагиргина висит родовой его божок — священная фигурка ворона, посредника между Армагиргином, его родом и богами.

Погруженный в размышления, Армагиргин шел к своей яранге. У порога он обернулся к Эль-Элю и попросил его:

— Пусть ко мне придет Теневиль.

Пастух сидел у полога и с удовольствием облаживал крепкими зубами оленью кость. Давненько не ели в стойбище Армагиргина свежего мяса: не разрешал хозяин забивать оленей на еду. И вот наконец расщедрился — в каждую ярангу по целой туше!

Теневиль вытер пальцы о шерсть камусных штанов и под тревожным взглядом жены вышел из яранги.

Армагиргин в одиночестве сидел за низким столиком и молча смотрел на дымящееся вареное оленьё мясо.

— Етти, — тихо приветствовал он Теневиля.

— Ии, — ответил пастух.

— Подойди ближе.

Теневиль подошел и, повинувшись жесту хозяина, уселся на бревно-изголовье.

Возле корытообразного блюда — кэмэны — он заметил берестяную коробочку, похожую на проткоочгын.

— Ешь, — коротко сказал Армагиргин.

Теневиль взял ребрышко и для приличия поглотил его — негоже отказываться от еды, когда предлагает Армагиргин.

Порывшись заскорузлыми пальцами в коробочке, Армагиргин вытащил куски истлевшей бумаги и разложил их на краю низкого столика.

— Гляди, Теневиль, это царская бумага. Никто из нашего народа не знает, что тут начертано. Да и ты не поймешь, потому что не знаешь тангитанской грамоты. Я прошу тебя, переведи эти значки на дерево. Выбери из моих запасов покрепче, чтобы долго хранилось. Видишь, бумага оказалась слабая, рассыпается в прах.

Армагиргин бережно сложил бумагу в проткоочгын и протянул коробочку Теневилею.

— Я постараюсь сделать, — ответил пастух.

— Погоди, — остановил его Армагиргин. — Ты ешь. Мне надобно с тобой поговорить.

Теневиль взял еще одно ребрышко.

— Вот слушай меня... Ты с малолетства знаешь меня. А я давно приметил тебя. Ты не такой, как другие в нашем стойбище, а может, и среди всего нашего народа... Я вижу — наверное, ты один в нашем стойбище не завидуешь мне и доволен своей жизнью. Так ли это?

И несмотря на то, что хозяин говорил тихо, даже ласково, Теневиль словно бы почувствовал прикосновение чего-то холодного, мокро-скользкого.

— Сегодня я говорил с Тэнантомгыном, — продолжал старик та-

¹⁸ Табакерка.

ким тоном, словно побеседовал не с самим богом, а с соседом.— Видно, он и наказал меня за русского бога и не дал мне потомства. Но Тэнантомгын дал мне совет. Сделать тебя наследником моим, передать тебе мой стада, мое имя и всю мою силу над людьми... Вот только не знаю, что с этим делать.— Армагиргин кивнул на берестяной проткоочгын.— Сказывают, что Солнечного владыки больше нет. И Олаф Свенсон подтвердил, что так. Как быть дальше? Может быть, с русскими нам больше не по пути? А? Кого спросишь? Мишки Кобелева нет давно в живых. Купец Малков трясется от страха, а Черепак не пробуждается от пьянства... То, что я тебе сказал про наследство, ты на это можешь сейчас не отвечать. Ты думай... А пока мы поедем с тобой во Вьэн. Своими глазами поглядим, что там делается, своими ушами услышим новости. Иди готовься в дорогу, но прежде перенеси мне русскую бумагу на дерево.

Теневиль был освобожден от работы в стадах.

Он перебрал множество дощечек и остановился на белом, мягком, податливом дереве. Он расчистил его, обстругал ножом, а потом отполировал до матового блеска куском оленьей замши. Получилась поверхность нисколько не хуже настоящей белой бумаги.

Осторожно вынул полуистлевшие куски царской бумаги и аккуратно разложил, подогнав их друг к другу.

Трудясь над обрывками ломкой желтой бумаги, Теневиль не переставал думать о том, что сказал Армагиргин. Это было страшно и непонятно. Вроде бы после всего случившегося хозяин должен был искать способ отомстить ему, может даже изгнать из стойбища. Но не сделал этого. Почему? А может, месть в том и заключается, чтобы сделать Теневиля владельцем стада и хозяином стойбища? Может быть, Армагиргин хочет посорить его со своими дальними и ближними родичами, только и ожидающими его смерти в надежде разделить его большое стадо. Да, Тэнантомгын крепко наказал Армагиргина, лишив его потомства. Теневиль уважительно подумал о чукотском боге, о его мудрости — предательство не должно передаваться из поколения в поколение...

Раулена, носящая в своем чреве будущего ребенка, присела рядом и встревоженно глянула в глаза мужу:

— Что тебе сказал Армагиргин, почему ты стал скрытен и молчалив?

Разве можно сказать женщине все? Лучше язык проглотить. И чтобы успокоить жену, Теневиль сообщил:

— Собираемся во Вьэн поехать. Посмотрим, что там делается. Увижу Тымнэро, Милюнэ... Каково им там живется?

— Это хорошо! — обрадовалась новости Раулена.— Я пошлю Милюнэ пыжик, а Тымнэро неблюй¹⁹ на кухлянку.

— Они обрадуются подаркам,— заметил Теневиль, примериваясь, как расположить тангитанское письмо на дощечке, чтобы оно поместилось целиком на одной стороне, да еще примостить в конце круглое тавро, внутри которого была нарисована двухголовая когтистая птица.

Раулена глянула через плечо мужа и ужаснулась:

— Какая страшная птица!

— Иди погляди на снег! — встревоженно сказал Теневиль, и Раулена послушно вышла из яранги.

Женщина, носящая в себе будущую жизнь, не должна смотреть на гадкое и неприятное, иначе все это может отразиться на будущем

¹⁹ Шкура годовалого оленя.

ребенке: он может уродиться кривым либо с каким-нибудь иным изъяном.

Раулена поглядела на дали, утонувшие в синей мгле, на усыпанное звездами небо, на полную луну, поднимающуюся над горизонтом, на Млечный Путь — Песчаную реку, протянувшуюся через небосвод, и постепенно в ее душу входило умиротворение, спокойствие и блаженство. Какая красота и одновременно сила вокруг! В промежуточном пространстве между высотой и землей, от линии соединения неба и дальних гор, повсюду разлито это могущество и спокойствие. Хорошо, если бы оно передалось будущему сыну и он был бы так велик и силен, как сама природа.

Раулена постояла и, озябнув, возвратилась в чоттагин, где при свете пламени мха, плавающего в нерпичьем жире, ее муж переносил русские письма на дерево.

Теневиль вглядывался в каждую букву, стараясь уразуметь ее значение. Он работал специальным шильцем, которое сам смастерил для такого случая. Русские буквы напоминали ему многое — то ярангу, то русский дом, лесенку, положенную набок байдару, с сидящими внутри гребцами, человека, широко расставившего ноги, жаренную на нерпичьем жире лепешку с дыркой посередине. Толпы букв стояли, однако не сплошняком, а были отделены друг от друга промежутками. Причем одни знаки были выше других, как бы главенствовали над другими, являлись эрмэчинами в письменной речи.

Перенося значки, Теневиль старался изображать их не только точно, но и красиво, ровно, чтобы они стояли, как деревца на границе лесов и тундры.

Раулена сидела у костра и изредка поглядывала на Теневиля. Женское любопытство держало ее в чоттагине, и ей казалось, что еще немного и откроется Теневилу тайна русской письменной речи и он услышит внутренним слухом слова.

— Ну как, понимаешь? — не выдержав, спросила Раулена.

— Нет, — вздохнул Теневиль. — Но все равно интересно. Совсем не похоже на то, что я сделал.

— Может быть, то, что ты придумал, лучше тангитанского письменного разговора?

— Не знаю, — с сомнением покачал головой Теневиль. — Они тут обходятся совсем малым числом значков...

— Может, оттого, что речь у них бедная?

— Может быть, — согласно кивнул Теневиль.

Две группы знаков особенно часто повторялись в царской бумаге, и Теневилу нетрудно было догадаться, что это имена Армагиргина и русского царя. Так как с большой буквы повторялись сразу несколько слов, то именно эти слова, как предположил Теневиль, и были именем Солнечного владыки. В его собственных записях имя Солнечного владыки изображалось так: знак солнце — диск с расходящимися лучами на особом сиденье — китовом позвонке.

Раулена уже дремала у потухшего костра, а Теневиль все трудился над перепиской грамоты.

Разгадка имен обрадовала его, но, к сожалению, добраться до смысла всей царской бумаги он так и не смог.

Уже под утро, когда сморенная сном Раулена крепко спала в пологе, высунув голову в чоттагин, Теневиль принялся переводить на деревянную дощечку царское тавро — тощую когтистую птицу с двумя головами, повернутыми в разные стороны.

Теневиль не просто выдавил на податливом дереве каждую букву, но еще и обвел пачкающим камешком, выторгованным в последней поездке во Възн. Получилось несколько не хуже, чем на бумаге,

и Теневиль долго любовался плодом своих рук при свете коптящего пламени мохового светильника...

Аргиш Армагиргина, направлявшийся в Ново-Мариинск, состоял из нескольких нарт. Вместе с хозяином ехала его младшая жена Гувана. В такое долгое путешествие без женщины ехать трудно: кому-то надо следить за жилищем, ставить ярангу, разжигать костер, готовить еду, следить за одеждой. Ехали еще две девушки — дочери старого пастуха Кымынто.¹ Не будь Раулена беременна, Теневиль взял бы ее тоже.

Позади нартового каравана шло небольшое оленье стадо — для торго и для питания.

Ехали не спеша, иногда на день-два останавливались в приглянувшихся местах, чтобы дать отдых стаду, ездовым оленям, а то и для того, чтобы переждать пургу.

В Маркове были всего один день. Поставили яранги поодаль от селения, стадо утнали на остров посреди замерзшей реки. Армагиргин в село не ходил. И Малков и Черепахин, оба в разное время наведались к нему, принесли скудные подарки и получив в отдарок по пыжику. Оба жаловались на трудные времена и ничего не могли сказать вразумительного с положением в России, шепотом произносили слова: «переворот», «Ленин»...

Дальше ехали по реке. Нарты хорошо шли по ровному утрамбованному ветром снегу. По берегам росли деревья, высокие кусты — топлива для костров было достаточно. Но иногда уходили в сторону в поисках оленьих моховищ и потом снова возвращались на реку.

На стоянках Теневиль спал в яранге Армагиргина, своего жилища он не взял, оставив Раулене.

Армагиргин был немногословен, но пугал Теневиля воспоминаниями о давнем, о прожитом, о своем якутском грехопадении, когда ему окропили макушку из священного котла и он признал русского бога. В этих воспоминаниях чувствовалась тоска о неправильно прожитой жизни, об утраченных радостях, несбывшихся надеждах.

— Помнишь Вэипа? — спросил однажды Армагиргин за вечерней трапезой.

Кто же не помнит Вэипа? Такой человек за многие поколения лишь раз объявлялся в стойбище и вообще на чукотской земле. Это был тангитан, довольно молодой еще, но с бородой. Он хорошо говорил по-чукотски, и в его речи слышался колымский говор. Вэипа интересовали старинные сказания, шаманские заклинания, острые слова... А про него сопровождавший его чукча нашептывал, что послан Вэип в холодные края самим Солнечным владыкой за то, что заступался за бедный народ. С чего ему такое пришло в голову? Ведь сам-то возил большой запас чая и сахара и задабривал сказителей щедрыми подарками — связками табака, чаем, бисером и другими тангитанскими товарами. Про бедность да про заступничество Вэип в годы путешествия по чукотской земле помалкивал. Может, был напуган наказанием?

— Пожалуй, такие, как Вэип, всю смуту и устроили с Солнечным владыкой, — тихо сказал Армагиргин. — Я пыгался с ним говорить, когда он был в нашем стойбище. Но он все с покойным Эль-Элем общался, спрашивал его о заклинаниях и даже вызывался с ним шаманить. Влезал в темный полог, как бы невзначай зажигал свет. Все хотел вызнать, даже самое сокровенное... — Армагиргин помолчал. — Он мне переводил царскую бумагу. Сказал — серьезная бумага и слова там значительные. Большого не сказал, а я тогда хотел

служить русскому царю и быть настоящим подданным России вместе со всем чукотским народом.

Внимательно слушавший Теневиль мысленно спросил: а зачем?

— Затем,— словно отвечая на вопрос, продолжал Армагиргин,— чтобы защита была нашему народу. Чтобы не грабили, не помыкали, будто мы не люди. А такое есть. Со стороны купечества особенно. Что российского, что американского. Время идет вперед, и жизнь тоже идет. Новые рождаются поколения, и они по-другому смотрят на мир. В этом и смысл. Иначе для чего была бы эта смена одних людей другими? Тогда бы жили мы вечно, не помирая, не уходя сквозь облака в другой, уже постоянный мир. Гляди — ружья стали другими. Раньше к нашим берегам приходили парусные шхуны, а теперь приплывают огромные железные корабли с огнедышащими машинами. Выдумывает человек, ищет выгоду. И нам надо искать себе выгоду, спасение... Оттого и обратился я к русскому Солнечному владыке. Однако его нет — что делать? К кому приткнуться? А?

Теневиль молчал, он понимал, что вопрос обращен не к нему, а, беседуя с ним, Армагиргин как бы вслух рассуждает сам с собой.

Ново-Мариинск открылся знакомыми Теневиллю вонзенными в зимнее небо мачтами радиостанции.

Олений аргиш вышел из-за поворота реки прямо на мыс Обсервации, черными скалами обрывающийся в торосистый Анадырский лиман.

Многие пастухи, что ехали вместе с Армагиргином, впервые видели тангитанское стойбище Ново-Мариинск и высоченные мачты анадырской радиостанции. Они не сводили изумленных глаз с темного облака над Ново-Мариинском. Велико было русское поселение в устье Анадыря, такое скопище домов пугало.

Оленья стада погнали вверх по замерзшей реке Казачке, в обход Ново-Мариинска, чтобы не раздражать тамошних собак. Яранги поставили также на берегу этой речки, у подножия горы святого Дионисия, на запорошенных снегами берегах тундровых озер.

Поставили яранги, разожгли в жилищах костры и принялись за еду: если кому нужно, придут из Ново-Мариинска, а самим торопиться некуда, надо передохнуть после долгой дороги, обсушиться, переменить обувь, осмотреть упряжь, основательно устроиться — ведь жить здесь придется не один день.

Теневиллю хотелось поскорее увидиться с Тымнэро, но старик держал себя так, словно прибыл он не в центр Чукотского уезда, а на берег безлюдной безымянной тундровой реки.

За вечерней трапезой в чоттагине старик как обычно пустился в воспоминания.

— Сказывал еще мой дед, что вот в этом самом месте, где сейчас стоит тангитанское селение, дикие олени вплавь переходили Анадырь. С отдаленных стойбищ собирались здесь чукчи, эскимосы, коряки, ламуты и копьями били плывущих оленей. Зверя было столько, что кровью окрашивалась вода на протяжении долгого течения. Тогда на рыбу и не глядели и заготавливали ее только для собачьего корма... Куда подевались те дикие олени — никто того не знает. Ушли. Исчезли навсегда. Иногда попадают в тундре, уводят из стада домашних, но в таком числе, как в древности, их больше нет. Должно быть, тангитаны выбили их ружьями...

За стенами яранги послышался собачий лай.

— Ну вот и первый гость,— спокойно произнес Армагиргин и поднялся.

Следом за ним из яранги вышел Теневиль.

На упряжке к яранге подъехал одетый по-чукотски чуванец и вместе с ним незнакомый тангитан.

— Амын еттык! — приветствовал прибывших Армагиргин.

— Ии,— по-чукотски ответил чуванец.— Я здешний житель, анадырец Миша Куркутский, а этот человек — тангитанский начальник Желтухин. Он нынче верховная власть в Анадыре.

— Новая, стало быть, власть вместо власти царя? — деловито спросил Армагиргин.

— Новая,— коротко ответил Куркутский.

— Однако твоего родича, Ваню Куркутского, я знаю,— сказал Армагиргин, обращаясь к чуванцу и видом своим показывая, что никакого интереса не имеет к новой анадырской власти.— Хороший каур. Где он, здоров ли?

— Это мой братец,— ответил Михаил.— Он здоров. Корюшку ловит на лимане.

— Что, мало летом рыбы запасли? — осведомился Армагиргин.

— Худо шла рыба, да большими сетями Сооне с Грушецким перегородили реку,— пожаловался Куркутский.

Желтухин стоял возле нарты и нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Власть замерзла,— заметил Армагиргин,— входите в ярангу, поешьте.

Желтухин что-то быстро и строго сказал Куркутскому.

Чуванец ответил, кивнул и все повторял знакомое Теневилю и часто употребляемое русскими слово:

— Хорошо, хорошо... Спрашивает тангитан — по какой надобности и надолго ли прибыли в Ново-Мариинск?

— Скажи ему,— Армагиргин небрежно кивнул в сторону Желтухина,— что прибыли мы по своей надобности на свою исконную чукотскую землю и по старинному обычаю об этом никого не спрашиваем.

Смущаясь и запинаясь, Куркутский все же перевел слова Армагиргина, и тангитан как-то странно заморгал, словно вдруг в глаза ему попала зола от стрелявшего искрами, жарко пылающего костра.

— Приехали мы во Въэн,— наставительно продолжал Армагиргин, называя Ново-Мариинск по-чукотски,— чтобы узнать, что же произошло и как нам дальше жить. Все же мы считаем себя подданными российского государства, о котором говорят теперь разное...

Услышав это, Желтухин с облегчением вздохнул и с готовностью сказал:

— В России произошел государственный переворот. Власть перешла к Временному правительству. Для сохранения спокойствия и осуществления государственной власти в Ново-Мариинске вместо начальника уезда, представляющего власть губернатора, избран Комитет общественного спасения, который я имею честь возглавлять.

Куркутский переводил и дивился словам, которые произносил Желтухин. Он уже слышал о какой-то новой телеграмме, пришедшей в Ново-Мариинск. Она хранилась в особом железном ящике, ключи от которого были постоянно у Желтухина.

— Надеюсь, граждане олениводы, поняли сказанное? — обратился Желтухин к Армагиргину.

— То, что ты сказал,— учтиво произнес в ответ Армагиргин,— то мы поняли. Однако поживем немного здесь и послушаем других.

Он долго смотрел вслед удалявшейся нарте. Вдали виднелись огоньки Ново-Мариинска.

— Надо навестить наших земляков,— сказал Армагиргин Теневилю.— Слышал, что тут твои родичи живут. Съезди к ним, угости

их свежим оленьим мясом, одари шкурами. Будь щедр, как это водится среди нашего народа.

Сам Армагиргин в Ново-Мариинск не поехал, но утром, когда рассвело, проследил, чтобы на нарту Теневиля положили свежеебодранную оленью тушу, пыжики, шкурки неблюя, немного пушнины для торго с тангитанскими купцами.

— Ты поживи у родичей,— наставлял Армагиргин Теневиля,— погляди, каково им там, послушай их речи. Сходи к чуванцам. Отдай шкуру Ване Куркутскому. Скажи — от меня. Пыжик на малахай передай Анемподисту Парфентьеву. Человек он умный, хитрый. Он все понимает, правда, не всегда вслух говорит...

Долго еще Армагиргин перечислял людей, с кем надо повстречаться в Ново-Мариинске. Почти безвылазно сидевший в своем стойбище, эрмэчин знал множество людей, помнил их и даже описывал их наружность.

Напоследок Армагиргин вытащил связку белых горностаев.

— А вот это передай от меня твоей родственнице, Милюнэ,— сказал он со вздохом, встряхивая на руке невесомый мех.— Небось за тангитана замуж вышла. Пусть носит, как настоящая тангитанская женщина... Ну, а если она свободна... Скажи, что дверь моей яранги всегда открыта для нее.

Видно, воспоминание о Милюнэ разволновало Армагиргина, и он, быстро отвернувшись от Теневиля, вошел в чоттагин.

В Ново-Мариинск ехали на двух нартах.

Олени чуяли собак и неохотно шли вперед. На подходе к крайним домам отпрягли оленей, и второй каюр умчался на них в стойбище, оставив с грузом одного Теневиля.

Посидев на нарте, Теневиля впрягся вместо собак и потащил нарту к скопищу домов, извергающих в зимнее небо черный угольный дым, от которого еще издали першило в горле, щекотало в носу,

Теневиля держал путь прямо на ярангу Тымнэро, стоявшую поодаль.

Однако некоторое расстояние все же пришлось пройти мимо деревянных домов Ново-Мариинска. Анадырские хозяева выходили и с любопытством разглядывали оленевода. Иные окликали, здороваясь:

— Етти!

— Какомэй!

Высоченный тангитан Волтер, которого раньше Теневиля видел вместе с Кашириным, кинулся к нему, схватил правую руку и стал сжимать и трясти, словно намереваясь что-то выжать или вытряхнуть из рукава кухлянки. Пастух не сразу сообразил, что именно таким образом и здороваются тангитаны и для них схватить за руку лучшего друга и жать и трясти — самое сердечное и радостное выражение приветствия.

— Здравствуй, друг... Очень рад тебя видеть... Глэд ту си ю! Вери мац!

Теневиля отнял руку и показал смятой рукавицей вперед.

— Тымнэро! — громко сказал он.

Возле одного из домиков его остановил знакомый голос:

— Теневиля! Етти, кыкэ!

Теневиля сразу и не узнал Милюнэ. Да, прав был Армагиргин — мало того что Милюнэ стала тангитанской женщиной, она, видать, не последняя тут.

Если бы не она сама окликнула его, так бы и прошел мимо Теневиля, не распознав в этой красавице жалкую, отощавшую от скудной рыбной пищи женщину.

— Какоей! — только и мог произнести Теневиль, остановившись в изумлении перед девушкой.

Как же такой подашь жалкую связку горностаев? Одеты она в матерчатое, теплое, опущенное рыжей лисой. На голове цветастый платок. На ногах тангитанская обувь — валенки. Словом, вся она с ног до головы настоящая тангитанка, и только чукотская речь выдавала ее тундровое происхождение.

— Маша! Маша! — слышалось из дома, и на крыльцо вышла русская женщина. Хотя дородством она и превосходила Милюнэ, но казалась рядом старой и некрасивой.

Милюнэ быстро откликнулась на свое тангитанское имя, и Теневиль с неожиданной грустью отметил, что не только внешность, но и имя стало иным у нее.

Она заговорила с тангитанской женщиной быстро, словно всю жизнь говорила по-русски. Видно, рассказывала, кем приходится ей Теневиль, потому что русская смотрела на него уже с любопытством.

Потом на крыльцо вышел другой тангитац, с которым у Теневиля в прошлый приезд была торговля.

— Етти, — сказал торговец по-чукотски, однако протягивать руку не стал, а так стоял поодаль, разглядывая оленивода.

Видно, других чукотских слов он не знал, потому что внимательно слушал быструю русскую речь Милюнэ и важно кивал.

Теневилю надоело, что его разглядывают, и к тому же он не мог одолеть неприязни к новому облику Милюнэ. Решительно натянув на себя упряжь и бросив на ходу: «Я поехал к Тымнэро», — зашагал вперед.

— Я приду вечером! — крикнула вслед Милюнэ.

Обидно было за Милюнэ. Словно не стало больше той излучающей радость и нежность девушки, которая жила в его яранге и вполне могла стать его второй женой, если бы первой не была Раулена...

Тымнэро встретил Теневиля радостно:

— Етти! А я уже собрался запрягать собак и ехать к вам в стойбище.

В этих простых словах, в широкой улыбке чувствовалась искренняя радость, от которой на душе сразу же становилось тепло. Это тебе не трясти и жать руку. Простые и значительные слова.

Теневиль скинул с себя упряжь и подтащил нарту ближе к порогу.

Тынатваль помогла внести в чоттагин оленью тушу, связки шкур. Потом мужчины убрали на подставку нарту и только после этого вошли в чоттагин, где уже пылал костер и Тынатваль варила в большом котле свежее оленьё мясо.

— Я рад тебя видеть, — повторил Теневиль. — Надеюсь, у тебя дома все хорошо?

— Сынок ушел сквозь облака, — спокойно произнес Тымнэро.

— Легкая была дорога? — учтиво спросил Теневиль.

— Ясный день был. Правда, с утра было пасмурно, но потом прояснилось.

— Хорошо, должно быть, ему сейчас там, — вежливо заметил Теневиль.

— Но мы его с печалью вспоминаем, — ответил Тымнэро.

Он вытащил из засаленного кисета кусочек табачного корня и принялся мелко нарезать на краю дощечки.

Теневиль с готовностью подставил свою трубку.

— Хорош все же русский табак, — сказал он. — Настоящий табачный дух и крепость в нем.

— Однако русского табака осталось совсем мало, — сказал Тым-

нэро.— Нынче совсем не было русского товара — все американское. И табака в жестяных банках — полно. Вон гляди!

Тымнэро подал плоскую жестяную баночку американского табака. На одной стороне был нарисован человек в черном одеянии. На голову его был надет высокий черный цилиндр, внутри которого можно было поместить по меньшей мере еще две головы. Такие банки Теневилю и раньше приходилось видеть, и он думал, что этот человек изображен на табачной коробке неспроста: в цилиндре хранился либо запас табака, либо дым от него.

— И сахар тоже американский,— продолжал Тымнэро.— С виду такой же, но слабый на зуб и тает быстро. С русским осколком можно полчайника выпить, а тут из блюдца не успеешь проглотить, а сахар уже весь растаял...

Мужчины покурили, потом плотно поели, ловко орудуя ножами, и так очистили кости, что собакам осталось только разгрызть их и разжевать.

За чаепитием пошел разговор.

— Армагиргин хочет знать, что же случилось с тангитанами,— сказал Теневиль.— В душе не верит, что скинули Солнечного владыку.

— Говорят такое,— кивнул Тымнэро.— Хотя я не сильно понимаю, за что прогнали Солнечного владыку. Вместо старой царской власти тут комитет. Во главе его Желтухин. Раньше был совсем незаметный тангитан. Я все ждал: Милюнин хозяин станет большим начальником. Однако нет. Почему — не знаю. Куркутский рассказывал, ссорятся тангитаны, особенно когда начинают заседать.

— А случилась ли какая перемена в самой жизни? — спросил Теневиль.

— Да все осталось как было! — сердито ответил Тымнэро.— Своими глазами не видишь!

Теневиль помолчал, действительно, что тут спрашивать, когда и так видно — перемен в яранге Тымнэро нет.

— Оттого, что власть меняется, нам, лыгьоравэтльанам, никакой пользы и никакого вреда — все по-прежнему,— продолжал Тымнэро.— Тут был один, который говорил о переменах. Да ты знаешь его — Кассира.

— А где он?

— Уехал, повез в сумеречный дом Царегородцева и Оноприенко... Да что-то задержался, не вернулся. Сказывают, что сам угодил в сумеречный дом...

— Как же можно? — удивился Теневиль.

— Могли и посадить. Он такое говорил, что мне страшно становилось... Всеобщий дележ, задача богатств бедным.

— Разве такое возможно? — удивился Теневиль и ближе придвинулся к Тымнэро.

— Говорит — можно. Не будь охотников, не будь пастухов, откуда были бы мясо нерпичье да моржовое, кожи на покрывки яранг, олени, олени шкуры?.. Если бы женщины не шили, откуда бы были торбаса, кухлянки?.. Это на нашей, чукотской земле. А в России, говорил Кассира, рабочий человек делает все, что потом купцы сюда привозят — табак, чай, сахар, ткани, ружья...

— И даже ружья! — удивился Теневиль.

— Есть такие умельцы,— подтвердил Тымнэро.— Торговцы захватили все эти богатства, мастерские, где делают ружья и другую железную утварь, землю, где растет сахар, и чай, и хлеб, захватили олени стада, байдары и вельботы и заставляют работать на себя трудового человека, который как бы в рабстве находится...

— Вроде пурэль? ²⁰ — переспросил Теневиль.

Тымнэро кивнул.

— И если бедные люди поделят между собой эти богатства, то это будет только восстановление справедливости,— заключил Тымнэро.

Теневиль, пораженный рассказом своего родича, долго молчал. Он заново раскурил трубку, примяв пальцем табачные корешки и добавив туда сладкий и мягкий американский табак.

Выпустив первые кольца дыма, он осторожно спросил:

— Ну хорошо, поделят все богатства между собой, раздадут оленей по ярангам, там, сахар, чай... Первое время, конечно, будет хорошо, навроде бы праздник будет, а дальше?

— Что дальше? — не понял Тымнэро.

— Дальше — что будет? Все съедят, искируют, изнасят, а как дальше жить?

Тымнэро внимательно выслушал вопрос и в сомнении покачал головой:

— Коо! Про дальнейшую жизнь Кассира не говорил.

— Дальше можно и с голоду подохнуть,— сказал Теневиль.— Первыми помрут те, кто пожаднее. Они все сразу съедят, изнасят, искируют... Потом те, кто побережливее, но участь у всех будет одна — печаль пустых яранг и белые кости на тундре.

— Да-а, кэйвэ,— протянул Тымнэро, представляя весь ужас будущей жизни после всеобщего дележа.— Да и когда начнут делить, тут тоже без драки не обойтись. Одному захочется одно, другому другое... Этому больше, другому меньше достанется. Обиды будут. А слабым вовсе ничего не достанется.

— Те, кто проворнее и сильнее, похватают лучшее да побольше!

— Да еще оружием будут угрожать,— дополнил картину будущего всеобщего дележа Тымнэро.— Такой жадный народ. А тангитаны в драке дичают. Мне Милюнэ рассказывала, что и женщины тангитанские дерутся не хуже мужиков. За волосы хватаются и все норовят царапнуть, чтобы кровавый след на лице оставить.

— Слышали мы и про большую тангитанскую драку — войну,— вспомнил Теневиль.— Тучи вооруженных людей выходят на открытое поле, вроде тундры, и начинают друг в друга стрелять, словно на моржом лежбище. Иные даже из пушек палят — огромных таких ружей, из которых анкалыны ²¹ китов бьют.

— Да уж лучше подальше от них, от тангитанов,— заключил Тымнэро.

Милюнэ прибежала на следующее утро с узелком тангитанских лакомств.

— Кыкэ, как я рада тебя видеть,— сказала она Теневиллю, еще не привыкшему к новому облику своей родственницы.

Он вслушивался в звук ее голоса и отмечал, что и он изменился, словно бы пропитался интонациями тангитанского разговора.

— Почему Раулена не приехала? — спросила она, развертывая на столике гостинцы.

— Тяжелая она,— солидно ответил Теневиль,— ребенка ждет.

Милюнэ вскинула голову и с тоской произнесла:

— Как я ей завидую... Если бы я осталась в твоей яранге и ты взял меня второй женой, у меня уже тоже был бы ребенок...

— Разве тебе плохо живется здесь? — спросил Теневиль, ощутив неожиданную печаль.

²⁰ Раб.

²¹ Приморские жители, в отличие от кочующих.

Милюнэ не сразу ответила. Она задумчиво смотрела на Теневиля, на его всегда загорелое лицо, редкие волосы на подбородке, черные усы... Каким будет ее будущий муж? Жаркими ночами возле теплой кирпичной плиты ей снились тревожные, счастливые сны. Она просыпалась, вспоминала раскрасневшееся похотливое лицо Армагиргина с затуманенными глазами, тяжелое дыхание и огромный мокрый рот Тренева, и омерзение охватывало ее.

— Мне хорошо живется,— тихо ответила она.— Видишь — я сыта и одета. Постель теплая, возле самой плиты. Да и работа не тяжелая — помыть да постирать. Научилась готовить тангитанскую еду. Только вот солить еще не умею — то много соли кладу, то мало... Но все равно тоска. По тундре, по оленям, по чистому белому снегу и по запаху живого костра, в котором горит тальник, а не черный горючий камень.

— Замуж тебе надо,— заметил Теневиля.

— Надо,— вздохнула Милюнэ.— Только никто не сватает.

Это была правда: никто не сватался к Милюнэ. Многие анадырские тангитаны считали, что она тайная наложница Тренева, хоть и удивлялись, как он устраивается при такой бдительной и ревливой жене. А свои люди считали ее недоступной: она жила в тангитанском доме, одевалась во все матерчатое и раз в неделю ходила в баню.

— А вот тебе Армагиргин подарок прислал.— Теневиля достал горностаевую связку.

Милюнэ взяла мех, засмушалась, не зная, что делать — принимать подарок или отказаться.

— Бери, бери,— сказал Теневиля.— Старик посылает это тебе просто в подарок.

— Скажи ему от меня взлынкыкун²²,— тихо произнесла Милюнэ.— А шкурки пусть побудут у Тымнэро. Негде мне их там хранить.

Милюнэ знала страсть Агриппины Зиновьевны к пушнине и поэтому опасалась, что хозяйка может попросту отобрать щедрый, воистину королевский подарок Армагиргина.

Тынатваль взяла связку горностаев и спрятала подале, в замшевый мешок, где хранились священные одежды для путешествия сквозь облака.

— Я пойду,— заторопилась Милюнэ.— А вы попробуйте этот кавкав²³, который я сама пекла. Я еще увижу вас, а мне надо торопиться. Хозяйка не любит, когда я надолго отлучаюсь.

Милюнэ ушла, и, глядя ей вслед, Теневиля повторил, уже обращаясь к Тымнэро:

— Замуж ей надо. Совсем созрела.

— Ии,— кивнул Тымнэро,— и я задумываюсь об этом.

На третий день пребывания в Ново-Мариинске Теневиля решил поторговать. К тому же пора было возвращаться к стоянке. Никто от туда не приезжал, никаких известий не было.

Возле лавки Бессекерского он увидел старого Кымынто. Пастух лежал под сугробом и стонал.

Теневиля нагнулся над земляком, и в нос ему ударил крепкий запах дурной веселящей воды.

— Какомэй! Как ты тут оказался?

— С вечера подняться не могу,— простонал Кымынто, садясь на снег с помощью Тымнэро.— Крепкая здешняя веселящая вода. Бисекер обещал еще бутылку...

²² Выражение благодарности.

²³ Хлеб.

С помощью Теневиля Кымынто доплелся до лавки и ввалился внутрь, вызвав приветственный возглас торговца:

— Амын етти!

Кымынто заискивающе улыбался и даже пытался кланяться, но осторожно — можно было снова упасть и не подняться.

— Что принес? Чем будешь торговать?

Бессекерский, как и большинство анадырских торговцев, знал десятка полтора чукотских слов, которыми с успехом обходился.

— Ничего я сейчас не принес,— виновато ответил Кымынто.— Однако надеюсь на твою щедрость, может, дашь глоток в долг?

Бессекерский не понял старика и обратился к Теневилю:

— А что у тебя? Песец, лиса, пыжик?

— Варкын песец, лиса и пыжик... Немного горносталя есть,— ответил Теневиль.

— Давай, давай, показывай, что принес! — оживился торговец, потеряв интерес к Кымынто.

Теневиль разложил на длинном деревянном прилавке пушнину. Здесь были и свои шкурки и те, что дал Армагиргин.

— Вотька тавай,— клянчил Кымынто.— Хорошо, тавай вотька...

— Давай, давай,— сердито повторил Бессекерский,— иди отсюда, не мешай делу.

Торговец брал каждую шкурку, подносил к маленькому окошку, рассматривал на свет, дул вдоль ости, заставляя ходить волной пушистый мех.

— Вотька,— твердил Кымынто,— вотька давай...

У Теневиля сердце сжалось от жалости к старику. Он знал, какую власть имеет над человеком дурная веселящая вода. Сам пробовал, пристрастия к этому зелью не имел, однако хорошо понимал страдания других.

— Вотька, вотька,— заворчал Бессекерский,— сказано тебе — дуй отсюда, дикоплеший!

Кымынто уловил в голосе торговца гнев и постарался улыбнуться еще шире, еще преданнее и умоляюще.

Бессекерский взглянул на жалкую физиономию, на которой смешалось все — пьяные слезы, размазанные сопли, подобострастие, немая мольба в широко раскрытых, налитых кровью глазах, и его перевернуло от отвращения.

Выйдя из-за прилавка, Бессекерский схватил за плечи полупьяного старика и вытолкал из лавки, приговаривая:

— Нет тебе вотьки... Нету... Пушнина нет — и вотька нет... Заруби себе на носу...

Бессекерский возвратился в лавку, ухмыляясь и довольно поглядывая на Теневиля.

— Так,— сказал он, потирая руки, словно смахивая с них невидимую грязь, приставшую от Кымынто.— Что же ты хочешь? Экимыл²⁴ варкын и много разных патронов... Есть чай, сахар, табак... Табак американский, видишь, какие красивые банки?

Кымынто в стойбище Армагиргина был далеко не последним человеком. В общем стаде у него паслось немало своих оленей, и почитали его за ум, за то, что старик знал тундру и вообще был добрым.

Теневиль собирал и запихивал в мешок пушнину под удивленным и недоуменным взглядом торговца.

— Ты что? Не хочешь со мной торговать?

— Нет,— решительно мотнул головой Теневиль,— в другом месте поторгую.

²⁴ Водка.

— Вот гляди! — Бессекерский нагнулся за прилавком и достал большую, темного стекла бутылку с дурной веселящей водой. — Вся твоя будет!

Теневиля уже шел к двери, за которой царапался и просился обратно Кымынто.

— Постой! Стой! — кинулся вслед Бессекерский. — Одно слово, дикоплеший! Вернись, оленья морда!

Теневиля помог Кымынто встать и повел в ярангу Тымнэро. Старик рвался обратно в лавку, но потом покорился, услышав от Теневиля обещание достать для него немного дурной веселящей воды.

Тымнэро сидел у костра и перебирал собачью упряжь.

— Сходи ты поторгуй, — попросил его Теневиля. — Мне товару купишь. И для дяди Кымынто бутылочку дурной веселящей воды возьми.

Тынатваль подала Кымынто ковшик холодного оленьего бульона. Старик выпил, посидел несколько минут с закрытыми глазами и признался Теневилю:

— Когда ты уехал, многим тоже захотелось в Вээн. Набрали шкур и пошли — кто пешком, а кто с нартой. Многие сейчас отлеживаются по домикам да по ярангам. Поторговали. Да и сами анадырцы пошли толпой в стойбище. Сейчас, должно быть, там большое веселье...

Тымнэро вернулся с покупками, Кымынто хлебнул водки. На нарте Тымнэро отправились втроем в стойбище.

Еще издали заметили полыхающие в зимней ночи костры.

Зарево освещало стойбище красноватым светом, темный дым смешивался с низкими тучами, вдавившими в снег остроконечные яранги.

Чем ближе к стойбищу, тем слышнее были глухие удары бубна. Иногда долетали вскрики, протяжное пение, переходящее в вой.

Теневиля встревоженно прислушивался: что могло произойти в стойбище во время его отсутствия?

Тымнэро потянул носом и заметил:

— Это наши анадырчики веселятся...

Перед входом в первую ярангу пылал большой костер, и над огнем на треножнике висел дорожный котел хозяина стойбища. Сам Армагиргин сидел на беговой нарте, отяжелевшая голова опустилась на грудь. Но он часто вскидывал голову и кричал молодому пастуху Анкакымыну:

— Пой и пляши! Пой и пляши на потеху тангитанам! Все равно крепкой власти у них нет, зато вдоволь дурной веселящей воды!

Анкакымын, веселый и пьяный, держал взмокшими пальцами бубен, ронял его на снег, подбирал и затягивал старинную тундровую песню о молодых оленях, отбившихся от стада и уведенных от людей дикими оленями.

Тангитаны, прибывшие из Анадыря, веселые и покрасневшие на легком морозце, подбадривали Анкакымына охрипшими голосами, иные сняли рукавицы и хлопали в ладоши, словно били попавших невесть откуда комаров.

Теневиля соскочил с нарты и подбежал к Армагиргину.

— Како! Это ты прибыл! Гляди вокруг, Теневиля, как в старину! Когда был жив Солнечный владыка, когда мои друзья, русские, были сильны и крепко держали власть... Как на Анюе! Слово в старые добрые времена!

Армагиргин помнил анюйскую ярмарку, ежегодно устраиваемую на границе между Якутией и Чукоткой. Русские построили там крепость, обнесенную высоким бревенчатым забором, и церковь. Ранней

весной в длинные дни, когда солнце уже надолго поднималось над горизонтом, туда съезжались русские купцы, иные даже добирались из далекого Иркутска, преодолевая огромные расстояния по замерзшим рекам. Торговать с ними приезжали чукчи со всего полуострова и даже эскимосы с Аляски и американского острова Диомида. Это было главное и самое большое торжище на Чукотке.

Теневилю видел, что в стойбище нет ни одного человека, который бы не хлебнул дурной веселящей воды. И женщины и мужчины — все были одинаково пьяны и веселы, улыбались русским гостям, которые тут же на снегу при свете огромного костра торговали пушниной, пыжики, олени шкуры, крепко замороженное мясо.

Кымынто, приехавший вместе с Теневилом, быстро соскочил с нарты и побежал в свою ярангу, крича на ходу:

— Подождите, подождите! У меня есть еще три песцовые шкурки! — Он опасался, что на его долю уже не достанется дурной веселящей воды.

Гости из Ново-Мариинска громко переругивались, а двое тангитанов даже успели подражаться, разбив друг другу носы.

Теневилю заглянул в ярангу Армагиргина: там тоже шел торг. Теневилю бродил от яранги к яранге, не зная, что делать, как отрезвить стойбище.

В раздумье он остановился у яранги Кымынто. Там слышались приглушенные голоса, звон посуды. Кымынто взял с собой в путешествие двух дочерей, молоденьких девушек, в прошлую зиму оставшихся без матери — она в осеннем переходе через замерзающие реки простудилась и в середине зимы в морозную тихую ночь ушла сквозь облака.

Нагнувшись перед низкой дверью, чуть прикрытой лоскутом оленьей замши, Теневилю вошел в чоттагин. При свете потухающего костра он увидел Кымынто. Старик с запрокинутой головой пытался вытряхнуть остатки дурной веселящей воды из бутылки. Он уже успел заново опьянеть и лепетал что-то невразумительное.

В пологе слышались возня и стоны. Обеспокоенный Теневилю приподнял переднюю меховую стенку и увидел двух бородатых тангитанов, мнущих дочерей Кымынто.

— Кымынто! Кымынто! — закричал Теневилю. — Гляди, твоих дочерей насилуют! Слышишь, Кымынто!

Он сильно потрянул старика за плечи, и Кымынто на некоторое время пришел в себя.

— Кто насилует! Не-не! — мотнул головой Кымынто. — Девочки попробовали дурной веселящей воды, а теперь пробуют тангитанов... Первый раз в жизни.

— Что ты говоришь, Кымынто? — в ужасе закричал Теневилю.

Кымынто посмотрел на Теневилю неожиданно прояснившимися глазами и сказал:

— Ну что ты кричишь? Они что — не люди? Им тоже хочется. И девкам моим и тангитанам.

Из гундры, из распадка, где паслись олени, один за другим подходили пастухи и тоже включались в пьяное веселье.

Теневилю разыскал Тымнэро. Родич уже был навеселе и обнимался с пастухом.

— Послушай, Тымнэро, — сказал Теневилю. — Я уйду в стадо. Боюсь — олени уйдут. Там, кажется, никого не осталось.

И вправду, у стада был лишь паренек Сэйвын. Он обрадовался приходу Теневилю:

— Что они там делают? Мне бы тоже взглянуть.

— Лучше тебе этого не видеть,— мрачно сказал Теневиль.— Будем вдвоем караулить стадо, иначе беда.

— Граждане, то, что произошло на стоянке Армагиргина,— позор для нашего уезда,— говорил Тренев на заседании комитета.— Если так будет продолжаться, мы восстановим против себя всех чукчей и эскимосов. По существу, ограбили целое стойбище и оскорбили главу его, Армагиргина.

— Армагиргин представитель царской власти,— усмехнулся Бессекерский.— Что с ним-то считать?

— Он не только представитель царской власти, а человек, который в отличие от нашего комитета имеет реальную власть,— заметил Тренев.

— Если бы в Ново-Мариинске была вооруженная охрана,— сказал наставительно Бессекерский,— ничего подобного не случилось бы. Поставили бы несколько вооруженных людей на дорогу — все. А то ведь кинулись — кто только мог. Прямо как саранча налетела, пушнину рвали друг у друга, дрались.. Опозорились перед народом.

— А тебе бы только свои ружья продать,— ехидно сказал Грушецкий.

Желтухин держал трясущимися руками телеграмму и пытался овладеть вниманием:

— Граждане... Тут дело поважнее...

Несколько дней назад утаенная телеграмма все же стала известна: кто-то снял копию с нее и распространил среди членов комитета. Телеграмма была подписана Лениным, и это имя, обросшее самыми невероятными легендами, вдруг стало реальностью.

В телеграмме говорилось о том, что Всероссийский съезд Советов объявил о переходе всей власти в руки Советов. Правительство Керенского низвергнуто и арестовано. Керенский сбежал. Все учреждения перешли в руки Советского правительства. 29 октября началось восстание юнкеров, которое в тот же день было подавлено. Керенский и Савинков с юнкерами и частью казаков добрались обманным путем до Царского Села. Советское правительство мобилизовало силы для подавления нового, корниловского похода на Петроград.

Желтухин при всеобщем тягостном молчании зачитал и следующую телеграмму, предписывающую создание Совета рабочих и крестьянских депутатов.

...А тем временем вверх по реке Анадырь уходил аргиш, за которым следовало сильно поредевшее стадо оленей.

Теневиль, оглядываясь, еще долго видел на горизонте мачты анадырской радиостанции...

Глава вторая

Так как имущих классов в Анадырском уезде, как, например, фабриковладельцев, заводо-владельцев, домовладельцев нет, а есть только коммерсанты-пушнинники, у которых к весне весь капитал затрачивается на покупку пушнины, налогов на содержание Совета будет достаточно только на 2—3 месяца...

*Ответ Анадырского Совета на телеграмму
Петропавловского Совета.
Государственный архив Магаданской обл.*

Тымнэро снял с перекладки яранги возле самого дымового отверстия последний кусочек оленьего мяса. Он ссохся, почернел, прокоптился дымом от костра, но все еще сохранял едва уловимый запах

настоящего мяса. Какой уж год весна оставалась самым тревожным временем года: съедали всю рыбу, моржовое мясо, а главное — во время таяния снегов разрушалась нартовая дорога, кончалась для Тымнэро работа, он убирал на высокую подставку нарты, распрягал и выпускал собак. Они бродили по помойкам, воровали, ловили вылезавших на теплый воздух евражек и мышей, словом, переходили на подножный корм.

Лед ушел из Анадырского лимана, и остров Алюмка, словно безмолвный страж морских рубежей Анадырского уезда, был хорошо виден с берега.

По древнему чукотскому календарю в это время, время начала лета, надо было принести богам жертвы, накормить их лучшими лакомствами, снять зимний полог и заменить его на летний, упрятать до следующих холодов зимнюю одежду.

С утра в яранге Тымнэро начались хлопоты, и вот они завершились жертвоприношением и скромным пиршеством в ознаменование наступившего лета.

Тынатваль уже скатала зимний полог и повесила маленький летний, в котором шкуры были сшиты шерстью внутрь. На костре варились остатки давно убитой нерпы — лапы и несколько позвонков, однако главное угощение дня — это кусок оленьего мяса, пролежавший за деревянной перекладной у дымового отверстия.

Тымнэро положил кусок мяса на деревянную дощечку и вынул нож. Надо нарезать мяса для домашнего бога, который висел в углу спального полога. Ждет жертвенного угощения бог удачи, примостившийся в чоттагине в виде странного четвероногого животного — то ли собаки, то ли волка, то ли медведя, выструганного из твердого неизвестной породы дерева. Наконец, надо было бросить хоть несколько кусочков морским богам, тундровым и самому главному — тэнантогыну.

Дочка, облизываясь, наблюдала за отцом, орудующим хорошо отточенным ножом. Тымнэро поймал себя на том, что старается резать тонко, оставляя людям больше, чем богам. Он никогда не произносил молитв вслух и на этот раз мысленно попросил прощения за то, что ему трудно делить мясо под взглядом голодной девочки.

Искрошенное мясо Тымнэро положил на деревянное жертвенное блюдо, украшенное орнаментом, и вышел из яранги.

Бродящие собаки, среди которых были и его псы, насторожились и двинулись следом за ним к морскому берегу.

Пока Тымнэро шептал заклинания, собаки чинно и спокойно стояли поодаль, словно догадываясь о значительности происходящего. Но едва только на землю были брошены первые крошки настроганного мяса, как свора собак с лаем и рычанием бросилась подбирать жалкие кусочки.

Тымнэро услышал смех за спиной и обернулся.

Это был Николай Кулиновский.

— Ну что, накормил богов?

Тымнэро ничего не ответил: он не любил, когда чуванцы или другие тангитаны насмехались над чукотскими богами.

— Да ты не обижайся. Я все понимаю.

Кулиновский зашагал рядом с Тымнэро и вошел вместе с ним в ярангу.

— Пришел к тебе с разговором,— сказал чуванец, отведав для приличия крохотный кусочек оленьего мяса.— Затеяли мы рыбалить совместно.

— Как это — совместно? — не понял Тымнэро.— Вместе с Сооне и Грушецким?

— Ты про Советы ничего не знаешь?

Тымнэро отрицательно мотнул головой. Он совсем запутался в тангитанских делах, и они его не интересовали, от них ему было мало проку.

— Тогда слушай.— Кулиновский примостился на краешке бревна-изголовья.— Власть-то снова переменялась у нас в Ново-Мариинске, и теперь знаешь, как называется? Совет рабочих, крестьян и солдат. Понимаешь? Теперь не комитет, а Совет у нас.

— А какая разница? — спросил Тымнэро.

Кулиновский некоторое время помолчал.

— Разницы-то, конечно, почти что никакой. Но Волтер сказал мне, что если такая власть, то можно артель для рыбалки сделать. Понимаешь? Те, у кого нет сетей, нет места для рыбалки, объединяются и совместно ловят рыбу.

— А чем ловить? — спросил Тымнэро.

— Сложимся и купим невод. Лодку свою Волтер дает. Сами наловим, сами и поделим рыбу.

— Места-то нет для нашей рыбалки,— заметил Тымнэро.

— Вот это и главное,— оживился Кулиновский.— Раз Совет солдатских, рабочих и крестьянских людей, то и место нам должны дать.

Тымнэро в сомнении покачал головой.

— Ты нынче к Сооне не ходи, а к нам, в нашу артель. Артель рабочих, крестьянских и солдатских людей...

— А что это — солдатских? — спросил Тымнэро.

— Военных, вооруженных людей,— пояснил Кулиновский.

— Охотников?

— Охотников,— усмехнулся Кулиновский,— на людей охотников... Да ты что? Не знаешь, кто такой солдат?

— Казак?

— И не казак, хотя и похож,— ответил Кулиновский.— Солдат — это вооруженный человек, который на войне стреляет во врага. Понимаешь? Ежели, значит, враги нападают на Россию, то солдаты идут навстречу и стреляют.

— И враги тоже стреляют? — спросил Тымнэро.

— Они-то и начинают,— уверенно сказал Кулиновский,— а потом на них солдаты идут.

— А кто эти враги? — заинтересовался Тымнэро.— Тоже тангитаны?

— Германцы,— сказал Кулиновский.— Тоже тангитаны, но не русские.

— Путаюсь я в них,— смущенно признался Тымнэро.— Что Волтер, что Тренев — для меня они одинаковые тангитаны.

— Нет уж,— мотнул головой Кулиновский,— большая разница среди них есть, может быть, даже больше, чем у нас с тобой. Волтера называют часто американом, а это неправильно — он родом из Норвегии, такая есть тангитанская земля. Объяснял он, где она, да я так толком и не понял. Дальше Колымы она, за якутской землей и Россией.

— Разве не в сторону Америки его родина? — спросил Тымнэро.

— Нет, в другую сторону,— ответил Кулиновский,— однако если верить тому, что говорят, будто наша земля вроде мячика, то не все ли равно в какую сторону.

— Как мячик? — испуганно спросил Тымнэро.

— Говорят, земля — шар,— веско сообщил Кулиновский.

Тымнэро удивленно смотрел на гостя — вроде бы трезвый, да и пить в Ново-Мариинске нечего: сильно потратили дурную веселящую воду, когда приезжал Армагиргин.

— Ну чего так смотришь? Не я же придумал такое, а слышал от знающих людей.

— Я думаю, если они дерутся вооруженными толпами, то и земля от этого округлиться может,— задумчиво произнес Тымнэро.

Кулиновский с некоторой укоризной поглядел на Тымнэро: не поверил ничему чукча, не понял ничего.

— Ну так как — будешь в артели нашей рыбу ловить? — еще раз спросил Кулиновский.

— Не солдат я,— с сомнением сказал Тымнэро,— оружие мое неважное, да и стрелять никуда не хочу. Нету у меня врагов.

— Тьфу ты,— махнул рукой Кулиновский,— не стрелять тебя зовут, а рыбачить вместе.

— Если у вас есть невод и сети, лодка, то почему не пойти?

— Значит, договорились?

— Коо,— опять засомневался Тымнэро.

Кулиновский ушел, а Тымнэро остался в яранге в растерянности: что он там наговорил? И про несходство народов, разных тангитанов, и про круглую землю, а кончил совместной рыбной ловлей... Как же они собираются ловить? Где сети и невод возьмут? Да и место рыбалки где? Все занято неводами Сооне да Грушецкого.

Михаилу Куркутскому, собственно, не пришлось учительствовать, и занимался он тем же, что и его старший брат — собачьим извозом и рыбалкой. Зимой ставил капканы у подножия горы святого Дионисия на песца и лисицу.

Учительское звание чуванец получил от настоятеля марковской церкви, где научился грамоте и счету до такой степени, что церковное начальство посчитало возможным присвоить ему звание народного учителя с правом обучать чтению и письму представителей местного населения. Однако в Ново-Мариинске школы для местного населения не было.

Летом, когда нартовая дорога превращалась в талую воду и все анадырские каюры распускали собак на вольный промысел, Михаил Куркутский превращался в рыбака. Обычно он нанимался к Грушецкому: рыбопромышленник ценил его за знание чукотского языка, за сообразительность и тихий и спокойный нрав.

Поэтому Грушецкий страшно удивился, когда Михаил заявил, что в нынешнюю путину он не собирается рыбачить у него.

Куркутский говорил тихо и застенчиво, мял в руках обтрепанную кепку.

— Чем же ты будешь заниматься, лодырь? — сердито спросил Грушецкий, презиравший заодно с чукчами и эскимосами и чуванцев.— Дырявыми штанами? Или обзавелись снастью?

Грушецкий поднял глаза и подозрительно посмотрел на чуванца.

— Ежели есть снасть, то еще надо разрешение получить на рыбалку. Не дури, Миша, начинай работу. В нынешнюю путину, если рыба хорошо пойдет, так и быть заплачу тебе больше. И ямы твои наполним кислой рыбой для собачьего корма. В Америку будем рыбу продавать, икру да малосольные пушки. Свенсон обещал дать хорошую цену.

Куркутский все еще топтался.

— Ну что раздумываешь? — заорал на него Грушецкий.— А ежели не хочешь, так катись отсюда в тундру!..

На берегу лимана Аренс Волтер смолил свой баркас, прилаживал керосиновый мотор, который всю зиму ремонтировал, изредка заводил, пугая анадырцев непривычным ревом механического двигателя.

— Гляди, Михаил, какой у нас баркас,— похвалился Волтер.— Будет невод, можем ловить рыбу аж на Русской Кошке.

Единственное незанятое место для рыбалки находилось на далеко выдававшейся в море косе — Русской Кошке. Место было неудобное, далекое, да и не всякий год рыба подходила к тому берегу.

Михаил Куркутский и Николай Кулиновский отправились к Сооне торговать у него невод.

Японец сидел на крыльце своего аккуратного домика и раскладывал на куске дерна, привезенного из тундры, между пучками светло-голубого мха — ватапа — разноцветные камешки.

Японец в отличие от своих бледнолицых собратьев-рыбопромышленников держался с местными жителями очень вежливо. Завидя Михаила и Николая, он еще издали начал кланяться и широко улыбаться, так что глаза его превратились в узкие щелочки, а широко оскаленный рот с большими желтыми зубами занял все лицо.

— Здравствуй, хоросий дорогой гости! — кланялся Сооне.— Хороси погода, хороси будет путина.

— Это, мольч, еще как бог пошлет,— ответил Коля Кулиновский.

Сегодня утром к Сооне приходил его рыбак Ермачков и заявил, что в нынешнюю путину он отказывается неводить для японца. Сооне попытался выяснить, в чем дело, и добродушный и бесхитростный Ермачков выложил все — про артель, про то, что надоело работать на чужую мошну.

Про мошну пришлось долго объяснять японцу, тот наконец понял и выпроводил из домика Ермачкова, очень вежливо сказав ему на прощание:

— Обратно, Ермачкова-сан, не ходи.. Моя тебя больше не любви.

— На хрена мне твоя косопузая любовь! — храбро произнес Ермачков, отойдя на приличное расстояние от дома Сооне.

Сооне отодвинулся в сторонку, высвобождая место на ступеньках чисто вымытого крыльца.

«Чистоту любит,— подумал Коля Кулиновский,— а наряди его в кухлянку — ламут да и только, и притом из худародных, смешавшихся с якутами».

— Сооне-сан,— начал, откашлявшись, Михаил,— пришли мы к тебе просить невода... Можем его купить по сходной цене, а можем и в кредит взять и после путины рассчитаться... А еще лучше, если ты нам дашь его в аренду...

— Кому? — вежливо спросил японец.— Вам лично?

— Не совсем лично,— ответил Куркутский,— а нашей артели, обществу рыбаков.

— Но моя сама лови рыба,— сухо ответил Сооне,— моя имей три невод, больше нет.

— Врет гад,— нисколько не стесняясь Сооне, словно тот ничего не понимал, сказал Николай Кулиновский.

— Тогда продай,— настаивал Михаил.

— Моя не продавай, моя не давай аренда, моя говори — пошел вон! — Японец показал коротким холеным пальчиком с полированным ногтем в сторону тундры.

— Пошли.— Николай решительно поднялся с крыльца и нехорошо выругался.

— Я все понимаю,— многозначительно проговорил Сооне-сан.

— Понимай, понимай, допонимаешься,— погрозил в его сторону кулаком чуванец.

К вечеру собрались у Аренса Волтера.

Набились так, что в тесной комнате не повернуться. Двоим даже пришлось усесться на столик.

Норвежец радостно сообщил, что баркас готов, мотор работает и можно хоть завтра отправляться на Русскую Кошку.

Ермачков обещал дать свою палатку и запас соли, оставшейся от прошлого года.

— А бочки, бочки где мы возьмем? — с беспокойством спросил Мефодий Галицкий, служивший у Грушецкого на неводе.

— Будем солить пластом, — предложил маленький и очень живой ингуш Мальсагов.

Мальсагов недавно поселился в Ново-Мариинске, придя в уездный центр с севера. Хотел пристроиться к своему земляку торговцу Магомету Гулиеву, но поссорился с ним и снова ушел в тундру искать золото. Однако ему, как и большинству золотоискателей, не везло, и он окончательно переселился в Ново-Мариинск, увеличив число бедных тангитанов, вызывающих недоумение у Тымнэро и у других чукчей, которые считали, что уж если человек — тангитан, то бедным никак не может быть, ему на роду написано быть богатым. Сам Мальсагов в глубине души тоже так считал, однако на деле у него ничего не выходило, и в своем горячем кавказском сердце он затаил гнев против богатых коммерсантов и рыбопромышленников.

— Пластом солить — это и дешево и сердито, — продолжал объяснять Мальсагов. — Клади рыбину на землю, сыпь соль, а на нее другую, и так пока куча не вырастет до человеческого роста.

Невод достать не удалось, решили ловить малыми ставными сетями.

Во второй половине июля 1918 года от берега Анадырского лимана во время отлива отплыл баркас Аренса Волтера с артельными рыбаками, таща на буксире небольшую байдарку Тымнэро.

На баркасе сидели Николай Кулиновский, Михаил Куркутский, Ермачков, Галицкий, Мальсагов, раздобывший где-то чукотский плащ из моржовых кишок, и Аренс Волтер.

Тымнэро устроился в своей байдарке.

Волтер возился с мотором, который никак не хотел заводиться.

Мальсагов нетерпеливо наблюдал за норвежцем и тихо ругался:

— Что это за керосинка дурацкая! И плащ воняет, и твой мотор, знал бы, ни за что не поехал!

Однако мощным течением баркас с байдаркой несло именно туда, куда надо: мимо острова Алюмка, мимо зеленых берегов левого берега в синеющую ширь Анадырского залива.

Тымнэро смотрел назад, на низкий берег ново-мариинской стороны, на свою ярангу, на высокие мачты радиостанции. А впереди открывалась пугающая ширь океана. Для оленивода Тымнэро море всегда казалось таинственным, полным коварства и опасностей. Зимой, когда ему приходилось выслеживать нерпу или лахтакта, он чувствовал, как под толстым слоем льда мощно дышит океан.

Вот и сейчас он с затаенным страхом смотрел вперед, на безбрежный простор, и вместе со студеным ветром под летнюю кухлянку пробивался холод тревоги.

Он уже начинал жалеть о том, что поддался уговорам Кулиновского и согласился вступить в артель рыболовов. Невода нет, есть только короткие сетки, которыми сподручно ловить рыбу в тихой воде, где-нибудь в устье Казачки, но никак не дальше Кладбищенского мыса. А что если случится сильный ветер? Русская Кошка выдается далеко в море, и волна там крутая.

Волнение стало чувствоваться уже за Алюмкой. Аренсу Волтеру удалось завести мотор, и баркас, как пес, поднятый пинком каюра,

вдруг судорожно рванул. Хрупкая байдарка зарылась в воду, едва не лишившись тоненького шпангоута. Тымнэро полоснуло по сердцу страхом, и он вцепился обеими руками в деревянное сиденье.

Брызги хлестали по лицу, заливали байдарку. Улучив минуту, Тымнэро схватил деревянный ковш и принялся вычерпывать воду.

Аренс Волтер, стоя на корме баркаса, что-то кричал Тымнэро, ободряющее, даже веселое.

Но это не помогало. Вскоре Тымнэро по пояс оказался в воде и жестами попросил Волтера остановить мотор.

Кулиновский пробрался на корму и стал объяснять, стараясь перекричать шум мотора.

— Эту штуку остановишь, потом заново не разбудишь, так что терпи! Мы смотрим за тобой. Однако если по-настоящему будешь тонуть, вытащим, не бойся!

Когда выбрались на галечный берег Русской Кошки, у Тымнэро от воды разбухла летняя камлейка, а штаны так напитались влагой, что сползли, обнажив холодному морскому ветру голый живот.

— Ну, парень,— сочувственно произнес Кулиновский,— тебе погреться и обсушиться первоначально надо.

Промок не один Тымнэро, и поэтому первым делом разожгли большой костер, набрав плавника на восточной стороне косы, открытой морю. Пламя взметнулось высоко в небо, вызывая любопытство плавающих близ берега белух.

— Однако рыбака есты! — весело кричал Галицкий.— Раз белуха да нерпа ныряют, значит кета пошла.

Поставили короткую сеть и не успели закрепить конец на берегу, как сеть задергалась и на гальку легли первые рыбины — жирные, отливающие серебром.

Одежда у костра быстро просохла, свежая жирная уха прибавила сил, а даже Тымнэро повеселел, начиная верить, что рыбалка будет удачной.

Сети ставили на некотором расстоянии друг от друга, чтобы охватить побольше водного простора.

Глядя на ныряющих у берега белух, Тымнэро жалел, что не взял ружье — запросто было подстрелить жирную белуху. Хватило бы мяса на целый месяц для упряжки и жира для светильника надолго.

Сети вытаскивали часто, и улов был так велик, что к разделке приступили сразу. Нашли выброшенные волнами доски, приспособили их вместо столов, и пошла работа.

К концу первого дня распластанные, щедро посыпанные солью рыбины образовали заметную горку.

— Если и дальше так пойдет,— возбужденно сказал Галицкий,— то Грушецкому и Сооне придется худо. Все рыбаки увидят, что можно обойтись без хозяев, уйдут от них, и останутся они с сухими неводами и пустыми бочками.

Мальсагов вызвался угостить рыбаков невиданным блюдом, которое называлось шашлык. Он нарезал большими кусками кетину, надел их на выструганные палки и положил эти палки на два камня так, что куски оказались над жаркими углями. Жирная рыба зашкворчала, закапала на угли топленным жиром, распространяя вокруг аппетитный запах.

— У нас на Кавказе,— рассказывал Мальсагов,— такой шашлык жарят из молодого барашка... А барашка — это такое животное, ростом с собаку...

— Собаку едят, что ль, у вас? — недоверчиво спросил Кулиновский.

Он был оживлен, похлопывал каждого по спине, громко покрикивал, когда тащили на берег сети с рыбой.

— Да не собака, а барашек, — ответил Мальсагов. — Если б знал, как это вкусно! Я пробовал делать шашлык из оленины, моржатины, нерпы и даже китового мяса — это совсем не то!

Аренс Волтер и Михаил Куркутский сидели чуть поодаль.

— Почему всем не организовать вот в такие трудовые объединения? — с недоумением спрашивал Волтер. — Это ведь так просто.

Михаил с сомнением покачал головой:

— Это просто на первый взгляд. Так объединены морские охотники-чукчи. Они сообща бьют китов и моржей, потому что одному такого большого зверя не одолеть. И все же в каждом таком объединении людей есть хозяин. Ему принадлежит байдара или вельбот, гарпунная пушка. Он и получает большую часть добычи, хотя может и вовсе не ходить на охоту.

— Можно же вельботы, и байдару, и гарпунную пушку приобрести сообща в общественное владение.

— На какие средства?!

Но рыба шла. Кучи росли, и рыбаки уже начали беспокоиться, что может не хватить соли. Ведь путина только начиналась! А если дальше еще больше будет рыбы!

В сторону Анадыря с моря прошла шхуна Свенсона.

А еще через два дня большой черный пароход медленно продвинулся к острову Алюмка.

Проходящие корабли звали в Ново-Мариинск, сулили новости, свежий табак и чай.

В ходе рыбы наступил небольшой перерыв, но Ермачков сказал, что так именно и должно быть:

— Это были рыбы-лазутчики. Они дорогу высматривали. Теперь пойдет самая настоящая рыба. Чую я это. Бывало, ступишь на косяк и словно посуху идешь.

Волтер с недоверием слушал бывалого рыбака, но остальные подтвердили, что в иные годы в реке и впрямь рыбы бывает столько, что брошенный на косяк увесистый камень не тонет.

Рыбаки жили ожиданием рунного хода, коротая светлые ночи у костра.

В крохотной палатке Ермачкова места всем не хватало. Однако и на воле было неплохо — ночи стояли удивительно теплые и тихие. Слышался плеск проходящей одинокой рыбы, но большого косяка все не было. Исчезли белухи и нерпы, и все это начало тревожить и старого рыбака Ермачкова. С каждым днем он становился все молчаливее. Приунул и Кулиновский.

Еще накануне не было никаких признаков непогоды — лишь на самом горизонте к полуночи появилась темная полоса, похожая на черную жирную черту. Тымнэро проснулся среди ночи, почувствовав на лице холодные капли дождя.

Костер угасал, заливаемый водой. Ветер трепал палатку. Волны выкинули сети на берег и подбирались уже к баркасу и маленькой кожаной байдарке.

Вслед за Тымнэро проснулись и остальные рыбаки и молча принялись убирать сети. Работали молча, ожесточенно. Волтеру удалось оживить угасающий костер и сварить рыбную похлебку.

Кулиновский, обжигаясь варевом, рассуждал:

— Пошто так? Зимой скучаешь о юшке рыбной, а три дня поел, уже надоела... Чисто баба эта рыба: когда ее нет — хочешь, а попробовал — быстро прискучила.

— Ты бабу с рыбой не равняй,— возразил дрожащий от холода и сырости Ермачков.— Баба она всегда горячая, теплая, а рыба-то она холодная...

Вместе с костром угасал и разговор.

К полудню немного утихло, и решено было снова завести сети.

Вставив весла в ременные уключины, Тымнэро погреб против низких волн, бьющих о кожаное дно байдарки. С трудом, но сети поставили.

Выйдя на берег, Тымнэро сказал Кулиновскому:

— Зря мы сети ставим.

— Однако, паря, не зря. Белуха пошла.

И вправду, между светлых барашков, почти неотличимые от них в воде, белели спины морских животных, идущих вслед за косяками. До ночи несколько раз вытащили сети — рыба была.

Окрыленные удачей, завалились спать, набившись в крохотную палатку.

Не успели, однако, уснуть, как оказались на вольном воздухе, в дожде и грохоте бури: словно великан одним взмахом руки сорвал с колышек палатку и унес в море.

Вслед за палаткой, перекувырнувшись несколько раз в воздухе, улетела байдарка Тымнэро.

Он было побежал за ней, но она лишь мелькнула желтой моржовой кожей и исчезла в кипящей тьме бушующего моря.

— Сети! Наши сети! — кричал Галицкий, бегая вдоль берега.

Сетей не было. Оставалась лишь половина дальней, поставленной под защитой низкого галечного мыса.

Немного времени потребовалось, чтобы от артельной рыбалки ничего не осталось. Даже сложенная в кучи распластанная и засоленная рыба ветром была раскидана по всей галечной косе.

Волны обрушивались у самого баркаса, грозя разбить его. Вцепившись в борта, рыбаки оттащили баркас подальше от прибоя и укрылись под защитой его черного, щедро просмоленного борта.

Остались они не только без рыбы, но и без тех нехитрых снастей, которые берегли пуще глаза.

Тымнэро вставал несколько раз и бродил в темноте, надеясь отыскать свою лодчонку.

Милюнэ, когда утих ветер, прибежала в ярангу Тымнэро. Тынатваль уже давно тревожилась — никаких известий от рыбаков. Да тут еще пошли по Ново-Мариинску слухи, что рыбаки утонули возле Алюмки, и даже нашлись такие, кто видел это.

Что-то такое произошло у тангитанов. В доме Тренева будто поселился покойник. Сам хозяин казался сильно больным, слег в кровать. Притихшая и даже словно бы поблекшая Агриппина Зиновьевна мочила в холодной воде полотенце, заботливо пристраивала его на лоб мужа и садилась в тихом сочувствии на край постели.

В дом наведывались не меньше хозяев растерянные тангитаны — Грушецкий, Желтухин, Бессекерский,— но всех их гнала Агриппина Зиновьевна, приговаривая:

— Ванечка болен, Ивану Архипычу нездоровится...

Из обрывков разговоров, из намеков Милюнэ догадалась, что в Петропавловске опять что-то произошло неожиданное. И ее хозяин очень напуган.

Улегшись на свою лежанку за печкой, крепко зажмурив глаза, Милюнэ не могла заснуть, тоска сжимала сердце: сколько времени уже прошло, а привыкнуть к новой жизни она так и не сумела. Внешне вроде бы все хорошо: она уже свободно объяснялась по-русски,

научилась готовить тангитанскую еду с таким искусством, что Агриппина Зиновьевна откровенно хвалилась перед гостями ее умением. А уж о стирке и поддержании чистоты в доме — тут ей равных не было: все блестело в доме Трениных, стекла небольших окон, годами копившие жирную угольную сажу, были так отмыты, что в доме стало так же светло, как на воле. Еды тоже было вдосталь, гораздо больше, чем могла съесть Милюнэ. И все же вечерами, оставаясь наедине, Милюнэ чуть не плакала от серой тоски, от неясных желаний, от горько-сладких воспоминаний о тундре, о родных ярангах. Вдруг с неожиданной отчетливостью она видела давно забытые тундровые закаты, когда солнце долго катилось по холмистой линии горизонта, словно не желая уходить в темноту подземного отдохновения от дневных трудов.

Как-то Агриппина Зиновьевна попыталась найти Милюнэ жениха, способного составить счастье служанки, но, перебрав нескольких человек, такого не нашла. За чукчу, как считала Агриппина Зиновьевна, Милюнэ уже не могла выйти, а свободные тангитаны были такие, что страшно было им отдавать красавицу. Поиски женихов пресек Иван Архипыч, резонно заметив, что, выйдя замуж, Милюнэ покинет место у плиты и им придется или самим заниматься домашними делами, или же искать новую служанку.

— А такую, как Милюнэ, нам, может, больше и не найти на всей Чукотке.

Агриппина Зиновьевна согласилась с этим и прекратила поиски женихов.

Артельные рыбаки появились на исходе второй ночи после бури. Они шли на веслах по приливу, используя течение. Черный баркас, словно бы стесняясь, таясь, бесшумно плыл под берегом, а в нем сидели оборванные и исхудавшие рыбаки.

Они молча высадились между тангитанским кладбищем и ярангой Тымнэро.

Чукча поднялся к себе в ярангу, и остальные побрели в дома, пряча глаза, нехотя отвечая на расспросы встречных.

Грушецкий вышел на крыльцо конторы и громко крикнул:

— Ну что, рыбаки? Много ли наловили?.. А ты, Ермачков, и не ходи ко мне больше...

Аренс Волтер свернул с дороги и подошел к Грушецкому.

— Иди домой,— коротко, но строго сказал норвежец.— Иди домой и сиди тихо.

— Да ты что! Как смеешь? Ах ты норвежская морда! Убери руки! Потрепыхались, и хватит! Слышал, что случилось в Петропавловске?

— Иди домой,— повторил Волтер.— Иди домой и сиди тихо.

И легонько, но настойчиво подтолкнул Грушецкого в сени.

Грушецкий вдруг сообразил, что Волтер может и ударить, и отступил назад, что-то пробормотав угрожающее.

Аренс вошел в свой домик и крепко запер дверь.

Весть о том, что в Петропавловск вернулась старая власть, напугала всех в Ново-Мариинске. Бессекерский, получивший подробное письмо с Камчатки, сказал, что суть переворота в том, что власть взяли имущие люди. Никаких представителей солдатских, крестьянских и прочих депутатов. Вынашивается план отделения полуострова от России и провозглашение Камчатской республики. Это означало, что новые камчатские правители включают в состав нового государства и Чукотку.

Иван Архипович с тоской смотрел в окно. Единственным утеше-

нием было то, что не довелось глубоко вязнуть в дела анадырских властей. Тренев мысленно хвалил себя за предусмотрительность и осторожность.

Агриппина Зиновьевна целыми днями сидела то у окошка, то у зеркала и почти не выходила из дома. Прекратились шумные сборища, ночная картежная игра.

Иван Архипович пытался читать, но ничего не понимал: перед глазами маячили разные лица, сменяя друг друга, как сменялись руководители и деятели Анадырского уезда.

Иногда, переполненный сомнениями, Тренев зловеще хрустел пальцами, пугая притихшую вместе с хозяевами Милюнэ.

Агриппина Зиновьевна молча смотрела на мужа, взглядом осуждая его нерешительность.

«Опоздал, опоздал,— клял себя в эти минуты Тренев.— Ведь был момент, когда Мишин колебался... Тогда и надо было брать власть в свои руки... а теперь...»

За окнами сиял летний день. Коротко анадырское лето, но прекрасно вот такими ясными и тихими днями.

— Пойдем, Грушенька, в тундру,— предложил жене Иван Архипович.

Агриппина Зиновьевна с удивлением поглядела на мужа — не рехнулся ли, часом, Архипыч? В последние дни он был совсем плох и на него нельзя было смотреть без жалости и сочувствия.

— Сейчас в тундре благодать,— продолжал Тренев.— Комар уже кончился, морошка появилась, цветы... Ей-богу, пойдем, что нам киснуть здесь взаперти? Полюбуйтесь природой...

Что-то сладкое шевельнулось в груди Агриппины Зиновьевны. Вспомнились воскресные летние прогулки в Озерки, Шувалово, а иной раз даже в аристократический Петергоф, где к бледному балтийскому небу возносились хрустальные струи фонтанов.

— Пойдем, Ванюша,— обрадованно согласилась Агриппина Зиновьевна.— Возьмем поесть с собой.

Она тут же стала хлопотать, покрикивать на Милюнэ.

Служанка едва могла догадаться, о чем идет речь. Ново-мариинские жители не имели обычая вот так запросто ходить в тундру.

Она собрала в корзинку еду, нацедила в бутылки питьевой воды.

Обыватели с недоумением и любопытством наблюдали странную процессию: впереди шла важная, не видящая ничего вблизи себя Агриппина Зиновьевна, за ней Иван Архипович в сюртуке, но в болотных сапогах, а позади красавица служанка Маша.

Только рыбак Ермачков, выглянув из своей избы, задумчиво сказал им вслед:

— Доспели... Обчुकотились совсем. Не иначе как мышинные корешки пошли собирать в тундру.

А это было именно время сбора мышинных корешков, и Милюнэ на всякий случай прихватила с собой палку, чтобы разрывать норки.

Перешли по ветхому мостику Казачку, поднялись на первый холм и двинулись в глубь тундры.

Уже за железными мачтами радиостанции открылась цветущая тундра. Красные ягоды морошки выглядывали из ярко-зеленой травы, сине-черная шикша сплошь устилала кочки. Вернувшаяся в родную стихию Милюнэ не разгибалась, собирала ягоды, сыпала их в большую жестяную кружку. Тангитаны тоже ели ягоду, и вскоре у обоих губы и руки почернели от ягодного сока.

На склоне холма Милюнэ разыскала мышинные кладовые и принялась палкой разрыхлять их, доставая оттуда сладкие корни — пэл-

кумрэт. Как истая тундровая собирательница, Милюнэ ничего не брала в рот, складывая добычу в специальный матерчатый мешочек.

Тренев облюбовал место на сухом, пригретом солнцем пригорке и велел разложить скатерть.

Оба тангитана прилегли на мягкий мох, наслаждаясь теплом и покоем тундры.

Агрипина Зиновьевна брала двумя пальчиками куски холодной рыбы и осторожно отправляла в рот. Милюнэ удивляла манера еды хозяйки. За столом она аккуратно клевала, как малая пичужка, но вдруг на нее напал какой-то жор, и она хватала на кухне все, что можно было сжевать и проглотить.

— Не медведь ли это? — спросила Агрипина Зиновьевна, близи-руко сощурился глаза.

С соседнего холма в ложбинку спускался кто-то с ношей сухого стланика за спиной.

— Это люди, — сказала Милюнэ.

— Какие-то странные, — задумчиво и встревоженно проронил Иван Архипович.

— Женщина тащит на спине дрова, а за руку держит ребенка, — пояснила Милюнэ.

— Ну и глаза, как бинокли, — то ли осудила, то ли похвалила Агрипина Зиновьевна.

Меж тем тундровые путники приблизились настолько, что Милюнэ узнала в них Тынатваль и Аяну — дочку Тымнэро.

— Да это жена Тымнэро, — сказал с легким удивлением Иван Архипович.

Женщина с ребенком остановилась поодаль.

— Пусть подойдут ближе, — милостиво разрешила Агрипина Зиновьевна, обращаясь к служанке.

Милюнэ подозвала Тынатваль, но та все же остановилась в некотором отдалении.

В руках Тынатваль держала туго набитый морошкой кожаный туесок. Аяна уставилась на остатки господского пиршества. Агрипина Зиновьевна поймала голодный взгляд ребенка, собрала остатки еды и протянула девочке:

— Ешь, милая, не бойся.

Однако девочка прижалась к матери.

— Она испугалась, — сказала Милюнэ.

— Чего же ей пугаться? — пожала плечами Агрипина Зиновьевна. — Неужто я такая страшная?

Аяна впервые вблизи видела эту тангитанскую женщину, о которой много слышала от тети Милюнэ.

Иван Архипыч встал с пригорка, подошел к Тынатваль и взял у нее из рук туесок с ягодами.

— Гляди, Груша, какая прелесть! Давай купим у нее эти ягоды. Спроси, Маша, сколько она хочет за них?

Милюнэ перевела вопрос хозяина, и Иван Архипыч услышал:

— Берите так, если это вам нравится.

— Нет, так не пойдет, — сказал Иван Архипович. — Я не могу принимать подарки от туземцев. Пусть возьмут этот хлеб, рыбу, — сказал он, кивнув на остатки.

Милюнэ перевела предложение хозяина, и Тынатваль устало согласилась.

Одежда на ней была повседневная, лоснящаяся от сала и вся в доскутках. Девчушка тоже в жалких лохмотьях, худая и какая-то забитая. Смотреть на них было тяжело, и оба тангитана облегченно вздохнули, когда Тынатваль взвалила на себя вязанку сухого стланика.

— Какая нищета! — осуждающе сказала вслед им Агриппина Зиновьевна.

Милюнэ было совестно за сытых, самодовольных тангитанов, за невольное унижение Тынатваль. Она знала, что хозяева презирают ее родичей. Нисколько не стесняясь ее, говорят о грязи, невежестве, высмеивают обычаи и привычки чукчей. Агриппина Зиновьевна убеждена, что местные жители — это ближайшие родичи зверей.

Иван Архипович вроде не соглашался с женой, но тоже говорил о неспособности тундрового жителя понять мудрость и сложность тангитанской жизни.

Солнце ушло на другой берег лимана, и Треневы засобирались домой. Агриппина Зиновьевна набрала большой букет цветов и шла, как всегда, впереди.

За мостом встретили возбужденного Бессекерского.

— Ну где же вы были? — накинулся он на Тренева. — Упустили такой шанс!

— Что случилось? — с тревогой спросил Тренев.

— А то, что с аукциона продали катера, кунгас и продовольственный склад!

Катера, кунгас и пустой склад ранее принадлежали уездному правлению и считались государственной собственностью. Последний Совет объявил их общественным достоянием, хотя коммерсанты предлагали передать кому-нибудь это бесхозное имущество. Катера и кунгас в летнее время представляли большую ценность — на них поднимались с грузами до самого Маркова, а прочный, хорошо построенный склад можно было сдавать в аренду, получая за это довольно большие деньги — в морозном и пуржистом Ново-Мариинске надежное укрытие ценилось высоко. Словом, тот, кто владел транспортными средствами, тот и был хозяином положения.

— Кто же купил? — с нетерпением спросил Тренев.

— Я купил! — возбужденно сказал Бессекерский.

— Все? — изумился Тренев.

— Катер и кунгас. Второй катер и склад отхватил Грушецкий. Эх, жаль тебя не было! Представляешь, купили бы мы вдвоем все это да на зиму упряжки четыре арендовали — стали бы настоящими хозяевами анадырского края.

Дошли до дома вместе.

Агриппина Зиновьевна велела поставить самовар и, сославшись на неожиданно вспыхнувшую мигрень, улеглась в постель.

Мужчины устроились на кухне.

— У меня давняя задумка насчет транспорта, — продолжал Бессекерский. — В здешних условиях — это самое прибыльное дело. Понимаешь, ежели нам взять все катера и кунгасы и собачьи упряжки — какими делами можно ворочать?! Глядишь, потом и шхуну можно приобрести у американцев.

— Так что же делать? — растерянно произнес Тренев. — Грушецкий нам обратно катер не продаст.

— Я и об этом подумал, — улыбнулся Бессекерский. — С одним катером он не больно развернется. Кунгас все равно нужен, а он-то у меня. Со временем второй катер можно у него перекупить. Ну так как? Входишь в долю? Акционерное транспортное общество «Бессекерский и Тренев» — перевозка грузов по рекам Чукотки, каботаж и собачий извоз? А?

Прогулка в тундру несколько успокоила Тренева, и он стал трезвее смотреть на происшедшее. Кто знает, как еще дальше дело повернется. Может статься, что возвращение старых порядков дойдет до того, что будет восстановлена монархия и Бессекерскому с Гру

шецким придется обратно отдавать катера и кунгас как имущество государственное...

— Надо подумать,— уклончиво ответил Тренев.

— Смотри, Иван Архипович,— с ноткой угрозы произнес Бессекерский.— Упустишь свою выгоду. Я предлагал тебе сотрудничество из дружеских чувств. А охотников найдется много, стоит мне только кликнуть...

Бессекерский вышел, и тотчас из комнаты появилась Агриппина Зиновьевна с полотенцем на голове.

— Почему не согласился? Чего ты ждешь?

Агриппина Зиновьевна, как всегда, начала тихо, почти шепотом, но когда ее голос достиг крика, Милюнэ бочком выбралась из кухни...

Глава третья

Хозяев стойбищ, имевших большое количество оленей, называли «майнычавчыват» — «большой оленевод»... И такое название присуждалось обязательно самому богатому, но непременно главе, родоначальнику стойбища...

«Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней». «Наука». Сибирское отделение. Новосибирск. 1974.

Из этой долины до Ново-Мариинского поста было рукой подать. С установлением нартового пути, когда выпал снег и лед сковал речки и озера, только строгий запрет Армагиргина удерживал людей. И хотя никто не мог слушаться, хозяин стойбища каждый вечер ложился с тревожным чувством.

Свою поездку прошлой зимой Армагиргин не мог вспоминать без стыда. Но как забудешь, когда у Кымынто родилась внучка — ясноглазая тангитанская девчонка, громкоголосая, словно вобравшая в себя все пьяные крики и вопли тех зимних разгульных ночей вблизи Ново-Мариинского поста!

И рад бы был Армагиргин откочевать от этого опасного места, но пришло время навестить именно эти пастбища. В многолетнем круговороте пользования оленьими моховищами на зиму 1918/19 года пришел черед и долины к северу от Золотого хребта.

Армагиргин одряхлел, но штанов из белого камуса еще не надевал.

Возраст давал себя знать: долгими бессонными ночами от глухой серой тоски замирало сердце и некуда было деваться. Все чаще призывал Армагиргин к себе младшего Эль-Эля, но молодой шаман камлал без того воодушевления, которое было свойственно его отцу и которое быстрее доходило до богов. Иной раз Армагиргин не выдерживал и попрекал шамана леностью и малым усердием. Нерадивый шаман уходил в стадо, где поголовье священных оленей становилось из года в год все больше. Когда нападала копытка или волчья стаи резали стадо, чаще всего священные олени оказывались нетронутыми. Конечно, в этом нет ничего удивительного — священный олень охраняется соответствующим богом, но все же... Не много ли священных оленей в стаде? Ведь жертвенное животное принадлежало шаману, и Эль-Эль всегда был сыт; чем труднее время, тем чаще приходилось приносить жертвы...

Армагиргин чувствовал в душе нарастающую неприязнь к шаману и, боясь собственного гнева, отсылал его от себя.

Старик стал бояться одиночества. Когда уходил Эль-Эль, приходил черед Теневиля.

Все стойбище заметило благоволение Армагиргина к молодому пастуху. Это было закреплено в имени сына Теневиля, названного самим Армагиргином Армодем. Он передал частицу смысла своего имени новорожденному, и это было знаком особого покровительства.

Наречение сына Теневиля было обставлено с необычной пышностью и торжественностью, словно он был кровным родичем Армагиргина.

Отблеск костра хозяйской яранги виден издали — снег вокруг ярко освещен, словно огонь был под ним.

С тяжелым сердцем шел Теневиля в ярангу Армагиргина. Почему именно на него пала такая милость? Вон сколько кругом готовых лизать лахтачьи подошвы эрмэчина, готовых услужить, сказать лестное и приятное слову. Близкие друзья нынче искоса поглядывали на Теневиля, а другие стали излишне подобострастны... Исчезла прежняя теплота, откровенность и искренность.

А отказаться нельзя. Куда денешься с малым дитем?

Прежде чем войти в ярангу, Теневиля остановился, глубоко вздохнул и огляделся. Полная луна сидела на зубчатой вершине хребта и заливала долину ровным светом. Яркие звезды дрожали от ночного холода. Где-то далеко заплакал ребенок. Теневиля прислушался: нет, это не Армоль. Он уже знал его голос, голос своего будущего. Странно, ведь раньше тоже была жизнь и какой-то смысл в той жизни, а нынче все пережитое казалось никчемным, пустым. Только сейчас и началась настоящая жизнь, существование в мире наполнилось смыслом, появилась связь с будущим, с тем временем, которое потечет независимо от ныне живущих.

Налюбовавшись на звезды и дальние освещенные отроги Золотого хребта, Теневиля шагнул в чоттагин хозяйской яранги.

Перед Армагиргином лежала доска с текстом царской бумаги. На низком столике были зажжены два моховых светильника.

Армагиргин кивком показал на место рядом с собой.

Теневиля уселся.

Женщина подала кипяток, заваренный вместо тангитанского чая тундровой травой.

— Гляди сюда. — Армагиргин показал на доску. — Ты никогда не задумывался, почему у царского орла две головы?

— Нет.

— Это должно что-то значить, — заметил Армагиргин. — Зачем птице две головы? Ведь с двумя головами летать куда труднее, чем с одной.

— Может, это знак мудрости? — осторожно предположил Теневиля.

— Я тоже так думал, — со вздохом сказал Армагиргин. — Но не только это... Два взгляда, и оба в разные стороны. Видишь? Вот только который взгляд вперед? А?

— Коо, — пожал плечами Теневиля.

— Спросить бы знающего человека...

— Это только во Въэне можно, — сказал Теневиля.

Армагиргин вздохнул.

В том, что случилось год назад, была и его вина: не мог удержать он не только своих людей, но более — самого себя.

— Неужто нам своим разумом не отгадать это царское тавро? — с досадой спросил Армагиргин.

— Как же угадать? Чужой язык, чужая жизнь, — ответил Тене-

виль.— Чтобы понять тангитанский письменный разговор, для этого сначала надо тангитанский разговор изучить... А разве исправник Кобелев не переводил вам содержание царской бумаги?

— Содержание бумаги мне известно,— ответил Армагиргин,— мне надо смысл тавра и значение двуглавой птицы уразуметь. И отчего она такая когтистая да тощая?

— Может, старая? — предположил Теневиль.

— А верно — птица-то старая,— пробормотал Армагиргин.— Она и должна быть старой, должна говорить о древности рода. Орлы, скывают, живут долго, как и вороны... А вот две головы? И почему в разные стороны?

— Чтоб взглядом больше охватить,— вдруг сказал Теневиль, сам несколько испугавшись своей догадки.

— А ведь верно! — Армагиргин изумленно посмотрел на пастуха.— Чтобы взгляд охватывал большее пространство и вперед и назад, в прошлое и будущее. Чтобы ничто не ускользало от острых орлиных глаз... Сообразителен ты, Теневиль.

Армагиргин с уважением посмотрел на него, но в сердце Теневиля повеяло холодком.

— Помнишь разговор?

— Какой разговор? — отозвался Теневиль.

— Когда я тебе говорил о наследстве...

Теневиль молчал.

— Другой бы обрадовался,— с укором произнес Армагиргин.— Почему ты молчишь? Если тебя это пугает, то скажи почему? Разве богатство так страшно для непривычного человека? Ведь каждый бедняк мечтает разбогатеть, я так думаю...

Армагиргин наклонился и пытливо посмотрел в глаза Теневилю.

— Может быть, и бедняки мечтают разбогатеть, но не так,— после некоторого раздумья сказал Теневиль.— Одно дело богатство получить ни за что, а другое — своими руками сотворить его.

— Так не бывает, чтобы богатство своими руками было сотворено,— веско сказал Армагиргин.

— Почему? — с любопытством спросил Теневиль.

— Ежели было бы так, то бедных на свете не было,— сказал Армагиргин.— Богатство создается бережливими, теми, кто удачлив, и главное — кому оно уже судьбой подарено.

— Меня судьба обошла богатством, значит, так и должно быть? — спросил Теневиль.

Армагиргин поглядел с хитрым прищуром на пастуха:

— Отказываешься?

Теневиль молчал.

— А что скажет твой сын, когда вырастет и узнает, от какого богатства ты отказался?

— Я постараюсь воспитать его так, чтобы он не был завистлив к чужому,— тихо ответил Теневиль.

Армагиргин вздохнул, поднялся, подошел к костру и стал задумчиво смотреть на огонь. Потом вернулся.

— А теперь слушай меня. Прежде чем предложить тебе наследство, я крепко подумал. Я выбрал тебя из всех, потому что ты сообразителен и, может быть, даже по-своему мудр. И еще — справедливость в твоей крови. Я знал твоих предков. Я не хочу, чтобы после моей смерти стойбище Армагиргина разбрелось и исчезло с лица земли. А такое может случиться, если не будет единой твердой хозяйской руки. Я пекусь не о собственном богатстве, а о людях, остающихся после меня. Люди неблагоразумны, и поведение их нуждается в руководстве. Если стадо окажется без хозяина, его разворуют, ра-

стащат, убьют на мясо важенок и породистых быков, не говоря уже о ездовых оленях. Нужен человек не для праздного пользования богатством, а для руководства стойбищем.

Вкрадчивый голос Армагиргина внушал, заставлял согласиться, но Теневиль сопротивлялся этому воздействию, как противится человек страшному сновидению.

— Или у тебя на уме надежды на перемены в тангитанском мире? А? Запомни, Теневиль, тот мир совсем чужой для нас. И образом жизни, и обычаями, и мыслями. Тангитан чертовски изобретателен, хитер в торговых делах, но наивен и груб. У него столько же презрения к нам, сколько у нас к нему... И все же он не такой человек, как мы. И не зря установлено, что он живет другой жизнью, а мы — своей. И пока мы не будем мешать наш образ жизни с ихним — между нами будет мир. Сами тангитаны это поняли. Ты помнишь древние сказания о битвах чукчей с тангитанами? А чем это кончилось? Каждый остался при своем образе жизни...

От долгого разговора Армагиргин утомился, несколько раз оставался и глубоко вздыхал.

Теневиль слушал его и, внимая словам эрмэчина, думал о своем. Разве не было у него мечты иметь свое собственное оленье стадо? Была, и еще какая! В иных снах он уже владел несметными стадами и огромные пространства тундры были его... Но это были только сны... В действительности у него было три ездовых оленя, выращенные за последний год и еще как следует не обученные. Первые его олени за многие годы... А тут Армагиргин предлагает все свое стадо. Почему же разум сопротивляется этому дару? Слишком много? Да ведь во сне было больше оленей, и ничего. Только горькое разочарование при пробуждении...

— Знаю, трудную я тебе задал задачу, — ласково произнес Армагиргин, — а ты думай. Дураком ты был бы, если бы сразу согласился.

Чуткое ухо Теневиля уловило какой-то непривычный шум за стенами яранги, дальний собачий лай.

Насторожился и сам Армагиргин.

Собачий лай приближался.

— Кажется, к нам, — удивленно сказал Армагиргин и двинулся из яранги. Вместе с ним вышел и Теневиль.

Упряжка уже подъехала, и с нарты вставал каюр, облаченный в длинную матерчатую камлейку. Вглядевшись, Теневиль узнал в нем Тымнэро, своего ново-мариинского родича.

— Какомэй, етти! — воскликнул он.

— Ии, — ответил Тымнэро. — Уэлькальские видели следы вашего стада, и я догадался приехать.

— Ну заходи в ярангу, коли приехал, — позвал гостя Армагиргин и велел собравшимся пастухам распрячь и накормить собак.

По старинному обычаю гостя не расспрашивали, пока он не отогрелся и не насытился. А голодный Тымнэро так и приник к деревянному кэмэны и лишь изредка ненадолго отваливался, чтобы передохнуть. Теневиль глядел на него и догадывался, каково сейчас чукчам в Ново-Мариинске.

— Еды, однако, совсем не стало, — подтвердил Тымнэро, переходя от мяса к крепкому оленьему бульону. — Рыбалки, считайте, вовсе и не было. Удалось осенью белуху подстрелить — вот и весь собачий корм.

Гувана заварила настоящий чай из привезенного Тымнэро скола чайного кирпича.

— А что там с властью? — задал Армагиргин свой главный вопрос.

— Все вернулось,— махнул Тымнэро.— Зазря только народ будоражили да сулили несбыточное. Про общий дележ да владение толковали. А дело кончилось тем, что даже царские катера и кунгас продали. Бессекерский купил их, да Грушецкий. А что толку — товара совсем нет — возить нечего. Однако думаю, что отберут катера и кунгас царские люди, когда приплывут следующим пароходом во Вьэн... Так что все вернулось к старым порядкам.

Армагиргин поднял голову и посмотрел на Теневиля.

Поздним вечером Теневиля увел гостя в свою ярангу, и только там Тымнэро признался, что привела его в стойбище крайняя нужда.

— Морской охоты совсем не стало,— жаловался он.— Нерпа ушла, открытая вода далеко, по торосам до нее не добраться. Боюсь, и дочка помрет — для чего тогда жить?

Теневиля слушал Тымнэро и согласно кивал: и вправду — для чего жить, как не для детей? Это он хорошо понимал. Но чем помочь другу? Ведь у самого только ездовые олени...

И словно услышав его тяжкие мысли, Тымнэро торопливо сказал:

— Я кое-какой товар привез... Совестно мне торговать, как тангитану, но что поделаешь? Чай есть, немного сахара, небольшой куль муки и даже две бутылки дурной веселящей воды. Спасибо, Аренс Волтер помог, дал мне свой сахар... Хороший он человек, совсем не похожий на других тангитанов.

— Может, с Армагиргином потолковать? — с сомнением сказал Теневиля.

Не хотелось ему открываться перед Тымнэро, рассказывать ему о наследстве, которое предлагал эрмэчин.

— С ним только и толковать,— торопливо подхватил Тымнэро.— Как же без него, без хозяина?

Тымнэро совсем отошел, и смотреть на него было страшно — только глаза и горели на черном костлявом лице. Чернота угольной пыли въелась в поры, и на крыльях носа синели точки, которые не смывались: сколько уж лет возит он через лед Анадырского лимана черный горючий камень. Чаще всего самому приходится насыпать мешки из большой кучи угля, и ветер забивает лицо мелкой въедливой угольной пылью.

Раулена наварила еще мяса, и Тымнэро не нашел в себе сил отказаться от нового угощения. Он разделся догола, влез в полог и высунул голову в чоттагин.

— Эти тангитаны совсем взбесились,— рассказывал Тымнэро.— Орут друг на друга и даже дерутся, особенно когда отведают дурной веселящей воды. Страшно на них смотреть.

— А как же среди них Милюнэ живет? — спросила Раулена.

— Милюнэ хорошо живет, помогает нам чем может. Но много ли остается от двух тангитанов? Да и в еде они стали больно аккуратны, уже не пиршествуют, как раньше.

— А замуж она не собирается?

Тымнэро помолчал. Слышал он как-то разговор Тынатваль с Милюнэ. Вроде бы засматриваются на нее тангитаны, однако больше для удовольствия, а не для жизни... Она стала разборчива, и теперь, конечно, не всякий человек ей нравится.

— Пока не собирается,— ответил Тымнэро.

— Что же это она? — удивилась Раулена.— Вроде бы пора.

— Вроде бы,— согласился с ней Тымнэро.— Тангитанская жизнь, видно, ей нравится, не больно хочется ей уходить от хозяев. Сытно, тепло — отчего не жить?

— Все же она женщина! — заметила Раулена.— Женское свое она должна в жизни взять.

— А может, она второй тайной женой хозяина-тангитана стала? — предположил Теневиля.

— Неужто? — встрепелась Раулена. — Это было бы неплохо для нее. Пусть вторая, но у такого богача!

Тымнэро с сомнением покачал головой.

— Непохоже... Больно властна хозяйка, Сказывала Милюнэ, раз Ванька хотел взять ее. Наваливался да все мокрым ртом возил по лицу, это так у тангитанов любовь начинается — значит, раскроют рот во всю ширь и вроде кусаются не кусаются, а приникают друг к другу открытым ртом. Заменяют этим наше обнюхивание. Однако хозяйка появилась и стащила мужика с нее, да так поколотила, что живого места на лице не было. С тех пор не видит хозяин Милюнэ, мимо смотрит. Даже когда разговаривает, все равно глаза отводит. Боится жены.

— Да, она, конечно, не очень-то к этому делу охоча, — заметил Теневиля. — Тут Армагиргин пытался ее взять, не захотела. Плакала, будто не мужика остерегалась, а самой смерти.

— Ну уж сравнил ты старика с тангитаном, — усмеялась Раулена. — Однако будет так жить, может и на всю жизнь яловой остаться.

— Найдется какой-нибудь тыркылын²⁵, — с уверенностью произнес Тымнэро, — просто еще не пришло время для нее и не появился настоящий человек, кто бы мог взять ее.

— Хоть бы тангитан взял ее, — вздохнула Раулена. — Всю жизнь была бы сыта.

Сытость — вождение человека, долго лишенного этого благодатного ощущения. Ведь сколько ни ел Тымнэро, а разумом он все еще был голоден, хоть иной раз ему казалось, что последний кусок уже стоит где-то у самой глотки. Только мысль о том, что это беспрестанное насыщение может плохо кончиться, заставило Тымнэро устало произнести:

— Ратан²⁶...

Следующим утром Тымнэро проснулся на рассвете от желания обдечьиться. К своему удивлению, он не обнаружил рядом в пологе Теневиля и подумал, что олeneuve ушел в стадо.

Тымнэро натянул на себя нижние пыжиковые штаны, торбаса, накинул легкую кухлянку и вышел из яранги. Присаживаясь за крутым сутробом, он по привычке посмотрел на восход, чтобы удостовериться, что погода в течение дня не изменится. Там было чисто, и ровная полоса красной зари наполнялась усиливающимся светом, будто живой горячей кровью. Вчерашняя сытость еще не прошла, и по телу Тымнэро разливалась умиротворенность.

Вот как, наверное, себя чувствуют настоящие хозяева, которые не заботятся о том, что они будут есть завтра. Голод для них не страх, а предвкушение приятного насыщения.

Вернувшись в ярангу, он застал там расстроенного Теневиля.

— Тебе лучше поскорее отсюда уехать, — мрачно сказал пастух.

— Я и сам подумываю об этом, — с легким удивлением сказал Тымнэро. — А что случилось?

Однако Теневиля не мог передать всего утреннего разговора с Армагиргином своему дальнему родичу и лишь произнес в ответ:

— Так надо.

Он помог погрузить олени туши на нарту и проводил Тымнэро вверх по долине, пока нарта не поднялась на перевал, откуда дорога шла вниз до самого Анадырского лимана.

²⁵ Олень-бык.

²⁶ Довольно.

Теневиль смотрел вслед исчезающей нарте с горечью и сожалением и вспоминал трудный утренний разговор с Армагиргином.

...Убаюканный непривычной сытостью, Тымнэро не слышал, как Теневиль выскользнул из полога на зов хозяина и пришел к нему в ярангу.

Армагиргин сидел у тлеющего костра, словно и не ложился спать и смотрел слезящимися глазами на подернутый серым пеплом огонь. Он быстро взглянул на вошедшего и коротко и отрывисто сказал:

— Не будь он твоим родичем, я бы велел его убить.

Эти слова словно плетью ударили по глазам Теневиля, и он остановился у порога, пораженный услышанным.

— Я много думал,— продолжал Армагиргин,— и пришел к такой мысли: нет у нас единого пути с тангитанами. И чем дальше мы будем от них — тем лучше для нашего народа. Всех, кто станет нас связывать с ними, мы будем гнать от нашего стойбища или стрелять, как голодных волков, бродящих у наших стад. Мы их не зовем к себе и не идем к ним... Проводи своего родича, забей ему оленей, и пусть скорее уезжает отсюда, пока мой гнев еще маленький. А когда он уедет, приходи ко мне...

Нарта исчезла за отрогами Золотого хребта.

Кончался короткий зимний день. Сменные пастухи возвращались из стада, устало входили в жилища. В чоттагинах пылали костры, трещал в огне высохший на морозе валежник, в вечернем стылом воздухе глухо звучали голоса.

В чоттагине Армагиргина горели четыре моховых светильника, было как солнечным днем.

Прямо под дымовым отверстием на рэтэме разложены странные вещи. Здесь — берестяная коробочка-проткоочгын, в которой хранились царские бумаги, дарованная якутским генерал-губернатором тангитанская нарядная одежда, уже сильно истлевшая от старости и много раз чиненная нитками из оленьих жил. Тускло поблескивали шитые серебром наплечники, позеленевшие пуговицы. Здесь же была хорошо отполированная деревянная доска, на которую Теневиль перенес русскую речь с царской бумаги. Поверх всего лежал царский ножик в серебряных ножнах.

Теневиль с удивлением уставился на эту грудку.

Армагиргин поймал его взгляд и сказал:

— Прежде чем звать Эль-Эля, ты первым узнаешь от меня эту новость: я решил отречься от братства с русским царем.

— Как это? — не понял Теневиль.

— Много лет назад я дал клятву в Якутске служить российскому царю и русскому правительству вместе со всем чукотским народом... Однако остальные чукотские эрмэчины не поддержали меня. Они посмеялись над бумагой, над моими новыми тангитанскими ритуальными одеждами, над этим ножиком, данным мне как амулет от российского царя. Чаунский эрмэчин Леут рвал с моей груди крест, смеялся над русской верой и плохими словами ругал русского бога. Я не отступал от своего. Мне казалось, что это лучший путь для нашего народа — жить под покровительством русского царя и русской веры. Я ждал вместе с моим народом защиты и помощи... Да, пришли на нашу землю тангитаны с признаками власти, с маленькими ружьями в кожаных чехлах, носимых на поясе. В Маркове и в Уэлене построили школы. Появился даже русский лекарь Черепак... Но в школе ни одного чукчу не научили грамоте — Михаил Куркутский не в счет. Он чуванец, человек другого племени... Черепак на моей памяти не вылечил ни одного нашего соплеменника. А вера русская оказалась не-

пригодна для нас, не была понята... И чем больше я жил на этой земле, тем больше убеждался, что сделал в свое время страшную ошибку — не тем путем пошел. Народы, как острова в море — они никогда не сходятся. Я потерял уважение других эрмэчинов Чукотки, которые считали меня предателем. А сами русские смеялись надо мной и над моим званием брата русского царя... Я ушел мыслями в себя и терпел все, потому что думал о людях, о тех, кто от меня зависит, кто кормится моими оленями. Пусть бог отнял у меня потомство за предательство, но рождались дети у моих пастухов, люди, которые должны были населять тундру. А теперь в России непонятное творится. И от этого еще хуже нам. Если бы я знал другой путь! Но нет ничего другого как пойти дорогой лопаточной трещины... Эй, женщины, принесите оленью лопатку!

Гувана подала хорошо очищенную от мяса лопаточную кость. Армагиргин положил ее на тлеющие угли и молча принялся наблюдать за ней.

— Пусть придет Эль-Эль...

Кто-то пошел за шаманом, и вскоре в ярангу вошел Эль-Эль, зашпанный, со светлыми шерстинками оленьего меха, застрявшими в его спутанных волосах.

— Погляди, что там.— Армагиргин устало кивнул на почерневшую от огня оленью лопатку.

Эль-Эль щепкой выковырнул из углей лопатку, подождал, пока она остыла, и взял в руки. Он разглядывал, внимательно исследуя, каждую трещинку, каждое изменение цвета кости, но при этом искоса поглядывал на кучу ветхого тангитанского добра, лежащего на куске рэтэма под дымовым отверстием.

— Через верховья реки лежит путь кочевки,— сказал Эль-Эль.

— Я так и думал,— отозвался Армагиргин.— А теперь приготовь нарту и сложи вот это.— Он показал рукой на рэтэм.

Эль-Эль кинул пытливый взгляд на Армагиргина и вышел из чоттагина.

Тем временем Армагиргин достал обгорелый священный факел, которым переносится огонь.

Теневиль вынес тангитанские вещи и сложил на нарту, привезенную шаманом. Следом вышел Армагиргин, держа высоко пылающее священное пламя.

Нарту потащили к небольшому покрытому льдом и снегом озерку, откуда брали лед для питьевой воды. Священный факел освещал путь, и в красном отблеске пламени по снегу прыгали изломанные тени. Старый засохший жир стрелял и шипел, падал на белый снег черными горячими каплями. Темные яранги на высоком берегу застыли в напряженном ожидании.

Теневиль догадывался о задуманном Армагиргином и едва верил этому. Должно быть, разочарование эрмэчина было так сильно, что он решился на последнее. Но разве раньше он не видел бесплодности своих попыток подружиться с тангитанами? Или не хотел признаться в своей неудаче из гордости?

Теневиль шагал следом за Армагиргином и вдруг остановился, пораженный: эрмэчин был в белых камусовых штанах! Когда же он успел переодеться? Или это ему показалось? Теневиль пригляделся — ошибки не могло быть: Армагиргин надел белоснежные, тщательно подобранные камусовые штаны. Они были так искусно сшиты, что плотно облевали ноги... Армагиргин надел белые штаны. Это означало, что он признал себя стариком, человеком, готовым по первому же зову пуститься в путь сквозь облака. Отныне главные его мысли

будут обращены к тому, чтобы достойно отойти в тот мир, чтобы не было оставлено зла на земле, чтобы доброта простерлась до безоблачного неба, чтобы не было ни ветерка и уходящая душа не уклонялась от предназначенного пути.

Эль-Эль вместе с нартой остановился на противоположном от стойбища берегу озера и спросил Армагиргина, будто не догадывался сам:

— Что дальше будем делать?

— Сожжем вот это.— Армагиргин небрежно кивнул на кучу, сложенную на нарте.

На снег выгрузили мундир, матерчатые, сильно поношенные и не раз чиненные штаны, кортик, грамоту в берестяном проткоочгыне и доску, на которую Теневиль с таким старанием и благоговением переносил русские письма.

Высоко держа над собой факел, Армагиргин ногой поправил кучу, сгрудив ее поплотнее, и поднес пламя. Ткань разгоралась плохо, долго тлея, испуская едкий вонючий дым. Первой весело занялась берестяная коробочка с царской бумагой, а за ней сначала по краям, а потом загорелась вся хорошо усохшая деревянная доска с начертанными на ней письменами. Наконец, и сама одежда, сильно багровея, задымилась.

Армагиргин смотрел на разгорающийся огонь, а на душе у него становилось еще сумрачнее и тяжелее. Не исполнил он повеления своего отца, не улучшил жизни своих соплеменников. Оленья стада убавилось против прежнего, убавилось и людей в ярангах. Все чаще болели люди неизвестными и трудно поддающимися шаманскому лечению болезнями. Может, молодой Эль-Эль мало был искусен в исцелении, а может, и впрямь он не знал эти болезни, но так было: в бессилии он опускал свой ярар²⁷ и останавливал камлание, убегая в тундру.

После той памятной пьяной ночи возле Ново-Мариинска двое пастухов заболели и умерли. Обрадовались рождению сына у Теневиля, но ведь не мог он один восполнить убыль... Да, попытка подружиться со слугами Солнечного владыки с самого начала была ошибкой. Уж больно много было непонятого и бесчеловечного в деяниях царских слуг, и это должно было насторожить всякого прорзорливого человека.

А что же дальше? Чем кончится это существование, в котором так мало настоящих радостей? Он скоро уходит сквозь облака, но остается его стойбище, люди, которые кормились его стадом. Чтобы жизнь его за облаками была достойной, Армагиргин решил исправить свою главную ошибку и отречься от дружбы с русским царем, отказаться от всякого общения с тагитанским миром и укорчевать в далекие и недоступные тундры.

Армагиргин время от времени ворошил концом священного факела костер, и тяжелые, жирные искры отлетали и падали в снег.

И по мере того как догорал костер, он укреплялся в мысли, что принял правильное решение. Надо уходить. Уходить в свою жизнь, подальше от чужих людей с чужими мыслями, с чужими надеждами, чужой едой и разными вещами, которые вводят человека в грех и соблазн. Велика чукотская земля. Есть такие места, где можно укрыться на долгие годы. И еще — внушить людям, что только праведная жизнь — без веселящей воды, наполненная заботой о родичах, об оленьем стаде, — и есть жизнь, достойная настоящего человека.

²⁷ Бубен.

На востоке занималась заря. Будто и там кто-то жег огромный царский мундир и сукно долго не разгоралось, багровея и наливаясь жаром.

Интересно, есть ли такие люди, которые уходят из этой жизни с чувством облегчения и исполненного долга? Или такого не бывает? Ведь как бы ты ни был удачлив и сколько бы ни прожил, все мало тебе... Мало тебе двух жен и той тангитанской женщины в мягких пушистых постелях губернаторского гостевого дома, мало власти, которую имел над своим стойбищем, хотелось быть самым главным эрмэчином во всей чукотской тундре... Всего хотелось больше... А что осталось — лишь черный пепел на белом снегу и белые камусовые штаны...

Ранним утром Армагиргин собрал главных пастухов в своей яранге и объявил:

— Через два дня мы уходим с этих пастбищ... Наша дорога будет проходить мимо Великой реки. Отныне наше стойбище не будет пускать к себе никого из тангитанов. Берите с собой в стадо винчестеры. Стреляйте в каждого, кто будет приближаться к нам. Стреляйте так же безжалостно, как стреляете в волков... Те люди хуже волков, и урон, который они причинили нашему стойбищу и нашей жизни, не сравнить с нападением самого большого волчьего стада.

Все слушали Армагиргина с почтением и не сводили глаз с его белых камусовых штанов: значит, старик готовится уходить... А кто же останется вместо него? Кому он передаст стойбище и все стадо? Неужто придет после его смерти междоусобица и жестокий спор вокруг наследства?

Никто этого не знал.

Армагиргин еще не сказал самого главного.

Аренс Волтер, перепачканный глиной и сажей, сидел в своем домике и пил чай. Посреди зимы он решил переложить печь, чтобы она быстрее нагревалась. С углем было худо. На шахте сломалась лебедка, за уголь нужно было платить бешеные деньги или самому отправляться с мешками на санках на другой берег Анадырского лимана, спускаться в шахту и нагружать лопатами уголь.

У Тымнэро давно не было такой удачи. Все просили привезти уголь, зазывали к себе, угощали, заискивали перед ним.

Он пришел к Волтеру и застал бывшего моряка в странном виде.

— Я делаю обогреватель во всю стену,— принялся объяснять Волтер.— Прежде чем уйти из моего домика, дым отдаст все тепло до последнего... Понял?

Тымнэро ничего не понял. Он видел только груды кирпича, жидкую глину в лохани и перепачканного Волтера.

Волтер налил Тымнэро чаю и продолжал:

— Позвал я тебя, чтобы попросить: возле шахты под снегом есть чугунная плита. Я ее осенью купил у тамошнего шахтера. Надо ее привезти. Будь другом!

Тымнэро понял, о чем говорит норвежец, и согласно закивал:

— Обязательно привезу!

Он был рад услужить человеку, который помог ему в самую трудную минуту — когда умирал сын.

— Что слышно о Каширине?— спросил Тымнэро.

Аренс Волтер достал письмо и принялся читать, стараясь объяснить простыми словами содержание.

Письмо было длинное, не все уразумел в нем Тымнэро, но понял — надежда есть.

А Каширин писал вот что:

«Дорогой брат Аренс! Посылаю это письмо с верным человеком. Говорят, пароход идет до Ново-Мариинска. Надеюсь, ты получишь письмо. Дела, значит, происходили таким образом. Прибывши в Петропавловск с арестованными и сдав их караулу, я стал искать верных и надежных людей. Тут еще почище, чем в Ново-Мариинске. Народу поболее, а властей и того больше. Каждый норовит объявить себя самым верным и надежным защитником народа. Прямо удивительно: как это они до этой поры сидели сиднем в своих домах? Ведь и тогда народ существовал, маялся за их глазами.... Так нет — не замечали они его. А тут — защитниками объявились такими, что готовы друг другу глотку перегрызть. Однако все начинают понимать, что главная забота всех этих «демократов» взять себе власть и урвать побольше для себя.

На свое счастье, я тут встретил своих старых дружков. Они прибыли на пароходе «Тверь» поздней осенью в числе солдат здешней команды. И знаешь, кого я встретил здесь? Ваню Ларина, моего старого дружка еще по Узлену. Будешь в тамошнем селении, увидишь школу — это мы с Иваном поставили ее, когда я служил у Караевых. Ваня Ларин и его товарищи оказались большевиками. Они подробно рассказали мне что к чему, и я понял — это те, кого нам не хватало в Ново-Мариинске. Только у них слова не расходятся с делом, они представляют народную силу. Ваня Ларин сразу начал действовать: по примеру питерского пролетариата надо создавать в Петропавловске Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и ввести туда подлинных народных представителей.

Совет в Петропавловске был создан 7 декабря. Эту великую дату должны запомнить все люди Северо-Востока. В день Нового года мы объявили Совет высшей властью в городе. Что тут затеялось! Ларина и его товарищей называли узурпаторами, самовольными захватчиками власти. Я не остался в стороне и много выступал на митингах. Призывал рыбаков, моряков, солдат поддержать Совет, потому что другой власти трудовому народу не надо. Написал я письмо городскому Совету, чтобы приняли решительные меры к контрреволюционерам. А что учудили они весной! Перед началом навигации выступили с лозунгом объявить Камчатку автономной республикой и отделить ее от Советской России! Но я-то знаю, что это значит на самом деле — это влезть прямо в разинутую пасть Свенсона! Лидером этих автономистов ходит некий Сусяк. На собрании он прямо заявил, что боится жить в Петропавловске из-за меня. В общем, дорогой брат Аренс, тут такая же картина, что и в Ново-Мариинске, и всякая сволочь боится меня. Но дело не во мне! Весь трудовой народ Камчатки поддержал Советы! И если бы мы были смелее, решительнее, то не произошло б того, что случилось.

В июле в Петропавловске был совершен контрреволюционный переворот. Власть оказалась в руках бывшего офицера и разных купцов и промышленников.

Арестован весь Петропавловский Совет и я в том числе, хотя формально в Совете не состоял. Однако хорошо запомнили сусяки мои выступления.

Плывем сейчас во владивостокскую тюрьму. Что будет дальше, пока не могу сказать. Однако чую — борьба будет жестокая и долгая. Может быть, мне не придется вернуться на Чукотку, но знай, брат Аренс, что будущее за трудовым народом, за партией большевиков, за Лениным и за Советской республикой, которая держится, несмотря ни на что. Передай поклон всем знакомым, Куркутскому Мише, Кулиновскому и Тымнэро.

Письмо было подписано: «Партии пролетариата П. Каширин»...

Собаки взяли привычное направление на другой берег Анадырского лимана. Дорога накатана — пурги давно не было и следы полозьев отчетливо виднелись на снегу. Однако главной приметой нартовой дороги через лиман была угольная черная пыль.

Предоставив вожажу волю, Тымнэро поудобнее уселся на пустых мешках и принялся думать о том, что сказал Аренс Волтер. По его словам, вычитанным в письме Каширина, выходило, что ссора между тангитанами продолжается. Ваня Куркутский сказал, что все из-за царского золоченого сиденья. Каждый хочет на него взобраться и оттуда повелевать народами. Пока царский трон будет пуст, эта драка между тангитанами будет продолжаться, будет кровопролитие, убийство. Понемногу Тымнэро уяснял себе, что такие, как Каширин и Аренс Волтер, хотят, чтобы власть принадлежала бедным людям, чтобы именно они взобрались на царское сиденье. Но Тымнэро тут же понял, что это невозможно. Во-первых, царское золотое сиденье одно, а бедных людей множество. А если каждому бедняку захочется сидеть на троне? Опять начнется драка. Каждый будет стараться стащить другого и занять его место. Надо об этом сказать Волтеру. Хороший он человек, и нечего ему впутываться в это дело. Пропадет ни за что, убьют его тангитаны. Вон сколько у них оружия! Как-то довелось Тымнэро войти в склад Бессекерского, надо было переложить товары. Работали вместе с Михаилом Куркутским. Таскали тяжеленные ящики. А когда заглянули в один из них, на котором доска отстала,— увидели в желтом жиру поблескивающие гладкие стволы винтовок. Патронов тоже довольно у Бессекерского — хватило бы расстрелять моржовое стойбище. Патроны были в небольших металлических, но тоже очень тяжелых ящиках, и открыть их можно, если раскроить топором железо.

Но вот как получается — когда у одних несчастье, то у других удача. Сломалась лебедка на шахте — Тымнэро стал всем нужен. Он готов был ездить круглые сутки, благо погода была отличная и дорога накатана. Но собакам надо давать роздых, хоть и кормил он их теперь досыта. За уголь платили щедро: на Севере самое ценное — тепло. Можно голодать и страдать от жажды, но если мороз и нет животворящего огня, то замерзнуть ничего не стоит.

Тымнэро оглянулся — над Ново-Мариинском небо было удивительно чистое и ясное. Мало топили, мало черного дыма поднималось над крышами: люди берегли топливо, жгли мало угля.

Преодолев прибрежную гряду небольших торосов, упряжка поползла наверх, Тымнэро пришлось соскочить с нарты, чтобы собакам было легче.

Огромное черное колесо, которое раньше тянуло вагонетки из темного чрева угольной шахты, казалось умершим на фоне бледного зимнего неба.

Тымнэро встретил сторожа и передал просьбу Волтера о железной плите. Она стояла прислоненной к стене дома, и они взвалили ее на нарту.

В шахту надо было спускаться в сопровождении знающего человека, который здесь вдобавок исполнял обязанность хранителя огня. Он пришел с небольшим фонарем с неярким при дневном свете пламенем. Тымнэро взял два мешка, лопату и шагнул в неожиданное тепло чрева земли.

Идти было скользко, хотя в земле были вырублены небольшие ступеньки. Дорога шла под уклон, и занятый тем, чтобы не упасть, Тымнэро не глядел по сторонам, стараясь не отставать от шахтера.

Когда дорога стала положе, Тымнэро поднял голову и не удержал тихого возгласа:

— Какомэй!

Шахтер оглянулся, повел огнем вокруг и, широко улыбнувшись, с оттенком гордости спросил:

— Ну как, красиво? Гляди!

Он высоко поднял фонарь, и со всех сторон заблестели разноцветные огоньки. Сначала казалось, что это тысячи глаз неведомых подземных зверюшек, а потом вспомнились тангитанские бисеринки, которыми чукотские женщины вышивали нарядную обувь и перчатки для ритуальных танцев. Огоньки переливались, играли, то вспыхивали, то гасли, заполняя все вокруг волшебным свечением.

— Видал?— с гордостью сказал шахтер, словно все это разноцветное волшебство было делом его рук.— Это вечная мерзлота!

Когда они остановились в забое и Тымнэро принялся насыпать в мешок уголь, казалось, что он берет лопатой груды драгоценных камней.

— На материковых шахтах мы ставим крепления,— рассказывал шахтер,— а тут сама мерзлота держит все и не дает осыпаться...

Воздух в шахте был особенный. Тымнэро еще ни разу в жизни не чувствовал такого запаха — таинственного и печального.

— Здесь никогда ничего не меняется.— Шахтер повел лучом фонаря по светящимся стенам.— Постоянная летом и зимой температура, состав воздуха. Незыблемость, так сказать...

Шахтер посетил лампочкой в лицо Тымнэро и спросил:

— Понимаешь, о чем я говорю?

— Понимай, понимай,— закивал Тымнэро, хотя большую часть того, о чем с таким жаром говорил шахтер, он не понял.

Но ему нравился дружелюбный тон, само течение русского говора, похожее на журчание полноводного ручья. Вон как может звучать тангитанская речь, если хороший человек говорит. А ведь Тымнэро чаще приходилось слышать приказания да ругательства, которые он хорошо помнил и отличал от всех других слов. Среди тангитанов были такие умельцы, которые изъяснялись одними ругательными словами.

— Понимай, говоришь?— Шахтер пытливо посмотрел в глаза Тымнэро.— А я вижу, что никакого понимания у тебя нет... Знаешь, что такое вечная мерзлота?

Шахтер колупнул пальцем мерзлую землю и поднес к глазам Тымнэро:

— Видал — лед? Тает... Вот это и есть вечная мерзлота — подземный лед и холод. Вся чукотская земля сидит на этом вечном холоде. Летом оттаивает только с полметра... Да что тебе толковать — ты же все это знаешь сам...

Тымнэро взвалил на спину мешок, а второй взялся нести шахтер.

Обратно идти было трудно — вверх по уклону. Часто приходилось останавливаться и отдыхать. Шахтер, видно, любил поговорить.

— Я тебя давно примечаю — возишь зимой уголь... И чего ты ушел из тундры? Олешек, видно, не стало? А зря ты это сделал. Тут в прошлом году ваши с королем приезжали. Ходил я смотреть на него. Ничего королевского у него, прямо скажу, не было. Так, пьяный старик и больше ничего. Зато девки хороши были... Насчет девок молодцы вы — одна другой краше! И как звать тебя знаю — Тымнэро... А меня Сергеем Кошелевым зовут. Ну, будем знакомы!

Шахтер взял руку Тымнэро в свою большую, как лопата, ладонь и крепко сжал.

Дорогой при ранних сумерках Тымнэро вспоминал раздробленную радугу на стенах подземелья и старался выговорить русские слова: вечная мерзлота, Сергей Кошелев...

Бессекерский сидел в замороженном насквозь железном складе и считал песцовые шкурки. Маловато нынче их — товара настоящего нет, нечем торговать. Кончились сахар, мука, чай, табак, мануфактура, оставались только огромные ящики с оружием и патронами. Они занимали угол опустевшего склада. Осенью, краем уха подслушав, что Свенсон ввозит оружие на Чукотку, Бессекерский решил — американец не станет зря это делать, он всегда чувствует точно, где будет пожива.

А вот поживы нет. Ружье покупают не на год. А тем более чукчи. Купит он какой-нибудь захудалый винчестер и лелеет его, словно бабу. Вычистит, пристреляет по-своему, снимет все лишнее, по его понятию ненужное, обточит приклад по своей щеке и сошьет нарядный чехол из выбеленной кожи.

Рассказывали знающие люди, что чукчи оказывают винчестеру или карабину божеские почести, приносят им жертвы, мажут всяческими снадобьями и возжигают перед ними священные курения. Об искусности чукотских стрелков из ружья Бессекерский был тоже достаточно наслышан — все это вселяло большие надежды на успех торговли оружием.

Надеялся продать оружие анадырским обывателям — собирались создавать особую милицию. Но с возвращением прежних порядков надобность в этом отпала.

Теперь Бессекерский не знал, что делать с таким количеством винчестеров. Хоть вези их обратно в Сан-Франциско, где они были закуплены за большую партию чукотской пушнины.

Бессекерский расхаживал по гулкому складу, и скрип снега под его ногами отдавался эхом в раскаленных морозом металлических стенах, покрытых инеем. Этот железный холод пронизывал до костей, несмотря на то, что торговец был одет в двойную кухлянку и двойные меховые штаны.

Надо было уходить из склада. Бессекерский еще раз оглядел помещение. Пар от дыхания поднимался к высокому потолку и оседал на железе. Холодно... Черт знает что за земля! Большую часть года холодина, да и летом не скажешь что жарко. А мысль о том, что под оттаявшей тундрой лед простирается на немыслимую глубину, отравляла радость от летнего тепла. Уехать бы в теплые края, где есть зеленые леса и настоящее жаркое лето. Но уезжать рано... Маловато накоплено, чтобы спокойно и беззаботно прожить оставшиеся годы. Да еще эта неудача с оружием... Да и неизвестно, что там, в России. Может, уезжать придется совсем в другую сторону — в Америку, в Японию или в Китай... Ну и жизнь настала!

На воле было чуть теплее, или только казалось теплее?

Со стороны угольных копей показалась собачья упряжка.

Нарта подъехала к береговой гряде, и Бессекерский узнал Тымнэро. Торговец внимательно смотрел, как каюр управлял собаками, как нарта медленно поднималась мимо складов и сараев, пустых рыбьих вешал к домику Аренса Волтера.

Тымнэро чувствовал спиной пристальный взгляд Бессекерского. А торговец, проводив взглядом упряжку, направился к Трениву. Бессекерскому открыла Милюнэ, и он не мог удержать приветливой улыбки: уж больно ласкова и сердечна была эта дикарка.

Иван Архипович лежал на огромной постели и читал прошлогодние владивостокские газеты. Он медленно поднял голову навстречу гостю.

— Здравствуйте, Генрих Маркович, какими судьбами? — слабым голосом спросил Тренив.

— А вы все недужите? — подозрительно оглядывая Тренева, ответил вопросом Бессекерский.

Агриппина Зиновьевна вступилась за мужа:

— Мой Ванечка не переносит здешнего климата.

Среди ново-мариинских обывателей было принято ругательски ругать здешний климат и вообще все чукотское, начиная от дикарей и кончая полярной ночью.

— Во время зимних холодов прямо страх берет: а вдруг больше лета не будет? — с содроганием в голосе произнес Тренив, от этих слов и Бессекерскому стало страшно.

— Ну уж вы скажете! — криво улыбнулся он. — Я к вам с большим и серьезным разговором...

— Маша, самовар! — крикнула Агриппина Зиновьевна.

Пока собирали чайный стол и Агриппина Зиновьевна собственноручно заваривала чай в фарфоровом китайском чайнике, Бессекерский молчал. Но отпив глоток, словно прочистив засорившееся горло, начал с упрека:

— Вот вы, Иван Архипович, тогда не оказались рядом и все дело погубили...

— Какое дело? — поперхнувшись, спросил Тренив.

— Дело транспортной компании. Сейчас бы мы с этим углем всех за глотку взяли... Но сейчас разговор о другом. Вы знаете, какой товар у меня на складе? — понизив голос, продолжал Бессекерский. — Могу заверить, отличный товар, самого высшего качества! И его столько, что, будь здесь решительный человек, можно было бы вооружить не один десяток человек и держать твердую власть...

Тренив испуганно поглядел на Бессекерского.

— Генрих Маркович, увольте, но я не могу... Здоровье неважное, климат...

— Да не об этом речь! — с ухмылкой оборвал Бессекерский. — Советоваться я пришел к вам. Понимаете, Иван Архипович, оружие — это не чай, и не сахар, и даже не мануфактура. Этот товар надолго, и его не покупают каждый день. Надо самому искать клиента. И вот я подумал — а не поехать ли самому по побережью с этим товаром? В тундру отправляться нет смысла — там поселения редки да и искать кочующее стойбище не так просто. А если в прибрежные селения, где живут охотники?! Охотнику нужно оружие. И если подойти с умом, то какой уважающий себя охотник не соблазнится и не купит новое хорошее ружье с большим запасом патронов.

— Это дельная мысль, — серьезно произнес Тренив, обрадованный тем, что его участие в этом деле ограничивается только обсуждением. — И путешествие серьезное... Как далеко собираетесь ехать?

— Если ехать, то ехать всерьез! — увлеченный своей идеей, с жаром произнес Бессекерский. — До самого Уэлена!

— Долгий путь, — заметил Тренив. — Не один месяц займет.

— До самой весны, — ответил Бессекерский. — С другой стороны — в Ново-Мариинске сейчас все замерло. Все в спячке, в вечной мерзлоте...

— Это вы хорошо сказали, — кивнула Агриппина Зиновьевна, — в вечной мерзлоте.

— На одной нарте вам ехать рискованно, — сказал Тренив, — придется нанимать две.

— Я и это продумал. — Бессекерский отодвинул чашку. — Я хочу нанять лучших здешних каюров — Ваню Куркутского и Тымнэро.

— А кто будет возить уголь?— спросила Агриппина Зиновьевна.

— Честно говоря, меня это мало интересует...

— Но мы здесь все померзнем, как клопы!— возмутилась Агриппина Зиновьевна.

— А мне какое дело?— пожал плечами Бессекерский.— Никто ведь не думает, что со мной будет, если я останусь с нераспроданными ружьями.

— Агриппина Зиновьевна права,— осторожно заметил Тренев.— Вы не подумали о тех, кто остается в Ново-Мариинске. Лебедка на шахте сломана, говорят, можно починить только тогда, когда привезут запасные части из Владивостока...

— Так каюрам это колесо все равно не починить!— сказал Бессекерский.— Вы мне лучше скажите, Иван Архипович, что вы думаете об этих каюрах?

— Люди, в общем-то, надежные,— нерешительно произнес Тренев.

— Понимаете, мысль у меня еще одна есть.— Бессекерский оглянулся на кухонную дверь и понизил голос.— Уж как ни говорите, а все-таки они дикари. Могут черт знает что сделать с человеком, а потом ищи концы...

— А что могут сделать?— настороженно спросил Тренев.

— Ха!— воскликнул Бессекерский.— Тундра, она велика. Ограбят и бросят по дороге, а то убьют и съедят...

— Ну насчет каннибализма вы уж чересчур,— поморщился Тренев, неожиданно подумав про себя, что именно Бессекерский и может ограбить и бросить посреди дороги.

— А потом— у них же семьи здесь остаются,— вмешалась в разговор Агриппина Зиновьевна.— Я тоже не думаю, что чукчи способны на грабеж... Уж на что дики и грязны, а вот этого-то у них нет...

— Кто знает, кто знает...— пробормотал Бессекерский.— Все равно надо ухо остро держать.

Приготовления к отъезду в великое путешествие по побережью Чукотского полуострова заняли не одну неделю.

Анадырские обыватели пожаловались в уездное правление на Бессекерского, который хочет оставить их без угля на зиму. Бессекерский был вызван и допрошен Мишиным. Допрос едва не закончился дракой, но присутствовавший Ваня Куркутский разрешил спор предложением оставить в Ново-Мариинске угольным каюром своего брата Михаила и рыбака Ермачкова.

— У Ермачкова собачки есть,— сказал Куркутский.— А нарту так и быть оставляю ему свою старую... Вот только Тымнэро поедет ли? Не может он оставить жену да малое дитя без еды.

— Авансу ему дам,— пообещал Бессекерский.— Рыбы и еще чего там.

— И потом— какая плата будет за всю поездку?

— Насчет платы не беспокойся,— грубо сказал Бессекерский.— Довольны будете...

— Заранее бы договориться,— настаивал Куркутский.— Мы, мольч, деньгами бумажными больше не хотим брать.

— Как— денег не хотите?— удивленно спросил Бессекерский.

— Не хотим,— твердо ответил Куркутский.

— Это почему же?— насторожился Бессекерский.

— Нонче бумажные деньги непрочные,— ответил Куркутский,— ровно как и власть.

— Что ты говоришь, чуванская башка!— крикнул на него Бессекерский.— Какую же ты плату хочешь за упряжку?

— Твердым товаром,— ответил Куркутский.— И Тымнэро так же говорит.

— Твердым товаром,— в раздумчивости повторил Бессекерский.— Где же нынче возьмешь этот твердый товар?

Торговались долго. Не один день.

Ходили вместе в ярангу Тымнэро, и Куркутский еще издали на чукотском языке начинал предостерегать чукчу.

— Не соглашайся сразу! Надо выторговать все что можно! Держись крепко, что бы ни сулил!

Бессекерский входил в чоттагин и демонстративно зажимал нос. Увидев это в первый раз, Куркутский с усмешкой заметил Тымнэро:

— Ничего. Померзнет в открытой тундре, сам будет заползать в полог...

Столковались на том, что Бессекерский дает Тымнэро новый винчестер в уплату за дорогу и обещается снабдить Тынатваль рыбой и мукой на время отсутствия мужа.

Весь Ново-Мариинск провожал отъезжающий караван. На памяти здешних обывателей такое случалось не часто, может, только в те достопамятные годы, когда строилась телеграфная линия и компания нанимала ездовых собак по всему побережью, снаряжая небывалой длины собачьи караваны. Да еще раза два такое случалось, когда из Петропавловска приезжали ревизоры губернского управления...

Груз увязывали на лимане, возле склада Бессекерского. Однако среди провожающих не было Тынатваль с дочерью.

Тымнэро попрощался с ними в яранге, как это было принято: ничего не сказал жене, пристально поглядел ей в глаза, крепко прижал к себе дочку и нежно обнюхал ее сонное личико.

Вместе с Трневым на лед лимана спустилась Милюнэ.

И когда весь тяжелый груз был увязан, и все готово к отправлению, и Бессекерский пожал руку Трневу, Грушецкому, Мишину и другим значительным людям Ново-Мариинска, Милюнэ подошла к Тымнэро и тихо сказала ему:

— Ты не беспокойся за своих.. Я погляжу за ними...

Тымнэро улыбнулся девушке, кивнул и уселся на нарту.

Бессекерский сел на нарту Куркутского, и караван медленно двинулся по льду Анадырского лимана, взяв курс на Русскую Кошку.

Нарты еще долго были видны с берега, мелькая меж торосов, пока не скрылись за серой громадой острова Алюмка.

Бессекерский сначала сидел спиной к движению и смотрел, как постепенно уменьшались и исчезали домишки Ново-Мариинска, а в поле зрения оставались лишь две мачты радиостанции, потом и они растворились в быстро сгустившихся сумерках.

В тишине слышалось лишь шарканье собачьих ног о твердый, высушенный морозом снег, скрип полозьев. Иногда шедший на передней нарте Тымнэро выкрикивал что-то свое, похожее на звериный рык, но собаки понимали его, повиновались, сворачивали то вправо, то влево, находя ровный путь среди нагромождения битого льда.

Безжизненная громада острова Алюмка была окружена льдом, и берега необитаемой земли поднимались круто, холодные, неприступные, зловещие.

— Кто-нибудь приезжает на этот остров?— спросил Бессекерский каюра.

— Чего на него приезжать?— отозвался Иван Куркутский.— Пустой остров, только птица летует там. Да и духовства там много...

— Чего?— не понял Бессекерский.

— Духов да чертей чукотских,— добродушно пояснил Иван.— Обосновались оне там издавна. По исчам жутко воют, а иной раз на позднего путника выходят и кровь евоиную пьют...

— Да что ты говоришь!— изумился Бессекерский, чувствуя, как невольный страх заползает ему под двойную кухлянку.

— Сказывают знающие люди— если поздно в лунную ночь ехать мимо, в аккурат кэле задержит и кровь потребует,— охотно рассказывал Куркутский.— Сидит каюр и видит— вроде собачки едут, а на самом деле только кажется так— собачки лапами перебирают, а нарта на месте. Тогда надобно мизинец порезать или отрубить, покапать на снег свежей человеческой кровью, тогда, значит, кэле и отпустит путника...

— Чертовщина какая-то!— с содроганием заметил Бессекерский, обозревая мрачные скалы Алюмки.

— Это верно!— согласно кивнул Куркутский.— Чукотская чертовщина!

Русская Кошка лежала под глубоким снегом, и напрасно Тымнэро пристально глядывался в льды, наползающие на берег, в надежде увидеть остатки своей разбитой байдары— ничего не было вокруг, белая застывшая пустыня.

После полудня остановились почаевничать и, как выразился Куркутский, «повойдать» нарты.

Обе нарты опрокинули вверх полозьями. Затем каюры достали из-за пазухи заранее припасенные бутылки с водой, лоскутки медвежьей шкуры.

Бессекерский не без интереса наблюдал, как Тымнэро набирал в рот из горлышка воды, осторожно лил на меховой лоскут, а потом быстро проводил им по полозьям нарты. Вода тотчас прихватывалась морозом, сначала белела, а потом становилась прозрачной. То же самое проделывал и Куркутский.

Сырые меховые лоскутки были брошены в снег, и каюры стали их исступленно топтать, высушивая таким образом. Бессекерский дивился их сообразительности.

Куркутский раздобыл из-под снега куски плавника и развел костер. Над бледным пламенем повесил походный чайничек, набитый кусками плотного снега.

Неспешные, спокойные действия каюров успокаивали Бессекерского. Каюры держали себя в ледяной пустыне деловито и уверенно.

Походное чаепитие понравилось торговцу. Он с наслаждением грел руки о горячую жестяную кружку, большими глотками пил чай, прислушиваясь, как тепло разливается по всему телу, навевая спокойствие и даже сонливость. По мере удаления от Ново-Мариинска, Бессекерский освобождался от забот, ново-мариинская суета в этом громадном и чистом пространстве казалась мелкой, никому не нужной. словно душа очищалась от ржавчины, от угольной копоти. И к каюрам он теперь относился почти с уважением.

Останавливались еще несколько раз, но не укладывались на ночлег. Куркутский объяснил утомленному Бессекерскому, что лучше ехать до самого Узькаля, пользуясь хорошей погодой.

— Однако потом задует так, что в снегу придется хорониться,— предостерегал Куркутский.— Спальные мешки отсыреют, и мерзнуть будем.

Дороги не было, каюры посреди ночи вдруг останавливали нар-

ты, отходили в сторону и о чем-то совещались, поглядывая на звезды, жестикулируя, махая в разные стороны тяжелыми палками с железными наконечниками, называемыми остолами.

— Никак по звездам путь определяете?— с удивлением спросил Бессекерский Куркутского.

— По нем,— кивнул каюр.— Тымнэро хорошо знает небо. Дошел, оннако. Будто живал там да ходил между ними.

На остановках Бессекерский приглядывался к этому дикому астроному, смущая его пристальным взглядом.

— Чего он так на меня смотрит, будто съест хочет?— пожаловался на тангитана Тымнэро.

— А что?— встрепенулся Куркутский.— Они могут и сожрать человека. Дай им только волю. Торговец ничем не брезгует.

Тымнэро вспомнил старые сказки о кэле-людоедах. Будто они обличьем похожи на человека, входят в доверие, но в один прекрасный день нападают на человека и выгрызают у него печень. А вдруг Бессекерский из тех?.. Кто может поручиться за тангитана?..

Тымнэро радовался, что торговец едет не на его нарте — все-таки спокойнее, хотя груз и тяжеловат.

В Уэлькаль прибыли ранним пасмурным утром.

Жалкая кучка яранг сгрудилась на мысу, и этот крохотный на огромном прострaнстве уголок живой жизни вызвал бурную радость в сердце Бессекерского. Должно быть, так радуются моряки, пересекающие Тихий океан, при виде земли.

У крайней яранги собрались встречающие — эскимосы Уэлькаля. Бессекерский не отличал их от чукчей, и ему было все равно, кто они. Главное — это были живые люди, улыбающиеся, приветливые, радующиеся приезду гостей. Многие из них хорошо говорили по-чукотски. Они слышали о Тымнэро, а Куркутского видели не в первый раз.

Гостей отвели в самую большую ярангу Уэлькаля, где жил местный старейшина.

Бессекерский перешагнул порог эскимосского жилища и оказался сначала в холодной части, где помещались собаки, а по стенам стояли деревянные бочки с припасами. В ноздри ударил густой запах прогорклого тюленьего и китового жира.

Торговцу пришлось сделать над собой усилие, чтобы пройти дальше, к меховому пологу.

— Лучше здесь скинуть верхнюю кухлянку,— подсказал Куркутский.

Бессекерский послушно снял сначала матерчатую камлейку, защищающую мех кухлянки, а затем и саму кухлянку. В нижней пыжиковой он головой вперед как бы нырнул в полог, в еще более густую атмосферу острых запахов мочи, жира и человеческих испарений.

Внутреннее помещение было довольно просторным. Три жирника горели ровным пламенем, освещая и отепляя меховой полог, сшитый из добротных оленьих шкур. Задняя и две боковые стенки были распялены специальными тонкими рейками, сплетенными между собой. Эти распялки увеличивали объем жилища, создавали впечатление простора. Над меховой занавесью в потолке находилось отверстие, и оттуда ощутимо тянуло свежим морозным воздухом.

Бессекерский с любопытством оглядывался в пологе, постепенно привыкая и к воздуху и к тесноте, но еще более к голым обитателям жилища — женщинам и ребятишкам. Женщины с голыми грудями, в тонких набедренных повязках хлопотали по хозяйству, выскакивали в холодный чоттагин, что-то вносили и возбужденно переговаривались. Чумазые ребятишки, смачно шмыгая носами, с робостью и любо-

пытством смотрели на торговца, обливающегося потом в жарком пологе.

— Разоблачайтесь, мольч,— посоветовал Куркутский.

Он уже скинул с себя все и остался нагишом, разделся и Тымнэро.

Пришлось и Бессекерскому раздеваться, но он все же оставил на себе исподнее, поразившее белизной обитателей яранги.

Подали угощение в длинном деревянном корыте. Это был копальхен — моржовое мясо с кожей и жиром, специально сохраненное в выдолбленной в мерзлоте яме. Копальхен слегка подгнил, но и гости и хозяева ели его с величайшим наслаждением.

— Тангитан копальхеном брезгует,— с видом знатока заявил Куркутский.— Молодую нерпу попробует... Генрих Маркович, советую вам покушать горячего нерпичьего мяса.

Мясо Бессекерскому подали в отдельной миске.

Торговец впервые ел нерпятину. Вкус был непривычный, да и мясо на вид было необычным — темным и очень волокнистым.

Но после долгой еды всухомятку на стылом ветру приятно было взять в рот истекающее соком горячее сытное мясо. Незаметно для себя Бессекерский съел все мясо и тут же получил добавок — хорошо сваренные ребрышки, которые он ел, уже смакуя и не торопясь.

Каюры и хозяева в один миг уничтожили корыто горячего мяса. Некоторое время в пологе слышалось лишь чавкание, стук ножей о деревянные борты корыта.

После мясной пищи началось долгое чаепитие, благо была заварка, привезенная гостями.

Ребятишки с вождением смотрели, как Бессекерский хрустел белым сахаром. Торговец, поколебавшись, отдал хозяйке полого довольно большой кусок, который тут же был расколот на мельчайшие кусочки и поделен между всеми присутствующими. После чаепития большинство вынуло изо рта эти жалкие кусочки сахара для следующего раза!

Никогда и нигде Бессекерский не спал таким глубоким и сладким сном, как в пологе эскимосской яранги в Уэлькале. Скажи ему кто-нибудь об этом еще дня три назад — не поверил бы, посчитал бы за глупую шутку. Но именно так и было. Несмотря на то, что в пологе плотно набилось людей, торговцу как почетному гостю был отведен угол у задней стены полого, рядом с главным жирником. Здесь ему была постлана белая оленья шкура.

На следующее утро начался торг.

Покупателем был молодой эскимос с разноцветными глазами. Говорили, что он самый искусный охотник на белого песца. Товар был у него отменный, шкурки самого высшего сорта. Бессекерский сразу это заметил, как только парень вывалил ворох прямо на земляной пол чоттагина.

Парню требовался мелкокалиберный винчестер.

Бессекерский достал винчестер, блестящий смазкой, и заметил через переводившего Куркутского:

— Совсем новенький, еще нестрелянный...

Чоттагин был освещен неярким зимним дневным светом от дымового отверстия и жировым светильником.

Парень взял винчестер, обтер излишек смазки куском меха и стал прилаживать к себе. Оружие ему нравилось, хотя он и старался выказать равнодушье.

— Сколько же это будет стоить? — спросил наконец эскимос, обращаясь не к торговцу, а к Куркутскому.

Однако Бессекерский понял вопрос, отобрал у парня винчестер, поставил его на пол и сказал:

— А вот клади сюда шкурки — и видно будет, сколько стоит оружие.

Он показал на место возле приклада.

Парень начал складывать друг на друга песцовые шкурки. Они были легкие, пушистые, невесомые. Когда последняя шкурка оказалась на уровне мушки, Бессекерский криво улыбнулся и положил дрожащую ладонь, примяв пушнину. Вздох возмущения пронесся по яранге, все, затаив дыхание, наблюдали необыкновенный торг.

— Клади еще! — возбужденно сказал Бессекерский. — За патроны!

— Если за патроны — то можно, — тихо согласился растерявшийся было парень.

Торг был окончен. Вместе с винчестером эскимос получил два железных запаянных ящика с патронами.

Больше желающих покупать оружие не оказалось. Спрашивали табак, чай, муку или же огненную веселящую воду. Водка у Бессекерского была, но не так много, чтобы торговать. Он держал ее всегда при себе, никому не доверял, но сам не пил и даже каюров не угощал.

Дав отдохнуть собакам; набрав копальхена для собачьего корма, выехали дальше на север.

Первая удача окрылила Бессекерского, и всю дорогу до следующего селения он строил планы на будущее — устроить развозной торг по всей Чукотке. Нанять хороших каюров — вот таких, как Тымнэро и Куркутский, купить хороших собак, запастись кормом, чтобы собаки не голодали. А еще лучше — создать особые кормовые пункты во всех селениях по маршруту, заранее договорившись с охотниками. Скажем, приехал в тот же Уэлькаль Тымнэро, и тут у него в особой яме лежит копальхен — и собакам корм и каюры еда... Жаль, не удалось организовать транспортную компанию. Но все еще впереди. Если взять в руки морской и собачий транспорт на Чукотке — можно такую прибыль огребать, что там цена за винчестер! А простора для торговли тут достаточно, и изменений в чукотском обществе не предвидится на многие тысячелетия вперед. Все тут застыло скованное холодом. И эти дикие обычаи, нравы, привычки. Здешний человек привязан или к морю, или к тундре. Море дает ему пищу: моржа, кита, лахтака и нерпу. Шкуры этого зверья идут на одежду, постройку жилища, лодок. Жиром отапливается тесное, но теплое жилище. Точно такую же роль для тундрового жителя играет олень...

Конечно, для организации транспортной компании нужны деньги. И деньги немалые. Одному это дело не поднять. Значит, надо собирать деловых людей.

Эх, не было бы этого неопределенного положения в России! Черт знает что там творится! Революция, царские генералы, а теперь, сказывают, японцы и американцы высадили свои войска во Владивостоке и на европейском Севере России. Тогда чем держится Ленин?

Иногда, размышляя, Бессекерский до того увлекался, что начинал говорить вслух, жестикулировать, и тогда Куркутский останавливал упряжку и заботливо и встревоженно спрашивал торговца:

— Доспел, что ль? Облегчиться хочешь?

Бессекерский вставал и медленно шел за ближайший торос. Время от времени все же надо было двигаться, чтобы размять затекшие ноги, разогнать застоявшуюся кровь. неподвижный морозный воздух раскалял лицо, проникал через одежду. Каюры во время движения то и дело соскакивали и бежали рядом, держась одной рукой за большую высокую дугу посередине нарты. Короткие перебежки разогре-

вали так, что Тымнэро снимал малахай и бежал с заиндевельными волосами, словно неожиданно поседевший.

Чукча все больше возбуждал любопытство у торговца. Он был, видать, очень религиозен и время от времени останавливал свою упряжку и приносил жертвы морским богам на приметных мысах или возле открытой полыньи.

— А что же ты не молишься? — спросил Бессекерский Куркутского.

— У нас, чуванских людей, своя вера, отличная от дикой, — с достоинством ответил Куркутский.

— Какая же эта ваша вера?

— Православная.

Бессекерский удивился.

— Ить-то верно. Мольч, мы-то от русских приходим, и вера наша православная... Гляди-ка.

Куркутский выпростал руку из большой оленьей рукавицы, пошарил за пазухой и вытащил на мороз облепленный оленьим волосом металлический крестик.

— Хрещеный я в отличие от него, дикоплешего, — сказал Куркутский, кивнув в сторону Тымнэро. — Однако ихнего бога уважаю. Тоже нужный в нашем каюрском деле, особливо когда вот так надолго едешь.

— Вот он молится и жертвы богам приносит, а ты-то что? — с легким упреком сказал Бессекерский.

— Наш-то православный бог в здешнем месте, оннако, мерзнет, — добродушно ответил Куркутский. — Нету совсем у его силы тут, дошел оннако.

— Чудно ты говоришь, — усмехнулся Бессекерский, — словечки какие-то свои.

— Русские, — серьезно заметил Куркутский.

— Послушай, а пробовали чукчей склонить к православию? — после раздумья спросил Бессекерский.

— Пробовали.

— И что же?

— Разве может дикий человек понять православную веру? Так уж устроено — у каждого своя вера, и нечего смешивать. Они же самого простого не понимают и переворачивают по своему дикому разумению. Встрел я на Хатырке одного чукотского оленевода. Крест носит на груди, и образ богородицы у него в яранге, перемазанный кровью и жиром... Кормил, как ихнего бога, — пояснил Куркутский. — Жертвоприношение давал, сырым мясом в священный лик тыкал... Кормил и грешил тут же...

— Как грешил? — с любопытством спросил Бессекерский.

— Богохульно, — с возмущением произнес Куркутский. — Чтобы, значит, в ад попасть после смерти.

— В ад? — удивился Бессекерский.

— Туды прямь, — кивнул Куркутский. — Прослышал он, что в аду, значит, вечный огонь горит, котлы с кипящей водой. Ну и говорит мне — туды хочу после кончины. А то ведь всю жизнь в холоде да на морозе, хоть согреюсь во веки вечные... Одно слово — дикоплеший и никакого понятия о священности не имеет.

Ехали уже целый день, и холод подступал со всех сторон, пробираясь понемногу под меховую кухлянку, в рукавицы.

Да уж ад после такого холодища раем может показаться...

Тымнэро все чаще останавливался и шептался с богами.

Потом подошел к Куркутскому и показал на небо.

— Что он сказал? — спросил Бессекерский.

— Пурга будет,— сердито ответил Куркутский.— Мольч, в тундре заночевать придется.

— Стойбище близко?

— Не видать и не слышать... В снегу зароемся и переждем,— уныло произнес Куркутский.

Сначала закурились, задымились сугробы и заструги, и усилившийся ветер заставил напялить на малахай капюшон, отороченный росомашьим мехом. Закурчавилась шерсть на собачьих спинах, пушистые хвосты стало заворачивать, и след от передней нарты на глазах заполнялся мелкой снежной пылью.

Горизонт, такой далекий, необъятный, сузился, придвинулся к собачьему каравану, и весь видимый мир стал серым, тусклым и словно сплюснулся.

Скорость замедлилась, но ехать еще можно было, и собаки, преодолевая ветер и снег, шли вперед, неизвестно как находя направление.

Ветер с каждой минутой усиливался, воздух уплотнялся, дышать становилось труднее. Поднимался страх. Казалось, огромный снежный зверь заглатывал все вокруг — сначала дальние синие горы, морские торосы, скалистые мысы, служившие ориентирами, само звездное небо и вот теперь самих путников вместе с их собаками.

Собаки пошли шагом. Потом каюры стали помогать им, вцепившись в дуги.

Бессекерский думал, что и ему надо бы сойти с нарты, но эта мысль терялась среди нарастающего страха, сковывающего все тело.

Иногда порывы ветра загоразживали снежной стеной впереди идущую нарту, словно она проваливалась в неожиданно возникшую пропасть.

Но вот собаки остановились, зарылись в снег, и их тут же стало заносить снегом.

— Доспели! — крикнул Куркутский, вкладывая в это универсальное чуванско-русское слово новый смысл.— Мольч, будем здесь пережидать пургу.

— А ехать дальше никак нельзя? — слабо спросил Бессекерский.

— Кудысь-то дальше ехать? — ответил Куркутский.— Гляди — спереду, окромя снегу, ничего не видать. А как пурговый черт начнет водить, может и в пропасть завести. Тутешние обрывы страх какие коварные — снежные шапки на них висят. Едешь-едешь, да вдруг под тобой и обломится. И полетишь, мольч, прямо в воду... И доспеешь.

Тымнэро прошел немного вперед, вправо, влево, вернулся к нартам и сказал Куркутскому:

— Здесь и остановимся.

Каюры сгрудили собак, сделав из них круг, посередине которого и поместили нарты.

Потом принялись сооружать убежище от ветра и летящего снега: вырезав снежные кирпичи, выложили стены и натянули на них большой кусок брезента, наподобие палатки.

Стало теплее, и Куркутский пояснил Бессекерскому, что в пургу обычно так и бывает.

— Однако сырость будет одолевать потом,— мрачно заметил Куркутский.

Он заставил Бессекерского, прежде чем тот забрался в убежище, тщательно очистить от снега всю одежду, выколотить торбаса и меховые штаны.

Брезент над головой хлопал и прогибался под тяжестью налипающего снега. Изнутри он скоро покрылся сырой изморозью, и закала студеная вода.

Куркутский приволок примус и ухитрился зажечь его под защитой снежной стенки.

После еды и горячего чая на душе у Бессекерского посветлело, и он заснул под нарастающий вой пурги.

Задремали и каюры, спрятав на животах руки и положив туда же сушиться отсыревшие рукавицы.

Пурга бесновалась на огромном пространстве от косы Мээчкын до Уныина. Она заставила схорониться все живое, летающее, ползающее в норах, в расщелинах, в ярангах и редких деревянных домиках.

Ухкахтак прислушивался к вою ветра, хлопанью моржовых кож на своей яранге, и сердце у него сжималось от страха за деревянный домишко, поставленный прошлым летом.

Старейшина уныинской эскимосской общины возвысился и разбогател благодаря необъяснимо выросшему спросу на китовый ус. Ухкахтак хорошо знал скопления морских великанов в мелководном Мечигменском заливе. Киты оказывались там в настоящей западне. Издревле те места считались священными, и китов там били только в редких случаях, потому что здесь появлялось на свет новое потомство.

В погоне за китовым усом Ухкахтак нарушил священные предписания шаманов, однако вместо ожидаемой кары богов получил вполне осозаемое земное богатство.

Домик, выстроенный из тонких корабельных реек, с крутой двускатной крышей и дверными ручками из белого фарфора, поначалу казался чужестранцем, вылезшим на берег и затесавшимся в толпу приземистых эскимосских нынлю²⁸. Но осенние ветры и пурги навели серый налет на дерево, и он стал таким же неприметным, как яранги на берегу мыса Чаплина.

В домик, однако, Ухкахтак не торопился переселяться, хотя любил все американское — от кофе до большого барометра, который лучше и точнее шамана предсказывал погоду. Он боялся, что родичи, и так начавшие коситься на него, могут посчитать переселение за окончательную измену эскимосскому народу.

В своей яранге Ухкахтак держал множество диковинных вещей и в том числе большой граммофон. В тихие дни Ухкахтак выставлял в дверь широкую деревянную трубу, и по вечернему селению плыла музыка дальних и неведомых стран.

И сейчас в вое пурги ему чудились хриплые голоса негритянских певцов, завывания металлических труб, которые он видел в многочисленных своих поездках в Ном и Сан-Франциско.

Этот ветер не давал ему спать уже несколько ночей. Не выдержав, Ухкахтак одевался и, пробив лопатой сугроб, выползал в воющую и крутящуюся снежную темень, пробирался к домику и входил внутрь. Он зажигал свечу и оглядывал внутренность холодного домика, белые заицдевелые шляпки гвоздей, полки с разным товаром и кипами пыжиков, висящие на отдельном большом вешале шкуры белых медведей.

Домик сопротивлялся ветру, и Ухкахтак обращался к богу-охранителю с молитвой помочь устоять деревянному жилищу, удержаться на земле. Если домик устоит и сохранится все его содержимое, то можно подумать и о покупке шхуны — своей великой мечте.

Обследовав домик, Ухкахтак уходил в ярангу и принимался за долгое чаепитие, прислушиваясь к вою ветра.

²⁸ Полуподземные эскимосские жилища {эск.}.

На седьмой день, сраженный усталостью, Ухкахтак заснул мертвым сном и проснулся от тишины.

Настороженные уши не уловили ничего, кроме сонного дыхания домочадцев.

Ветер утих.

Ухкахтак поднялся с оленьей шкуры, торопливо оделся и вышел из яранги.

Снега были залиты ярким лунным светом. Они блестели и переливались, и яркие звезды, усыпавшие небо, дрожали от неслышимого вечного ветра вселенной.

Домик стоял, возвышаясь над занесенными снегами нылю, гордый, одинокий, и лишь с одного боку притулился к нему новорожденный сугроб.

Ухкахтак взял лопату — китовую кость, насаженную на черенок, и принялся откапывать вход в домик, далеко отбрасывая сухой мягкий снег.

Откопав дверь, он стал откидывать снег от стен, чтобы открыть дерево ветру. Он лелеял этот маленький домик, как любимую девушку, невесту, до которой еще не смел дотронуться. Он был для него символом другой жизни, к которой Ухкахтака вела тропа денег, тропа богатства.

В прошлом году с последним рейсом гостил у Ухкахтака сам Олаф Свенсон. Знатный американский гость даже заночевал в новом доме эскимоса и очень хвалил его предприимчивость и умение торговать. «Мы, деловые американские люди, — говорил Свенсон, — радуемся, когда местные люди берутся за дело. Кому как не им заниматься торговлей среди своих соплеменников? Им и доверия больше, и нужды земляков они знают лучше». И всемогущий и мудрый Олаф дал большой и очень выгодный кредит именно Ухкахтаку, а не торговцу Гулиеву, прозванному чукчами за его худобу Купкылином. Этот Купкылин пытался распространить свое влияние на весь берег между Энмыленом и Янракинотом, где жили и чукчи и эскимосы. В бухте Эмма стоял торговый домик Чарльза Томсона, но очень небольшой и плохо управляемый. Тамошний торговец, прозванный Красноносый, пил от первого снега до открытой воды, а на его территории хозяйничал бывший его приказчик Гулиев, перешедший, как и многие другие кавказские люди Чукотки, из Аляски через Берингов пролив.

Теперь Купкылин был вытеснен в район Янраная и там налаживал торговлю среди бедных охотников на морского зверя и малооленьных тундровиков.

В тишине звездного утра в голову приходили хорошие, ясные мысли. Надо будет потом вывесить всю пушнину на ветер — нет лучшего обработчика нежного меха, чем легкий морозный тундровый воздух! Мех от него становится легче воздуха, легче самого легкого дыхания! И медвежьи шкуры, которые в последние годы вошли в цену, только лучше становятся от стужи.

Очистив от снега стены деревянного домика и принимаясь откапывать вход в ярангу, он услышал дальний собачий лай: кто-то приближался с южной стороны к Уныину.

Насторожились и заволновались уныинские псы, но еще не поднимали ответного лая, прислушиваясь.

Вот залилась одна у крайней яранги, залаяли другие, и уже весь Уныин был охвачен неистовым собачьим лаем, из яранг выскакивали люди, зажглись огоньки — плавающие в тюленьем жире моховые светильники.

Ухкахтак встал на высокий сугроб и всмотрелся в освещенную лунным сиянием снежную даль.

Две упряжки приближались к Уныину.

Странные это были путники. Они ехали медленно, и, похоже, собаки их шли из последних сил.

Сопровождаемые лающей сворой уныинских собак, две нарты подъехали к яранге Ухкахтака и остановились. С передней нарты сошел чукча, а с другой двое, похоже что не чукчи. На них были дорожные камлейки поверх кухлянок.

— Еттык,— сдержанно по-чукотски приветствовал прибывших Ухкахтак.

— Ии,— ответил первый каюр.

Куркутский подал руку и сказал по-русски:

— Здравствуй, Ухкахтак, не признал меня, моляр?

— Какомэй Куркут! — обрадованно воскликнул Ухкахтак.— Эй, распрягите и накормите собак!

Молодые эскимосские парни бросились к нартам, а гостей Ухкахтак повел в свою ярангу.

— Это наш ново-мариинский торговец Бессекерский,— сказал Куркутский, показывая на своего спутника.— Сильно он замерз.

На торговца страшно было смотреть. Он весь посинел от холода, мелко дрожал, а губы до того распухли, что он слова не мог вымолвить. Он только жалобно мычал и глазами показывал на полог, как бы прося поскорее впустить его в тепло.

Женщины стали его осторожно раздевать, сняли камлейку, кухлянку и торбаса.

Бессекерский вполз в полог, где его окончательно раздели и закутали в пыжиковое одеяло. Боль в суставах не проходила. Кровь от тепла разгонялась сильнее, стучала в кончиках пальцев ног и рук, обжигая застывшую кожу. И боль и блаженство смешались, и Бессекерский стонал с закрытыми глазами, чувствуя, что жив, что нет сильных обморожений, если не считать внутреннего холода.

Тымнэро и Куркутский беседовали в чоттагине с Ухкахтаком, жадно глотая мерзлую нерпичью печенку, которую истолкла в каменной ступе хозяйка.

— Непривычен он к холоду,— с сочувствием рассказывал Тымнэро.— Сидит как колода на нарте, не бегаёт. Вот кровь и застывает, а потом трудно разогнать её.

— Тангитаны все такие,— заметил с небрежностью Куркутский, забыв, что он им родич.— Я возил начальника уезда Царегородцева, так он точно так же сидел, не вставал с нарты. Будто примерзал. Едешь ли по равнине или в гору, даже не пошевелится.

— Плохо приспособлен тангитан к нашей жизни,— повторил Тымнэро.— Все у нас для него худо — и еда наша, и одежда, и жилище... Вот только не понимаю, как они там у себя живут?

— Живут и плодятся,— отозвался Ухкахтак.— Иначе откуда к нам столько народу приезжает? Старики раньше думали, что белый человек рождается на корабле, потому что наш народ их только на воде и видел... Но я бывал в американских городах... Туча народу! И все разные. И совсем черные, как закопченное дерево, и желтые, и белые. Всех цветов и языков народы...

— Много пород? — с любопытством спросил Тымнэро.— Наверное, как летом птиц?

— Уж точно,— кивнул Ухкахтак.— И все куда-то спешат.

— К еде небось,— сказал Тымнэро, загребая горсть измельченной, застывшей до каменной твердости нерпичьей печенки.

— Может, и к еде,— задумчиво сказал Ухкахтак.— Они на этот счет большие мастера. Дома у них особые устроены, и толпами поглощают еду при ярком свете, а то иной раз и при музыке.

— А зачем им свет и музыка? — с любопытством спросил Тымнэро.

— Коо,— по-чукотски ответил Ухкахтак.— Может, чтобы кто-нибудь лишнего не хватил.

— Думаю, из-за рыбы,— заметил Куркутский.— Они любят речную мелкокостную рыбу. При тусклом освещении трудно из мяса косточки выбрать, вот и едят эту рыбу при ярком свете.

— Торговать будет ваш тангитан? — осторожно осведомился Ухкахтак.

— Это его дело — очухается, сам скажет,— небрежно бросил Куркутский.

Именно это больше всего и беспокоило Ухкахтака. Он не любил, когда кто-нибудь другой торговал в его владениях.

— Какой у него товар?

— Оружие,— ответил Куркутский.— Другого у него нет. Чуток есть дурной веселящей воды.

— И ружья и водка у меня есть,— сказал Ухкахтак.— Так что пусть едет дальше.

В чоттагин вышла озабоченная женщина и что-то сказала по-эскимосски Ухкахтаку.

— Нога у него плохая,— перевел хозяин.— Палец почернел, отрезать придется.

— Какомэй,— встревоженно сказал Тымнэро.— А не помрет?

— Чего помирать? — махнул рукой Ухкахтак.— Вон в Энмыне канадский человек Сон живет, так он без обеих рук. И ничего. Женится, детишек наплодил. А тут палец на ноге. Серо сделает, он умеет.

Куркутский вполз в полог, чтобы поглядеть ногу торговца и посоветоваться с ним.

Бессекерский лежал у заднего жирника, укрытый одеялами из пыжика, и постанывал с закрытыми глазами.

— Как ваше благородие Генрих Маркович? — осторожно дотронувшись до плеча торговца, спросил Куркутский.— Доспел?

— Отогреваюсь,— высунувшись из-под одеяла, ответил Бессекерский и слабо улыбнулся.— Боль изнутри так и течет, так и течет...

— Мольч, резать придется твою ногу,— напрямик сказал Куркутский.

— Да ты что? — На лице Бессекерского отразился ужас.— Ты что, всерьез?

— Женщина сказала.— Куркутский придвинулся к Бессекерскому.— А ну покажь-ка ногу.

Бессекерский выпростал из-под оленьего одеяла ноги, и Куркутский тщательно обследовал их, брезгливо дотрагиваясь до черной кожи.

— Мольч, она правду сказала,— озабоченно заметил Куркутский.— Левый палец совсем доспел. Если не отрезать сей день, завтра придется всю ногу коротить.

Бессекерский посмотрел на почерневшую ногу, сам потрогал палец и вдруг заплакал. Он всхлипывал без голоса, только вздрагивали плечи, пугая каюра.

— Принеси канистру,— попросил он Куркутского.

Куркутский снял с нарты запас дурной веселящей воды, принес в полог вместе с железной кружкой. На деревянной дощечке внес кусок нерпичьей печенки.

Куркутский нацедил спирту и подал Бессекерскому. Торговец выпил сразу, даже не поморщившись. Только слезы обильнее потекли из мутных глаз.

— Печенкой закусите, ваше благородие.— Куркутский протянул дощечку со слегка подтаявшим куском печенки.

Бессекерский съел печенку и попросил еще. Насытившись и выпив еще кружку спирта, он спросил:

— А человек-то хоть надежный?

— Сказывают, большой мастер,— успокоительно заверил торговца Куркутский.— Режет будто чурку строгают.

К приходу местного лекаря Серо Бессекерский был мертвецки пьян. Его даже особенно и не пришлось держать: Серо привычным, резким движением отсек почерневший палец точно по суставу. Брызнувшая темная кровь окрасила белый олений мех и быстро засохла, склеив ломкий олений волос. Серо перевязал рану хорошо выделанным лоскутом замши.

— Не развязывать, пока сама повязка не отвалится,— сказал он на прощание и вместе с шестилетним сыном, который, к удивлению Тымнэро и Куркутского, помогал отцу, ушел из яранги, взяв в качестве платы за операцию бутылку дурной веселящей воды.

Когда Бессекерский немного выздоровел и начал интересоваться окружающим, Уххактак через Куркутского дал ему понять, что торговать ему здесь не придется, а лучше подумывать, как ехать дальше.

Впереди вокруг фиордов бухты Эмма лежали нищие селения...

Зима 1918 года в Ново-Мариинске отличалась свирепыми метелями и новостями, сбивавшими с толку коммерсантов, новоявленных чиновников и углекопов.

Радист не знал, куда деваться от любопытствующих. Даже в пургу они пробирались на холм и набивались в тесную рубку. Вели себя тихо, задерживали дыхание и с благоговением смотрели на мерцающую лампочку, прислушиваясь к неземному писку и ожидая, что скажет радист.

Но Асаевич молчал. Комитет общественного спасения — Совет недавним решением был отменен, хоть состав остался прежним,— постановил считать все телеграммы, принятые ново-мариинским радио, секретными, и радисту было объявлено, что их разглашение будет рассматриваться как тяжкое преступление.

Перепуганный Асаевич сначала попытался объявить радио неисправным, а потом потребовал поставить у дверей радиостанции вооруженную охрану. Однако охранники, назначаемые по добровольному желанию, в конце концов выводывали у слабохарактерного Асаевича содержание телеграмм, а потом разносили по Ново-Мариинску.

Никогда еще в этом далеком краю не пили так много и мрачно. Холода держались упорно, лебедка так и не работала на шахте, и фунт угля стоил почти столько же, сколько фунт муки... Каюры не престанно курсировали между Ново-Мариинским постом и угольными копами. Местные упряжки с отъездом Тымнэро и Куркутского не справлялись с перевозками, и из Уэлькаля приехали два эскимоса.

Милюнэ не держала, как обычно, огонь до утра. Печка гасла после вечерней топки, и ее приходилось разжигать заново рано поутру.

Сине-красная заря вставала над островом Алюмка, и с ледового океана тянуло мертвящей стужей. Холодный ветер подхватывал остывший печной пепел и уносил его вдоль улицы уездного центра. На реке Казачке с пушечным выстрелом трескался лед.

Милюнэ возвращалась в домик, расщепляла острым ножом лучинки и складывала на очищенные колосники. Когда занималось дружное и яркое пламя, она осторожно клала на него несколько кусков угля и быстро ставила на плиту небольшой чайник. В целях экономии самовар кипятили изредка, когда наведывались редкие гости.

Ждали лета.

— Нынешним летом все должно решиться,— сказал как-то после долгого раздумья Иван Архипович Тренев.— Похоже, что адмирал Колчак всерьез взялся за умиротворение России. Да и союзники у него солидные — Америка да Япония.

Собеседником Тренева был Грушецкий, втихомолку радующийся отъезду своего конкурента Бессекерского.

— Авантюрист! — говорил про него Грушецкий.— Вечно у него какие-то несбыточные планы, прожекты... Компании. Общества с несуществующими капиталами... Аферист. Я не удивлюсь, если он вернется в Ново-Мариинск с нераспроданными ружьями.

Тренев остерегался обсуждать с Грушецким внутреннее положение Чукотского уезда и тем более Ново-Мариинского поста.

— Адмирал Колчак,— говорил Тренев,— человек культурный и образованный. Он кидаться в авантюру не станет.

— Да речь не о нем,— отмахивался Грушецкий.— Я говорю о нашем путешественнике Бессекерском...

— Мы ничего не можем о нем сказать, пока он не вернется,— вмешалась в разговор Агриппина Зиновьевна.— А может, они возьмут и переедут Берингов пролив!

— Зимой Берингов пролив непроходим,— уверенно заявил Грушецкий.— Только очень опытные каюры или жители Наукана умеют уловить такое время, когда лед стоит. Но это бывает очень редко и не всякий год.

— Ну уж в этом-то году пролив наверняка замерз,— зябко кутаясь, заметила Агриппина Зиновьевна.

— Ну что Бессекерскому делать в Америке?— с оттенком ревности проговорил Грушецкий.— Он здесь-то не может наладить свои дела... Вернется, если не замерзнет... Вы мне, Иван Архипович, про Колчака поподробнее расскажите... Что-то о нем ранее не слышать было, откуда он взялся? Вроде и фамилия у него не царская.

— Да я сам про него знаю только, что он ученый адмирал. Северные берега описывал...— промямлил Тренев.— Американская станция передавала телеграмму о нем... Только знаю, что собрал он вокруг себя верных монархии людей.

— Царскую власть будет восстанавливать?

— А что же еще?— пожал плечами Тренев.— С демократией не получилось, придется к старому возвращаться.

— Бедная Россия!— вздохнул Грушецкий и засобирался домой.

Милюнэ помогла надеть просторную кухлянку, оленьи рукавицы и сама собралась к Тынатваль.

Несмотря на жесточайшие холода и нужду, в яранге продолжалась жизнь. Тынатваль наловчилась шить теплые унтыки, которые в Ново-Мариинске в эти студеные дни шли нарасхват. Милюнэ взяла у подруги пару меховых унтыков и предложила своим хозяевам. Они понравились и Агриппине Зиновьевне и Ивану Архиповичу. Для стылого пола тангитанских жилищ лучше и нельзя было придумать.

Тынатваль не знала, сколько стоят унтыки. На глазок определили цену — примерно стоимость полплитки кирпичного чаю. Иногда брали сахаром, крохотным кульком муки...

А нужен был тюлений жир да рыба кормить оставшихся собак. Тогда предприимчивая Милюнэ сказала хозяевам о том, что бы хотелось Тынатваль за свою работу.

— А пусть она весь товар отдаст мне,— предложил Тренев.— А уж жиру и всего остального продукта я достану столько, сколько надо... Кончится материал — дам ей свой.

С той поры Тынатваль не знала нужды и голода.

Не разгибаясь с утра до позднего вечера, шила мех, украшала вышивкой, нанизывала цветной бисер и белый олений волос на оленьи жилы. Перед ней белым сильным пламенем горел жирник, согревая и отепляя полог. Над пламенем висел чайник, а в углу были аккуратно сложены чай, сахар, сушеная рыба.

— Вот бы Тымнэро увидел это! — с грустью говорила Тынатваль.

И еще было одно приятное в этом деле — теперь Милюнэ чаще приходила в ярангу и даже иной раз садилась и помогала шить.

Тренев, однако, продукцию Тынатваль не пускал в продажу среди ново-маринских покупателей.

— Слишком хороши для них, — сказал он, любуясь яркой вышивкой и пушистым мехом, оторачивающим унтыки. — В них ходить не по черному от угольной пыли полу, а по пушистым коврам, по начищенному паркету в дамских будуарах.

И Тынатваль была довольна, и Тренев — в предвкушении большого барыша за эти великолепные изделия.

Милюнэ, прикрыв плотно дверь, чтобы ветер не выдувал тепло, направилась к яранге.

Утренняя заря потухла, превратившись в довольно ясный, солнечный день. Солнце еще было низкое, негреющее и бледное, розовые лучи только подчеркивали стужу, и дальние снега казались облитыми застывшей, замерзшей жидкой кровью.

В опустевшем чоттагине Тымнэро был такой же холод, как и снаружи. Три собаки лишь на мгновение подняли морды, спрятанные в мохнатую шерсть на животах, и, узнав Милюнэ, снова уткнулись, изредка вздрагивая от пронизывающей стужи.

— Кто там? — тихо спросила Тынатваль из мехового полога.

— Это я. — Милюнэ очистила торбаса от снега и вползла в полог.

Вот уже сколько она жила в тангитанском доме, а каждый раз с радостью входила в родное свое жилище, даже когда жирники едва освещали меховое помещение. Но сегодня в пологе старой яранги Тымнэро горели три жирника, и ласковое тепло оведало обнаженное тело Тынатваль, сидящей у светлого круга большого жирника. Она была окружена лоскутками нерпичьей шкурки, оленьим волосом, заготовками лахтачьей кожи для подошв. Тут же играла самодельной куклой тихая, застенчивая девочка, дочка Тымнэро.

— Ты бы отдохнула, — попросила Милюнэ, поймав на себе усталый взгляд Тынатваль.

— Я не устала, — вздохнула Тынатваль и отложила шитье. — Только глаза иногда перестают видеть, и тыкаю иглой прямо в голый палец... Зато так радуюсь, что нашла работу! Все думаю: вот придет Тымнэро и увидит — все у нас хорошо, мы не голодали, жили в тепле. Ведь он небось думает о нас, страдает, беспокоится... Если бы весточку ему дать!

— По радио послать, — усмехнулась Милюнэ. — Или писанным разговором.

— А что, можно и писанным разговором Теневиля, — заметила Тынатваль. — Он понимает его.

— А с кем пошлешь? — спросила Милюнэ. — Да еще надо написать его, этот разговор. — Ты же не можешь...

— Да, верно, — с тихой покорностью кивнула Тынатваль и вздохнула. — Да просто устный пыньл послали бы.

— В ту сторону никто не уезжал, — сказала Милюнэ.

— И никто с той стороны не приезжал, — вздохнула Тынатваль. — Куркутские тоже никаких новостей не получали. Вот толь-

ко уэлькальские рассказывали, но ведь когда это было... Зато придет — какая будет радость!

Милюнэ трогала разноцветные лоскутки, складывала узоры...

— Как тебе хорошо! — вздохнула она. — Как, наверное, тебе хорошо! — В ее голосе слышались слезы.

— Да что с тобой, Милюнэ! — испугалась Тынатваль. — Почему ты плачешь?

— Потому плачу, что нет у меня настоящей жизни! — всхлипнув, ответила Милюнэ. — Нет у меня настоящего жилища, собственной яранги, нет истинного своего разговора... Говорю на родном языке только с тобой. Даже еда у меня чужая... Но горше всего, что нет у меня мужа, кто бы ласкал меня ночами, студил мое разгоряченное тело. Нет у меня малых детей, нет у меня беспокойства о человеке, который в пути... Неужто суждено мне прожить такую безрадостную жизнь? Нет счастья в сытом желудке. Уж куда лучше, если бы я голодала, мерзла, но была бы чьей-то женой! Вот гляжу на тебя и завидую тебе и жалею себя...

— Ну что ты, Милюнэ, — стала утешать подругу Тынатваль. — Будет у тебя еще настоящая жизнь.

— Когда она будет? — Милюнэ подняла полные слез глаза. — Почему я не умолила Теневиля взять меня второй женой?

— Теневиля хотел, чтобы у тебя было настоящее счастье.

— А где оно, это счастье? — спросила Милюнэ. — В этом Въэне, где люди подобие человеческого теряют? Где его найдешь, счастье? Все в страхе ждут чего-то... Тынатваль, ты не представляешь, в каком страхе живут эти тангитаны! Раньше они боялись своего же царя, Солнечного владыки, брата нашего Армагиргина, боялись Царегородцева, губернатора, а теперь боятся новой власти. Боялись даже Каширина и теперь радуются, что его нет здесь. Торговцы боятся друг друга — как бы не перехватил кто удачу. Отчего Бессекерский поехал с твоим Тымнэро? Боялся остаться со своим товаром... Теперь боятся какого-то Колчака, ставшего на место царя... Когда ночью ложимся спать, сам хозяин проверяет запоры, будто ждет нашествия белых медведей... Разве так можно жить? Не выдержу я... Уйду обратно в тундру. Пусть Армагиргин делает меня третьей женой.

Плечи Милюнэ тряслись от рыданий. Испуганная девочка прижалась к меховой стенке полога — она еще не видела такой всегда веселую и красивую тетю Милюнэ.

Заметив испуганную девочку, Милюнэ через силу улыбнулась, вытерла лоскутком слезы и сказала:

— Не бойся, девочка! Это я так... Слабая стала — уж очень много холода нынче зимой, промерзла насквозь, ослабела...

Она взяла несколько пар готовых меховых унтиков и ушла в свое тангитанское жилище.

Снаружи ни за что нельзя сказать, что это жилище белого человека. Самая обыкновенная яранга, нисколько не лучше, чем остальные, а может, даже похуже. Ремни, оплетающие покрывшки из моржовой кожи, кое-где разлохматились, свисали без камней — якорей. Яранга походила на небрежно одетого человека, забывшего подпоясаться тугим ремнем.

Но чукча, встретивший упряжки, вел их именно туда, утверждая, что там живет торговый человек Купкылин, тангитан кавказского происхождения, чье настоящее имя было Магомет Гулиев.

Торговец вышел из яранги и в изумлении остановился, глядя, как с нарты сходит слегка прихрамывающий Бессекерский.

— Мэй, Сульхэна! — крикнул он в глубину жилища, в черный проем двери.— Иди скорее сюда! Видать, это тот самый русопят приехал, у которого старый Серо оттяпал палец! Здорово, купец!

Магомет Гулиев подал руку, довольно крепко пожал и обратился к жене, сильно татуированной, но очень миловидной эскимоске, чем-то напомнившей Бессекерскому служанку Тренивых.

— Вот он, сам пожаловал... Слыхали мы про тебя и рады познакомиться. Это моя жена Сульхэна. Не гляди, что она туземка, она законная супруга и по нашим ингушским и по российским законам. Венчался я с ней в церкви святого Михаила на Алеутах...

Магомет Гулиев ввел гостя в свое жилище, в чоттагин такой же грязный и загаженный собаками, как и все чукотские чоттагины на протяжении долгого пути от Ново-Мариинска до Яраная.

Каюры поместились в соседних ярангах, распрягли собак и занялись починкой упряжи.

Бессекерский устало разоблачился в чоттагине с помощью Сульхэны, отдал ей все верхнее, как уже привык, и вполз в полог, предвкушая тепло и мягкость нагретых оленьих шкур.

Следом, не переставая говорить, вполз Магомет и, раздевшись, как это принято в пологе, донага, предстал перед Бессекерским во всей своей невероятной худобе. Однако в отличие от безволосых чукчей и эскимосов, на которых Бессекерский вволю нагляделся за время своего путешествия, на груди у ингуша темнела густая растительность.

Сульхэна внесла угощение — мороженое мясо, какие-то квашеные, с льдистыми прослойками листья — и все это положила перед гостем.

— Угощайся, друг, гостем будешь, — радушно потчевал Гулиев. — Жаль, вина у меня нет. Кончилось, а к соседям все недосуг съездить...

— Вино у меня есть. — Бессекерский послал за жестянкой.

Слушая балагурство Гулиева, оглядывая ярангу, внутреннее убранство, Бессекерский дивился: эскимос Ухкахтак по своим привычкам и поведению более походил на белого человека, чем этот кавказец. А ведь Гулиев, по слухам, имел достаточный капитал в сан-францисском банке и умел выжимать барыш из самых бедных туземцев. Он находил товар даже там, где по всем признакам его не должно было быть. Рассказывали, что он грабил старинные чукотские кладбища и за большие деньги продавал всякую рухлядь Музею естественной истории Смитсоновского института. Но по внешнему виду ингуш Магомет был чукча чукчей, особенно когда начинал разговаривать с женой на ее родном языке.

В пологе ползали двое чумазых красивых ребятишек.

— Мери! Алихан! — прикрикнул на них отец. — Умолкните, дайте отцу поговорить с гостем... Ну что там в Анадыре творится? Говорят, какая-то пьяная орда власть захватила?

— Да что вы, господин Гулиев! — После первого стаканчика Бессекерский почувствовал себя лучше и увереннее. — Власть в Ново-Мариинске принадлежит законно избранному Комитету общественно-го спасения...

— А Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов?

— Помилуйте, господин Магомет, откуда в чукотском краю солдаты, рабочие и тем более крестьяне? — усмехнулся Бессекерский. — Да, действительно, некоторое время комитет назывался Советом, но потом по распоряжению вышестоящих властей было возвращено старое название — комитет...

— Мне прошлой осенью американцы рассказывали, что ихнее правительство ввело эскадру в залив Святого Петра и высадило десант во Владивостоке... Якобы для охраны грузов, принадлежащих

Соединенным Штатам. Я американцев хорошо знаю — будет удобный случай, отхватят весь Дальний Восток вместе с Камчаткой и Чукоткой,— сердито сказал Гулиев.

— А нам-то что, господин Магомет?— усмехнулся Бессекерский.— Лишь бы давали торговать.

— Господин Бессекерский, вы американского человека не знаете! — воскликнул Гулиев.— Иначе я бы оттуда не уехал. В них никакого благородства нет! Вы поглядите — кто на их берегу торгует? Только «Гудзон бей» и больше никто. Это только у нас, в России, дозволено и бедному ингушу иметь свой профит. А стань эта земля американской — проглотят и вас и меня. Вы заметили, как зачистил сюда Свенсон? Он до заварухи с царем редко здесь появлялся, а тут почуял, что пахнет шашлыком... И если нам, маленьким торговцам, не будет защиты от властей — он все возьмет! У него сила и богатство. А богатство — как большая ложка. Вот мы берем своей маленькой и довольны бываем, когда до половины наполняем ее. А ведь эта половинка куда меньше ихней на донышке... Севернее меня они уж никого не пускают.

— А братья Караевы? — с беспокойством спросил Бессекерский.

— Они на грани разорения,— ответил Гулиев.— Правда, Свенсон дал им кредит, но его надо возвращать, и с немалыми процентами. Если Караевым не будет подвоза из Владивостока, уже в следующем году американцы проглотят их с великим удовольствием.

— А как быть с моим товаром?— нетерпеливо спросил Бессекерский, чувствуя, как холодок поднимается к сердцу.

— С вашим товаром лучше уезжать отсюда подальше,— мрачно посоветовал Гулиев.— Эскимосы и чукчи здешнего побережья не знают, как расплатиться за старые винчестеры, а вы будете предлагать новые да еще за немедленную плату.

— Что же мне — возвращаться назад?

— Самое лучшее,— твердо сказал Гулиев.— Тем паче скоро идут апрельские пурги. А там оттепели начнутся. Так что, господин Бессекерский, поезжайте обратно в Ново-Мариинск.

Аренс Волтер вышел на берег с биноклем, посмотрел и сказал: — Это они.

Бинокль пошел по рукам. Передавая друг другу, все соглашались с тем, что это не иначе как Бессекерский со своими каюрами.

Милюнэ прибежала в ярангу к встревоженной Тынатваль:

— Твой едет!

Подхватив девочку, Тынатваль бросилась на берег, но встала в сторонке от тангитанской толпы.

Нарты медленно подошли к гряде прибрежных торосов, пересекли ее и остановились.

С передней поднялся Бессекерский, обросший длинной бородой, исхудавший, с болезненно блестящими глазами. Оглядев толпу встречавших, он вдруг сказал громко и внятно:

— Вечная мерзлота! Ничего нет! Кругом — вечная мерзлота!

(Окончание следует)



мяти то или иное событие героической истории партии. А взятые вместе, они создают как бы обобщенный образ ленинской партии, составляют своеобразную художественную летопись пройденного ею славного пути. «...ей мы верим, в ней мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи...» — эти вдохновенные строки о партии вылились из-под пера Владимира Ильича в один из труднейших для большевиков дней — в период временного разгула реакции после июльских событий 1917 года. С какой же необыкновенной силой звучат эти ленинские слова сегодня, когда наш народ подводит итоги своих побед за шестьдесят лет советской власти, достигнутых под руководством партии, в нерасторжимом единстве с нею; когда партия сквозь бури и грозы, сквозь тяжелейшие испытания привела нашу родину к высотам развитого социализма, — к высотам, о которых могли лишь мечтать многие поколения революционеров!

«Советские люди знают: там, где трудности, — там впереди коммунисты. Советские люди знают: что бы ни случилось, коммунисты не подведут. Советские люди знают: там, где партия, — там успех, там победа! Народ доверяет партии. Он всецело поддерживает ее внутреннюю и внешнюю политику. И это удесятерляет силы партии, является для нее источником неисчерпаемой энергии». Всем своим содержанием, правдой образов коммунистов трехтомник «Рассказы о партии» еще и еще раз подтверждает глубочайшую верность этих слов Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, прозвучавших с трибуны XXV съезда КПСС.

Страницы, открывающие первый том «Рассказов», возвращают читателя в конец XIX — начало XX века, когда Ленин вместе с горсткой своих единомышленников спланировал революционеров России, вел борьбу за создание боевой марксистской партии российского пролетариата. Мы знаем, какого мужества и бесстрашия, какой неограниченной воли и железной выдержки требовала эта борьба. Владимир Ильич в те годы писал: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободному принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не отступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения».

Еще в далекой сибирской ссылке, в отрезанном от всего мира Шушенском, Ленин вынашивает свой гениальный стратегический план создания подлинно марксистской партии, партии нового типа. В основе плана — общерусская политическая газета, которая, по мысли Ленина, должна была стать надежными строительными лесами для возведения здания партии. Отбыв ссылку, Владимир Ильич с присущей ему неукротимой энергией приступает к осуществлению замысла. В декабре 1900 года в Лейпциге выходит первый номер созданной им «Искры», сыгравшей выдающуюся роль в творческом развитии марксистской революционной теории, в идейной борьбе против русского и западноевропейского ревизионизма. Под руководством Ленина «Искра» развертывает подготовку к II съезду партии.

Перед читателем оживают дни работы съезда, открывшегося в Брюсселе в июле 1903 года. Встают картины развернувшейся на съезде борьбы Ленина и его единомышленников против идейного и организационного разброда и шатаний, за единую централизованную марксистскую партию, партию большевиков. Создание такой партии, ставшей ведущей силой революционного процесса, — важнейший итог II съезда РСДРП. В этом состоит его непреходящее историческое значение.

На другой день после закрытия съезда — а завершил он свою работу в Лондоне — группа делегатов, те, кому суждено было стать первыми большевиками, по предложению Ленина направилась на Хайгетское кладбище, к могиле Карла Маркса. «Никто не произносил речей. Молча стояли вокруг могилы, обнажив головы. Сколько их тогда было? Восемнадцать человек. Горстка. Горстка русских революционеров, пришедших поклониться праху своего учителя... Впереди их ждет неистовая и жестокая борьба. Они знают, что еще долго она будет неравной, что еще

очень далека победа. Знают и то, что не все дойдут. Но не могут, не хотят свернуть с пути, который они сами избрали».

О них, этих первых большевиках, хочется сказать словами Степана Щипачева (его стихотворные строки взяты в качестве эпиграфа к одному из рассказов первого тома):

Пойдут на смерть — не предадут такие,
На сердце горячо от этих глаз;
В них светится мечта твоя, Россия,
В них молодость твоя, рабочий класс.

Партия большевиков была создана Лениным в канун величайших классовых битв в России. Страницы первого тома «Рассказов» доносят до читателя высочайший накал этих битв. 1905 год — первая русская революция, декабрьское вооруженное восстание в Москве, разгул черносотенной реакции после поражения революции; гибнут многие верные сыны партии, многие большевики брошены в тюремные застенки, загнаны в ссылку. Но партия осталась жива. Партия действовала. Апрель 1912 года — мощная волна протеста против зверского расстрела рабочих Ленских золотых приисков, начало нового революционного подъема. 1914 год — первая мировая война. На фронте и в тылу большевики терпеливо разъясняют массам грабительский антинародный характер этой кровавой бойни, ведут агитацию за превращение войны империалистической в войну гражданскую, за справедливый, демократический мир... Ленин, вынужденный жить в эмиграции, ни на день не прерывает тщательно законспирированных связей с Россией, продолжая руководство большевистскими организациями. Он незамедлительно откликается на происходящие в России и во всем мире события, вооружает партию умением глубоко анализировать процессы социального развития, искусством проникать в их классовую суть, видеть их значение в близкой и дальней перспективе.

1917 год. Февральская буржуазно-демократическая революция. Рухнуло самодержавие... Со страниц «Рассказов о партии» читателю передается волнение, охватившее Ленина при известии о революции в России. «Не сразу поверилось. Пошли на улицу глянуть воочию на экстренные выпуски газет. Да, телеграфные агентства сообщали, что в Петрограде совершилась революция, войска присоединились к восстанию, министры арестованы.

Потом ходили вдвоем по берегу Цюрихского озера. Владимир Ильич мало говорил, и то лишь отрывистыми фразами. Отдаваясь переживаниям, он непроизвольно ускорял шаг. Надежда Константиновна схватила его руку, придержала ее. Так вот, взявшись, словно молодая пара, за руки, они долго ли, коротко ли — этого память не сохранила — бродили в тот счастливый и радостный день. Мысли были поглощены Россией. Стремление действовать калило, терзало Ленина: туда, туда, скорей туда!

Долго ли ему еще придется сидеть здесь — в этом невыносимом далеке? Как, каким способом, какой дорогой вырваться в Россию?..»

Собираясь на родину, Владимир Ильич укладывает в чемодан копии четырех «Писем из далека», посланных в «Правду», и незаконченное пятое письмо. Укладывает конспекты работ Гегеля и синюю тетрадь с материалами для задуманной, но еще не написанной книги о государстве и революции. «Надежда Константиновна, уже упаковавшая свои рукописи и конспекты, теперь занятая укладкой белья, видит эту тетрадь Ильича:

— Ужасно хочется написать... Да?

Ленин мгновенно отвечает:

— Нет!

Крупская удивлена. Он подается к ней, почти касается губами ее уха, не закрытого короткой прической, и, понизив голос, признается:

— Ужасно хочется это проделать!»

...Тысячи питерских рабочих, солдат, моряков Балтийского флота с воодушевлением встречают своего вождя на площади перед Финляндским вокзалом. Ленина подняли на башню броневика.

— Да здравствует социалистическая революция! — провозгласил он с этой необычной трибуны, выхваченной из ночной тьмы яркими лучами прожекторов.

А на следующий день в своих Апрельских тезисах Владимир Ильич с необыкновенной глубиной теоретически обосновывает перед партией, перед рабочим классом курс на победу социалистической революции в нашей стране.

...Мы перелистываем страницы «Рассказов о партии» как страницы нашего прошлого. Шесть десятилетий отделяют нас от той исторической октябрьской ночи 1917 года, от штурма Зимнего, когда опоясанные пулеметными лентами рабочие-красногвардейцы, революционные матросы и солдаты бросили в лицо министрам буржуазного Временного правительства:

Которые тут временные?
Слазы!
Кончилось ваше время...

Да, в ту незабываемую ночь в России навсегда кончилось время капиталистов и помещиков. К власти пришел настоящий хозяин страны — честный труженик, творец всех материальных и духовных ценностей. За революцией, за рабочим классом и его боевым авангардом — партией большевиков пошли широчайшие массы трудового народа, все передовые люди науки и культуры.

Победившая в нашей стране пролетарская социалистическая революция стала главным событием XX века, коренным образом изменившим ход развития всего человечества. Началась новая эра мировой истории — эра крушения капитализма и утверждения светлого мира социализма.

Пройдут века, пройдут тысячелетия, но никогда не померкнет в памяти новых и новых поколений величие октябрьских дней 1917 года, величие вождя победоносной пролетарской революции — Ленина.

...Первые шаги советской власти. Необычайно тяжелое наследство досталось ей от царской России. Хозяйственная разруха и голод свирепствовали в стране. Молодая республика Советов находилась в огненном кольце фронтов гражданской войны. Стоустая буржуазная печать всего мира изо дня в день предрекала близкую гибель советской власти. Это было время, когда тифозная вошь пожирала больше человеческих жизней, чем все фронты, вместе взятые; когда в повестку дня заседаний Совета Труда и Оборона, проходивших под председательством Ленина, включались и такие вопросы, как обеспечение Красной Армии... лаптями; когда суточная норма снабжения хлебом рабочих Москвы и Питера падала до одной восьмой фунта; когда однажды на заседании Совнаркома народный комиссар продовольствия потерял сознание и вызванный врач констатировал, что это от хронического недоедания...

Так было. И когда сегодня задумываешься над тем, что же помогало нашему народу в этих несказанно тяжких условиях выстоять, мысль, словно стрелка компаса, устремляется в одном, самом главном направлении: великое доверие масс ленинской партии, громадное сочувствие ей, нерушимая вера трудящихся в правильность того пути, на который наша партия повернула Россию. Ленин писал тогда, что «сила *сочувствия* рабочих и крестьян своему авангарду оказалась *огна* в состоянии *творить чудеса*», что такими чудесами «полна история нашей пролетарской революции».

Возглавляемому коммунистами пролетариату многонациональной России выпала трудная, но почетная роль первопродвигателя в создании нового общества. Вооруженная передовой революционной теорией, опираясь на доверие и поддержку масс, на гигантский размах, который дала творческим силам народа великая революция, ленинская партия смело повела советский народ по неизведанным путям. Под ее руководством грудящиеся нашей страны успешно справились с самой главной и самой сложной задачей социалистической революции — с о з и д а т е л ь н о й.

Да, нам было трудно. Очень трудно! Но велика была притягательная, вдохновляющая сила ленинского плана строительства социализма. И никто никогда, говоря словами А. М. Горького, «не умел так великолепно повышать температуру трудовой энергии, как это умеет делать партия, организованная гением Владимира Ленина...». И один за другим подымались индустриальные гиганты, создавались новые отрасли промышленности, каких не знала старая Россия. Страна Советов, страна Октября уверенно и прочно встала на рельсы современной индустрии. Глубочайший революционный переворот произошел в деревне: потерпел крушение старый, державшийся многие столетия уклад деревенской жизни, трудовое крестьянство бесповоротно встало на путь коллективных хозяйств, под знамя социализма. В стране была осуществлена ленинская культурная революция.

Погружаясь в страницы «Рассказов о партии», читатель побывает и в депо станции Сортировочная Московско-Казанской железной дороги на первом коммунистическом субботнике, и на VIII Всероссийском съезде Советов, когда принимался ленинский план ГОЭЛРО — план электрификации России; побывает на строительстве Каширской и Волховской электростанций и на заседании I Всесоюзного съезда Советов в волнующие минуты образования Союза Советских Социалистических Республик. Перед читателем предстанут картины грандиозной стройки на Урале у горы Магнитной. На шахте Центральная-Ирмино в Донбассе он встретится с Алексеем Стахановым и его последователями, а затем вместе с ними войдет под своды Большого Кремлевского дворца, где проходит первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц — стахановцев. Все это незабываемые страницы биографии Советского государства, страницы нашей биографии.

22 июня 1941 года. Вероломное нападение фашистской Германии прервало наш мирный труд. Над страной запылало грозное пламя войны, самой тяжелой в истории нашей родины. Событиям великой битвы с сильным и беспощадным врагом, осмелившимся посягнуть на священные завоевания Октября, на свободу и независимость первого в мире рабоче-крестьянского государства, мужеству и героизму советских людей на фронте и в тылу посвящена значительная часть второго тома «Рассказов о партии».

Оборона Москвы. Бронированные фашистские полчища неустоимо, не считаясь с огромными потерями, рвутся к советской столице. Самоотверженность и отвага ее защитников раскрываются в одном из самых героических эпизодов напряженнейшей битвы, развернувшейся тогда на полях Подмоскovie: у разъезда Дубосеково горстка советских гвардейцев из дивизии генерала Панфилова — их было 28 — преградила путь десяткам вражеских танков. Сегодня каждый советский школьник знает ставшие бессмертными слова политрука Василия Клочкова, сказанные им перед боем: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва». И панфиловцы не отступили. Они стояли насмерть, не пропустив врага...

Перед читателем проходят героические эпизоды обороны Ленинграда, войны в Заполярье, боевых действий партизан Смоленщины, поражающая воображение панорама Сталинградской битвы... Можно пожалеть лишь о том, что в трехтомнике нет ни одного рассказа, посвященного заключительному периоду Великой Отечественной войны, когда Советская Армия, полностью очистив родную землю от захватчиков, с честью выполнила свой интернациональный долг — принесла освобождение от гитлеровского ига народам Европы, в том числе и немецкому народу, внесла решающий вклад в дело спасения европейской и мировой цивилизации от уничтожения фашистскими варварами.

В годы Великой Отечественной войны наш народ, воспитанный Коммунистической партией на идеях Октября, совершил подвиг, который мы по праву называем беспримерным, — равного ему не знало человечество. Вдохновителем этого подвига, организатором нашей победы была партия коммунистов, партия Ленина. Лучших своих сыновей послала она на фронт, на передний край борьбы с врагом. Коммунисты цементировали ряды воинов Советской Армии, личным примером воодушевляли их на героические подвиги.

Но победа ковалась не только на передней линии фронта. Под руководством партии она ежедневно, ежечасно ковалась и в нашем тылу. Готовилась

героическим трудом рабочих на предприятиях Москвы и Ленинграда, Урала и Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Готовилась на колхозных и совхозных полях страны. Готовилась в стенах научных институтов, в конструкторских бюро и на опытных полигонах, где ученые и конструкторы создавали и испытывали образцы оружия и боевой техники.

В суровую годину бед народных советские люди еще теснее сплотились вокруг своей ленинской партии. За четыре военных года кандидатами и членами партии стали более 6 миллионов бойцов и командиров нашей армии. В музеях боевой славы бережно хранятся пожелтевшие от времени листки с заявлениями фронтовиков: «Ухожу в бой. Если погибну, прошу считать, что погиб коммунистом». На музейных стендах эти волнующие человеческие документы находятся рядом с пробитыми вражескими пулями партийными и комсомольскими билетами героев, отдавших жизнь за родину.

На протяжении всей войны, в дни самых трагических событий на фронте советские люди крепко и нерушимо верили в то, что под руководством ленинской партии наш народ выстоит и победит. С Коммунистической партией связывали они свои надежды на послевоенное возрождение страны, на ее мирное будущее. Как писал в дни войны, обращаясь к партии, Николай Грибачев,—

Все вынесу, все муки, все осилю,
Но у последней роковой черты
Вновь повторю: лишь ты спасешь Россию
И к новой славе возродишь лишь ты!

...Уходит из Берлина первый эшелон с отвоевавшимися, демобилизованными солдатами, истосковавшимися по родной земле, по мирному труду. Этими страницами открывается третий том «Рассказов о партии». Он целиком посвящен послевоенным годам в жизни страны, сегодняшнему размаху созидательной деятельности советского народа, коммунистам наших дней.

Отремели последние залпы Великой Отечественной. Отказывая себе во многом, недоедая и недосыпая, советские люди героически поднимали из руин разрушенные войной города и села, заводы и электростанции, возрождали колхозы и совхозы на освобожденной от врага земле. Достигнув довоенного уровня развития экономики, страна невиданными темпами устремилась вперед, к новым высотам. Важнейшим итогом вдохновенного труда нашего народа стало построенное им первое в мире общество развитого социализма — самое гуманное, самое демократичное в истории общества, основные черты которого Ленин провидел уже на заре социалистического строительства.

Общество развитого социализма... Сегодня оно высшее достижение социального прогресса. В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» о его важнейших особенностях сказано так: «Развитое социалистическое общество — закономерный этап в становлении коммунистической формации. На этом этапе социализм, развиваясь уже на собственной основе, все более полно раскрывает свои творческие возможности, свою глубоко гуманистическую сущность. Развитой социализм характеризуется соединением достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства, решительным поворотом к интенсивным методам развития экономики, качественно новым уровнем и масштабами производства, позволяющими непосредственно решать задачи создания материально-технической базы коммунизма, обеспечивать непрерывный рост благосостояния трудящихся, добиваться важных успехов в экономическом соревновании с капитализмом».

Это общество бескризисной, непрерывно и динамично растущей экономики. Общество зрелых социалистических отношений, постепенно перерастающих в коммунистические. Общество передовой науки и высокой духовной культуры, в котором складываются все более благоприятные условия для всестороннего развития личности. Общество подлинной демократии, гарантирующее каждому своему гражданину реальные человеческие права и свободы, все возможности для

активного участия в государственной жизни. В процессе строительства его у нас сложилась новая историческая общность людей — советский народ, а государство наше, выполнив задачи диктатуры пролетариата, стало общенародным государством. Все прочнее становится союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, все теснее сближение наций и народностей Советского Союза. Все ощутимее результаты постепенного преодоления существенных различий между городом и деревней, между физическим и умственным трудом. Характерными чертами нашего общества стали его крепнущее день ото дня нравственное здоровье, атмосфера подлинного коллективизма и товарищества. Забота всех о благополучии каждого и забота каждого о благополучии всех — таков закон жизни нашего общества, закон реального социализма.

В современных условиях, когда наше дальнейшее продвижение вперед настоятельно требует комплексного, гармонического развития всех сфер жизни общества, еще более возрастает роль Коммунистической партии как авангарда советского народа, его руководящей и направляющей силы. Выступая на XVI съезде профсоюзов СССР, Леонид Ильич Брежнев говорил, что создание зрелого, развитого социализма по-новому поставило многие задачи экономического, социально-политического и духовного развития страны. «Иными стали как наши возможности, так и общественные потребности. Происходит глубокая перестройка многих сторон практической деятельности партии и народа. Речь идет о делах крупнейшего масштаба, о делах сложных, жизненно важных как для всего общества, так и для каждого советского человека, каждой советской семьи».

Об этих сложных и важных делах, о новых трудовых свершениях нашего народа и повествуют страницы третьего тома «Рассказов о партии». Читатель встретится со строителями мощнейших электростанций на реках Сибири и с нашими славными покорителями космоса; с рабочими, техниками, инженерами Волжского автомобильного завода в городе Тольятти и с тружениками сельского хозяйства преобразуемого волей партии Нечерноземья России; с нефтяниками Каспия и разведчиками недр на тюменской земле; с теми, кто наращивает производственные мощности комбината КМАруда — первенца горнопромышленного комплекса Курской магнитной аномалии, и с хлопкоробами Средней Азии; с теми, кто в Набережных Челнах строил КамАЗ, и с теми, кто трудится в Хибинских горах на далеком и суровом Кольском полуострове, добывая апатитовую руду; с теми, кто прокладывает Байкало-Амурскую магистраль, и с теми, кто сегодня надежно оберегает мирный труд нашего народа, — с советскими воинами 70-х годов, детьми и внуками героев Великой Отечественной, наследниками их боевой славы...

Естественно и закономерно, что рядом с произведениями о кипении наших трудовых будней, о крупнейших стройках девятой и нынешней пятилеток мы находим в трехтомнике страницы, посвященные жизни современной армии. Ленинский завет о постоянной готовности к защите социалистического отечества — одна из сквозных тем «Рассказов о партии». Читатель видит молодую Красную Армию, созданную Лениным, партией для защиты завоеваний революции; видит армию страны Октября в грозные годы Великой Отечественной, — армию, изумившую народы планеты своим мужеством и массовым героизмом. Ныне Советская Армия бдительно стоит на страже дорогой ценой завоеванного мира, прочно оберегает все созданное нашим народом.

И еще на одну сквозную тему «Рассказов о партии» хочется обратить внимание читателя. Речь идет о теме единства различных поколений советских людей, преемственности и приумножении революционных традиций, рожденных Октябрем. На страницах трехтомника постоянно происходит трудовая переключка поколений — переключка участников первого коммунистического субботника, ударников и стахановцев 30-х годов с передовиками социалистического соревнования наших дней, в котором участвуют многие миллионы советских людей; переключка строителей первых электростанций с создателями энергетических гигантов на Волге, Ангаре, Енисее, со строителями самой мощной в мире Саяно-

Шушенской ГЭС; переключка зачинателей колхозного строя с сегодняшними героями битвы за хлеб и хлопок...

В одном из рассказов приводится письмо молодых строителей Красноярской ГЭС. Они обращаются к людям XXI века, к тем, кто будет праздновать столетие Октября: «Мы уверены, и в эру коммунизма будет продолжаться великое строительство на сибирской земле. Когда вы начнете возводить атомные электростанции в тундре, осваивать подземное горячее море под Тобольском и тунгусские угли, или строить на реке Лене гидроэлектростанцию мощностью в 20 миллионов киловатт и обузывать энергию приливных волн океанов и вам придется туго, тогда пусть ваша память позовет нас, и мы придем к вам на помощь, и вам станет легче. Как Александр Матросов, Дмитрий Карбышев, Зоя Космодемьянская и Рубен Ибаррури шли с нами, помогая нам в борьбе, так и мы неотступно будем сопутствовать вашим удачам на земле и в космосе. И в эпоху коммунизма будут романтики! Им с берегов Енисея мы протягиваем руку и передаем свою трудовую эстафету».

Единство поколений, верность современной советской молодежи революционным и трудовым традициям отцов — бесценное наше богатство, замечательный результат идейно-воспитательной работы ленинской партии.

Закljučают третий том «Рассказов о партии» публицистические выступления писателей — делегатов XXV съезда КПСС. Они делятся своими впечатлениями об исключительно творческой, удивительно плодотворной атмосфере, царившей на этом историческом форуме советских коммунистов, размышляют о выдающемся значении его итогов, принятых съездом решений.

Таким образом, трехтомник отражает главные, ключевые события в жизни и деятельности нашей партии от ленинской «Искры» и зарождения большевизма вплоть до XXV съезда КПСС.

Партия, писал Маяковский, это миллионов плечи, друг к другу прижатые туго. Подобно тому как великие реки Земли образуются из множества родников, ручьев, притоков, так и единая и могучая воля ленинской партии являет собою слияние индивидуальных волей огромной армии единомышленников. Когда читаешь «Рассказы о партии», ее обобщенный образ раскрывается через живые, конкретные образы коммунистов. Перефразируя известные слова Герцена, можно сказать, что перед нами не историческая хроника, а отражение истории в человеке, в людях.

Большинство действующих лиц рассказов, представленных в трехтомнике, — люди реальные, не вымышленные. Это, если взять период зарождения большевизма, сподвижники Ленина по революционной борьбе: Бабушкин, Бауман, Гусев, Землячка, Кнунянц, Красиков, Кржижановский, Крупская, Курнатовский, Лалаянц, Лядов, Радченко, Шотман и другие. В период подготовки и свершения Октябрьской революции и в годы становления советской власти это Бонч-Бруевич, Бубнов, Дзержинский, Дыбенко, Калинин, Коллонтай, Косиор, Красин, Крыленко, Луначарский, Нариманов, Ногин, Орджоникидзе, Петровский, Подвойский, Рудзутак, Свердлов, Семашко, Сталин, Стасова, Урицкий, Фрунзе, Цхакая, Цюрупа, Червяков, Чичерин...

Страницы «Рассказов о партии» густо заселены рядовыми коммунистами. Именно они во все годы существования Советского государства на любом участке экономического, социального, культурного строительства изо дня в день спланивали и спланивают советских людей, личным примером и горячим словом ленинской правды увлекая их на успешное решение выдвигаемых партией задач. Широко представлены в трехтомнике и образы партийных работников — руководителей первичных парторганизаций и партийных комитетов предприятий истроек, секретарей райкомов, горкомов и обкомов партии.

В галерее портретов партийных работников — секретарь парткома шахты Центральная-Ирмино Константин Петров и парторг участка шахты Мирон Дюканов. Это они стояли у истоков стахановского движения, были организаторами мирового рекорда Алексея Стаханова. Это и парторг эскадрильи женского гвар-

дейского авиационного полка Евгения Жигуленко, совершившая в годы войны более 950 боевых вылетов и удостоенная звания Героя Советского Союза. Это и первый секретарь Березовского райкома партии Иван Шестаков, жизнь и дела которого неотделимы от истории разведки и освоения месторождения нефти и газа на Тюменщине. Это и первый секретарь Суздальского райкома партии на Владимирщине, Герой Социалистического Труда Василий Ковалев, и многие другие.

Вошедшие в «Рассказы о партии» портреты коммунистов написаны с большой силой художественной выразительности. К числу наиболее запоминающихся можно отнести, например, рассказ об Андрее Ефимовиче Бочкине, человеке удивительной судьбы, возглавлявшем многотысячные коллективы строителей Иркутской, а затем Красноярской ГЭС, и рассказ о знатной женщине-механизаторе хлопковых полей Узбекистана Турсунной Ахуновой. За свой вдохновенный труд, за новаторские идеи, осуществлению которых они отдали пламя своей души, коммунисты Андрей Бочкин и Турсунной Ахунова удостоены званий Героя Социалистического Труда и лауреата Ленинской премии. Оба рассказа привлекают живо и достоверно написанными характерами героев.

Если говорить об образах партийных работников, то я прежде всего назвал бы рассказы о секретаре парторганизации строительства Саяно-Шушенской ГЭС Викторе Николаевиче Лазареве и о первом секретаре Набережночелнинского горкома Раисе Киямовиче Беляеве. В этих документальных очерках, думается, верно схвачены типические черты облика партийного руководителя наших дней. И для Лазарева и для Беляева партийная работа — их высшее душевное призвание. Оба отличаются строгой требовательностью к себе. Оба умеют находить ключ к душе человека, умеют создавать в коллективе такую идейную, нравственную, психологическую атмосферу, в которой люди духовно растут и трудятся с наивысшей отдачей, в полную меру своих способностей. Для обоих характерен деловой, вдумчивый, с заглядом в завтрашний день стиль работы, высокие образцы которого всей своей повседневной деятельностью дает Центральный Комитет партии.

Возможно, кто-то из читателей «Рассказов о партии» посетует на то, что в трехтомнике он не нашел имен многих коммунистов, имеющих большие заслуги перед партией и народом (особенно если он, читатель, лично знал этих людей, работал или воевал вместе с ними). Возможно, кто-то посетует и на то, что не все периоды жизни и деятельности партии отражены на страницах трехтомника с одинаковой полнотой. Но будем справедливы. Рассказать в трех книгах о тысячах и тысячах передовых людей нашего общества, обо всех, кем по праву гордятся партия и народ, — такой нереальной цели издательство перед собой и не ставило. Что же касается создания широкой художественной панорамы всего пройденного партией огромного пути, создания многоплановой художественной летописи героических деяний партии и народа, то такая задача по плечу только всей советской литературе.

Как известно, наша многонациональная литература коллективными усилиями успешно решает эту задачу. И очень хорошо, очень правильно, что в конце каждого тома «Рассказов о партии» помещен обстоятельный обзор художественной литературы. В статьях В. Пискунова и Ф. Кузнецова дается развернутая характеристика наиболее значительных произведений, страницы которых запечатлели для нас и для будущих поколений борьбу ленинской партии за народное счастье, образы коммунистов — авангарда великой армии строителей новой жизни.

«Рассказы о партии» вышли в свет за несколько месяцев до празднования 60-летия Октября. Вглядываясь в страницы трехтомника в канун этой знаменательной даты, читатель мысленно окинет взором и свою собственную жизнь, неотделимую от биографии страны, от пройденного ею пути. Но сколь личностным, сколь индивидуально окрашенным ни было бы восприятие читателем «Рассказов о партии», они усиливают, обогащают общее, единое чувство, прочно жи-

вущее в нашей душе,— чувство гордости за ленинскую партию, гордости за возвращенных ею замечательных людей — стойких борцов за идеалы коммунизма, людей с прекрасной душой и чистой совестью, пламенных советских патриотов и убежденных интернационалистов.

Трудящиеся нашей страны на собственном опыте убедились в том, что нет у ленинской партии интересов важнее и выше, чем интересы народа. Она, наша партия, существует для народа и беззаветно служит ему. Вот почему советские люди так тесно сплочены вокруг партии. Всенародное обсуждение проекта новой Конституции СССР явилось еще раз необычайно яркой демонстрацией этого нерушимого единства партии и народа.

«Рассказы о партии» вызывают не только воспоминания о прошлом. Они раскрывают величие сегодняшних дел партии и народа и дают читателю богатую пищу для раздумий о завтрашнем дне. «Юбилейный год,— говорил Леонид Ильич Брежнев,— это всегда год воспоминаний, год подведения итогов. Но мы, коммунисты, оглядываемся назад не только для того, чтобы с законной гордостью отметить масштабность, историческую значимость сделанного. Мы воспринимаем прошлое как богатейший резервуар опыта, как материал для раздумий, для критического анализа собственных решений и действий. Мы черпаем из прошлого вдохновение для нынешних и грядущих дел».

Советские люди уверенно смотрят в будущее. XXV съезд партии открыл перед нашей страной новые широкие горизонты, светлые дали.

За годом — год, за вехой — веха,
За полосой — полоса,
Нелегко путь.

Но ветер века —
Он в наши дует паруса.

В бессмертных строках Александра Твардовского замечательно выражен исторический оптимизм советского народа, его глубокая вера в полное торжество коммунистических идеалов.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ИВАН ИВАНОВ



НА ПУТИ К ОКТЯБРЮ

Живое свидетельство участника и очевидца событий нельзя заменить ни обобщенным историческим исследованием, ни тем более вымыслом, пусть даже самым правдоподобным. Только такое свидетельство дает нам возможность как бы своими глазами увидеть события, навсегда укрытые за горами времени, но вечно дорогие для нас.

Воспоминания Ивана Васильевича Иванова, члена партии большевиков с 1917 года, токаря Путиловского завода, как раз и являются живым свидетельством о событиях Февральской революции 1917 года, открывшей путь к Великому Октябрю. Он пишет лишь о том, что видел и слышал сам в феврале и марте этого года, будучи членом завкома Путиловской судостроительной верфи.

После революции И. В. Иванов был на руководящей хозяйственной работе. Ныне он персональный пенсионер союзного значения.

Движение огромной силы и размаха назревало в стране. Война, всей своей тяжестью обрушившаяся на плечи трудящихся, ускоряла революционную развязку. Армия, измученная трехлетней войной, голодная, раздетая, отказывалась воевать.

Разруха захватила все отрасли промышленности, транспорт и сельское хозяйство. Резко обострился продовольственный, топливный и сырьевой кризис. Крупные центры — Петроград, Москва — оставались без угля, металла и хлеба. Народ переживал третью, самую суровую и холодную военную зиму. По всей стране в городах происходили стачки, демонстрации и столкновения с полицией. По зову партии большевиков против векового строя царизма поднимались рабочие и солдаты. Во главе движения шли пролетарии Петрограда.

В одном из отрядов питерских пролетариев состоял и я, тогда еще молодой член партии большевиков, токарь Путиловского завода. Нам, большевикам, стало известно, что в ответ на нарастание революционной волны царское правительство в феврале 1917 года разработало «план обороны столицы от беспорядков». Ввели военное положение. Выделили Петроград в самостоятельный военный округ. Мы знали, что город разделен на отделения и районы, каждому приданы воинские части: пехота, кавалерия и даже артиллерия. Нарвскому и Петергофскому районам «планом обороны» были выделены полицейские отряды и запасной батальон лейб-гвардии Измайловского полка. В диспозиции значилось: Путиловский завод — одна рота.

Но никакие меры, принятые самодержавием, уже не могли сдержать революционного выступления масс.

Две петроградские заставы — Нарвская и Московская — ждали выступления путиловцев. Все чаще в очередях, на улицах, в заводских мастерских слышалась угроза:

— Погодите, путиловцы выйдут — будет дело...

И мы гордились этим.

Когда, окончив работу, путиловцы расходились по домам, Петергофское шоссе представляло собою величественную картину: как мощная река неслась, разливаясь по переулкам заставы, шумная толпа. С трудом продвигалась конка, застревали подводы. Можно было представить себе, в какую несокрушимую силу превратится эта людская лавина, когда, тесно сомкнувшись в боевые ряды, под-

няв красные флаги, тридцать тысяч рабочих выйдут на центральные улицы столицы. Становился понятным смысл грозного возгласа: «Путиловцы идут!».

В феврале за Нарвской появились солдаты в высоких лохматых папахах. Их разместили напротив Огородного переулка, в помещении лазарета, над Путиловским потребительским обществом.

Мне приходилось наблюдать, как на улицах вокруг солдат толпились рабочие: путиловцы, тентелевцы, текстильщики Екатеринбургской мануфактуры, рабочие завода «Тильмас». Солдаты охотно вступали в разговоры.

— Мы вас трогать не будем,— уверяли они.— Время теперь не то. Дали нам по двести патронов на вашего брата-забастовщика, а куда они пойдут, неизвестно.

— В воздух или назад?— допытывались путиловцы.

— А куда сподручней будет..

Большевики посылали к измайловцам фронтовиков, работавших на Путиловском заводе, и те вели среди солдат революционную пропаганду.

Петроградский комитет большевиков готовил массовое выступление петроградских рабочих. В десятых числах февраля наша путиловская организация получила директиву: подготовить общую забастовку на заводе, а затем поднять всю Нарвскую заставу.

Мы энергично взялись за осуществление директивы Петроградского комитета. Наметили план цеховых и общезаводских митингов. По плану необходимо было изо дня в день митингами, летучками, листовками неустанно напоминать рабочим, что наступает время решительных действий.

Мы разъясняли, что любой конфликт в цеху надо доводить до общезаводской стачки. Митинг, проведенный 15 февраля (по старому стилю), показал, что эта мысль усвоена путиловцами. Стоит лишь начать, и движение охватит весь завод. А за путиловцами, несомненно, сразу же подымутся Московская и Нарвская заставы.

18 февраля забастовала лафетно-штамповочная мастерская Путиловского завода. Рабочие предъявили администрации требования: принять обратно группу недавно уволенных рабочих и повысить все расценки на пятьдесят процентов. Начальник цеха попытался прибегнуть к испытанному приему:

— Я буду разговаривать о прибавке с отдельными рабочими, пусть они зайдут ко мне.

— Нет, это требование всей мастерской,— возразил большевик А. Галанин, возглавлявший стачку.

Начальник не дал рабочим положительного ответа. Штамповщики направили делегацию к директору, генерал-майору Дубницкому, и разошлись по заводу, чтобы привлечь к участию в стачке другие цеха.

Директор отказался принять уволенных обратно.

— Предлагаю немедленно возобновить работы, иначе закрою мастерскую,— заявил он делегатам.

Путиловцы не стали спорить с генералом. Выходили молча. Галанин, мой боевой друг по партиячке, повернулся в дверях и произнес:

— В понедельник еще раз придем. Может, ваше превосходительство, одумаетесь?

Генерал резко вскочил с места. Он вызвал к себе начальника конторы по делам рабочих и служащих и приказал разослать по цехам списки рабочих, уволенных в январе. Цехам запрещалось принимать их на работу, если даже они остро нуждались в рабочей силе.

Весть о том, что забастовала лафетно-штамповочная, разнеслась по всему заводу. Спустя полчаса об этом знала и Путиловская верфь. В судостроительных мастерских вновь вспыхнули волнения, затихшие накануне. Меднокотельная прекратила работы. Отчетливо и ясно представляли себе путиловцы, что дело теперь не в прибавках.

На митинге в паровозном депо, выступая от имени большевиков, помню, я сказал тогда:

— Неделя пройдет — и от голодной прибавки следу не останется, опять бастовать придется. Кончать надо со всей этой канителью — с дороговизной, с войной, с царем. Подниматься — так всем заводом, всем Питером. Разве, выполнив наши требования, хозяева дадут нам хлеб? Разве они уничтожат источник всех бед — войну? Только революция освободит нас от деспотизма царского строя...

Районный комитет собрал 18 февраля расширенное заседание заводских рабочих-большевиков. Стоял один вопрос: как использовать воскресный день, чтобы с понедельника поднять весь завод и приобщить к забастовке остальные предприятия района. На собрании, кроме путиловцев Степана Афанасьева и меня, присутствовали представители заводов «Анчар», «Тильмас», автомастерских гаража «Транспорт», Екатеринбургской мануфактуры, химического завода. Все они заявили, что поддержка забастовки путиловцев будет обеспечена. Но для этого надо, чтобы Путиловский завод первым вышел на улицу.

Районный комитет решил: завтра, в воскресенье, по всей Нарвской заставе — в очередях у хлебных и продовольственных лавок, по рабочим дворам, в квартирах, на улицах — развернуть агитацию; всем членам организации быть в определенных местах; утром 20 февраля сообщить о результатах агитации и настроениях рабочих.

В понедельник 20 февраля новая делегация рабочих — представителей всех цехов нашего завода явилась к директору. Помню, не успели делегаты подойти к столу директора, как Дубницкий, набрав воздуха в легкие, закричал:

— Я хозяин на заводе!..

Вся его тщедушная фигура затряслась. Голос у него сорвался, и вторую фразу он произнес визгливым голосом:

— Приказываю немедленно приступить к работе!

Но увидев строгие и невозмутимые лица делегатов, директор неожиданно перешел на мирный тон. Он директорствовал давно, до Путиловского завода на Ижевском оружьином, но никогда не сталкивался с таким грозным упорством рабочих. Дубницкий повел речь о долге, о фронте, остающемся без снарядов и без пушек. В речах генерала появился даже пафос, он сам воодушевился от собственной речи:

— Мы все теперь солдаты нашей доблестной армии! — А в заключение генерал не без грусти сказал: — Завод и без ваших забастовок снижает производительность.

— Сами виноваты! — крикнули ему в ответ.

Дубницкий побагровел. Его не величали превосходительством и даже не хотели слушать. Заметив среди делегации солдата, он закричал:

— Ты как смел сюда прийти! Изменник, присягу забыл!

Делегация ушла, и тотчас по всем мастерским начались митинги. Из шрапнельно-сборочной, забастовавшей с утра, выгоняли штрейкбрехеров. На судостроительной верфи рабочие не дали говорить помощнику директора и прогнали его с митинга.

В паровозомеханическую мастерскую пришли рабочие соседней вагонной мастерской. Между паровозниками и вагонщиками был сговор: чтобы оставаться неопознанными, вывозить на тачках чужих мастеров. Вагонщики вывезли ремонтного мастера паровозомеханической. Администрация по цехам приумоляла и ступшывалась.

В дверях судостроительной появилась команда солдат-измайловцев, дежурившая на заводе. Но, поглядев на возбужденных рабочих, солдаты тотчас ушли. Полицейские, постоянно находившиеся в проходных завода, не отваживались даже выйти из своего помещения.

К концу дня все тридцать тысяч путиловцев митинговали. В разных концах завода одновременно выступали десятки ораторов. Не местные, не заводские только дела стали теперь предметом обсуждения, на первый план был выдвинут продовольственный вопрос. Рассказывали, что на многих улицах Петрограда происходят волнения. Царское правительство вкупе с черносотенцами и кадетами всячески старается подавить движение рабочих. Государственная дума пытается

ся заняться продовольственным вопросом, но из этого ничего не выходит, ибо корень зла — самодержавие и война. Самодержавие надо уничтожить, войну прекратить. Единственный путь — революция.

Речи и разговоры всюду сводились к одному:

— Сдаваться нельзя, бастуем до конца.

21 февраля забастовали все мастерские завода. На верфи у станков оставались одни солдаты. Они участвовали во всех собраниях, но к стачке присоединялись не сразу. Многие боялись попасть в руки военно-полевого суда или на позиции.

Мы говорили солдатам:

— Идите к нам, ничего вам не будет. Скажите, что вас силой не допустили к работе.

В турбинной мастерской молодой большевик Василий Урюпин уговаривал группу солдат. С ним спорил какой-то костлявый смуглый фронтовик:

— Просто бастовать будем или до оружия дойдет?

— А как выйдет, — ответил агитатор.

— Нам знать надобно. Если до пальбы дойдет, у нас с вами одна ставка — голова с плеч. А если просто так — нам, солдатам, голову снимут и пикнуть не дадут, а вас только попужают.

Солдаты остались одни в большой затихшей мастерской, где раньше работали 800 человек. Гадали: дойдет до пальбы или нет?

В среду 22 февраля утром путиловцы потянулись к заводу. Но ворота завода оказались наглухо запертыми. Правление объявило локаут. Тут же, у калинож, большевики предложили выбрать по одному человеку от крупнейших цехов и создать стачечный комитет. Избранные ушли в помещение больничной кассы, посоветались с представителями районного комитета большевиков, вынесли решение: немедленно приостановить работы на всех заводах заставы и разойтись по городу, призывая рабочих поддержать стачку. Делегаты путиловцев пошли на химический, «Треугольник» и другие заводы столицы. Они обошли заводы Выборгской стороны и Нарвской заставы. Когда путиловские гонцы принесли весть о стачке, многие предприятия уже бастовали. Всюду возникали продовольственные волнения. Известие о забастовке на Путиловском было встречено как долгожданный сигнал.

Наступил Международный женский день 23 февраля (8 марта по новому стилю). Большевики призвали отметить этот день демонстрацией. Женщины охотно откликнулись на призыв. Работницам, домохозяйкам, солдаткам первым приходилось выносить на себе тяготы, усиленные войной. Много раз до этого они уже собирались толпами, громили продовольственные лавки, прогоняли полицию.

В день 23 февраля по призыву большевиков тысячи женщин вышли на улицы. Сплошной гул стоял над заставой. Женщины окружали солдатские патрули. Под градом гребований и упреков солдаты терялись и отступали. В центре, на Невском, полиция разгоняла даже небольшие группы людей. Здесь, за Нарвской заставой, полиция не решалась трогать рабочих. Постепенно люди запрудили все Петергофское шоссе. Прибежали, бросив работу, текстильщицы Екатеринбургской мануфактуры. С тряпичной фабрики пришли девушки в пыли от грязной ветоши, которую они сортировали. Веселыми, радостными криками встретили работниц конфетной фабрики. Пришли шоферы и механики гаража «Транспорт», рабочие завода «Анчар». Бросили работу пильщики лесопильного завода; из парка конной дороги вышли кондуктора и кучера. С Балтийской улицы потянулись кабельщики мастерской Бездека, с островов Грязного и Резвого подошли рабочие-костожоги.

Кто-то затянул песню, и огромная толпа демонстрантов двинулась к Нарвским воротам. Здесь к демонстрации присоединились работницы Тентелевского химического завода. Они пришли из цехов, пропитанных парами ядовитых кислот, и выделялись из всей массы демонстрантов. Даже морозный февральский день не вызвал румянца на их обескровленных желтых лицах.

На площади открылся митинг. Солдатка Аннушка из шрапнельной мастерской выступила первой. Ей не раз приходилось «коновождать» среди своих заводских работниц. Во главе шумной женской делегации она ходила к директору требовать прибавки, решительно выступала против деспотизма мастеров, не давала в обиду себя и своих товарок. Быстро преодолев смущение перед огромной толпой, она заговорила о празднике рабочей женщины. Ее резкий голос прозвучал на всю площадь. С высоты каменного постамента Нарвских ворот один за другим выступали путиловцы, текстильщицы, работницы химического завода. Впервые большевистские лозунги открыто гремели с трибуны на большой площади.

Нарвская застава знала много рабочих собраний и митингов. Помню, они происходили повсюду: у шлагбаума — с лестницы, переброшенной через полотно железной дороги, на перекрестках у Огородного и Чугунного переулков, на поле у Лаутровой дачи, в Баташовом и Полежаевом лесах, на кладбище, у крыльца часовни, возле ворот завода, у залива и на Петергофском шоссе — везде, где было какое-либо возвышение — камень, придорожный столбик, крыльцо или выступ дома.

Митинги-летучки, быстрые и стремительные, стали традицией заставы. Они собирались внезапно, быстро перебрасывались с места на место и так же быстро рассыпались при появлении полицейских отрядов. Казацкая плеть и полицейская шашка много раз гуляли по головам и спинам рабочих. Иногда митинг превращался в сражение, и тогда место собрания отмечалось пятнами рабочей крови.

Митинг на Нарвской площади 23 февраля 1917 года не был похож на митинги прошлых лет. Ораторы не прятали лиц, не нахлобучивали чужие шапки на глаза. Они стояли прямо, оглядывали толпу из конца в конец. Открыто, смело бросали они горячие слова, не боясь налета полиции.

Я видел, как все новые потоки людей прибывали на площадь. Со стороны деревни Волынкиной пришли несколько сот женщин с пустыми корзинками и кошелками. Целую ночь простояли они в очереди за хлебом, намерзлись до синевы и все же хлеба не получили. Они принесли на митинг свою неистовую злобу против войны. В дальних концах толпы горячо и сбивчиво говорили никому не ведомые ораторы. Они взбирались на плечи впереди стоящих и громко кричали — каждый свое. На главной трибуне у Триумфальной арки появилась работница химического завода. Все смотрели на эту угловатую женщину, одетую в ватную, военного образца душегрейку. Платье ее во многих местах было прожжено серной кислотой. Высокая и худая, она вся сотрясалась от кашля и долго не могла начать свою речь. Наконец поборов приступ кашля, работница сказала как бы про себя:

— Проклятая кислота действует. Все в горле першит.— Затем выпрямилась и неожиданно громко и отчетливо заговорила: — До каких пор молчать будем? Эта война хуже кислоты жжет внутри. Детям есть нечего. До хлеба не достояться. Вчера мне удача выпала — на бойне выпросила костей и требухи. Суп-то с них наваристый вышел, только в горло его еле пропихнешь. А мясо кто ест? Господа в бобрах и енотах! Почему хлеба нет? — Она напряглась и во всю силу своего голоса закричала: — Мужчины, почему молчите?! Все равно пропадать!..

Ее снова охватил острый приступ кашля, и, не закончив речи, она сошла, бросив в толпу листок — письмо от мужа с фронта. Письмо, полученное солдаткой, пошло по рукам. Во многих местах строки были старательно залиты густой черной краской: письмо побывало в военной цензуре.

Внезапно в толпе раздался возглас:

— На Невский! Стройся!..

Толпа загудела:

— На Невский! Хлеба требовать! Мира!.. Долой войну!

Снова зазвучали большевистские лозунги против войны и самодержавия. В разных местах запели революционные песни. Откуда-то появились красные знамена. Их подхватили женщины:

- Наш праздник! Нам и знаменщиками быть!
- Путиловцы пошли!.. — разнеслось по Нарвской заставе.

У Калинкина моста к демонстрации присоединились работницы текстильных фабрик Кенига и Воронина. С другой стороны Фонтанки путиловцев поджидала толпа рабочих Калинкинской мануфактуры.

Перейти реку демонстрации не дал большой полицейский отряд. Он захватил мост. Демонстрация, пробираясь в центр, разбилась на множество ручейков. Необычайное упорство демонстрантов ломало сопротивление полиции. Поодиночке, группами в три — пять человек проходили путиловцы сквозь заграждения и цепи. Толпами направлялись в обход по Фонтанке, по Обводному каналу, через промежуточные мосты, пробирались на Садовую. Так разными путями пришли на Невский почти все путиловские рабочие. Знамена пронесли свернутыми, спрятав их под пальто.

Еще первые ряды демонстрации не тронулись с Нарвской площади, как по всему рабочему Петрограду разнеслась, докатилась до Выборжцев весть о том, что путиловцы двинулись к центру. И словно не было между Нарвской и Выборгской стороной десятка верст! Еще с утра выборжцы дрались с полицией, стремясь прорваться к Невскому. Узнав о выступлении путиловцев, они усилили нажим на полицейские заграждения. Каждая неудача побуждала их к новым попыткам пробиться в город. Они пробирались поодиночке, переходили Неву по льду, проникали на Невский глубоким обходом. К четырем часам дня выборжцы устроили демонстрацию на Литейном и Суворовском проспектах. В шесть часов вечера соединенными силами путиловцев и рабочих Выборгской стороны был остановлен казенный оружейный завод на Литейном проспекте. Рабочие этого завода присоединились к демонстрантам.

Мощное выступление петроградского пролетариата в Международный день работниц перерастало в общую политическую демонстрацию против царского строя. Охранка недаром отмечала, что приближаются грозные события. В беспрерывных стычках с полицией, в появлении рабочей толпы на Невском, в демонстрациях Выборгской стороны и Нарвской заставы уже слышались первые раскаты начинающегося восстания. Чувствовалось, что дело идет к пальбе. Путиловцы становились час от часу решительней. Молодой большевик Павел Шубин, втихомолку сочинявший стихи, теперь читал их громко:

В моей душе огонь пылает,
И мускулы крепки, сильны,
Меня грядущее ласкает.
Близки, близки расплаты дни...

Поздно вечером путиловские большевики, вернувшись с демонстрации, собрались в доме на Счастливой улице — обычном месте встреч. Надо было выработать единый план действий. Первым был вопрос: как снять с работы три тысячи солдат, оставшихся еще в мастерских завода? Кто-то предложил взорвать электростанцию, вывести из строя турбины, тогда солдатам нечего будет делать на заводе. Это предложение категорически отвергли. Решили снять солдатскую массу с работы при помощи солдат — членов партии большевиков.

На следующее утро в цеха пришли все солдаты-большевики. Они принесли с собой листовки и личные записки к отдельным ранее распропагандированным товарищам. По совету нашей организации группа солдат направилась к Фортунато, заводскому воинскому начальнику, чтобы добыть у него оружие.

Фортунато оглядел пришедших солдат. Одеты они были не по форме, шинели полурасстегнуты, без ремней. Обычно Фортунато требовал от солдат выправки. Но теперь было не до этого.

— Ваше благородие, нас принуждают бастовать, — сказал один из солдат. — Мы не хотим, а нас грозят избить. Прикажите выдать нам винтовки. Спокойнее работать будет.

Взгляд Фортунато стал острым и колким. Помолчав, он сказал:

— Без оружия обойдетесь. Идите. А если вас принуждают — что же, бастуйте...

Когда группа отошла далеко от конторы, наш агитатор Эртман грустно произнес:

— Сорвалось. Жалко... Фортунато — старый заводской охранник, разгадал, зачем солдатам нужно оружие.

Чтобы легче было наблюдать за ними, Фортунато согнал солдат со всех цехов в шрапнельную и новоснарядную мастерские. Рассчитывая держать на полном ходу хотя бы две мастерские, он полагал к тому же, что на снарядах и шрапнелях солдатам трудней будет отказаться от работы: они ведь на своей шкуре испытали, что такое фронт без снарядов.

Но Фортунато ошибся. В шрапнельной собрали митинг. Большевики призвали солдат присоединиться к рабочим. Прибежал Фортунато:

— Кто разрешил собрание?

Он угрожал солдатам военным судом и напоминал, что они обязаны работать даже под пулями. Солдаты кричали ему в ответ:

— Мы уже были под пулями! Не испугаешь!

К обеденному перерыву солдаты ушли с завода.

24 февраля нам, большевистским агитаторам, стало известно, что в Петрограде бастовало уже около 200 тысяч человек. В десятках мест собирались огромные толпы. Лозунги «Мира!», «Хлеба!», «Долой самодержавие!» перебрасывались с митинга на митинг. Кое-где происходили стычки рабочих с городовыми. Войска сочувственно относились к рабочим, отказывались разгонять демонстрации и в отдельных случаях препятствовали в этом полиции.

Женщины громили лавки в Беликовых домах и на рынке, у Огородного переулкa. Полицейских били корзинками и скамейками, принесенными для сидения в многочасовых очередях. С вечера подростки останавливали вагоны Ораниенбаумской трамвайной линии и отбирали ручки у вожатых. У ворот завода толпа разогнала полицию. Один из полицейских вытолкнул рабочего, заглянувшего в проходную. Рабочие возмутились, требуя выдачи им полицейского. Городовых оттеснили на дорогу и сказали:

— Убирайтесь, пока целы!

До поздней ночи гудела возбужденная и настороженная Нарвская застава.

25 февраля политическая забастовка охватила весь рабочий Петроград. Движение стало всеобщим. За Нарвской городовые уже не показывались на улице в своей форме. Они наблюдали за событиями, переодевшись в солдатские шинели.

Днем у заводских ворот возле нас, агитаторов, скопилась толпа рабочих. На стук никто не откликнулся. Постучав еще немного, передние ряды навалились на одну из калиток и сломали ее. В несколько минут были сломаны все калитки и ворота. Шумная толпа ворвалась на завод.

Снег во дворе был необычно белым. Но достаточно бывало одного-двух дней, чтобы выпавший снег стал грязным, покрылся крупинками гарн и сажн. Теперь же не дымили трубы и паровозы, не выплескивалась копоть из окон кузницы и прессовой.

Толпа остановилась, пораженная непривычной тишиной. Завод был совершенно пуст. Пушечник Иван Голованов, первым ворвавшийся на завод, в недоумении глянул на товарищей:

— Зачем ломали ворота?

Это был законный вопрос. Ворота ломали очень часто, но всегда изнутри, когда при забастовках директор давал приказ задержать рабочих завода. На этот раз сломали калитки снаружи. Для чего? Кто-то даже пожалел, что завод пуст. Были бы штрейкбрехеры в цехах, нашлось бы веселое дело. А так что же дальше?

На пустынном заводском дворе молча стояла толпа путиловцев. Некоторые уже поглядывали назад: не вернуться ли?

Голованов взмахнул доской от сломанной калитки и скомандовал:

— Снимай охрану!

Кто-то из агитаторов взволнованно крикнул:

— Товарищи! Это же революция!..

И путиловцы ринулись на территорию завода. Мы бежали по дорожкам, запорошенным снегом, разоружая охрану, заглядывая во все закоулки — нет ли спрятавшихся полицейских. Я с группой рабочих добежал до залива. Открылся широкий простор беловато-серого взморья. На минуту приостановились: ширь-то какая! И не задерживаясь повернули влево к верфи, стремясь поскорее обойти весь завод. В домах, где находились квартиры директора и высших служащих, было тихо. На дворе ни души. В главной конторе остался лишь старик сторож.

В конторе по делам рабочих и служащих обосновался только что организованный рабочий комитет Путиловского завода. Он поставил себе задачей: вести борьбу с полицией, организовать боевую дружину и установить революционный порядок на улицах. В комитете состояли большевики И. Генслер, В. Алексеев, И. Голованов и другие. Комитет установил дежурства вооруженных рабочих на проходной и на Петергофском шоссе. Нарвская застава была в руках рабочих.

Короткие, стремительные уличные митинги призывали к действиям решительным и быстрым: вооружайтесь, выходите на улицы, снимайте полицию. Все население Нарвской заставы в воскресенье 26 февраля было на Петергофском шоссе.

Еще 24 февраля путиловские большевики получили директиву Петроградского комитета: вовлекать в движение солдат гарнизона. Были распределены обязанности, даны четкие указания: поднимать войска, присоединять их к восстанию.

Путиловцы распространили воззвание, выпущенное Петроградским комитетом большевиков. В воззвании говорилось: «Помните, товарищи солдаты, что только братский союз рабочего класса и революционной армии принесет освобождение поработенному и гибнущему народу и конец братоубийственной и бессмысленной войне. Долой царскую монархию! Да здравствует братский союз революционной армии с народом!»

Заводской литограф Иван Огородников уехал в Ораниенбаум. Там среди солдат — бывших путиловских рабочих — у него было много товарищей. Он рассказал им о событиях в Петрограде, о необходимости организовать выступления солдат, оставил листовки.

Федор Кузнецов отправился в Стрельну к пулеметчикам. Михаил Войцеховский и Иван Генслер собрали группу павловцев, работавших на заводе, и направили их в казармы Павловского полка. Солдатам, присланным на завод из полков петроградского гарнизона, советовали идти в свои части, подымать их на восстание. Григорий Самодед пришел к измайловцам, рота которых была размещена за заставой. Он повел с ними прямой и откровенный разговор, приглашая примкнуть к путиловцам. Измайловцы к демонстрации не присоединились, но обещали уйти, и действительно к вечеру их в районе уже не было.

Десятки тысяч людей — взрослые, молодежь, женщины, дети вышли на улицы Петрограда. Они напирала на солдатские цепи, рвали их, дробили воинские силы. Приказ генерала Хабалова о применении оружия солдатами не выполнялся. Повсеместно рабочие переходили в наступление. В районе Путиловского завода слышались отрывистые выстрелы: рабочие обезоруживали пойманных переодетых городовых. Полицейские забаррикадировались в участке на Ушаковской и в Коломенской части у Калинкина моста.

Мой спутник Вася Алексеев ходил охрипший: он ораторствовал на каждом перекрестке. Он раздавал прокламации, призывал вооружаться. Через приятеля-охотника раздобыл себе револьвер и десяток патронов. Охотники вышли со своими ружьями.

Костлявый смуглый солдат, который два дня назад в турбинной допытывался, дойдет ли до стрельбы, теперь собирал своих и говорил:

— Пойдем оружие доставать.

Все улицы и переулки, выходящие к Петергофскому шоссе, находились под вооруженной охраной рабочих. Путиловцы уже не прятали оружие под пальто. Вооруженными группами в три — пять человек они обходили заставу. Повсюду из рук в руки переходили листовки Петроградского комитета большевиков, призывавшие к решительным действиям: «Все на борьбу! На улицу! За себя, за детей и братьев! В Германии, в Австрии, в Болгарии поднимается рабочий класс. Он борется там против своей озверелой буржуазии за мир и свободу. Поможем ему и себе. Поможем борьбой против своих угнетателей. Поднимайтесь все! Организуйтесь для борьбы! Устраняйте комитеты Российской Социал-Демократической Рабочей Партии по мастерским, по заводам, по районам, по городам и областям, по казармам, по всей России...

Всех зовите к борьбе, лучше погибнуть славной смертью, борясь за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте или зачахнуть от голода и непосильной работы»¹.

Днем пришло известие о том, что четвертая рота Павловского полка, возмущенная участием своей учебной команды в расстреле рабочих, бросилась на улицу. Дважды столкнувшись с разъездами полиции, павловцы расстреляли все патроны и вернулись в казармы.

Районный комитет разослал гонцов в разные концы города. Один гонец поехал за Невскую заставу: поговаривали, что там стреляли в рабочих. Другой отправился в Государственную думу удостовериться, правда ли, что ее разогнали. Многих большевиков направили в казармы воинских частей: передавали, что войска колеблются, отказываются выступать против восставших рабочих.

На Выборгскую поехал гонец за указаниями и листовками. В этот день Петроградский комитет большевиков был арестован. Его заменил Выборгский районный комитет.

Нарвский районный комитет, следуя указаниям Петроградского комитета, постановил шире развертывать вооруженную борьбу, захватывать склады с оружием. Утром 27 февраля тысячи путиловцев снова потянулись в центр. По дороге они разгромили оружейные магазины на Александровском рынке и запаслись оружием. Домой они не возвращались. Вместе с рабочими других заводов и присоединившимися солдатами они освобождали из Петропавловской крепости арестованных павловцев.

С этого дня накрепко завязалась дружба путиловских рабочих с солдатами Павловского полка. Разойдясь по необъятному Петрограду, они вместе принимали участие в разгроме полицейских участков, тюрем, окружного суда, охранки; брали арсенал, дворцы, арестовывали сановных лиц, генералов, министров; сбивали полицейских с крыш, вытаскивали их из подвалов; выводили солдат из казарм на бушующие улицы восставшей столицы.

Принимая участие в тех событиях вместе с путиловскими рабочими, я видел, как Василий Мещерский стрелял в городских. Старый подпольщик, член большевистской партии с 1907 года С. И. Краузе вместе с Васей Алексеевым во главе группы путиловских рабочих-солдат пришел к казармам Вольнского полка. Когда волынцы, убив командира, вышли на улицу, путиловцы вместе с ними направились к другим полкам, а затем на Выборгскую сторону. Григорий Самодед выводил из казарм grenадеров, от grenадеров пошел к семеновцам, затем к измайловцам. За день Самодед побывал во многих воинских частях. Тогда же мне стало известно, что Зарайский разоружил жандармов Николаевского вокзала и rozdal рабочим захваченные им браунинги. Федор Кузнецов и Василий Урюпин обошли все тюрьмы, участвуя в освобождении арестованных. Вместе с солдатами захватили они Аничков дворец и остались там на дежурство. У Пажеского корпуса на Садовой улице группу путиловцев встретили пулеметным огнем. Был убит токарь лафетно-снарядной А. Зимин. В другом месте, у Казан-

¹ «Листовки петербургских большевиков. 1902—1917». Л. Государственное издательство политической литературы. 1939, т. II (1907—1917), стр. 250.

ского собора, погиб башенщик Дмитрий Гормонов. Несколько человек были ранены.

Новые сотни путиловцев бросились в город. На Литейном проспекте, пробиваясь сквозь разрушенные баррикады, мы захватили продовольственный склад. Выкатили бочки с огурцами, капустой, собрали женщин со дворов Сергиевской улицы и с их помощью создали питательные пункты для восставших. Солдат Яков Кулешов, бывший путиловский рабочий, повел товарищей к себе в казармы. Раздобыв оружие, мы отправились в город.

В 9 часов вечера 27 февраля, когда на улицах Петрограда еще шли бои с последними резервами царизма, в Таврическом дворце состоялось первое заседание Петроградского Совета рабочих депутатов. На этом заседании присутствовали большевики-путиловцы Степан Афанасьев и Василий Алексеев. Попали они туда не как делегаты Путиловского завода, а как делегаты кооператива «Трудовой путь».

В Ораниенбауме поднялись пулеметчики, распропагандированные солдатами — бывшими путиловцами. В ночь на 28 февраля они сняли посты у оружейного склада и подняли на ноги весь 3-й запасной батальон. Офицеры разбежались. Увлекая за собой пулеметные части, войска двинулись на Петроград. По пути к станции Ораниенбаум солдат обстреляли из пулеметов. Больше пятнадцати человек было убито и ранено. Опасаясь, что полиция может пустить поезд под откос, пулеметчики пошли пешком.

В 4 часа утра 28 февраля состоялось первое заседание Исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих депутатов, решившего немедленно организовать районные комитеты Советов, рабочую милицию, установить сборные пункты для вооруженных рабочих.

Утром 28 февраля весь завод заполнился людьми. Путиловцы пришли выбирать своих делегатов в Петроградский Совет. Но не успели мы разбиться по округам, объединявшим по несколько мастерских, как пронесся тревожный слух: на Петроград идут войска. К заводу подъехал на военном мотоцикле солдат. Он кричал:

— К вам идут наши полки из Ораниенбаума!

И, не сказав, зачем идут, покатыл дальше.

Путиловцы встревожились:

— Зачем идут? Помогать рабочим? Или офицеры ведут солдат подавлять революцию?

Электрик Иван Егоров на улице собрал вокруг себя рабочих и сказал:

— Мы пойдем навстречу пулеметчикам. Мы их остановим. Если они против нас, постараемся их переубедить, расскажем, что происходит в городе. Если они за нас, присоединимся и приведем их к заводу.

Он повел за собой двести человек. Помню, время тянулось медленно. Многие, не дожидаясь возвращения Егорова, уходили вслед за ним, навстречу пулеметчикам. Обратного никто не возвращался. Стрельбы также не было слышно. Это успокаивало и в то же время тревожило. Наконец мы увидели вдали толпу. Над толпой развевалось красное знамя. Крик радости взметнулся над заставой, многоголосый ликующий крик «ура!».

Путиловцы остановили пулеметчиков у Шереметьевской дачи. Иван Егоров вскочил на воинскую двуколку и коротко рассказал о событиях в Петрограде. Он говорил о задачах, которые встали сейчас перед народом:

— Рабочим — восьмичасовой рабочий день, крестьянам — землю и всему народу — освобождение от политического гнета. Теперь самое первое дело — кончать войну, заключать мир.

Упоминание о мире вызвало бурю восторженных возгласов:

— Кончать войну! Да здравствует мир!

Став впереди солдат, Егоров повел их к заводу. Зябко кутаясь в старые шинели, в рваных сапогах, обмотанных тряпками, шли солдаты — ораниенбаумские пехотинцы и пулеметчики; ехали аккуратные мотоциклисты и шоферы за часной автомобильной роты с бедунами на поясах. Сплошным потоком, занимая

всю ширину шоссе, шли войска гарнизонов Ораниенбаума, Стрельны и Петергофа. Ряды солдат смешались с обозами, двуколками, пулеметами. К моменту, когда голова колонны подошла к Путиловскому заводу, хвост ее тянулся у Лигова. Унтер-офицер, бывший путиловский рабочий, ехал верхом рядом с повозками, наполненными винтовками и патронными ящиками. Он вез оружие своим товарищам-путиловцам.

Пока войска подходили к заводу, раскатывалось «ура!». Вверх летели шапки. Солдаты обнимали рабочих. Рабочие целовали солдат. То и дело слышались возгласы: «Братьям-солдатам ура!», «Восставшим рабочим ура!». Военный оркестр непрерывно играл «Марсельезу». Знамя путиловцев прикрепили к лафету трехдюймовой пушки. Откуда-то появились красные ленты. Они пошли по рукам. Ими делились, разукрашивая винтовки и пулеметы красными бантами. Из лавок и магазинов путиловцы выносили продукты, папиросы и раздавали их пулеметчикам. Домохозянки выставляли прямо на улицу кипящие самовары и угощали солдат чаем. Выносили горшки с вареным картофелем.

Рабочие повели группу солдат к дому, где жили городовые. Оттуда уже стреляли. Из комнаты в комнату ходили мы с обыском. Револьверы и шашки тут же разбирались по рукам. Полицейских, переодетых в штатское, вывели на улицу.

— Становись в две шеренги! — прикрикивали на них солдаты.

Городовые выстроились. У каждого из них на груди мелом написали номер. Всего было тридцать шесть городовых. Они упрашивали солдат отпустить их, обещая никогда не выступать против народа. Солдаты поверили им и отпустили. Но когда солдаты стали уходить, неожиданно грянули выстрелы. То стреляли скрывшиеся полицейские. Поднялась ответная беспорядочная стрельба.

— С мартена бьют! С церкви! Вот они где, фараоны!..

В церкви и на крыше мартеновской никого не нашли. Полицейские успели скрыться. Около местного отделения Путиловского общества потребителей оказалась засада полиции, завязалась перестрелка. Ранено несколько лошадей; они порвали веревочную упряжь и повернули обратно. Люди шарахались в переулки, сбивались в кучи, падали на снег, укрываясь от пуль.

— Перебежкой вперед! — кричали солдаты.

Подражая им, пригибаясь и падая, бросились и путиловцы к Потребительскому обществу. Пулемету полиции отвечал солдатский пулемет. Стихла стрельба с чердака. На лестницу с переулка бросился унтер-офицер Федоров. Он пробежал несколько ступенек и упал, сраженный пулей. Свалился еще один солдат, потом третий. Был убит слесарь Николай Устинов. Солдаты и рабочие разъярились:

— Заходи сзади, с огородов!

В обход, через огороды, с Петергофского и с Новоовсянниковской двинулись штурмом на чердаки кооператива и макаронной фабрики. Трещал пулемет, звенели разбитые стекла, сыпалась штукатурка. Ворвались наверх, выволокли городовых, переодетых в шинели Измайловского полка. Пока часть солдат осаждала чердак Путиловского кооператива, голова колонны дошла до Ушаковской и вступила в перестрелку с отрядом полиции, засевшим в угловых домах и в помещении полицейского участка. Свыше часа продолжалась осада.

В участке были сосредоточены запасы оружия и продовольствия на случай длительных боев. «Не берут пули — возьмет огонь!» Солдаты подожгли здание. Полицейские сдались.

Рабочий комитет Путиловского завода, возглавляемый большевиками, взял руководство заводом в свои руки. Администрация завода бежала. Путиловцы и пулеметчики снимали полицейских у Нарвских ворот, в женском монастыре по Старопетергофскому у Обводного канала и у Коломенской части. Винтовки и шашки разбирали рабочие, пулеметы увозили солдаты.

За Калинжиным мостом путь в город был свободен. Мощным потоком хлынули в город рабочие и солдаты и снова, пройдя весь Невский, разошлись по раз-

ным концам города. По дороге сбивали с крыш правительственных зданий царских орлов, срывали их с вывесок — железные ломали, деревянные сжигали.

За Боткинскими бараками путиловцы приняли участие в разгроме пересыльной тюрьмы. Осужденные на каторгу со дня на день ожидали отправки. Среди политических заключенных был путиловец — работник больничной кассы Эмиль Петерсон. Он вышел на тюремный двор в кандалах, в арестантском бушлате, небритый, исхудавший. Его подхватили и повели в тюремную кузницу, чтобы расковать кандалы.

Группа путиловцев в поисках полицейских забрела на Обводный в бани. Там находились военнопленные австрийцы, покинутые охраной. Ничего не понимая, они забились в самые дальние помещения и тихо сидели, боясь выйти на улицы.

— Революция, — объяснили мы им, — скоро домой пойдете. Войне конец будет...

Нашлись переводчики. Пленные успокоились. Когда же мы узнали, что пленные уже трое суток голодают, привезли из ближайшей воинской части несколько кухонь с обедами. Австрийцы благодарили нас, пытаясь говорить по-русски:

— Один интернациональ интерес пролетариат.

— Один, — подтверждали путиловцы.

К Нарвским воротам подкатывали грузовики, взятые на Путиловском заводе.

— В Петропавловской много оружия! — кричали с грузовиков. — Садись кто хочет.

Мигом машины наполнялись людьми и неслись к крепости. Там уже действовали революционные рабочие, отбирали оружие для себя, для товарищей.

Три дня шли бои. Рабочие Нарвской заставы потеряли около 50 человек убитыми. 29 из них позже были похоронены в братской могиле на Марсовом поле.

После боев путиловцы возвращались на заставу вместе с солдатами пулеметного полка. На квартиру работницы Ильиной сын привел солдат. Они занимали раз, другой, да так и остались жить за Нарвской. Работница шрапнельной мастерской Капитонова готовила обед на пятерых солдат, приведенных на квартиру ее мужем. Многие пулеметчики отбились от полка, расположившегося в Народном доме, и остались вместе со своими пулеметами за заставой у рабочих, с которыми познакомились в дни боев.

У здания Государственной думы толпились солдаты — пехотинцы, саперы, артиллеристы, казаки. Еще не остывшие от горячих боев с полицией, возбужденные и ликующие, приходили они туда в полном вооружении — с пулеметами, орудиями, броневиками и с красными флажками на штыках.

Делегаты от полков, батальонов, сотен и батарей выступали с приветствиями. Каждый считал необходимым заверить товарищей, что, подняв оружие против царя, он не опустит его до тех пор, пока ненавистный строй не будет разрушен окончательно. Путиловцы пробивались сквозь толпы, запрудившие улицы вокруг Таврического дворца. Солдаты встречали приходивших со всех концов города рабочих радостными криками «ура!».

Разукрашенный, с расписными потолками парадный зал дворца солдаты загружали ящиками с винтовками, патронами. Тут же после речей безвестных ораторов, выкрикивавших восторженные слова о завоеванной свободе, создавались отряды. Рабочие и солдаты вооружались и уезжали на грузовиках в разные концы города арестовывать генералов и крупных чиновников.

К толпам восставшего народа выходили руководители Петроградского Совета и члены организованного Государственной думой Временного комитета. Выходил и сам председатель Государственной думы Родзянко. Путиловцы были насторожены. Они знали цену успокоительных и приветственных речей царского защитника Родзянко. Я наблюдал за ним со стороны.

Проходя мимо толпы, с жадностью слушавшей какого-то думца, путиловский большевик Генслер воскликнул:

— С чего это он в революционера рядится?..

Солдаты на него зашикали, закричали.

Депутат с чувством говорил о том, что народ совершил геройское дело и избранный Государственной думой Временный комитет, взяв управление в свои руки, сделает все, чтобы жизнь устроилась по-новому, по-хорошему. Но когда думский оратор призвал солдат идти в казармы на учебу, а рабочих на заводы для работы, солдатская масса взорвалась гневом:

— Чего захотел! Рано. Еще не всех повыбили..

В те же дни на заседании Совета рабочих депутатов его председатель меньшевик Н. Чхеидзе заявил:

— Отныне власть осуществляет Исполнительный комитет Государственной думы.

— А Совет? — бросили ему вопрос.

Чхеидзе отмолчался.

Путиловские большевики были озадачены тем обстоятельством, что сам руководитель Совета отдает предпочтение комитету, созданному черносотенной царской думой. Ведь рабочие, солдаты, стекавшиеся сюда к дворцу, шли к своему Совету, а не к думским дельцам, пытавшимся присосаться к чужой победе... Так и не услышав ничего, кроме успокоительных фраз, путиловцы уехали обратно. Наш грузовик мчался по ночным столичным улицам, мимо разрушенных участков, мимо разгромленных полицейских засад, мимо пожарниц, озарявших темное февральское небо. Автомобиль стал подвижным дискуссионным клубом. Горячась и волнуясь, мы спорили между собой. Большевики из «Трудового пути» сразу стали на позиции своего лидера Чхеидзе. Перекрывая грохот старого автомобильного мотора, большевик Иван Генслер кричал им:

— Кто революцию делал? Буржуазия или рабочие? При чем тут Государственная дума? Разве не известно, как встретил ее четырнадцатого февраля рабочий класс?

Грузовик подпрыгивал, скользил, мы перебрасывались с борта на борт и, крепко ухватившись друг за друга, продолжали спорить яростно, страстно — в первый раз после победы революции.

Первое легальное собрание большевистской организации Нарвского района происходило вечером 2 марта. Эмиль Петерсон, открывая собрание, произнес вступительную речь.

— Это первое собрание, — сказал он, — которое мы, большевики, проводим открыто, не боясь налета и разгрома. Нас гоняли по этапам, заковывали в кандалы, ссылали в глухую сибирскую тайгу. Правительство тюремщиков и вешателей жестоко преследовало свободную мысль. Тысячи наших братьев-рабочих сложили свои честные головы в тяжелых боях с царским деспотизмом. А теперь?.. — Петерсон говорил медленно, продумывая каждое слово. Изредка он поднимал кулак, и тогда обнажалась рука, на которой еще сохранились следы недавних кандалов. — Собираясь сюда, мы не петляли по переулкам заставы, не заходили в проходные дворы, не стучали в двери условным стуком — словом, не применяли искусства конспирации, которому долго учились и которое, возможно, товарищи, нам еще пригодится. — Петерсон повысил голос: — Мы пришли свободно. Мы заседаем открыто. Слова, звучавшие в глухом подполье, сейчас будут разноситься по улицам и площадям перед тысячами и миллионами. Мы вновь поставим нашу рабочую печать, уже готовится к выходу газета «Правда», и наш голос, голос большевиков-ленинцев, прокатился по всей России..

Петерсон сообщил: на собрании присутствуют пятьдесят шесть человек. По расчетам товарищей это составляет половину членов организации, числившихся два месяца назад. С тех пор многим пришлось покинуть завод и район. Некоторым нельзя было дать знать о собрании — целыми днями они пропадали на улицах, а квартиры у них нет.

Петерсон закончил свою речь предложением считать собрание организационным.

На партийных собраниях люди никогда не чувствовали себя в полной безопасности. Они привыкли говорить вполголоса и шумно не выражали своих чувств. Воцарилось молчание... Но через несколько секунд молчание прорвалось аплодисментами, сначала жидкими и неуверенными, затем громкими и дружными.

Выступления касались главным образом вопроса о власти. Не устанавливая порядка дня, первым делом обсудили Манифест ЦК РСДРП(б). Была поддержана резолюция Выборгского районного комитета большевиков, одобренная в этот день собранием рабочих и солдат Выборгской стороны: «Вся власть до созыва Учредительного собрания должна быть сосредоточена в руках Совета рабочих и солдатских депутатов как единственно революционного правительства; армия и население должны исполнять только распоряжения Совета рабочих и солдатских депутатов и считать распоряжения Исполнительного комитета членов Государственной думы недействительными»².

Была уже глухая ночь, когда приступили к выборам районного комитета партии. Избрали 16 человек: С. И. Афанасьева, Т. В. Барановского, И. Я. Генслера, И. Г. Егорова, Ф. А. Лемешева, Э. П. Петерсона, Л. М. Тарасову, И. П. Травникова, П. Кирюшкина и других. Позднее в райком были доизбраны С. Косиор, В. Володарский, А. Васильев.

Избрали три комиссии: по вооружению рабочих, по продовольственному делу и культурно-просветительскую. Кроме того, отдельным товарищам поручили заняться организацией профсоюзов: Григорию Гроздеву — союза металлистов, Травникову — союза деревообделочников, Егорову — союза электромонтеров и союза младших служащих больниц; Дроздову — союза модельщиков. Местом пребывания районного комитета временно определили проходную контору завода.

7 марта Нарвский райком партии переехал в дом № 23 по Новосивковской улице, заняв две большие комнаты бывшей чайной.

В тот же день после двухнедельного перерыва загудел старый заводской гудок, созывая в путиловские мастерские.

Первые дни работы на Путиловском заводе были суматошны и беспорядочны. Всюду обсуждались политические новости. Не все рабочие и мастера вышли на работу. Высшее начальство не показывалось. Лишь немногие рабочие принялись за работу, оставленную неоконченной в начале революции. В одних цехах устраивались митинги, в других обходились без собраний, но предложение большевиков было принято повсюду: работаем по-новому — восемь часов и ни минуты больше. Так в первый же день на Путиловском заводе был введен явочным порядком восьмичасовой рабочий день. То же было и на многих других петроградских предприятиях.

Лишь через пять дней было опубликовано соглашение Петроградского Совета с обществом заводчиков и фабрикантов о повсеместном введении рабочего дня продолжительностью в восемь часов.

Так было в дни Февральской революции на Путиловском. Шла подготовка к Великому Октябрю.

² «Правда», 6 марта 1917 года.



ИВАН ГРОНСКИЙ



1917 ГОД

Записки солдата

Их осталось уже немного. живых участников тех незабываемых «дней, которые потрясли мир». Тем ценнее для нас их воспоминания, их свидетельства о том, как это было.

Один из таких участников революции — автор этих записок Иван Михайлович Гронский, питерский рабочий, солдат, революционер, с 1912 года проводивший революционную работу в Петербурге, а с 1915 года — в русской армии, где служил рядовым под фамилией Федулов.

Характерная черта его деятельности в те годы — очень широкий круг общения. Он прекрасно знал жизнь рабочих, солдатской массы на фронте. Как делегат и председатель дивизионного солдатского комитета, а потом комиссар ВРК дивизии, он тесно соприкасался с офицерами и генералитетом русской армии, встречался с лидерами различных политических партий и деятелями культуры.

Начав революционную деятельность как член группировки эсеро-максималистов, Гронский всем ходом событий, всей логикой борьбы по мере своего идейного роста становился на позиции большевиков-ленинцев и активно проводил их политику.

Вскоре после октябрьской победы, в 1918 году, И. М. Гронский вступил в партию большевиков. В 1925 году окончил Институт красной профессуры. В последующие годы вел ответственную партийную работу, редактировал газету «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» (1928—1934), журнал «Новый мир» (1932—1937), был председателем оргкомитета Союза писателей СССР. Ныне он персональный пенсионер союзного значения.

Предлагаемый отрывок из его воспоминаний относится к периоду нахождения И. М. Гронского на фронте, в действующей армии, в рядах 279-го пехотного Лохвицкого полка, занимавшего линию русско-немецкого фронта в районе Двинска (июль — ноябрь 1917 года).

1

Рано утром 7 июля 1917 года, до рассвета, роты одна за другой двинулись на передовую.

На фронте царила глубокая тишина, не слышно было ни выстрелов, ни разрывов снарядов. Дорога шла лугом. По обе стороны лежал пышный зеленый ковер некошеной травы, усыпанной большими каплями холодной росы.

Солдаты, вздыхая, тихо переговаривались:

— Какая благодать пропадает! Хоть бы наши обозники скосили. Глядишь, на зиму лошади-то и были бы обеспечены кормом, а то в конце зимы они едва на ногах стояли.

В другой группе шел разговор о войне.

— Кому она нужна, эта проклятая война, — говорил пожилой солдат. — Раньше призывали сражаться «за веру, царя и отечество». А что они нам дали — эта самая вера и глупый пьяница царь?.. В феврале рабочие и солдаты царя сбросили. А что толку-то? Страной по-прежнему правят помещики. На днях я получил письмо. Жена пишет, что у нас в деревне мужики решили взять помещичью землю. Где там! Прислали казаков. Кое-кого из мужиков арестовали, а одного, Савельева, в волости даже выпороли. Не распространяй, мол, боль-

шевистскую заразу. А ведь он, Петруха-то Савельев, воевал. С фронта пришел на костылях. Земли у него мало, а семья большая: жена, дети, мать-старуха. И все хотят есть. Земли у помещика более тысячи десятин, а у Савельева нет и двух. Помещика небось на войну не послали: он сидит себе дома да пирует, а мы вот за него гнием и умираем в окопах. Нет, ребята, войну надо кончать. Большевики правильно говорят. Помещиков, а вместе с ними и Керенского, надо гнать. Эта власть не наша. Нам надо поставить свою власть, чтобы она отстаивала наши интересы.

По голосу я узнал члена батальонного комитета солдата четвертой роты Пахомова, который еще не так давно причислял себя к эсерам и выступал против большевиков.

Так, переходя от одной роты к другой, вслушиваясь в разговоры солдат, я за какой-нибудь час узнал об их настроениях больше, чем на добром десятке массовых митингов.

В то тихое утро слышал я и другие речи.

В девятой роте, например, один молодой солдат, меньшевик, которого я тоже немного знал, говорил своим товарищам о том, что революционная Россия, как в свое время революционная Франция, должна воевать за свободу, за освобождение Европы от власти царей, прежде всего Вильгельма Второго.

— Сейчас у нас вооружения и снарядов не меньше, чем у немцев, и наша армия, конечно, одержит победу. Нам выпала честь первыми начать разгром кайзеровских полчищ.

Говорил он красиво, выделяя отдельные слова и тем подчеркивая их значение. Кое-кто в колонне с ним соглашался, некоторые солдаты возражали...

Роты шли не обычным строем, а как попало. Только когда подошли к передовой, полк был приведен в порядок и последовала команда прекратить разговоры.

Тихо рота за ротой уже цепочкой по глубоким ходам сообщения солдаты продвигались к первой линии окопов. Смена части, занимавшей до нас окопы, прошла сравнительно быстро и организованно.

Утро выдалось на редкость ясное, теплое. И вдруг в тишине раздался невеселый грохот. Это наша артиллерия обрушила на немецкие окопы настоящий шквал огня. Работали орудия всех имевшихся на вооружении калибров. Это был огненный смерч. До этого мне еще никогда не приходилось наблюдать артиллерийский огонь такой силы — ни с нашей, ни с немецкой стороны. Немцы отвечали, но сравнительно слабо. Их артиллерийские позиции оказались под сильным огнем наших орудий.

Артиллерийский огонь не прекращался ни на одну минуту. Временами он лишь ослабевал, иногда надолго, но затем снова и снова обрушивался на немцев.

Во время одной из пауз меня вызвали к командиру полка на его наблюдательный пункт. В блиндаже, кроме командира полка и адъютанта, находился командир дивизии генерал-майор Беляев и еще какой-то незнакомый франтоватый офицер. Генерал, поздоровавшись, представил меня этому офицеру. Тот, видимо, не ожидал такой церемонии, недовольно поморщился, но все же протянул мне руку.

— Выходит, вы высокое начальство.

— Ошибаетесь, господин капитан, я всего лишь член дивизионного комитета, а сейчас рядовой солдат шестой роты.

— Почему же вы не в роте, а здесь, на командном пункте?

— Меня вызвал командир полка. Я явился по его распоряжению.

— Генерал и я хотели, чтобы вы были здесь. Это необходимо, — сказал командир полка полковник Кохановский.

Улучив минуту, адъютант полка штабс-капитан Климов шепнул:

— Смотрите и прислушивайтесь ко всему.

Откровенно говоря, я не понял значения его совета. Не вмешиваясь в распоряжения командования, я все же старался вникнуть в происходящее и преж-

де всего понять значение распоряжений командира дивизии, так как именно он руководил боем и всей подготовкой атаки немецких позиций.

Во второй половине дня генерал приказал силами разведчиков произвести разведку боем, поддержав ее мощным огнем артиллерии. Разведчики ворвались в первую линию немецких окопов. Но тут произошло нечто непонятное. Беляев приказал прекратить огонь, боясь, по его словам, как бы артиллерия не поразила наше атакующее подразделение. Потом артиллеристы мне говорили, что опасения генерала были выдумкой, ибо к тому времени огонь ими уже был перенесен на вторую и третью линии немецких окопов, то есть создавал надежный огневой заслон атакующих.

Вслед за этим первым приказом последовал второй не менее нелепый: генерал приказал разведчикам отойти обратно в свои окопы и тем самым поставил их под огонь немецких пулеметов, укрытых в броневых блокаузах.

Из всех брошенных в атаку разведчиков вернулись лишь несколько человек.

Бывший ранее командиром конных разведчиков штабс-капитан Климов не сдержался. Обращаясь к командиру дивизии, он резко спросил:

— Что это — ошибка или нечто похуже?

— Успокойтесь, штабс-капитан, приведите в порядок свои нервы. После такого огня, какой мы обрушили на немцев, у них в первой линии не должно было остаться ни одной огневой точки. Разведчики должны были уничтожить уцелевшие. Они, по-видимому, этого не сделали. Вот и расплатились за свою ошибку.

Генерал говорил спокойно. Его поддержал франтоватый офицер, как я потом узнал, представитель штаба то ли 14-го армейского корпуса, то ли 5-й армии.

Командир полка Кохановский отошел в сторону и молчал. На глазах у него были слезы.

Генерал приказал усилить артиллерийскую подготовку. Батареи заработали с прежней силой. Временами казалось, что огонь достиг предельной мощи, что большего напряжения артиллерия дать уже не может.

Оставив наблюдательный пункт, я перешел в окопы, чтобы лучше рассмотреть всю картину боя. Потом возвратился.

Несмотря на чудовищной силы огонь нашей артиллерии, немецкие батареи продолжали отстреливаться. Правда, их снаряды ложились перед нашими пустыми окопами, не поражая ни наступающие цепи, ни ближайšie наши резервы. Атакующие цепи противник пытался остановить главным образом огнем пулеметов, каким-то чудом уцелевших в блокаузах немецкой обороны.

За сорок минут наступления 279-й пехотный Лохвицкий полк достиг третьей линии окопов противника, а местами и овладел ею. Но продвигаться дальше уже не мог: слишком велики были потери. Нужно было, не ослабляя натиска, вводить в бой резервы, благо они имелись в избытке. Кроме подтянутых к фронту двух полков нашей дивизии, в распоряжении командования находились целый армейский корпус и одна кавалерийская дивизия. Однако с вводом в бой резервов командование почему-то медлило, давая тем самым противнику оправиться от поражения и подтянуть свои резервы.

Командир полка о чем-то тихо говорил с генералом Беляевым, что-то доказывал ему, а тот упорно возражал. Тем временем немцы усилили огонь по нашим поредевшим цепям, а их артиллерия нащупывала наши батареи.

Полковник Кохановский, повысив голос, потребовал ввода в бой резервов. Командир дивизии раздраженно ответил, что связь с Кромским полком, который должен был поддержать наступающий Лохвицкий полк, потеряна — перебиты провода полевого телефона. Связисты пытаются устранить повреждения, но пока безрезультатно. А послать к командованию Кромского полка некого, да и бесполезно: пройти лощину, отделяющую нас от кромчан, нельзя — она как градом посыпается осколками снарядов и шрапнелью.

Франтоватый капитан, указывая на меня, громко проговорил:

— А почему бы, господин генерал, не послать вот этого солдата. Он комитетчик, солдатское начальство. Ему и карты в руки.

Командир полка, возмущенный провокационной выходкой штабного капитана, стал резко возражать, говоря о том, что заместитель председателя дивизионного комитета находится здесь не для посылок.

— В условиях боя никто не должен отказываться от выполнения оперативных приказов, — подчеркнуто громко произнес командир дивизии.

— Насколько я вас понял, господин генерал, вы приказываете мне отправиться связным в Кромский полк?

— А вы боитесь? Струсили? — перебил меня капитан.

Выходка капитана возмутила всех.

— Заместитель председателя комитета никуда не пойдет, — обращаясь к командиру дивизии, заявил Кохановский. — А капитан должен извиниться за свою бестактную и грубую выходку.

Кохановского поддержал Климов. Разгорелась перепалка. Поддержка командования полка меня обрадовала. Но теперь, после случившегося, надо было думать уже не о себе, а об авторитете дивизионного и всех вообще солдатских комитетов. Поэтому, подойдя к штабному франту, я подчеркнуто громко сказал:

— Комитетчики не трусы, как вы, капитан, изволили выразиться. Это революционеры. А они, как известно, народ смелый. Положим, это можно сейчас же проверить. Командир дивизии сказал, что в условиях боя никто не должен отказываться от выполнения оперативных приказов. Приказ генерала ясен: нужно связаться с командованием Кромского полка и потребовать от него немедленного ввода полка в бой. Давайте пойдем вместе: вы будете представлять командование, я — комитет. Согласны?

Капитан молчал.

— Надеюсь, теперь ясно, кто является трусом? Я иду, господин генерал. Ваш приказ командованию Кромского полка будет передан, если, конечно, я доберусь до него.

Лощина, отделявшая наблюдательный пункт от Кромского полка, была как на ладони. Немцы стреляли по окопам. Осколки снарядов ложились в слабозаболоченную ложину, по краю которой проходила дорога.

Расстояние до временных окопчиков Кромского полка не превышало двухсот метров. Их надо было пробежать под огнем, следовательно, как можно быстрее. Для меня это труда не составляло. До войны я много занимался спортом.

— Брось дурака валять! — сказал мне тихо Климов. — Неужели ты не понимаешь, что эта сволочь тебя провоцирует? По их вине погибла команда разведчиков, почти весь состав полкового комитета, сейчас они хотят убрать тебя, а ты, как баран, идешь на верную гибель.

— Все это так, но поймите, у меня другого выхода нет.

Не раздумывая больше, я побежал. Над головой с шумом пролетали крупные осколки снарядов и, шлепаясь, поднимали вверх комья черной грязи. На какое-то время меня охватил страх. Я упал на землю и с минуту лежал без движения, боясь поднять голову.

Наблюдавшие за моим бегом Беляев, Кохановский и Климов посчитали меня убитым. Каково же было их удивление, рассказывал потом Климов, когда я поднялся и побежал дальше. До Кромского полка я добрался благополучно. Пробираясь по линии окопавшихся кромчан полком, а кое-где короткими перебежками, я неожиданно наткнулся на поручика Рогова, с которым познакомился еще в первые дни революции. Это был умный и обаятельный человек, открыто заявлявший о своем сочувствии большевикам.

Я спросил, может ли он передать приказ генерала Беляева командиру своего полка или мне надо его искать самому.

Рогов по-товарищески пожурил меня за мой безрассудный поступок. Приказ командира дивизии обещал передать. Но заметил:

— Полк участвовать в наступлении не будет — теперь его поздно вводить в бой. Мы сделали большую ошибку, что не сорвали эту кровавую авантюру

Керенского и реакционного генералитета. Отправляйся обратно да будь осторожен. И впредь не поддавайся на провокации. А недостатка в них, по-видимому, не будет, учти это.

С тем мы и расстались.

Вернулся я той же дорогой. Доложил генералу о выполнении его приказа. Беляев, пожимая в знак благодарности руку, сказал, что он и командир полка видели все.

Штабной капитан пробурчал что-то вроде извинения. Но оно не возымело действия. Все находившиеся на наблюдательном пункте офицеры от него отвернулись. Даже командир дивизии, относившийся к нему предупредительно, теперь либо отмалчивался, либо отвечал ему односложно.

За участие в этом сражении я был награжден Георгиевским крестом.

2

К вечеру выяснилось, что наступление захлебнулось. Да и не могло не захлебнуться при столь бездарном руководстве. Генерал Беляев так и не ввел в бой имевшиеся в резерве части, чем дал возможность немцам собраться с силами и организовать оборону.

Когда стемнело, Лохвицкий полк по приказу командования отошел обратно в свои окопы, где его сменила другая часть, а он был отведен в дивизионный резерв.

Наступление на Северном фронте, к которому так долго и так тщательно готовились, провалилось так же позорно, как и на Юго-Западном. Жертв у нас, правда, было меньше, чем на юго-западе, но бестолковщины, граничащей с предательством, было, пожалуй, не меньше.

Тогда у меня еще не было и мысли о подготовке генералитетом под крылышком Керенского разветвленного контрреволюционного заговора. Отдельные симптомы, правда, начали уже проступать, однако в прямой злой умысел командования в то время никто из нас, членов комитета, еще не верил. Взрыв в июне большого склада со снарядами в расположении дивизии начальство объясняло случайными причинами, а запрещение митингов и собраний — боязнью, как бы они не подорвали дисциплину перед самым наступлением.

Впервые меня, да и многих других, заставили задуматься о характере происходящих на фронте событий действия командования во время упомянутого наступления 7—10 июля. В частности, поведение генерала Беляева.

Перед тем как вернуться в штаб дивизии, мы, оставшиеся в живых члены дивизионного комитета, решили созвать остатки 279-го пехотного Лохвицкого полка на митинг, чтобы поговорить о только что пережитых событиях. Я уже собрался было идти к командиру полка, чтобы поставить его в известность о нашем решении, когда меня вызвал к себе штабс-капитан Климов.

Не успел я войти к нему, как он протянул мне пачку газет.

— На, читай, что творит эта временная сволочь, называющая себя правительством революции. Расстрел демонстрации, погромы большевистских организаций — это в Питере. А у нас, на фронте, Беляев руками немцев расстреливает разведчиков — самых передовых людей полка. Я советовал тебе смотреть в оба за действиями командования. Тогда я еще не знал того, что произошло в Питере. А теперь вижу, что события там и здесь имеют какую-то скрытую связь.

— С Кохановским вы говорили о поведении Беляева?

— Говорил. Он лоссорился с ним еще там, на наблюдательном пункте, когда Беляев своим приказом поставил разведчиков под расстрел.

— Мы собираемся устроить митинг. Хочу зайти к командиру полка. Сказать ему об этом.

— Думаю, что делать этого не надо. Митинги запрещены. Боясь, что вы поставите под удар и себя и командира полка. А то и того хуже — вас всех арестуют. Прежде всего, конечно, тебя.

— Что же вы предлагаете?

— Тебе надо немедленно вернуться в штаб дивизии, собрать оставшихся в живых членов комитета, выяснить их отношение к питерским событиям — это сейчас главное... Контрреволюция поднимает голову. Расстрел демонстрации — только начало. Следует ожидать, что репрессии будут обрушены и на армию, особенно на неугодные контрреволюции солдатские комитеты.

Климов посоветовал мне крепче связаться с Кромским полком и с артиллеристами. Он обещал регулярно снабжать меня информацией о положении в Питере.

В дивизионном комитете, оказывается, уже знали о событиях. Секретарь комитета Потапов за время наступления, когда я находился в Лохвицком полку, успел собрать обширную и очень ценную информацию.

В то время он был еще беспартийным, но, как сам говорил, всецело разделял позицию Ленина и большевиков, считая ее единственно правильной и подлинно революционной. Он был ярким противником империалистической войны и июльского наступления на нашем Северном фронте. Распоряжение командования «вернуться всем членам комитетов в свои части и подразделения» он считал приказом контрреволюции, направленным на уничтожение революционно настроенных солдат и офицеров. Мое решение подчиниться приказу Потапов считал неправильным и настойчиво уговаривал отказаться от участия в наступлении.

Вопрос об участии или неучастии в наступлении представлялся мне и дивизионным большевиком, с которыми я советовался, достаточно важным и сложным, и решение его далось нам не без внутренней борьбы и больших колебаний.

Никто из нас не знал, что это провокационное распоряжение было отдано командующим 5-й армией с полного согласия и одобрения армейского комитета и заправлявших всеми его делами эсеров и меньшевиков. Все это выяснилось позднее. План же их был прост: либо заставить солдатские комитеты (ротные, батальонные, полковые и дивизионные), в которых преобладали революционно настроенные солдаты, высказаться против участия в наступлении, чтобы, придравшись к этому, можно было объявить их шкурниками или дезертирами, то есть получить предлог для их ареста и предания суду; либо, если они примут другое решение и будут участвовать в наступлении, использовать его в целях пропаганды: вот, дескать, смотрите, все ваши комитеты участвуют в наступлении, следовательно, они поддерживают политику Временного правительства о продолжении войны, даже своим примером воодушевляют массу солдат на ратные подвиги. А главное, можно «комитетчиков», как нас называло реакционное офицерство, бросить в самое пекло боя, из которого обычно живыми не выходят. Эту последнюю задачу и решал генерал Беляев, поставив разведчиков под огонь немецких пулеметов. А позже он же, не поддержав успех Лохвицкого полка своевременным вводом в бой имевшихся резервов, погубил не менее семидесяти процентов его состава. Но и Беляев и более высокое начальство просчитались. Солдаты распознали маневры реакции. После отвода в резерв Лохвицкий полк за какие-нибудь несколько дней совершенно изменился. Он стал красным. Стихийно, без чьего-либо указания солдаты собирались группами и обсуждали действия командования, а заодно и политику Временного правительства. По ротам и командам открыто заговорили о контрреволюционном сговоре реакционного генералитета с военным министром Керенским. Авторитет Временного правительства и соглашательских партий стал неудержимо падать даже среди офицеров. Числившийся председателем дивизионного комитета поручик Шиманский совсем отошел от дел, свалив всю работу на меня, его заместителя.

Вскоре мы получили центральные газеты. Помог нам штабс-капитан Николук, пославший в Питер человека, который и привез целую кипу газет и других материалов, позволивших разобраться в событиях и правильно понять значение расстрела мирной рабочей демонстрации.

Ознакомившись с материалами, члены дивизионного комитета решили направиться в части дивизии, поговорить с членами полковых комитетов и узнать у них о настроении солдат. Было условлено, что я побываю во всех полках и у артиллеристов. Объезд частей решили начать немедленно, оставив в

комитете одного Потапова. Однако уехать мне не удалось. Командир дивизии попросил зайти к нему. Поздоровавшись, генерал спросил о настроениях солдат, о том, что они говорят о неудавшемся наступлении. Говорил он спокойно, стараясь, видимо, вызвать меня на откровенность. Отвечая на его вопросы, я не посчитал нужным скрывать от него отношение солдат к командованию. Передал ему и разговоры солдат об измене, о предательстве, о растерянности командования, что повлекло за собой огромные потери Лохвицкого полка. Генерал Беляев вначале пытался объяснить свои действия боязнь поразить разведчиков огнем своей собственной артиллерии, а отход Лохвицкого полка — невозможностью ввести в бой резервы вследствие отказа солдат Кромского полка идти в наступление.

— Вы ведь сами пытались ввести полк в бой и знаете, что из этого вышло. Ваш героический подвиг не принес тех результатов, на которые мы с полковником Кохановским рассчитывали. Кстати, хочу вас поздравить: вы награждены Георгиевским крестом.

Возражая Беляеву, я сказал, что в резерве был не только один Кромский полк, но и множество других частей, связь с которыми, насколько я знаю, работала нормально. Возможности у командования были огромные, и, откровенно говоря, я не понимаю, почему оно не использовало их...

Командир дивизии, видимо, не желая продолжать разговор, перешедший в открытый спор, заявил, что приказ об отводе наступающих частей был отдан не им лично, а командующим 5-й армией генералом Даниловым...

Прощаясь с Беляевым, я сказал, что собираюсь съездить на несколько дней в Петроград. Спросил: не будет ли у него каких-либо поручений? К моему удивлению, Беляев не только не возразил против поездки, но даже предложил оформить ее как командировку. Поручений от него было немного. Он просил передать в Петрограде своим знакомым два письма и купить трехтомную работу А. Н. Куропаткина «Россия для русских».

3

Петроград меня поразило. Он выглядел необычно суровым, нахмурившимся. Не было привычного оживления на улицах. Люди заметно помрачнели, ушли в себя. Бросалась в глаза еще одна особенность: в рабочих районах к нам, солдатам, на погонах которых были незнакомые цифры полков, люди относились с явной неприязнью, а то и враждебно.

В вагоне поезда я познакомился с членом одного из комитетов 280-го пехотного Сурского полка Ивановым. До призыва в армию он работал на Путиловском заводе. Как и я, Иванов ехал в Петроград. Условились встретиться и вместе побродить по городу.

На другой день мы с ним отправились за Нарвскую заставу к его знакомым путиловцам. Они жили на одной из улиц, прилегающих к Невскому проспекту. На углу Бумажной улицы мы спросили женщин, стоявших у ворот, как лучше пройти к такой-то улице. Те оглядели нас с ног до головы и вместо ответа спросили:

— Что, парни, приехали помогать Керенскому душить рабочих?

Слова женщин ошарашили нас своей откровенной враждебностью. Мы объяснили им, что приехали с фронта, но не как «каратели» или сторонники Керенского, а как члены солдатских комитетов, сторонники большевиков.

Выслушав нас, женщины рассмеялись и заговорили с нами по-другому — дружелюбно. Стали расспрашивать о положении на фронте, о настроении солдат, о том, поддержат ли фронтовики питерский пролетариат, если он выступит против Временного правительства.

Мы охотно рассказывали женщинам о жизни действующей армии, о нарастающем стихийном процессе полевения солдат и не заметили, как вокруг нас образовалась целая толпа мужчин и женщин. Большинство явно было на нашей стороне. Но нашлись и противники. Так, например, один невзрачного вида муж-

чина обрушил на нас целую обвинительную речь. Он даже упомянул о появлении в народе переодетых немецких шпионов. Ему отвечал Иванов. Он сказал, что мы оба питерские рабочие, участники революционного движения, до войны сидели в царских тюрьмах, а с начала войны — на фронте. По несколько раз ранены. Являемся членами солдатских комитетов. Полностью согласны с большевиками. Ведем борьбу против буржуазного Временного правительства и таких субъектов, как только что выступавший здесь «герой тыла». Вот какие мы переодетые немецкие шпионы. Заканчивая свою речь, он добавил: будучи пораженцами, мы не уклонялись от участия в боях. Оба мы георгиевские кавалеры. Вот наши документы. Полюбуйтесь!

Выступавший против нас воинственный субъект пытался незаметно улизнуть, но рабочие задержали его, желая выяснить, что это за личность. Он, разумеется, протестовал, говорил о «насилии», однако испугавшись наседавших на него рабочих, вытащил объемистый бумажник и предъявил им свой паспорт и членский билет партии эсеров.

— Вот полюбуйтесь,— обращаясь к толпе, громко проговорил рабочий, державший в руках документы,— эсер, да еще вдобавок купец второй гильдии.

Толпа встретила это заявление хохотом, а незадачливый эсеровский агитатор, получив обратно свой бумажник, позорно бежал, провожаемый солеными напутственными возгласами женщин.

Импровизированный митинг закончился. Мы стали прощаться с окружающими нас рабочими. Многие из них приглашали нас к себе в гости, а женщины, встретившие нас так неприветливо, извинялись за свою грубость.

На встречу с путиловцами мы опоздали. Но завкомовцы, ожидая нас, занимались своими делами. С нашим приходом беседа, естественно, сразу же приобрела явно выраженный политический характер. Рабочих интересовал фронт — настроения солдат и офицеров, политические маневры высшего командования, а нас — подробности расстрела в Петрограде массовой демонстрации рабочих и солдат.

Путиловцы квалифицировали этот кровавый акт Временного правительства как переход реакции от обороны к наступлению и сделали из него единственно правильный вывод — о необходимости крепкой организации и вооружения рабочих. Мы информировали путиловцев о положении на фронте, о запрещении митингов и собраний, о покушении Временного правительства, генералитета и соглашательских партий на солдатские комитеты. Рассказали им об июльском наступлении на Северном фронте, под Двинском, о поведении командования и настроении солдат.

Наша беседа с путиловцами затянулась до глубокой ночи. Прощаясь, рабочие посоветовали нам встретиться с кем-нибудь из руководителей Военного бюро при ЦК большевиков. Эту встречу они обещали нам устроить на частной квартире.

Мы с Ивановым прекрасно понимали осторожность наших собеседников. Разгром «Правды», травля Ленина и начавшиеся аресты деятелей большевистской партии вновь и вновь поставили вопрос о методах борьбы, о сочетании легальной и нелегальной работы в массах.

На другой день с таким же положением мы столкнулись и на Выборгской стороне. У Лейснера и на других заводах настроение было приподнято-боевое. Но появились и новые черты в поведении рабочих. В заводских организациях стало больше организованности и дисциплины, люди стали серьезнее, почувствовав свою ответственность за судьбы революции, необходимость борьбы с наглюющей с каждым днем контрреволюцией.

Как и в прошлые приезды, я усиленно собирал газеты и разные другие материалы. Около газетного киоска встретил одного из своих старых знакомых — эсера М. А. Самохвалова. Он пригласил меня в Рождественский районный комитет этой партии, который, по его словам, работает в контакте с большевиками. Это меня заинтересовало. В беседе с членами райкома я очень скоро убедился, что этот «контакт» является далеко не полным. Самохвалов и его товарищи были

против своего центрального комитета и его политического блока с кадетами и октябристами. Они даже говорили о своем блоке с большевиками. Правда, с оговорками: если последние согласятся на создание однородного социалистического правительства, сформированного из всех социалистических партий, то есть из эсеров, меньшевиков и большевиков.

— Что же у вас получается?— возразил я им.— Вы не согласны с политической руководств эсеров и меньшевиков и одновременно стоите за передачу в их руки всей полноты государственной власти? Подумайте. Ведь оттого, что в правительство войдут представители большевиков, ровно ничего не изменится. Да, по-моему, и измениться ничего не может. Эсеры и меньшевики в этом правительстве будут иметь большинство, и они как были, так и останутся союзниками кадетов, будут проводить политику, удобную буржуазии, а не рабочему классу и беднейшему крестьянству. Большевики, убежден, в такое правительство не войдут.

Беседа затянулась. Но ясного ответа на свои вопросы я так и не получил. Единственное, что я вынес из посещения эсеровского районного комитета, было убеждение, что эта партия стоит накануне раскола. Признак неплохой. Проведенные Временным правительством два наступления на фронте и особенно июльское побойще в Петрограде заставили, видимо, задуматься и кое-кого из вожаков эсеровской партии, заставили их искать сближения с большевиками, несмотря на травлю последних буржуазной и соглашательской прессой.

В тот же день, только позднее, мы с Ивановым встретились с Н. И. Подвойским и еще одним товарищем из Бюро военной организации большевиков.

Подвойского интересовали прежде всего наши связи с солдатскими массами. Узнав, что я заместитель председателя дивизионного комитета, он особенно настаивал на организации в армии отпора обнаглевшей генеральско-кадетской реакции.

— Расстрел демонстрации, разгром «Правды» и аресты большевиков — это только начало задуманного кадетами и соглашательскими партиями похода против рабочих, солдат и крестьян. Мы входим в полосу очень тяжелой борьбы с контрреволюцией. Наша сила в организованности. У нас не должно быть никаких иллюзий! Кадеты при попустительстве эсеров и меньшевиков намерены покончить с революцией. Поэтому в наших рядах не должно быть никакого благодушия. Наоборот, надо готовиться к схватке. Вы должны всеми силами бороться за сохранение солдатских комитетов. И еще одно: не поддавайтесь на провокации. А они безусловно будут. Учтите это...

Встреча и беседа с Н. И. Подвойским была на редкость плодотворной. Мы получили не только исчерпывающую информацию, но и весьма ценные советы, как нам надлежит вести себя на фронте, что делать для отражения наступления контрреволюции. И главное, быть готовыми к любому повороту событий, а эти повороты бесспорно будут, и очень крутые.

4

Вернувшись на фронт, я был поражен переменами, происшедшими за мое двухнедельное отсутствие. Внешне как будто все осталось по-старому. Но только внешне. Стоило, однако, присмотреться, как за внешним спокойствием обнаруживалась тщательно скрывааемая лихорадочная деятельность офицерства. В штаб дивизии то и дело приезжали какие-то незнакомые офицеры, да и командир дивизии, обычно не покидавший штаба, вдруг обрел величайшую подвижность. Усилились преследования солдатских комитетов. Командование явно стремилось отвлечь их от политики. Причем проводило эту линию продуманно. Так, например, генерал-майор Беляев, относившийся ко мне по-прежнему внимательно, при первой же нашей беседе после моего возвращения из Петрограда как бы между прочим просил воздействовать на полковые комитеты, чтобы они помогли командованию в улучшении бытовых условий жизни солдат.

— Плохо обстоит дело с продовольственным и вещевым снабжением,— сказал Беляев.— На армии отражается ухудшение общего хозяйственного положе-

ния в стране. Нам надо так организовать деятельность интендантской службы, чтобы обмундирование получали действительно нуждающиеся в нем солдаты. Да и за расходованием продуктов нужно следить. В работе комитетов, по-моему, это сейчас главное.

Меня беседа с Беляевым насторожила.

Раньше он не проявлял особой заботы о солдатах, а сейчас он видит в этом чуть ли не главную задачу своей деятельности и даже обращается к дивизионному комитету за помощью. Я тут же решил проверить, насколько искренне Беляев проявляет заботу о солдатах. Не скрывается ли за этой «заботой» кое-что другое.

— Да, вы правы, генерал, о солдатах позаботиться надо. Мы, конечно, этим займемся. Завтра будет заседание комитета. Я передам вашу просьбу и внесу предложение командировать в части дивизии членов комитета, дав им поручение проинструктировать полковые комитеты да заодно и провести в частях собрания с разъяснением июльских событий.

Реакция Беляева была поразительной.

— Только не митинги! Хватит политики! По горло сыты говорильней! Солдат надо кормить не словами, а хлебом! А о событиях в Петрограде тем более не следует говорить. Солдаты и так возбуждены, а ваши комитетчики еще больше их взбудоражат. Очень прошу вас, не делайте этого.

— Если я вас правильно понял, вы запрещаете митинги?

— Не я запрещаю их, а правительство — военный министр Александр Федорович Керенский, а ведь он социалист, следовательно, человек ваш.

— Нет, генерал, Керенский человек не наш, а гучковых и миллиюковых. Раньше проводником реакции в армии был Гучков, теперь Керенский. Думаю, вы не будете этого отрицать.

Возражая мне, Беляев одинаково рьяно защищал и Гучкова и Керенского. Спокойный деловой разговор перешел в открытое политическое столкновение. А когда я сказал, что митинги мы все же проведем, Беляев не сдержался и уже прямо, без всяких обиняков пригрозил тюрьмой. Карты были открыты. О примирении не могло быть и речи. Да его и не искали ни я, ни Беляев. Мы расстались врагами, понимая, что это начало борьбы, пока словесной, но, может быть, и не только словесной — ведь на фронте уже действовали военно-полевые суды и смертная казнь. Только не для беляевых, конечно, а для революционно настроенных солдат.

Создалось парадоксальное положение: министры-социалисты дружески сотрудничают и всеми силами защищают отъявленных монархистов, а вот подлинных пролетарских революционеров, борющихся за победу социализма, они, не задумываясь, расстреливают и по суду и без суда, и в одиночку и массами.

Две так называемые социалистические партии — эсеров и меньшевиков — своими делами продолжали разоблачать себя, показывая массам, что проводимая ими политика направлена не к защите интересов народа, а к победе контрреволюции.

Учитывая угрозы Беляева, все комитеты дивизии стали переходить к новым методам агитационно-пропагандистской работы среди солдатских масс. По сути дела, это была старая и хорошо испытанная тактика сочетания легальной и нелегальной работы, кое-где продуманная, а кое-где выработанная самими солдатами в ходе борьбы с наглюющей реакцией, нарастающей волной репрессий, проводимых реакционным офицерством с согласия меньшевистско-эсеровского комитета 5-й армии. Особенно меня поразила изобретательность солдат, их неиссякаемая самодеятельность.

Так, например, в 279-м пехотном Лохвицком полку очень широко использовали читку получаемых солдатами писем, в которых, несмотря на свирепствовавшую военную цензуру, нет-нет да и проскальзывали бесхитростные сообщения о преследовании властями крестьян и даже земельных комитетов вплоть до их ареста за малейшие посягательства на землю помещиков. А в 278-м пехотном

Кромском полку с таким же успехом была налажена читка газет, причем не только большевистских, но и откровенно правого направления.

Этот метод пропаганды предложили два офицера, близких к большевикам по своим политическим убеждениям, — поручик Рогов и прапорщик Бакурадзе. Они отыскивали в эсеровских, меньшевистских и даже кадетских газетах откровенно реакционные высказывания помещиков и капиталистов, распоряжения центральных и местных властей, направленные против рабочих и крестьян, или сообщения о диком произволе всевозможных новоявленных сатрапов. И что особенно важно: к этому средству пропаганды нельзя было придаться. Если кто-либо из офицеров неожиданно появлялся в блиндаже или землянке и требовал показать ему газету, солдаты с невинным видом протягивали ему «Речь», «Дело народа», «День» или какую-либо другую газету явно благонамеренного направления.

В дальнейшем этот метод пропаганды получил распространение и в других частях дивизии. Конечно, не обходилось и без курьезов. В одной из частей дивизии, кажется в 277-м пехотном Переяславском полку, один из ретивых поклонников Временного правительства, застав солдат за чтением газеты, не на шутку разбушевался. Он назвал солдат «смутьянами» и «изменниками». «Обиженные» солдаты, в свою очередь, обрушились на своего расхоронившегося командира:

— Кто вам, господин поручик, дал право оскорблять нас? Мы будем жаловаться командиру полка и председателю полкового комитета на то, что вы запрещаете нам читать речи председателя совета министров Керенского и других членов Временного правительства.

Офицер опешил. Он не ожидал такого отпора. Взяв из рук солдата газету «Речь», в которой были напечатаны эти выступления, смущенный офицер пролепетал что-то в свое оправдание и стал просить солдат не подавать никаких заявлений.

История эта стала достоянием гласности. После этого скандального случая офицеры Переяславского полка больше уже не делали никаких попыток преследовать солдат за чтение газет или каких-либо других печатных материалов.

5

Обстановка на фронте осложнялась не по дням, а по часам. То и дело поступали сведения об аресте солдат и даже офицеров, о предании их суду, о массовых расстрелах, часто даже без суда, особенно на Юго-Западном фронте. Да и у нас, под Двинском, дела обстояли не лучше.

Как стало известно уже после Октября, еще «1 июля 1917 года командующий Пятой армией генерал Ю. Н. Данилов отправил телеграмму главнокомандующему армиями Северного фронта генералу В. Н. Клембовскому, в которой просил поддержать высказанные предложения об установлении военной диктатуры в стране»¹.

Этот документ, извлеченный из архивов, интересен во многих отношениях. В о-п-е-р-в-ы-х, генерал от инфантерии Ю. Н. Данилов послал эту телеграмму 1 июля, то есть до июльской демонстрации в Петрограде, во-в-т-о-р-ы-х, он говорит о «высказанных предложениях», то есть не одного его, а многих или, во всяком случае, нескольких генералов, в-т-р-е-т-ь-и-х, вопрос, поднятый Даниловым, судя по всему, обсуждался на каком-то совещании высших чинов армии и руководящих деятелей правительства, иначе, согласитесь, командующий армией не обратился бы с подобной просьбой к командующему фронтом. Ведь речь шла в его телеграмме не о каком-либо частном вопросе военно-стратегического порядка, пусть даже очень важном, а о государственном перевороте, или, другими словами, об изменении всего политического и общественного строя в стране.

В те июльско-августовские дни мы, разумеется, еще не знали о существо-

¹ «Революционное движение в русской армии в 1917 г. (27 февраля—24 октября)». М. «Наука». 1968, стр. 577.

вавшем контрреволюционном заговоре и подготавливаемом удушении революции, да и знать не могли, поскольку все это готовилось исподволь и, разумеется, в величайшей тайне.

Завеса стала понемногу приоткрываться лишь во время подготовки московского Государственного совещания. В доходивших до нас газетах, преимущественно правых, вроде «Речи» и «Виржевых ведомостей», при внимательном чтении кое-что уже можно было найти. Так, например, навестившие меня в дивизионном комитете два офицера — командир батареи штабс-капитан Аркадий Николук, по убеждениям левый эсер, и поручик 279-го пехотного Лохвицкого полка Николай Петрашкевич, бывший член партии меньшевиков, показывая принесенные ими газеты, настойчиво советовали мне обратить внимание на состав подготавливаемого Государственного совещания.

Аркадий Николук, человек более непосредственный и экспансивный, показывая на сообщения газет, возмущенно говорил:

— Нет, ты только подумай! Большевики на совещание не допущены. А все монархические партии, начиная от черносотенцев и националистов и кончая октябристами и кадетами, займут в его зале самые почетные места. Выходит, что господа керенские, черновы, чхендзе и цететели решили революцию развивать и углублять руками Родзянко, Корнилова, Рябушинского, Терещенко и прочих приспешников царя. Что это, по-твоему?

— А ты что, Аркадий, не понимаешь? — заметил Петрашкевич. — Это, другой мой, начало контрреволюции. Притом настоящей и хорошо организованной. Поэтому нам надо не зевать, а по-настоящему готовиться к отпору. Мы все — члены солдатских комитетов. Правда, принадлежим к разным партиям. Но цель у нас одна: переход власти в руки Советов. В марте, как вы оба знаете, я был против Ленина. Теперь я не вижу, кроме Ленина, никого, кто мог бы возглавить борьбу рабочего класса. С меньшевиками я порвал. В партию большевиков еще не вступил. Но в предстоящей борьбе буду ее поддерживать везде и во всем. Можете на меня положиться.

За долгое время общения с Н. А. Петрашкевичем такое категорическое его заявление о своем политическом кредо я услышал впервые. Не верить ему у меня не было абсолютно никаких оснований. Это был человек не только умный и всесторонне образованный, но и предельно честный, никогда не скрывавший своих политических взглядов, симпатий и антипатий. С Аркадием Николуком мы были закадычными друзьями и в большой степени единомышленниками. Ему я и доверял и часто советовался с ним по всем трудным вопросам, с которыми в ту пору сталкивался, что называется, почти на каждом шагу.

Газетные сообщения о подготовке Государственного совещания поразили нас всех. То, о чем мы раньше лишь смутно догадывались, встало перед нами во всей своей грозной реальности, осветив, как лучом мощного прожектора, многие факты повседневной жизни армии и особенно мероприятия командования, которым до того мы не придавали сколько-нибудь большого значения. Было ясно, что сидеть сложа руки и пассивно ждать развития событий больше уже нельзя. Деятельности реакции в тылу и на фронте надо что-то противопоставить. А что именно? Мы не знали.

Николук предложил учесть наши силы, причем сделать это немедленно, не теряя времени, и приступить к их организации для предстоящей схватки с реакцией. В крупнейших промышленных центрах рабочие создают отряды Красной гвардии. Реакционный генералитет, в частности в нашей 5-й армии, создает ударные части, так называемые полки и батальоны смерти. Опорой контрреволюции они едва ли будут. Но с этой попыткой создания «гвардии» поднимающей голову реакции мы, разумеется, не можем не считаться. В этих частях нам следует усилить работу, используя все имеющиеся у нас средства. Но этим ограничиться нельзя. Нам надо по примеру рабочих создавать в частях дивизии свою Красную гвардию, конечно тщательно законспирированную. Да надо и оружием запастись, создав в определенных пунктах тайные склады патронов, бомб, гранат, а если удастся, то и пулеметов.

Тут же, не откладывая, мы подсчитали свои силы. Их было немного. И что еще хуже — они были распылены. Организованные большевистские группы в частях дивизии еще только начали оформляться. Постоянной и хорошо налаженной связи с центрами у нас не было. Она все еще носила случайный, эпизодический характер. Правда, у нас стали налаживаться связи с двинскими большевиками, но на первых порах они не могли оказать нам сколько-нибудь существенную помощь. А она нам была крайне необходима. Солдаты стихийно тянулись к большевикам, а организовывать их было почти некому. Достаточно сказать, что в некоторых полковых комитетах не было ни одного члена большевистской партии. Поэтому я попросил Петрашкевича и Николку помочь большевикам, солдатам 279-го Лохвицкого полка и других частей, в организации партийных ячеек и снабжении их большевистской литературой. С подобного рода просьбами я не раз обращался к сочувствующим нам офицерам и другим частям (в 277-м Переяславском полку к поручику Шлезингеру, в 278-м Кромском полку к поручику Рогову и другим). И они, надо сказать, оказали нам существенную помощь. В сентябре и особенно в октябре во всех частях и крупных командах дивизии мы уже имели оформившиеся большевистские организации. Правда, еще слабые.

Другой вопрос, который нас занимал и который мы не раз обсуждали, сводился к следующему.

После расстрела июльской демонстрации в Петрограде, провала наступления на Северном фронте, массовых репрессий, направленных против рабочих, крестьян и солдат в тылу и на фронте, бывшее влияние эсеров и меньшевиков на солдатские массы стало падать, причем в нарастающей прогрессии. Организации этих партий, разбухшие в первые месяцы революции, местами разваливались, особенно меньшевистские. Отходили массы и от эсеров. Отходили не только солдаты, это мы считали закономерным, но и офицеры. Причем если первые, как правило, переходили на сторону большевиков и левых эсеров, то в среде вторых, то есть офицеров, процесс этот проходил куда сложнее. Некоторая часть офицеров, порывая с эсерами и меньшевиками, шла к большевикам и левым эсерам, другая часть, притом более значительная, уходила вправо — к кадетам.

Солдатам и офицерам надо было терпеливо разъяснять политику большевиков, считаясь с укоренившимися у солдат представлениями об эсерах как «мужицкой» партии, учитывая очень сильные оборонческие настроения офицерства.

Обсуждая вставшие перед солдатами проблемы, мы решили, в о-п-е-р-в-ых, поддерживать всеми имеющимися у нас силами растущие организации двух партий — большевиков и левых эсеров, в о-в-т-о-р-ы-х, усилить работу среди офицеров, главным образом среди колеблющейся их части.

Больших надежд на успех работы среди офицерства я не питал и не придавал ей значения. Но мои друзья — Климов, Рогов, Шлезингер, Николук и Петрашкевич, знавшие эту среду лучше, — убеждали меня в обратном, доказывая важность борьбы за привлечение офицеров на нашу сторону. Они говорили, что в среде офицерства всех полков нашей дивизии имеются не только младшие, но и старшие командиры, явно тяготеющие к нам. Назывались имена командиров рот, батальонов и даже отдельных частей, например командира Лохвицкого полка полковника Кохановского и других.

Когда наша беседа подходила к концу, в комнату вошли вернувшиеся из Кромского полка два члена дивизионного комитета — солдаты Потапов и Корсовский и с ними поручик Рогов.

Аркадий Николук отпустил шутку:

— Ну вот Ноев ковчег и заполнен. Можно отправляться в плавание.

Рогов спросил:

— Что ты понимаешь под Ноевым ковчегом?

— А ты что — не видишь? — ответил Николук вопросом. — Сочувствующий большевикам Петрашкевич, максималист Федулов, левый эсер — я, грешный, анархист — ты, уважаемый Рогов, беспартийные Корсовский и Потапов. Ну чем тебе не Ноев ковчег?

— У Ноя в ковчеге были чистые и нечистые, — сказал Рогов. — У нас я что-то нечистых не вижу. Среди присутствующих нет ни одного правого эсера, ни одного меньшевика, ни одного кадета, а ведь эта нечисть пока еще населяет нашу грешную землю. Да не только населяет, но и готовит в Москве Государственное совещание. Триста лет тому назад, в годину тяжких испытаний, бояре земли русской собрались в Москве и выбрали главу государства — царя Михаила Романова. Теперь, говорят, вновь настали тяжелые времена. И вот бояре и воеводы земли русской вновь собираются в первопрестольной, чтобы выбрать нового царя и поставить его над народишком нашим. Поговаривают, что и кандидат намечен — Александр Четвертый. Он уже и в покои царские переселился. Видите, какие дела творятся. А ты, Аркадий, толкуешь — ковчег! Не шуточками надо сейчас заниматься, а делами, да к тому же серьезными. Откровенно говоря, я приехал к Ивану с одним предложением. Очень хорошо, что и вы здесь. Вместе все обсудим и решим. Я предлагаю послать в Москву на время работы Государственного совещания своих людей. Конечно, под каким-нибудь предлогом, соблюдая все законы конспирации. От комитетов посылать нельзя. Начальство догадается и всю эту нашу затею прихлопнет, да заодно и нас с вами. Надо договориться с командирами о том, чтобы они отправили в Москву или в подмосковные города наших людей, разумеется неskomпрометированных, не вызывающих у начальства никаких подозрений...

Предложение Рогова было принято. Тут же были названы и офицеры, с которыми можно было вести переговоры о командировке надежных солдат, не заподозренных в большевизме. Оказалось, что найти таких солдат нелегко. Из всех частей и команд дивизии нам удалось направить в Москву всего лишь человек пять или шесть. Они должны были собрать газеты и другие материалы, относящиеся к Государственному совещанию.

Установили мы связи и с Двинском, чтобы получить возможно большее количество газет. Не обошлось без любопытных курьезов. Так, например, одна из моих двинских знакомых, Геня Иоффе, связанная с большевиками и левыми эсерами, была немало удивлена, когда я попросил ее собирать газеты кадетов, эсеров и меньшевиков, да еще в возможно большем количестве. Мне пришлось долго объяснять ей, для чего именно нам потребовались правые газеты — органы буржуазных и соглашательских партий.

6

Материалы, добытые нами на месте, в Двинске, а также привезенные из Москвы, сыграли большую роль в нашей агитации и пропаганде. В дивизионном комитете, да и в частях они были не только внимательно прочитаны, но и тщательно проштудированы.

Читать на собраниях солдат все речи, произнесенные на Государственном совещании, мы, естественно, не могли. Из целого вороха имевшегося у нас материала приходилось выбирать главное — стенограммы тех выступлений, в которых ораторы вольно или невольно излагали подлинную, а не подкрашенную политику Временного правительства и представленных на совещании буржуазных и мелкобуржуазных политических партий.

Временное правительство и меньшевистско-эсеровское руководство Советов не допустили к участию в совещании представителей партии большевиков, чтобы они не могли разоблачить вынашиваемые ими политические замыслы. Поэтому свою позицию большевики вынуждены были изложить в специальной декларации, зачитанной на совещании Д. Б. Рязановым, входившим в состав делегации профсоюзов.

Заполучив этот важный документ, мы сделали все, чтобы распространить его возможно шире. Наши люди читали декларацию солдатам в блиндажах и землянках, всюду, где только представлялась возможность. Читали, разумеется, тайно от начальства, памятуя, что в «свободной» России за пропаганду взглядов большевиков солдат предавали «военно-революционному», то есть военно-по-

ле в о м у с у д у, гнали на каторгу, а то и расстреливали. С этим мы не могли не считаться, тем более что репрессии в действующей армии нарастали как снежный ком.

Начало им было положено в первые же дни Февральской революции телеграммой генерала Алексеева о недопущении на фронт делегаций петроградских рабочих, о беспощадной расправе с ними. Верный слуга царя приказал подчиненным ему высоким военачальникам захватывать указанные делегации и тут же предавать их военно-полевому суду, а приговоры «тут же приводить немедленно в исполнение», то есть расстреливать делегатов или отправлять их на каторгу.

Но странное дело. И генерал Алексейев и все другие генералы в то же самое время, когда они так свирепо преследовали делегации рабочих, делали все от них зависящее, чтобы всемерно поощрять поездки в действующую армию заведомых монархистов вроде Пуришкевича, Шульгина, Караулова, да и разного рода спекулянтов, аферистов и даже проституток, разрешали им проникать в города, расположенные в ближайшем тылу действующей армии, в штабы армий, корпусов и дивизий.

Среди всей этой оравы близких сердцу генералов «патриотов», конечно, было немало и явных шпионов, собиравших сведения для кайзеровской армии.

Генерал Алексейев с его контрреволюционными приказами, разумеется, был не одинок. Подобного рода приказы отдавали главнокомандующие фронтами, командующие армиями и корпусами. Сознавая свою неспособность справиться с положением, будучи чуждыми новому нарождающемуся строю, они пошли по самому легкому пути — стали сваливать свои просчеты, неудачи и ошибки, а вернее свое нежелание оборонять революционную страну на солдат и на революционные организации. В то время это приобрело характер своего рода моды, да и обеспечивало реакционным генералам поддержку всей буржуазии, всей буржуазной интеллигенции и всех политических партий — от октябристов до левых меньшевиков, от Шульгина, Родзянко, Гучкова до Чернова, Церетели и Мартова.

И нет ничего удивительного в том, что вслед за верховным главнокомандующим генералом М. В. Алексеевым потянулся и сменивший его на этом посту генерал А. А. Брусилов. В телеграмме, адресованной 23 июня военному министру А. Ф. Керенскому, он писал: «...настроение на фронте Пятой армии очень скверное... части отказываются занимать позиции и категорически высказываются против наступления... В некоторых полках открыто заявляют, что для них, кроме Ленина, нет других авторитетов... Считаю, что оздоровление в армии может последовать только после оздоровления тыла, признания пропаганды большевиков и ленинцев преступной, караемой как за государственную измену»², то есть смертной казнью, приказ о введении которой на фронте Брусилов подписал еще раньше.

Эти две телеграммы двух верховных главнокомандующих разоблачают все правящие партии, в том числе меньшевиков и эсеров, безоговорочно поддерживавших генералов в их стремлении задержать развитие революции, а если удастся, то и повернуть ее вспять.

Вся грядущая Россия, то есть добрых девять десятых всего ее населения, если не больше, требовала решения трех самых важных вопросов: окончания губительной для России империалистической войны, передачи помещичьей земли крестьянам, введения в законодательном порядке восьмичасового рабочего дня. И что же? Вместо удовлетворения этих требований народа Временное правительство и меньшевистско-эсеровский Совет рабочих и солдатских депутатов пошли за реакционным генералитетом, исподволь готовившим контрреволюционный переворот.

Так, например, выполняя приказы Алексеева и Брусилова, по-военному четко определивших свою линию на подавление революции, командующий 5-й ар-

² «История гражданской войны в СССР». М. Политиздат. 1939, т. 1, стр. 128.

мией генерал Данилов и послушный ему армейский комитет еще в июне создали так называемую следственную комиссию для расправы с революционно настроенными солдатами и офицерами. По данным «сводки», составленной этой комиссией, только за два месяца ее работы «поступили к производству» «дела» о 37 офицерах и 12 725 солдатах³.

Об арестах, судах, тюрьмах, каторге и расстрелах солдаты 5-й армии, конечно, знали. Не скажу, что они были напуганы репрессиями. Нет. Людей, привыкших ежедневно смотреть смерти в глаза, напугать трудно. Репрессии, обрушенные Временным правительством на действующую армию, вызвали у солдат не испуг, а возмущение и величайшее негодование. Они поняли, что от правительства им ждать нечего, что это правительство враждебно народу.

7

Посещая части дивизии, беседуя с солдатами, я не раз слышал недоуменные вопросы:

— Скажи, почему военный министр Керенский, называющий себя социалистом и революционером, преследует солдат свирепее, чем это делал царь? Что это за революционер и куда он гнет? Уж не хочет ли он сам сесть на трон?..

Подобного рода вопросы, а их мне задавали буквально повсюду, показывали, что солдаты постепенно высвобождаются из-под влияния соглашательских партий, но еще далеко не освободились от этого влияния. Мы это понимали и знали, что нам обольщаться нельзя. Потребуется приложить еще много усилий, чтобы окончательно преодолеть влияние на солдат меньшевиков и особенно эсеров, чтобы превратить армию из оплота соглашательских партий в оплот большевиков.

Решению этой задачи и должны были помочь материалы Государственного совещания, особенно выступления лидеров политических партий и видных генералов. Изучая их, мы на каждом шагу наткнулись на такие перлы циничного откровения, что порой затруднялись в выборе — все они годились для использования в нашей пропаганде.

Естественно, больше всего нас интересовали выступления главы Временного правительства А. Ф. Керенского, тем более что он одновременно занимал пост военного министра и являлся общепризнанным лидером эсеровской партии.

Во вступительной речи Керенского при открытии Государственного совещания наше внимание особенно привлекли его угрозы и самореклама, а в последующих выступлениях — горькие признания.

«Пусть знает каждый,— говорил Керенский,— и пусть знают все, кто уже раз пытался поднять вооруженную руку на власть народную, пусть знают все, что эти попытки будут прекращены железом и кровью. (Бурные, продолжительные аплодисменты)»⁴.

— Как ты думаешь, кому грозит Керенский и кого он защищает? — спросил я члена дивизионного комитета солдата Потапова.

— А разве тебе не ясно? Адреса указаны точно: он грозит рабочим, солдатам и крестьянам, вышедшим в июльские дни на улицы Петрограда и других городов страны с требованием хлеба, мира, земли и передачи власти Советам. Ну а защищает он интересы помещиков и капиталистов, в частности вчерашних и сегодняшних своих друзей по Временному правительству, таких, например, «демократов», как крупнейший помещик князь Львов и миллионер Терещенко.

Так здраво рассуждал в те дни не один Потапов. Он лишь отчетливее, чем другие, выразил то, что говорилось солдатами буквально в каждой роте, да и кое-кем из офицеров.

Председатель полкового комитета 279-го пехотного Лохвицкого полка Петрашкевич, которому я дал читать сделанные мною выписки из стенограмм выступлений Керенского на московском совещании, покачивая головой, заметил:

³ Всего на фронте было 15 действующих армий.

⁴ «Государственное совещание». М.—Л. Государственное издательство. 1930, стр. 4.

— И это социалист! В его угрозе подавить Россию «кровью и железом» мне послышался голос царского саграпа генерала Трепова — «патронов не жалеть!». Разница небольшая, только в словах, а содержание и той и другой угрозы одно — защита буржуазно-помещичьей власти. Правда, Трепов защищал монархический строй, а Керенский, по его словам, защищает «власть народную». Но, странное дело, эсер Александр Федорович Керенский защищает эту власть от того же самого народа, то есть от рабочих и крестьян, от которого двенадцатью годами раньше защищал власть царя Дмитрий Федорович Трепов — его предшественник и учитель. Аналогия, что и говорить, страшная, но, увы, правильная.

С Петрашкевичем нельзя было не согласиться.

Да и сам Керенский не оставил на этот счет ни у кого никаких сомнений. «Какие бы и кто бы мне ультиматумы ни предъявлял, — заявляя он, — я сумею подчинить его воле верховной власти и мне, верховному главе ее»⁵. Скажем проще: верховному прислужнику помещиков, капиталистов и генералов, то есть явных и скрытых монархистов.

Диктаторский тон — это не обмолвка. Он пронизывает все выступления Керенского на Государственном совещании. Вот пример: «И вам здесь, приехавшим с фронта, вам говорю я, ваш военный министр и ваш верховный вожь, я правлю как член Временного правительства»⁶.

К моменту открытия Государственного совещания Керенский явно потерял чувство реальности. Упоенный властью, неожиданно свалившейся на его слабые плечи, он серьезно возомнил себя вождем всего народа и старался изо всех сил усвоить эту новую роль. И не случайно Керенский все чаще и чаще стал принимать позы, излюбленные Наполеоном Первым.

8

Чтение солдатам выдержек из речей Керенского иногда вызывало споры. Среди полуграмотных и неграмотных солдат, вчерашних крестьян, все еще сказывалось эсеровское влияние.

— Что ты читаешь нам отдельные места? Ты прочитай всю речь. Может, там другое сказано, — говорили они.

Наши пропагандисты, такие же солдаты, как и их слушатели, не заставляли себя просить. Солдаты слушали напыщенные речи главы Временного правительства и только качали головами от удивления. Они убеждались в том, что большевики не обманывают их, а говорят всю правду, кое для кого, может быть, и неприятную, но не подкрашенную, а самую настоящую, суровую правду.

На одном из таких солдатских собраний в Лохвицком полку против читавшего выдержки из газет ефрейтора Захарова выступил один из членов полкового комитета, демонстративно называвший себя меньшевиком. Этого умного и развитого солдата я знал, много раз спорил с ним, иногда подолгу, но переубедить его так и не сумел. Возражая Захарову, он сказал:

— Эсеров ты критикуешь правильно. Это партия буржуазная. Ее опора — кулачество. Но в правительство ведь входят и социал-демократы. Кроме того, в их руках находятся Советы рабочих и солдатских депутатов. Социал-демократы — партия пролетариата. Она ведет борьбу за победу рабочего класса, а не буржуазии. Ты это знаешь, поэтому и читаешь только речи эсеров, а о выступлениях социал-демократов умалчиваешь.

Вызов меньшевика Захаров принял. Материалов у него было более чем достаточно. Передавая Захарову подборку высказываний на Государственном совещании, я особенно настойчиво рекомендовал ему использовать в своих выступлениях, кроме речей лидеров буржуазных партий и генералов, также и речи вождей эсеров и меньшевиков. Отвечая меньшевику, Захаров, не мудрствуя лукаво, стал читать выдержки из этих речей. «Товарищи, — выступая на Государственном совещании, говорил Г. В. Плеханов, — вспомните, когда печальной памяти

⁵ Там же, стр. 7.

⁶ Там же, стр. 13.

Ленин на второй или на третий день по приезде своем в Петроград, выступив в Совете Р. и С. Д., доказывал, что рабочий класс вместе с батрацкими и крестьянскими депутатами должен немедленно захватить политическую власть в свои руки, — что вы ответили ему тогда? Вы, огромное большинство Петроградского Совета Р. и С. Д., сказали: нет, этой программы мы не принимаем, ибо Россия переживает теперь капиталистическую революцию, а когда страна переживает капиталистическую революцию, то рабочему классу захватывать власть, полную политическую власть, совершенно неуместно»⁷.

Читая речь самого умного и самого образованного из вождей меньшевизма, Захаров напомнил своему оппоненту 1905 год, плехановское «не надо брать за оружие». И вот теперь, в 1917 году, когда в руках рабочих, солдат и крестьян находится фактическая власть, когда Советы рабочих и солдатских депутатов и солдатские комитеты во всех пятнадцати действующих армиях и в тылу объединяют всех трудящихся страны, Плеханов вновь повторяет то, что говорил в 1905 году, — зовет отдать всю полноту власти буржуазии и помещикам.

На Государственном совещании с речами выступали и другие вожди меньшевизма, в частности Чхеидзе. Причем он выступил сразу же, как только сошел с трибуны атаман казачьего войска генерал Каледин, изложивший программу контрреволюции, разработанную октябристами, кадетами и генералитетом, конечно, не без участия вождей соглашательских партий.

Вот как выглядела обнародованная генералом Калединым программа.

«1. Армия должна быть вне политики, полное запрещение митингов, собраний с их партийной борьбой и распрями.

2. Все советы и комитеты должны быть упразднены как в армии, так и в тылу.

3. Декларация прав солдата должна быть пересмотрена и дополнена декларацией его обязанностей.

4. Дисциплина в армии должна быть поднята и укреплена самыми решительными мерами.

5. Тыл и фронт — единое целое, обеспечивающее боеспособность армии, и все меры, необходимые для укрепления дисциплины на фронте, должны быть применены и в тылу.

6. Дисциплинарные права начальствующих лиц должны быть восстановлены, вождям армии должна быть предоставлена полная мощь»⁸.

Что же сказал председатель Центрального Исполнительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов? Начало речи Николая Семеновича Чхеидзе не на шутку встревожило участников Государственного совещания. Еще бы! Ведь он прямо и во всеулышание заявил: «...только что была провозглашена необходимость немедленного упразднения демократических организаций, какими являются ЦИК Советов Р. и С. Д. и ИК [Совета] Кр. Д.»⁹.

И что же ответил на это наглое требование махрового реакционера генерала Каледина меньшевик Чхеидзе, лидер так называемой революционной демократии? Да ничего. Он просто заявил: «В лице своих Советов Р. Кр. и С. Д. революционная демократия не стремилась к власти»¹⁰. А для того чтобы ни у кого из участников Государственного совещания не оставалось никаких сомнений, он добавил: программа, принятая новым составом Временного правительства, в которое вошли «социалисты», остается прежней, то есть программой, выработанной и утвержденной двумя монархическими партиями — октябристами и кадетами.

Так «социалист» Чхеидзе благословил монархистов в тылу и на фронте на их драконовские контрреволюционные репрессии против рабочих и солдат. Благословил на прямое подавление революции.

⁷ «Государственное совещание», стр. 236.

⁸ «История гражданской войны в СССР», т. 1, стр. 177.

⁹ «Государственное совещание», стр. 77.

¹⁰ Там же, стр. 78.

И не случайно ему так бурно аплодировали все самые махровые реакционеры — Шульгин, Пуришкевич, Родзянко, Милюков, Родичев, Винавер и другие.

Но быть может, Чхеидзе все же сделал хоть какой-нибудь шаг в сторону удовлетворения законных требований народа — рабочих, крестьян и солдат? Ничуть не бывало. Положительная программа, сформулированная в его выступлении на Государственном совещании, сводилась к трем пунктам: 1) войну продолжать; 2) предприятия оставить в руках капиталистов; 3) землю — у помещиков.

Так, например, по вопросу о земле он заявил, что в основу такого урегулирования «в настоящее переходное время до Учредительного Собрания должны быть положены следующие основные принципы: 1) необходимость отвергнуть всякие захваты чьих-либо земель как отдельными лицами, так и группами лиц или обществами»¹¹.

По этому важнейшему для крестьянства и для армии вопросу программу Чхеидзе энергично поддержал и представитель Центрального Исполнительного Комитета Совета крестьянских депутатов эсер Матюшин. Он сказал: «Всероссийский Съезд Кр. Д. ... постановил, что осуществление этого пожелания («земли и воли». — *И. Г.*)... может быть проведено только через Учредительное Собрание»¹².

Умирайте на фронте, голодайте в тылу и ждите Учредительного собрания — вот суть всей политики меньшевиков и эсеров.

Приведенные выше выдержки из речей Керенского, Плеханова, Чхеидзе, генерала Каледина и многих других поразили солдат как громом. Солдаты потребовали от Захарова, чтобы он еще раз прочитал приведенные выдержки из их речей. Захаров читал, а солдаты сами сопоставляли заявления Керенского, Плеханова, Каледина, Чхеидзе и Матюшина и сами делали из них выводы о позиции меньшевиков и эсеров.

Выступавший на этом узком солдатском полуконспиративном собрании меньшевик, поначалу так ретиво отстаивавший политику своей партии, под конец собрания просто не знал, что делать. Он был поражен трогательным единением меньшевиков и эсеров с октябристами, кадетами и генералами, единением социалистов с монархистами.

9

В эти тревожные и до предела напряженные дни я почти все время проводил либо в частях нашей дивизии, либо у артиллеристов, либо в Двинске у знакомых мне большевиков и левых эсеров, а вечером и ночью, когда никто не тревожил, вновь и вновь перечитывал материалы Государственного совещания, листовки Московского комитета РСДРП(б) и собранные мною номера газет, особенно со статьями В. И. Ленина.

Было ясно, что страна подошла к какому-то очень крутому повороту. Но к какому? Единственная партия, которая могла бы повести массы вперед, — это партия большевиков. Но ее деятели арестованы или вынуждены уйти в подполье. Партия левых эсеров, только что рождающаяся, разумеется, не может повести за собой массы рабочих и солдат, а они сейчас — главная сила. Партии меньшевиков и эсеров не в счет. Они окончательно перешли в лагерь контрреволюции. Их вожди, удобно расположившись в министерских креслах, больше всего думают о том, как бы их не покинули кадеты. А эти последние, не торопясь, вместе с генералитетом плетут нити заговора. Контуры его стали проступать давно, а на Государственном совещании они проявились уже со всей отчетливостью. Нельзя же, на самом деле, считать случайностью, что программа контрреволюционного переворота, изложенная генералом Калединым, ни с какой стороны не получила отпора. Наоборот, ее поддержали, хотя и по-разному, все выступавшие ораторы. Не ясно было одно: когда переворот будет совершен и в ка-

¹¹ Там же, стр. 83.

¹² Там же, стр. 88.

кую форму он выльется? Положим, последнее можно было предугадать уже более или менее точно: дело идет к установлению генеральской диктатуры. Не вызывало сомнения и другое: она будет утверждена на крови рабочих, солдат и крестьян.

Беседуя с солдатами и офицерами, притом почти всех положений, чинов и рангов, нельзя было не заметить, что все они встревожены, хотя проявлялось это неодинаково: одни ждали победы контрреволюции, другие — победы над контрреволюцией.

Из множества бесед, которые мне довелось вести, вспоминается одна, на мой взгляд, самая показательная для настроений известной части офицерства, причастного к лагерю контрреволюционных заговорщиков.

Как-то после заседания корпусного комитета меня попросил зайти командир 14-го армейского корпуса генерал-лейтенант барон Будберг, с которым я познакомился еще в первые дни Февральской революции. Тогда он командовал 70-й пехотной дивизией и, как мне казалось, внимательно следил за развитием революционных событий — часто посещал части, беседовал с солдатами и членами солдатских комитетов.

Судя по прошлым нашим беседам, я думал, что разговор пойдет о состоянии дивизии, о настроении солдат, о деятельности дивизионного и полковых комитетов. Однако на этот раз я ошибся. Поздоровавшись, генерал подошел к карте. Указывая на занимаемую 14-м армейским корпусом позицию, в частности на участок 70-й пехотной дивизии, он проговорил:

— Дивизия прикрывает Двинск, другими словами — дорогу на Петроград. Надеюсь, вы понимаете это? Так вот, если немцы заставят нас отступить за Западную Двину и сдать Двинск, дорога на Петроград будет открыта...

— Насколько я знаю, генерал, немцы на нашем участке фронта наступать* не собираются, да, по-моему, и сил у них для наступления недостаточно.

— Вы правы. Мы имеем превосходство и в количестве войск и в огневых средствах.

— Так что же вас беспокоит? Настроение солдат? Не уверены, будут ли они оборонять занимаемые позиции? Скажу прямо — будут. Это мнение всех солдатских комитетов.

— В этом я не сомневаюсь. В наступление солдаты не пойдут, да об этом никто и не думает, а оборонять занимаемые позиции будут. Я хотел поговорить с вами о другом. В высшем командовании ведутся разговоры о сдаче Двинска. Я заявил, что с занимаемых рубежей корпус не отойдет ни на шаг. Занятая мною позиция в этом вопросе кое-кому не понравилась. Отстаивать ее, видимо, будет трудно. Скажите, но только откровенно, могу ли я рассчитывать на поддержку солдатских комитетов?

— Да, генерал, комитеты Семидесятой дивизии вас поддержат. Убежден, что поддержат и комитеты других дивизий. Если нужно, я с ними поговорю.

— Кое с кем я уже говорил. Они дали такой же ответ, как и вы. Не скрою, я не сторонник большевиков или какой-либо другой левой партии. По убеждению я отношу себя к кадетам. Но дело сейчас не в убеждениях и не в партиях, а в судьбе родины. Если Двинск будет сдан, то тем самым немцам будет открыт фронт. Что за этим последует, надеюсь, вы понимаете. Может случиться, что Россия будет сведена на роль второстепенной или третьестепенной державы.

Мне, естественно, хотелось узнать, кто именно из высшего командного состава ставит вопрос о сдаче Двинска. Однако все мои усилия ни к чему не привели. Будберг деликатно уходил от ответа.

Не привели ни к чему и мои попытки подойти к вопросу с другой стороны: какими стратегическими соображениями аргументировало высшее командование сдачу Двинска, отвод 14-го армейского корпуса за Западную Двину, передачу противнику без боя этого водного рубежа, ныне находящегося у нас в тылу.

Вразумительного ответа от командира корпуса я не получил, как ни стался. Прощаясь, Будберг просил о содержании нашего разговора никому не

говорить. Если потребуется помощь комитетов, он даст нам знать через начальника штаба 70-й пехотной дивизии полковника Авчинникова.

— А может быть, лучше через командира дивизии генерала Беляева?— спросил я.

— Ни в коем случае!— резко ответил Будберг.— Вообще советую с Беляевым на эти темы никаких разговоров не вести.

От командира корпуса я ушел в совершенно обалделом состоянии. На фронте назревает что-то очень большое и чрезвычайно опасное, иначе, думал я, кадет Будберг едва ли стал бы апеллировать к солдатским комитетам. Но что именно? Мне было не ясно. В голове теснились вопросы: почему сдача Двинска? почему открытие фронта? неужели Временное правительство докатилось до прямого предательства и явной измены, до сдачи страны полчищам немецкого империализма? Тогда мне это казалось невероятным.

Возможность контрреволюционного переворота я, конечно, допускал. Более того, был убежден, что Керенский и Корнилов, кадеты, эсеры и меньшевики именно к этому и ведут дело. Но переворот — одно, а сдача страны врагу — совсем другое. Для решения первой задачи, собственно, и было созвано московское Государственное совещание. Но ведь все его участники во всех своих речах только и говорили об обороне страны, о доведении войны до победного конца. Этим они, в частности, аргументировали и требование об установлении твердой власти, то есть генеральской диктатуры.

В те дни додумать до конца и раскрыть полностью планы контрреволюции я еще, видимо, был не в состоянии. Да и люди куда более опытные в политике, чем я, не допускали и мысли о том, что стало известно значительно позже, в частности о предложении Родзянко сдать немцам Петроград, о приказе помощника морского министра Дударова командирам подводных лодок топить свои же военные корабли, в том числе и новейшие линкоры, если команды этих кораблей будут настаивать на передаче власти в руки Советов, то есть в руки самого народа — рабочего класса, крестьянства и многомиллионной армии солдат.

Тогда я еще не думал, что контрреволюция для достижения своих узкоклассовых целей готова пойти на все вплоть до прямой измены, до прямого предательства общенациональных и общегосударственных интересов. Правда, в выступлении верховного главнокомандующего генерала Корнилова прозвучала угроза сдачи Риги, но в реальность существования такого чудовищного плана, сознаюсь, я не верил, хотя только этот вывод и можно было сделать из слов Будберга о планах сдачи Двинска. А слов на ветер он не бросал. Будберг справедливо считался едва ли не самым умным генералом во всей нашей 5-й армии.

Возвращаясь в дивизию, я ругал себя самыми последними словами за то, что необдуманно обещал Будбергу молчать, да еще о таком важном разговоре. Несколько дней я буквально не находил себе места. И все же не утерпел — передал Климову и Кохановскому содержание разговора с Будбергом.

10

Сдача Риги все объяснила. Со всей отчетливостью открыла пропасть, на край которой поставили страну зарвавшиеся бонапартисты — Керенский и Корнилов, эсеры, меньшевики.

В эти дни начальник штаба 70-й дивизии старик полковник Авчинников попросил меня зайти к нему. Поздоровавшись, он плотно закрыл дверь и сказал, что меня просят приехать председатель корпусного комитета и командир корпуса, если можно, сейчас же.

Председателя корпусного комитета я не застал. Он уехал в 38-ю дивизию. А командир корпуса был у себя. Он принял меня сразу же. Генерал был явно встревожен. Нервничал. В таком возбужденном состоянии я его еще ни разу не видел.

— Рига сдана. Знаете?— подавая руку, спросил Будберг.

— Да, генерал, знаю.

— И что вы скажете?

— С обстановкой под Ригой я незнаком, но думаю, что Двенадцатая армия удержать Ригу могла.

— У немцев больших сил на Северном фронте нет ни против нашей, ни против Двенадцатой армии,— проговорил командир корпуса, подходя к карте.— Серьезное наступление значительными силами они осуществить не могли.

— Так в чем же дело, генерал?

— Не знаю. Возможно, Рига сдана умышленно. Во всяком случае, положение сейчас создано до крайности опасное. Можно ждать всего.

— А именно?

— Вы читали выступления на Государственном совещании?

— Да, генерал, читал.

— Вы поняли, к чему призывали выступавшие, в том числе и ваши товарищи — социалисты?

— Когда-то они действительно были нашими товарищами. Это верно. Были, генерал, да перестали ими быть. Сейчас они идут в ногу с самыми откровенными монархистами, сторонниками диктатуры какого-нибудь русского Кавеньяка. И если уж говорить начистоту, на эту вакантную должность уже нашли и подходящего человека, это генерал Корнилов. Думаю, не ошибусь, если скажу, что мы стоим на пороге самого настоящего контрреволюционного государственного переворота.

— Я не верю в успех такого переворота,— ответил Будберг.— Скажу больше. Попытка совершить его вызовет самую страшную гражданскую войну. Оружие сейчас в руках миллионов солдат и рабочих. Оно будет направлено против имущих классов, интеллигенции и командного состава армии. Это значит, что вся культурная, мыслящая часть населения будет физически уничтожена. В стране воцарится невероятный хаос, и Россия как самостоятельное и независимое государство погибнет. Она станет добычей великих держав — враждебных и союзных.

— Я тоже не верю в успех контрреволюционного переворота. Убежден, что он будет сорван. Но надо считаться с реальными фактами. Переворот готовят не какие-нибудь случайные люди, а вожди правительственных партий — кадетов, эсеров, меньшевиков, находящихся, судя по всему, в союзе с верхами армии, то есть с реакционным генералитетом.

— Вот это-то как раз меня и тревожит. Я боюсь, что в случае какого-либо гуча солдаты начнут расправу с офицерами, не разбираясь в том, кто прав, кто виноват. Что же касается меня лично, то скажу вам, что я не разделяю подобного рода авантюристических замыслов и могу заверить комитеты в том, что ни одна часть корпуса не будет использована для участия в этой безумной аванюре. А вас я прошу принять все зависящие от комитетов меры к предотвращению возможных эксцессов.

Беседа с генералом Будбергом продолжалась долго и была на редкость откровенной. У меня создалось впечатление, что он чем-то или кем-то страшно напуган.

О контрреволюционном кадетско-генеральском заговоре он, видимо, был информирован, даже, возможно, знал и кое-кого из его участников (не случайно же он предупреждал меня о Беляеве). Однако сам он активного участия в заговоре, судя по всему, не принимал, может быть даже был против, но и не пытался его предотвратить, а занял так называемую нейтральную позицию, выгодную в данной ситуации только одной из борющихся сторон, а именно — контрреволюционным заговорщикам.

Позднее, копаясь в архивах, я нашел документ, подтверждающий эти мои предположения.

После беседы с Будбергом я встретился с председателем корпусного комитета, только что вернувшимся из 38-й пехотной дивизии. Разговор с ним ничего

к тому, что я знал, не прибавил. Правда, он сослался на какое-то сообщение командующего 5-й армией генерала Данилова о якобы готовящейся расправе солдат с офицерами. На мой вопрос, видел ли он сам это сообщение, председатель комитета ответил отрицательно и добавил, что, видимо, оно было передано Будбергу устно при очередном посещении им штаба армии.

Тревога Будберга в какой-то мере передалась и председателю корпусного комитета. Он даже спросил меня, не знаю ли я о существовании плана уничтожения офицеров в случае какой-либо «заварухи». Я ответил, что, по-моему, такого плана ни у кого нет, да и быть не может, что это провокационный слух. И пущен он кем-то из реакционеров с целью настроить офицеров против солдат, привлечь их на свою сторону да заодно и оправдать репрессии командования против солдат, чтобы запугать их и тем самым облегчить действия контрреволюции.

11

Возвратился я из штаба корпуса поздно. Мои товарищи по комитету уже собирались укладываться спать. Вид у них был усталый. На мой недоуменный вопрос Потапов ответил:

— Не удивляйся. Целый день мотались по частям. Разговоров была уйма. А сейчас — спать. Да и ты ложись. День завтра будет трудный.

— Почему?

— Не знаю. В штабе целый день была какая-то необычная суета. Что-то готовится. Кстати, за тобой три раза присылал командир дивизии.

— Зачем я ему потребовался?

— Ну, об этом он тебе скажет сам.

Потапов, Корсовский и другие улеглись спать. В нашем жилище наступила тишина. Я закрыл от спящих свет лампы, достал материалы Государственного совещания и углубился в чтение уже много раз прочитанных и перечитанных речей вождей политических партий, напечатанных в «Русском слове» и других газетах.

И, странное дело, чем больше я вчитывался в материалы Государственного совещания, тем меньше понимал позицию, занятую на этом совещании меньшевиками и эсерами. На словах они за революцию, на деле — за контрреволюцию, формирующуюся открыто, у них на глазах.

Утро застало меня за чтением газет. К старым выпускам прибавилась целая гора новых. Вырисовались два главных кандидата в диктаторы — Керенский и Корнилов.

А. Ф. Керенский возомнил, что он стоит над классами и партиями и выражает интересы всего народа. В действительности же он занимал самую опасную для политического деятеля позицию — сидел между двумя стульями. Он умудрился потерять поддержку народа, то есть рабочих, солдат и крестьян, не завоевав ни доверия, ни поддержки буржуазии, которая, по его же собственным словам, видела в керенских лишь «миражи и тени». В июле и особенно в августе рабочие величали его «наполеончиком» и «Александром Четвертым». Сам Керенский едва ли понимал, что время александров и наполеонов безвозвратно прошло, что ветры эпохи гонят корабль революции не в ту сторону и не в ту гавань, которая мерещилась его воображению, а совсем в другую, противоположную сторону и в другую, пролетарскую гавань.

Этого не понимал и второй кандидат в диктаторы — Корнилов, как и толкавшие его к трону буржуазно-помещичьи партии октябристов и кадетов.

Дорога к трону была явно не по силам как А. Ф. Керенскому, так и не знавшему военных побед генералу от поражений Л. Г. Корнилову.

Победить в исторической тяжбе классов могла только политическая партия, которая выражала интересы подлинного народа — рабочих, солдат и беднейших крестьян. А такой партией в 1917 году была лишь одна-единственная партия — ленинская партия большевиков.

Утром, собирая прочитанные газеты, я с удовлетворением посмотрел на исписанные листки бумаги. Ночь не прошла даром. За ночь я многое узнал или уточнил, многое передумал, а кое-что и перерешил. Основной вывод, сделанный мною из перечитанных за ночь материалов, сводился к одному: мы вплотную подошли к самой настоящей гражданской войне. Ее объявило народу московское Государственное совещание, а начали ее генералы с согласия всех буржуазных и мелкобуржуазных партий, обрушив на солдат массовые репрессии, сдав немцам Ригу и открыв им тем самым путь на революционный Петроград.

За скудным завтраком я поделился с товарищами по комитету своими соображениями. Их замечания показали, что в оценке положения серьезных расхождений между нами нет. Кто-то из членов комитета предложил запастись на всякий случай оружием — ручными пулеметами, карабинами, наганами и гранатами. Аргументация была простая: в случае попытки арестовать дивизионный комитет (а угрозы подобного рода мы слышали не раз) придется отбиваться оружием, пока не удастся поднять части дивизии и отстоять солдатские комитеты от нападения поднявшей голову контрреволюции.

Пополнение наших тайных складов оружия взял на себя Потапов. Инструктирование полковых комитетов на случай каких-либо контрреволюционных выступлений командования взялись провести остальные члены дивизионного комитета.

Мне предстояло отправиться в Лохвицкий полк проинструктировать полковой комитет, который, кстати сказать, значительно пополнился большевиками и левыми эсерами и считался в дивизии самым революционным. Хотелось заглянуть и в штаб полка, побеседовать с Климовым, а если удастся, то и с полковником Кохановским. Однако осуществить это не удалось. Прибывший в дивизионный комитет взволнованный связист штаба сбивчиво рассказал: поступили телеграммы о начавшемся контрреволюционном выступлении генерала Корнилова. Я попросил связиста раздобыть копии полученных штабом сообщений. Он сказал, что все телеграммы и радиограммы забрал командир дивизии и приказал никому не говорить об их содержании. Более того, на станции постоянно дежурит кто-нибудь из штабных офицеров и сразу же забирает все принимаемые телеграммы. Все же связист обещал информировать нас о наиболее важных сообщениях.

После ухода связиста мы тут же устроили летучее совещание находившихся на месте членов дивизионного комитета и, обсудив положение, решили немедленно отправиться в части, чтобы информировать полковые комитеты о начавшемся генеральском мятеже. Положение создалось критическое, поэтому все наши силы необходимо привести в полную боевую готовность, рассказать солдатам о начавшемся контрреволюционном выступлении генерала Корнилова и ни в коем случае не выполнять приказов командования о каких-либо передвижениях частей или подразделений дивизии, а в случае контрреволюционного выступления офицеров немедленно их арестовывать и содержать под самым строгим караулом.

Перед поездкой в 279-й Лохвицкий полк я решил посетить артиллерийскую батарею. Штабс-капитана Николюка я застал за завтраком. Поздоровавшись, он сказал:

— Ну что же, дружище, генералы приступили к осуществлению тщательно разработанного плана контрреволюционного переворота. Корнилов двинул на Петроград войска — целый конный корпус. Надо смотреть в оба: как бы этот господин не открыл фронт или не бросил наши части на Питер.

Из сказанного я понял, что Аркадий Николюк информирован куда лучше, чем мы, члены дивизионного комитета. Поэтому и попросил его рассказать мне все, что он знает. Беседа с Николюком затянулась. Он передал мне не только те сведения, которые получил раньше, но и самые свежие донесения.

Как выяснилось из разговора, ему удалось установить связь с Двинском и, что особенно важно, с двинскими большевиками. От них он и получил информацию о наступлении контрреволюционных сил на Петроград и о принимаемых большевиками и питерскими организациями мерах по ликвидации корниловской авантюры.

Знали о событиях и в Лохвицком полку, куда я направился после посещения артиллеристов. Председатель полкового комитета большевик Малявский уже успел побывать в Двинске и в соседнем 278-м Кромском полку. Я встретился с Малявским у адъютанта полка штабс-капитана Климова. Малявский был настроен воинственно. Предлагал бросить Лохвицкий или Кромский полк на помощь питерским рабочим. Я информировал Малявского и Климова об устной директиве дивизионного комитета, с которой его члены направились во все части дивизии. Главное сейчас состоит в том, чтобы не дать командованию, то есть генералу Беляеву, двинуть какую-либо часть дивизии на помощь корниловцам. Поэтому полковые комитеты любой ценой должны добиваться не выполнения и я приказов командования о перемещении целых частей или их подразделений с занимаемых ими сейчас позиций.

Нам надо предотвратить две опасности: во-первых — открытие фронта, на что беляевы, выполняя приказ высшего командования, могут пойти; во-вторых — использование дивизии или отдельных ее частей на стороне корниловцев. Было бы хорошо связаться через двинские организации с Центральным или Петроградским комитетами большевиков и получить от них указания, что и как мы должны делать в этой сложной и чрезвычайно опасной обстановке.

Было решено, что Малявский сейчас же отправится в Двинск, проинформирует двинских большевиков о положении дел в дивизии и попытается через них установить связь с Петроградом. А Климов передаст содержание нашего разговора командиру полка Кухановскому и вместе с ним выработает план действий на случай, если, паче чаяния, командир дивизии попытается использовать полк для поддержки контрреволюции.

На другой день утром ко мне приехал Малявский. Он сообщил, что большевики Двинска одобрили принятые нами решения и посоветовали нам не принимать дополнительно никаких серьезных решений. Если Питеру потребуется наша помощь, нам будет об этом сообщено.

Когда беседа с Малявским подходила к концу, меня вызвал командир дивизии.

— Будь осторожен с этой гадиной, — сказал, напутствуя, Малявский. — Может случиться, что Беляев подготовил тебе какую-нибудь пакость. Смотри, оружия не сдавай, а если будут арестовывать, выстрели в окно. Я буду наблюдать и, если последует сигнал, начну действовать.

Я вложил в браунинг полную обойму, а в другой карман положил лимонку. С этими «гостинцами» и поднялся наверх, в кабинет командира дивизии. Генерал Беляев был один. Он был в хорошем настроении. Подавая руку, спросил:

— Вы, вероятно, уже информированы о событиях?

— О каких событиях вы говорите, генерал?

— А вы разве ничего не знаете? Временное правительство приказало долго жить. Сейчас верховный главнокомандующий формирует новое правительство. Думаю, что ваши комитеты и Советы будут распущены. Учтите это!

— Если я вас правильно понял, верховный главнокомандующий генерал Корнилов начал борьбу за ликвидацию всех завоеваний революции.

— О нет! Вы ошибаетесь! Верховный главнокомандующий, поставленный на этот высокий пост народом, начал борьбу за установление твердой власти, способной закрепить добытые народом свободы и завершить победоносно войну.

— Боюсь, что мы с вами по-разному оцениваем действия генерала Корнилова. Он пытается навязать народу свою единоличную диктатуру. Думаю, что его ждет жесточайшее поражение.

— Вы что-нибудь знаете?

— Нет, генерал, я пользуюсь слухами, а как вы понимаете, это не особенно надежный источник информации. Вы, конечно, знаете о событиях в сто раз больше, чем я, но вы едва ли будете делиться со мной имеющимися у вас более или менее достоверными сведениями.

— Почему вы так думаете? Имеющиеся у меня сведения никакого секрета не составляют. Да их не так и много: я знаю лишь, что все видные государственные деятели вышли из состава Временного правительства, что все серьезные политические партии поддерживают верховного главнокомандующего, а против него выступают подкупленные немцами политические авантюристы.

— Благодарю вас, генерал, за комплимент.

— Но вы ведь, насколько я знаю, не большевик.

— Да. Я не большевик, но должен сказать, что полностью согласен с большевиками и работаю с ними рука об руку.

— В этих вопросах я разбираюсь слабо. Спорить с вами не буду, да и времени у меня нет. Скажу одно: большевикам скоро придет конец. Но это между прочим. Я хотел говорить с вами о другом. Сообщают, что солдатские комитеты что-то затевают: то ли хотят фронт бросить, то ли еще что-то предпринять. Вы знаете что-либо об этом?

— Абсолютно ничего. Думаю, это чья-то неумная выдумка.

— Вы уверены в этом?

— Абсолютно!

— Ну что ж, это хорошо. А все же узнайте, не готовят ли ваши комитетчики что-либо в этом духе. Очень прошу.

— Никаких авантур комитетчики, как вы нас называете, не готовят и даже не собираются готовить. Если где-либо и затеваются какие-то авантюры, то не в комитетах, а в других местах.

— Вот вы уже начинаете нервничать. Не годится это! Не годится!

Генерал заспешил. Стал прощаться. Подавая руку, он сказал:

— Если у вас что-либо будет ко мне, заходите, не стесняйтесь.

На этом наша беседа закончилась.

Когда я вернулся в комитет, там уже было человек десять — пятнадцать хорошо вооруженных солдат. Малявский меня ждал и беспокоился. По его словам, он уже собирался идти ко мне на выручку.

Мой рассказ о беседе с командиром дивизии встревожил всех находившихся в комитете солдат. Вывод, который они сделали из моего рассказа, сводился к следующему. Беляев — человек неглупый, очень осторожный и трусливый. Цель его жизни — личная карьера, благополучие и обогащение. Если бы дела у Корнилова шли плохо, он не стал бы вести себя так уверенно. И уж, конечно, не стал бы так откровенно говорить о «твердой власти» и «ропуске Советов и солдатских комитетов», то есть о государственном перевороте.

— В драку, видимо, придется войти и нам,— подытожил беседу Малявский.— А отсюда следует, что нам не откладывая надо к этому готовиться: выяснить отношение всей массы солдат к корниловской аванюре, учесть все команды, роты, батальоны и полки, которые готовы выступить против корниловцев с оружием в руках и, главное, будут драться. Кроме того, нам необходимо подобрать преданных революции офицеров, на которых можно возложить командование этими войсками, взять под негласную охрану склады оружия, продовольствия и т. д.

Кроме указанных мер, было решено членам комитета связаться с другими дивизиями нашего 14 го армейского корпуса, а связь с Двинском сделать постоянной, для чего использовать телефон Лохвицкого полка.

Кто-то из участвующих в беседе членов дивизионного комитета предложил обратиться в армейский комитет, но это предложение сразу же было отвергнуто, потому что армейский комитет 5-й армии — послушное орудие генерала Данилова и вместе с ним, надо полагать, участвует в корниловском заговоре.

Дивизионный комитет напоминал в эти дни растревоженный улей. С раннего утра и до глубокой ночи наше обиталище было наполнено людьми. Солдаты

приходили в одиночку и группами. Заглядывали к нам и офицеры. Они тоже были встревожены событиями.

Корниловский мятеж заставил их серьезно задуматься о своем месте в революции — по какую сторону баррикады встать в происходящей борьбе. По имевшимся у меня сведениям, большинство офицеров нашей дивизии было на стороне корниловцев, по крайней мере в первые дни мятежа. Поэтому едва ли надо говорить о том, как радовало нас появление в дивизионном комитете каждого нового офицера, заявлявшего о своей солидарности с борющимся пролетариатом.

С некоторыми офицерами приходилось подолгу беседовать, терпеливо разъясняя им политику большевистской партии по целому ряду, казалось бы, самых простых вопросов.

Длительные разговоры с офицерами в дни корниловского мятежа заставили меня пересмотреть сложившееся у меня представление о степени политического развития офицерского состава царской армии. Очень часто я обнаруживал, что часть офицерства по уровню политического развития не только не превосходит, скажем, передовых рабочих Петрограда, которых я знал достаточно хорошо, но и значительно уступает им.

Так, например, многие офицеры совершенно не читали основных работ В. И. Ленина. Даже ничего не знали об их существовании. Они не читали и других теоретиков марксистской школы — Плеханова, Каутского, Гильфердинга, Мeringa и многих других, книги которых были изданы еще до революции и имелись во всех фундаментальных библиотеках.

Особенно поразил меня один штабс-капитан, просивший разъяснить разницу между народниками и марксистами, между эсерами и социал-демократами, между кадетами и октябристами.

— Понимаете,— говорил он,— в газетах мелькают названия партий, а что они собой представляют и какая между ними разница, хоть убейте меня, не знаю.

Я дал ему кое-что из имевшихся у меня книг и брошюр, которые, судя по последующим нашим разговорам, он жадно прочитал и, по его словам, «приобщился к сокровищнице марксистских знаний».

В октябрьские дни этот офицер поддерживал партию большевиков и боролся за победу социалистической революции на фронте.

И это был не единичный случай.

Но больше всего меня радовали процессы, происходившие в массе солдат, в ее многомиллионной толще. Из забитых и послушных рабов они на глазах становились мыслящими, умными людьми. Грамотные солдаты жадно читали все, что им попадало в руки,— газеты, брошюры, книги, а неграмотные просили прочитать им или рассказать своими словами о том, что пишут в газетах.

От многих солдат я слышал просьбы обучить их грамоте. Мы шли им навстречу. Наиболее развитые и грамотные солдаты не без успеха занимались «ликвидацией неграмотности».

Едва ли я ошибусь, если скажу, что политические последствия корниловщины были поистине грандиозны. Если до московского Государственного совещания и открытого контрреволюционного корниловского мятежа массы солдат все еще продолжали верить эсерам и меньшевикам, даже поддерживали их, в частности на выборах в солдатские комитеты, то после мятежа влияние этих партий на массы солдат стало катастрофически падать.

Активность в эти дни проявляли не только солдатские комитеты, но и штаб дивизии, точнее ее командир генерал-майор Беляев и поддерживавшие его офицеры. В дивизионном комитете собирались преимущественно солдаты. В штабе дивизии — офицеры. Иногда там появлялись и незнакомые мне генералы.

Как-то при встрече я спросил начальника штаба дивизии полковника генерального штаба Авчинникова о зачистивших в нашу дивизию высоких чинах. Уже не готовится ли на нашем фронте какая-нибудь серьезная операция?

— Нет, — ответил полковник, — это скорее всего связано с безумной «операцией» верховного главнокомандующего.

— А вы, полковник, считаете ее безумной?

— Безусловно! Лавр Георгиевич, насколько я его знаю, никогда не отличался ни большим умом, ни сколько-нибудь значительными знаниями или полководческими талантами. Он человек смелый, исполнительный. Но по своим убеждениям ярый монархист. Меня поражает одно: почему Временное правительство, в частности его глава, так настойчиво выдвигает Корнилова? И если уж говорить начистоту, меня поражает и другое: как мог генерал, окончивший в свое время Академию генерального штаба, — как мог он решить выступить против народа, только вчера сбросившего ярмо царизма? Выступить, чтобы надеть народу новое ярмо — то ли генеральской диктатуры, то ли восстановленной монархии, конечно не Николая Второго, а какого-либо другого царя, скажем Михаила Второго или Дмитрия Первого?

— Или монархии самого Корнилова?

— Нет, вы ошибаетесь. В Наполеоны Корнилов не годится. И не только в первые, но и в третьи. Учтите, Наполеон Первый в глазах французского народа был генералом революции. Да и к трону он шел постепенно, по лестнице баснословных военных побед и хорошо обдуманых политических маневров. А какими победами может похвастаться Корнилов? Ведь, кроме поражений, у него за душой нет ничего. Наполеон имел огромный авторитет в народе и в армии. Его знала вся Франция. А кто знает Корнилова? Никто! Народ, в том числе и солдаты, его совершенно не знает. Не знает его и офицерский корпус. С такими данными и силами, какими располагает генерал Корнилов, победить нельзя. Нельзя даже в том случае, если его выступление поддержит большинство офицерства, в чем я сильно сомневаюсь.

— Чего же, по-вашему, мы должны ожидать?

— Я, Иван Михайлович, человек старый. Вам, большевикам, не сочувствую. До социализма Россия не выросла. А вот республика, скажем, типа французской, ее вполне бы могла устроить. Но такой республики не будет. Ее сторонники слишком слабы. Они теряют и те силы, на которые еще вчера опирались. Я имею в виду социалистов-революционеров и социал-демократов. Сейчас властителем дум и сердец народа является Ленин. Другого авторитетного вождя в России сейчас нет. Да, видно, и не будет. Неоткуда ему взяться. Ленина я раньше не знал. Думал, что он такой же, как и все социал-демократы, то есть доктринер. Материалы, которыми вы меня снабжаете, я тщательно изучаю, и не без пользы для себя. Больше всего меня занимают работы Ленина. Это вам не красной Керенский. Это большой ученый и такой же большой политик. Выступление Корнилова провалится. В его успех я не верю. Не верят и многие другие офицеры. Объективно рассуждая, это последняя серьезная попытка предотвратить приход к власти Ленина и большевиков. Если она будет бита, а она безусловно будет бита, переход власти к Советам, то есть в руки Ленина и большевиков, неизбежен, притом в самое ближайшее время, по-моему, еще до наступления зимы.

Беседа с начальником штаба 70-й пехотной дивизии меня обрадовала. Повседневно общаясь с ним, я мог, пожалуй, отметить только одно: его повышенный интерес к политическим событиям да еще стремление разобраться в программах разных социалистических партий — правых и левых. Как-то, зайдя ко мне, полковник обратил внимание на собранные мною за месяцы революции книги, брошюры, газеты и другие материалы. Копаюсь в моих книжных залежах, он отобрал для себя до десятка работ, принадлежащих перу представителей совершенно разных мировоззрений и политических партий, книги таких, например, авторов, как П. Л. Лавров, В. М. Чернов, Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, Генрих Кунов, К. Каутский и другие.

С тех пор и началось наше общение. Держался Авчинников скромно. Взглядов своих или отношения к событиям не высказывал. Но при каждой встрече спрашивал: нет ли у меня чего-либо нового, интересного? В последние дни он особенно интересовался материалами московского Государственного совещания. Уходя от меня, старик уносил пачки газет, а на другой день утром приносил их обратно. Делал это, как правило, сам, не доверяя даже своему денщику.

14

На другой день после беседы с полковником Авчинниковым меня вызвал командир дивизии. Незадолго до вызова в комитет приехал Малявский. Он сообщил, что генерал Корнилов смещен Временным правительством с поста верховного главнокомандующего. С этой новостью я и отправился к командиру дивизии.

— Вы что-нибудь знаете о замыслах полковых комитетов Лохвицкого и Кромского полков, о плане увода этих частей с фронта? — спросил Беляев.

— Таких планов, генерал, ни у того, ни у другого комитета не было и нет. Это какая-то нелепая выдумка или прямая провокация, и я очень прошу вас не поддаваться на нее.

— Ну, а если фронт будет открыт? Что вы тогда скажете?

— Фронт, генерал, не будет открыт, и тот, кто попытается это сделать, будет уничтожен. Открыть фронт — это открыть дорогу на Петроград.

— Вот об этом как раз я с вами и хотел поговорить. Пока комитеты этих полков не привели своих планов в исполнение, их надо убрать.

— Как прикажете понимать ваше слово «убрать»?

— А вам разве не ясно? Арестовать.

— Дивизионный комитет будет бороться против арестов и не позволит арестовывать не только какой-либо из полковых комитетов, но даже отдельных их членов.

— Не слишком ли много власти вы присваиваете себе? Вы что же, хотите, чтобы командование было подчинено комитету?

— Нет, генерал, мы хотим только одного — чтобы командование не принимало опрометчивых решений.

— Не извольте учить, солдат Федулов. Не забывайте! Если потребуется, то мы арестуем не только полковые, но и ваш дивизионный комитет. Такое право нам предоставлено верховным главнокомандующим.

— То есть контрреволюционными заговорщиками, возглавляемыми бывшим верховным главнокомандующим генералом Корниловым. Понимаю!

— Почему бывшим?

— А разве вы не знаете, что генерал Корнилов смещен с поста верховного главнокомандующего? Возможно, уже арестован.

— Кем?

— Временным правительством.

— Откуда вы это знаете?

— Из сообщений верховной власти.

Такого оборота дела Беляев, видимо, не ждал. Он сразу как-то скис. Плонулся в стоявшее у письменного стола глубокое кресло и некоторое время молчал.

Посчитав разговор законченным, я хотел было уйти. Но в это время в дверях появились два штабных офицера. Беляев посмотрел на них, на меня и, махнув рукой, тихо проговорил:

— Уйдите!

Офицеры, щелкнув каблуками, повернулись и вышли.

— Итак, господин генерал, насколько я понимаю, вы объявляете войну комитетам. Должен заявить вам и от себя и от имени всех комитетов дивизии, что ваш вызов мы принимаем.

— Что вы, Федулов, помилуйте, побойтесь бога! У меня и в мыслях не было ничего подобного. Вы отлично знаете мое отношение к комитетам, а к вам лично я всегда относился более чем хорошо. Вы умный, способный и толковый человек,

и я просто хотел посоветоваться с вами о том, как безболезненнее устранить назревающую опасность. Давайте наш разговор прервем, — вставая и подавая руку, проговорил Беляев, — и продолжим его несколько позднее, если у вас, конечно, не будет возражений.

На этом мы и расстались. Вернувшись в комитет, я рассказал товарищам по комитету о своем разговоре с Беляевым, о его угрозах и попросил Потапова вызвать всех членов дивизионного комитета и всех председателей полковых комитетов.

Первыми прибыли в комитет Малявский, Николук и Бакурадзе. Все трое предложили немедленно арестовать Беляева, а если будет сопротивляться — пристрелить. Предложение мне казалось правильным. Беляева я ненавидел и готов был пойти на эту крайнюю меру. К счастью, во время жаркого обсуждения в комнате неожиданно появились Шиманский, Климов и Петрашкевич. Узнав, в чем дело, Шиманский и Климов резко высказались против ареста командира дивизии.

— Вы подумали, на что идете? — сказал Климов. — Никаких веских материалов, кроме разговора Ивана с Беляевым, к тому же с глазу на глаз, у нас нет. Ни командование корпуса, ни командование армии, ни вышестоящие комитеты нас не поддержат. Раньше времени лезть в драку — можно испортить все дело. Перед отъездом сюда я получил сообщение о полном провале корниловского мятежа. А это значит, в стране и, конечно, в армии создается чрезвычайно выгодное для нас положение. Мне думается, что нам, прежде чем что-то предпринять, надо посоветоваться с двинцами. У них связь с центром. Они лучше нас информированы. Подскажут, что и как следует делать.

Выступление Климова явилось холодным душем. Мы поняли, что зарвались, дали чувствам возобладать над разумом. Климов правильно заметил, что условия для решительного боя пока не созрели. Надо заниматься не вспышкопускательством, а работать в массах.

Информировать полковые комитеты о планах беляевых, конечно, надо, но обязательно следует предостеречь товарищей от поспешных, непродуманных действий. Время для штурма еще не пришло. Эту мысль надо разъяснить и, главное, убедить людей в ее правильности.

Совещание было немногочленным и велось, как обычно, без протокола, без записей. Выступавшие, главным образом Климов и Шиманский, указывали, что нам сейчас во всей агитационно-пропагандистской работе следует как можно шире и смелее использовать материалы, разоблачающие политическое существо корниловщины.

Борьбу с корниловщиной возглавили большевики. Их поддержали питерские рабочие и кронштадтские матросы. Если взять количество партий контрреволюции и революции, то за первыми был численный перевес. Кроме того, на их стороне были массовые организации, например такие, как Центральные исполнительные комитеты Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, все комитеты фронтов и всех действующих армий, многие корпусные и дивизионные комитеты и почти вся повременная печать.

Корниловщину победил народ — массы рабочих, солдат и матросов. Величайшая заслуга большевистской партии состояла в том, что в эти решающие дни она сумела разоблачить буржуазно-помещичью контрреволюционную сущность корниловщины, дать массам правильный лозунг, поднять и организовать их на борьбу за интересы трудового народа. Разгром корниловщины — это величайшее чудо. Рабоче-солдатская Россия победила Россию буржуазно-помещичью и мещанско-обывательскую. Это была генеральная проверка соотношения классовых сил.

Корниловщина — это рубеж. Если до генеральского мятежа буржуазия еще могла питать какие-то надежды на победу и сохранение своего господствующего положения в обществе, то после разгрома мятежа никаких надежд у нее уже не осталось. Весь вопрос теперь был в том, когда, как скоро власть перейдет из рук буржуазии в руки рабочего класса.

Через много лет я прочитал воспоминания Г. К. Орджоникидзе, в которых он передает свой разговор с В. И. Лениным, находившимся в то время в подполье, в знаменитом шалаше недалеко от станции Разлив.

«Владимир Ильич,— пишет Серго,— выслушав меня и задав ряд вопросов, сказал:

— Меншевицские Советы дискредитировали себя; недели две тому назад они могли взять власть без особого труда. Теперь они — не органы власти. Власть у них отнята. Власть можно взять теперь только путем вооруженного восстания, оно не заставит ждать себя долго. Восстание будет не позже сентября—октября...

Все это я слушал с напряженным вниманием, впечатление было ошеломляющее. Нас только что расколотили (в июле 1917 года.— И. Г.), а он предсказывает через месяц-два победоносное восстание.

Когда я передал Ильичу слова одного товарища, что не позже августа — сентября власть перейдет к большевикам и что председателем правительства будет Ленин, он совершенно серьезно ответил: «Да, это так будет...»¹³

Беседуя с Серго в 1932 году, я напомнил ему этот его разговор с Лениным и рассказал о своей беседе в августе 1917 года с полковником генерального штаба Авчинниковым, который, не разделяя наших взглядов, сказал, что после разгрома корниловского мятежа власть неизбежно еще до зимы перейдет к большевикам.

— А что тут удивительного,— сказал Григорий Константинович.— В августе, после московского совещания, особенно после провала авантюры Корнилова — Керенского, так думали и рассуждали многие, причем не только наши друзья, но и наши враги. А в очередях за хлебом жены рабочих об этом говорили открыто, добавляя: «Скорее бы гнали этих балалайкиных», то есть Керенского и Церетели.

¹³ Г. К. Орджоникидзе. Статьи и речи в двух томах. М. Политиздат. 1956, т. 1, стр. 311—312.

(Окончание следует)



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ



ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА*

ЗЕЕЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ

К Зееловским высотам я поехал по совету и с помощью Фрица Краузе. Он сам возил сюда группы рабочих — комбинат организует экскурсии к мемориалам минувшей войны.

Мощная «татра» была взята в экскурсионном бюро «для московского писателя, который интересуется делами берлинских строителей», как сказал Краузе, добавив, что не так-то часто даже берлинские писатели посещают Вонунгсбаумкомбинат.

Шестьдесят километров от Берлина прямо на восток, к Одеру! В сорок пятом, в апреле, это была дорога огня и крови, жестоких боев и великих жертв. Начав наступление с заодерских плацдармов 16-го числа, наши армии подошли к окраинам Берлина на шестой день — 21-го. Сейчас мы потратили на этот путь около часа.

Был субботний день, на дороге немного машин и автобусов. Обращало на себя внимание по-немецки аккуратное и весьма тщательное обустройство шоссе регулирующими движением знаками. Я никогда не видел столько предупреждающих, указывающих и направляющих жирных белых полос и стрелок на темном асфальте. Когда дорога шла лесом или парком, деревья на обочинах как бы выстраивались в ровную шеренгу и каждое из них белело высоким чулком специальной обмазки.

Зеелов — небольшой городок — остается на левом фланге небольших гор, скорее даже холмов, поднявшихся километрах в шести от Одера. Это и есть высоты, которым суждено было войти памятной страницей в историю Берлинской битвы.

Мемориальный комплекс, посвященный этому сражению, находится, пользуясь языком военных терминов, «на обратном скате одной из высот». Он расположен на двух террасах и открывается выставкой оружия времен войны. На гладкой, выстеленной белыми плитами площадке стоят: танк «Т-34», знаменитая наша «тридцатьчетверка», 152-миллиметровая гаубица и 76-миллиметровая пушка из числа тех, что «хорошо поработали» на Зееловских высотах, а сейчас стали музейными экспонатами.

Оружие с годами стареет, но не меркнет его боевая слава. В этом можно убедиться, если подойти к многочисленным экскурсантам из Берлина, Зеелова, Франкфурта-на-Одере и других городов. Взрослые уважительно поглядывают на старое, но грозное оружие, дети же весело играют около гусениц танка и лафетов орудий. Я видел, как белокурый немецкий мальчик, никем не останавливаемый, влез на башню танка, оттуда взобрался на ствол пушки и, совершенно счастливый, был заснят там на пленку проходившим мимо советским солдатом.

От площадки, где стоят пушки, каменная лестница, всегда заполненная людьми, ведет к «блиндажу Жукова». Это музейное здание выстроено на том месте, где когда-то стоял блиндаж командующего фронтом. И часть бревен наката, сохранившихся с той поры, составляет теперь стены продолговатого здания с тремя узкими щелями-окнами, похожими на амбразуры дота. Блиндаж — живая память о днях, пожалуй, самых ожесточенных боев за время всей Берлинской операции.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

Экспонаты блиндажа-музея дополняют друг друга. Я долго стоял около прекрасно выполненной художественной диорамы ночного боя 16 апреля. Тут же огромная, смонтированная на столе оперативная карта-схема сражения, фотографии, снимки членов Военного совета фронта и командующих армиями, приказы Жукова тех дней, перечень фамилий наших воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза именно за эти бои.

Фамилии написаны по-русски, но многие посетители читают шевеля губами и складывая слоги, с ошибками, но все же разборчиво произносят вслух фамилии: Авакян, Алексеев, Богомолов, Вайнруб... — и много, много других.

На бревенчатых стенах памятные плакаты тех лет. Солдат держит в руках огромный ключ от Берлина. А под ним изречение из Геббельса: «Все возможно в этой войне, но только не то, что мы можем когда-либо капитулировать!» Ответом на эту самонадеянную болтовню, на этот дутый пафос обреченных — яркие слова плаката, отпечатанного, видимо, где-нибудь во время сражений в армейской походной типографии: «Слава героям Зееловских высот!»

Входя в блиндаж, я заметил слева урну для окурков, изготовленную из обыкновенной каски солдата нацистской армии. Может быть, хозяин каски сложил свою голову на этих скалах, наслушавшись вранья доктора Геббельса. А теперешние экскурсанты сбрасывают в эту нацистскую каску пепел своих сигарет, возможно, и не задумываясь в этот момент над тем, что в блиндаже Жукова такой жест приобретает и некое символическое значение.

С особым чувством я зашел в небольшую комнатку блиндажа, где стоят музейные экспонаты, принадлежавшие лично маршалу Жукову: его маленький письменный стол, его книги, на подставке у бревенчатой стены полевой телефонный аппарат, карты. За этим столом он сидел, в этой комнате работал. Все просто, скромно, по-воежному, по-фронтовому. Эта верность духу времени, подлинность обстановки впечатляет сильно и глубоко.

Выше «блиндажа Жукова» — на ровной террасе — братское кладбище. Две линии могил в окружении цветников и деревьев. Над каждым холмиком постаменты из коричневого мрамора. Надпись по-русски: «Сол. Кошматов Георгий», «Сол. Изотов Александр».

Я вначале почему-то не сообразил, что означает это непривычное «Сол.», у нас-то ведь никто не употребляет в таком урезанном виде слово «солдат». Как трогает, какой болью входит в сердце этот длинный траурный ряд фамилий на холмиках, которые и здесь как бы выстроились в строгую шеренгу. Словно бы и мертвые солдаты держат строй!

«Сол. Авраменко В. Ф.», «Сол. Колухатов И. Н.», «Сол. Фурманов Н. И.», «Сол. Егоров М. М.», «Сол. Юзин С. Е.», «Сол. Дубянский А. А.». А рядом такие же постаменты из коричневого мрамора с одним только словом: «Неизвестно», «Неизвестно», «Неизвестно». И около них особенно много цветов.

Неизвестные, неопознанные герои Зееловских высот! Они тоже лежат здесь. Я замечаю, что на этом кладбище больше всего рядовых солдат. Первыми дорогу к победе в бою прокладывали те, о ком еще в годы сражений сложилась крылатая, верная и полная высокого трагизма поговорка: «Эти солдаты переднего края долго не живут, но мир на них стоит вечно!»

Да, мир стоит вот уже более тридцати лет, и люди не забывают, да и не забудут никогда, кому они обязаны этим.

С террасы кладбища хорошо видна автобусная стоянка. Машины все прибывали и прибывали. Большие группы людей поднимались к кладбищу и не торопились отсюда уйти.

Я видел, как двое юношей лет по шестнадцать подвели к могилам старую женщину, должно быть, свою бабушку. Она держала в руках букет ярких гвоздик. Юноши потом помогли женщине подняться по ступеням к памятнику на вершину горы. Она положила цветы к ногам русского солдата и сама опустилась на колени. Долго, очень долго вглядывалась старая женщина в бронзовое лицо воина с автоматом, висящим на груди.

О чем она думала в этот момент, что вспоминала? Не знаю, перевели ли ей надпись по-русски на постаменте:

«1941—1945 гг.

Вечная слава героям, павшим в боях с фашистскими захватчиками за свободу и независимость Советского Союза!»

Но, наверно, она догадывалась о значении этих слов. Я видел, как она заплакала.

Плакали и две пожилые женщины, сидевшие рядом со мною в кинозале, когда на экране проходили кадры боев и здесь, на Зееловских высотах, и дальше на запад, в Берлине. Фильм был построен на исторических параллелях. Вот довоенные, пышные гитлеровские военные парады. Вот лес рук, поднятых вверх для приветствия марширующих нацистских колонн. Вот те же руки, протянутые к солдату, который большим черпаком наливает суп в миски, к советской девушке-воину, раздающей голодным берлинцам хлеб. Кадры знакомые, но что же из того! Они волнуют всех по-прежнему, а здесь, на Зееловских высотах, с особенной силой.

Нервно дышит маленький темный кинозальчик мемориала. Смотрят молча, вздыхают, а женщины всхлипывают. Да, здесь есть над чем задуматься и сегодня, что вспоминать и что оплакивать! И все же это добрые слезы, слезы очищения, слезы благодарной памяти о тех, кто лежит на братском кладбище, кто отдал свою жизнь за то, чтобы нынешние поколения граждан ГДР могли спокойно и плодотворно строить социалистическое общество.

Чем больше находишься на Зееловских высотах, тем яснее понимаешь, что это не просто «Памятное место освобождения Зееловских высот», как официально именуется мемориальный комплекс с памятником в различных проспектах и альбомах. Нет, это еще место той плодотворной и, я бы сказал, духовно неопределимой работы, которую организовали здесь активисты Общества германо-советской дружбы, кружки юных историков города Зеелова. Они ведут обширную переписку с родственниками погибших воинов, получают сотни писем из Советского Союза.

«Милые юные историки! Мой брат Коля Иванов погиб при штурме Зееловских высот. Хочу знать, где покоятся его останки. С нетерпением жду ответа.

К. Иванова».

Иван Остридорога умер от ран, полученных на Зееловских высотах. А его дочь Раиса переписывается с пионерами города Зеелова. И этому посвящены стенды с письмами на русском и немецком языках — для всеобщего обозрения. Это тоже впечатляет.

Многие торжества проходят здесь. Я видел в альбомах мемориала снимки, где изображены многолюдные митинги около памятника. Вот собралась молодежь, спортсмены почтить память героев. Вот митинг Общества германо-советской дружбы, вот слет тельмановских пионеров. Торжественное построение солдат Народной армии ГДР, встречи ветеранов этих боев — гостей из Советского Союза.

Маршал Чуйков, бывший командующий Восьмой гвардейской армией, на наблюдательном пункте которой и находился маршал Жуков на рассвете 16 апреля, посетил мемориал. На снимке он в группе сопровождающих его лиц, советских генералов и генералов ГДР, руководителей округа, куда входят и Зеелов и Франкфурт-на-Одере. На шее маршала — красный пионерский галстук, дар юных следопытов мемориала. На другом снимке командующий группой советских войск в Германии генерал Ивановский и начальник политуправления этой группы генерал Медников делают записи в книге гостей. Несколько лет назад стотысячному посетителю памятного места был вручен ценный подарок.

В ГДР есть множество памятников минувшей войны, среди них, конечно, самый монументальный и грандиозный — мемориальный комплекс в берлинском Трептовпарке. Но думаю, что сооруженный на месте непосредственных кровавых и упорных боев мемориал Зееловских высот занимает в этом ряду какое-то свое и особое место. И не говоря уже о силе того впечатления, которое он производит, этот памятный комплекс стал живым центром интернационального воспитания, действенным символом благодарности немецкого народа за освобождение от фашизма, символом нашей вечной дружбы.

Мы возвращались от Зееловских высот по великолепной берлинской автострате. Заезжали еще ненадолго во Франкфурт-на-Одере, красивый городок на берегу реки, неизменно изменившийся с тех пор, когда я был здесь в апреле сорок пятого года.

Дорогой я думал о том, что реликвии военных побед только тогда достойны породившего их всенародного подвига, когда вот так, как на Зееловских высотах, они бережно соединены с памятью о живых и мертвых, о солдатах и маршалах Великой Отечественной войны.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗЫ

Управление, в котором работает Суровцев, находится в Краснопресненском районе Москвы. В своем «хозяйстве» москвичи тоже принимают берлинских коллег. Сюда сходятся нити взаимодействия и содружества. Их эффективность прежде всего в извлечении уроков жизни и деловой пользы из обмена опытом. После поездки в ГДР нескольких групп специалистов процесс улучшения качества градостроительства резко шагнул вперед. Конечно, необходимость этого вызревала изнутри, подсказывалась всем ходом жизни. И все же живой и наглядный пример обладает нравственной силой воздействия не только на умы, но и на чувства людей. И становится уже просто стыдно работать хуже, чем это делают товарищи в братской стране, связанные с тобой общим договором о соревновании.

Переход на новый уровень качества для домостроительных комбинатов столицы означал перестройку всей домостроительной индустрии, начиная с заводов железобетонных изделий. Новый каталог деталей домов вызвал к жизни и новый проект типового дома — шестнадцатизэтажного. Старая девятиэтажка, как говорили тогда в комбинате, «изжила себя и морально и физически». Часть оборудования заводов, тоже устаревшая, нуждалась в модернизации. При этом план не только не снижался, но год от года вырастал. Для комбинатовских заводов и для монтажных площадок наступила поистине переломная пора.

Тогда, в семьдесят третьем, я часто заходил в комбинат и в управление, возглавляемое Ламочкиным, и мог день за днем наблюдать, как развертывалась эта перестройка. Битва за качество постепенно набирала темпы и глубину внедрения во все звенья строительства.

Заглядывать в старые тетради полезно. Я их собираю и храню вот уже более тридцати лет. Подобно фронтовым дневникам они содержат глубинный запас примет и деталей многообразного делового бытия, помогают осмыслению важных закономерностей жизни. Они интересны и сами по себе как своеобразная летопись реальных дел.

Анатолий Суровцев теперь часто выступает со статьями, дает интервью, высказывается в газетах по различным вопросам строительства. Еще четыре года назад он это делал редко. Теперь я думаю, что, конечно же, не случайно я занес в свою тетрадь выдержки из статьи, написанной Суровцевым и кандидатом технических наук Г. Штелиным, опубликованной в газете «Московская правда». Статья называлась «Проблемы большой стройки». Меня привлек ее критический пафос и зрелость мыслей. Главный вывод этой статьи состоял в том, что уже тогда, в семьдесят третьем году, как писали авторы, «устарели нормативы определения качества строительства. При общей оценке дома не учитывается качество проекта, состояние конструктивных элементов. Да и саму оценку государственные комиссии выносят часто субъективно, без каких-либо расчетов и научных обоснований». «Что надо сделать?» — спрашивали авторы статьи. И отвечали: подвести научную основу под критерии качества, наладить содружество ученых и строителей.

Я вспоминаю теперь и другие предложения Суровцева, сделанные в печати или на собраниях в комбинате, на партийно-хозяйственных активах. Их основной смысл в том, что добротное выполнение работ должно гарантироваться хорошо продуманной системой управления качеством. Есть Государственный архитектурно-строительный надзор, есть инженеры управлений. Фактически за качеством следят десятки людей. Если дело в конструкторских и технических изъянах, их устранением должны заниматься инженеры. Если низок уровень квалификации рабочего, вступает в дело система обучения. Если налицо невнимательность, халатность, слово предоставляется общественности.

...На этом заседании парткома комбината мне довелось побывать самому. Пришел я с разрешения секретаря парткома Дмитрия Ефимовича Легчилина, которого знаю давно, еще с тех пор, когда он был главным инженером в управлении Ламочкина. На повестке стояли «вопросы качества». Суровцев — член парткома — сидел за длинным столом в комнате, где все стулья, даже стоявшие вдоль стен, были заняты. Он увидел меня, улыбнулся, коротко кивнул.

Началось заседание. Легчилин напомнил о состоявшемся несколько месяцев назад решении парткома. Ряд хозяйственных работников комбината получил выговоры. Иным товарищам, виновным в плохом качестве изделий, было строго указано и сделано предупреждение. На заседании предстояло выслушать их отчеты. Что сделано, что делается, каковы перспективы?

Отчитывался главный инженер одного из заводов. Это был как раз один из тех товарищей, «строго предупрежденных», что «в случае продолжения порочной практики будет поставлен вопрос о должностном несоответствии». Дело оборачивалось для него серьезным образом. С интересом я смотрел на этого инженера лет тридцати пяти, сравнительно молодого для должности главного инженера. Звали его Евгений Вениаминович. Отчитывался он «по бумажке», глухим и монотонным голосом перечисляя «принятые меры»: проведена аттестация инженерно-технических работников, осваиваются новые детали для шестнадцатизатяжек, укрепляется трудовая дисциплина, идет борьба с браком, администрация поощряет лучших и наказывает нерадивых, по заводу вывешены приказы с выговорами, лишением премий и даже части зарплаты за брак.

— Все это чисто административные меры. Они необходимы, но этого мало, — бросил реплику Легчилин, — надо, товарищи, думать о приводных ремнях нашего партийного, общественного влияния.

— Мы это учитываем, — откликнулся докладчик. Он продолжал так же бесстрастно: на заводе создана комиссия по качеству, она разбирает рекламации, которые приходят со строительных площадок.

Вмешался Суровцев. До этого он казался мне спокойным и сосредоточенным. Слушал, делал пометки в блокноте. И вдруг «взорвался». В нем заговорил человек, «болеющий за качество», бригадир, буквально физически страдающий, когда приходят к нему бракованные детали домов.

— Комиссия «разбирает», а завод опять «собирает» брачок! Так, что ли! — выкрикнул он. — Писать рекламации, Евгений Вениаминович, удовольствие маленькое, честное слово!

— Мы усиливаем роль ОТК, — невозмутимо продолжал Евгений Вениаминович.

Видно, это был человек с крепкими нервами, спокойно, хотя и мрачно взирающий на критику в свой адрес. Отчет его, по существу деловой, был вместе с тем лишен той внутренней энергии, одухотворяющего огня естественных чувств и желаний, той живинки, которой требовала упорная борьба за качество. И это почувствовали члены парткома.

И тут уже не с репликой, а более пространно выступил Суровцев. Он вспомнил о заводе, где проводятся ежемесячные Дни качества.

— Это дни контроля и проверки на всем заводе, во всех уголках, — говорил он, — и какой проверки — коллективной! Если каждый отвечает за свое, а все вместе за общее — можно добиться здесь успехов. Коллективный контроль — это сила большая, мы знаем по опыту нашей бригады. И еще я хочу сказать: один человек может устать бороться за качество. Но когда это войдет в привычку коллектива, тут уж общему рвению, как говорится, сноса нет.

Я заметил, что Суровцева слушали внимательно. Авторитет человека нередко можно определить уже по одному тому, как слушают его выступления. Болтуны не в почете. Реакция на пустопорожние речи — шум в зале, разговоры. Тому, кто уважаем, внимают сосредоточенно, «вбирчиво», как однажды выразился сам Суровцев, — вбирают ценное и полезное.

Выступали тогда и представители других заводов, инженер из ГАСКа (Государственного архитектурного надзора) Раиса Давыдовна. Наступила тишина, когда она с критическим анализом «прошла» по всем заводам комбината. Говорила она горячо, как человек, принимающий дела комбината близко к сердцу. В этом выступлении не

было и тени равнодушной констатации фактов. Сильный, почти звенящий голос, требовавший немедленного исправления недостатков, буквально гремел в комнате.

Дело в том, что представитель ГАСКа имеет право накладывать санкции, штрафы, снимать денежные суммы с общей цифры выполнения плана и даже... остановить завод! Конечно, это самая крайняя мера. Как правило, всегда остающаяся лишь угрозой, но угрозой, могущей подвигнуть на быстрейшее исправление недоброкачественной работы.

Когда Раиса Давыдовна, разволновавшись, по инерции возбуждения и запальчивости воскликнула: «Если вы это не исправите, я останавливаю завод!» — слова ее были встречены всерьез. Я не заметил ни одного человека, который отреагировал бы на это заявление иронией или усмешкой.

Поддержал ли партийный комитет тогда такую острую постановку вопроса? Да, поддержал! Всеми силами, всеми мерами партийного влияния на коммунистов, на руководителей всех производственных звеньев.

— Вопрос о качестве, товарищи, не снят с повестки дня этим заседанием. Да и не может быть снят, — сказал Легчилин в заключение. — Мы стоим перед перспективой непрерывности наших усилий и самоконтроля над качеством. Достижения сегодняшнего дня для нас лишь ступенька, ведущая вверх по лестнице нашей неустанной борьбы за качество...

Это верные и бесспорные мысли не только для семьдесят третьего года. Уверен: Дмитрий Ефимович Легчилин подписался бы под ними и сегодня.

ОДИН ИЗ МНОГИХ

Всякая инициатива только тогда оказывается эффективной, когда она совпадает с ведущими тенденциями времени. Жизненность любого начинания проверяется глубиной перспективы.

Содружество строительных бригад Москвы и Берлина за эти годы все время прирастало за счет новых контактов, взаимных поездок и общей работы на стройках Советского Союза и Германской Демократической Республики.

Теперь монтажники и отделочники не только Первого, но и Второго московского домостроительного комбината приезжают на Вонунгсбаукомбинат. К организации таких поездок подключились профсоюзы. Была найдена и оптимальная форма включения в производственную жизнь на строительных площадках: рабочие группы по десять человек, в течение четырех недель трудящиеся в Берлине и в Москве.

Конечно, существуют языковые барьеры, но они снимаются с помощью переводчиков. В качестве переводчиков используются главным образом студенты, изучающие русский и немецкий. Им полезна языковая практика, как и само знакомство с рабочей средой.

Я привез из Берлина книжку, изданную Вонунгсбаукомбинатом. Она целиком посвящена рассказам о двух таких поездках, проведенных в семьдесят третьем году. Называется книжка «Друзья учатся друг у друга».

Небольшая, но интересная и важная книжка, носящая далеко не прикладной характер. В ней есть зримые проблески той новизны бытия, такие коммунистические черты рабочей жизни, которым, безусловно, суждено расти и развиваться в глубину, скрепляя крепчайшими интернациональными связями братский союз рабочих социалистических стран.

В этой книжке много снимков, иные из них очень естественны и красноречивы. Нужны ли слова о дружбе, если ею искрятся глаза, если о ней говорят жесты и улыбки рабочих, русских и немцев, вместе в своих запачканных краской спецовках идущих на работу?!

Я смотрю на лица маляра Лидии Романовны Павшко, столяров Федора Барина и Михаила Соловьева — они и их товарищи изображены в труде рядом с немецкими коллегами Гердом Петровски, Кристианом Альманом, Гербертом Дитрихом.

Вот фотография, на которой Лидия Павшко, маляр с двадцатипятилетним стажем, партгрупорг берлинской бригады, с очевидным удовольствием от своего труда вместе с Кристианом Альманом, молодым рабочим, оклеивают обоями стену комнаты.

А рядом Баринов и Соловьев вместе с Гердом Петровски, как говорят строители, «оборудуют столярку» в новой квартире.

Изображены они на снимках — в столовой, в кафе, за игрой в кегельбан, танцуют, развлекаясь в вечерние часы, или же собрались всей группой за праздничным столом в семье Кристиана Альмана: в центре хозяин, а вокруг него шестеро мужчин и четыре женщины, рабочие и работницы из Москвы.

Вскоре после того, как москвичи отработали свои недели в ГДР, в нашу столицу отправилась группа берлинских строителей. Я читал их краткие отзывы, напечатанные в книге «Друзья учатся друг у друга». Рабочие вынесли из этой поездки впечатления сильные и радостные и извлекли много пользы для себя из непосредственного обмена опытом на строительных площадках. Об этом пишут Вольфганг Майер и Вернер Солингер — маляры, Манфред Монкорп — специалист по настилке полов, монтажники Дитер Нойман и Йоганн Губерт. В Москве, в Кунцеве, они отделали несколько квартир по своей технологии, но из тех материалов, которые нашлись в Домостроительном комбинате № 2.

Надо ли писать о том, что в программу такой поездки, кроме собственно работы, входило, конечно, и знакомство с заводами и стройками комбината, с Москвой, с тем, что можно успеть посмотреть за это время, чтобы составить себе представление о богатствах музейных, культурных, духовных, а самое главное — о современной арене поистине великого градостроительства в Москве.

Тем же летом семьдесят третьего, как это бывает каждый год и порою по несколько раз, от Берлинского восточного вокзала отошел «поезд дружбы», направляющийся по маршруту Минск—Ленинград—Москва. В этом поезде ехал еще один рабочий из Вонунгсбаукомбината, впервые пересекающий границу нашей страны, монтажник и крановщик Гюнтер Шольц.

С Шольцем я познакомился спустя три года. Теперь уже в какой-то мере зная его как человека и строителя, я, наверно, мог бы представить себе круг его интересов на стройках Минска, Ленинграда и Москвы, куда берлинский монтажник стремился попасть в первую очередь. Возможно, я смог бы, так сказать, спроецировать его личность на события трехлетней давности, на экран тех ярких впечатлений, которые довелось ему получить в этой поездке дружбы.

Но делать это я не буду. Мы не успели поговорить об этой поездке подробно, и не в моих правилах присочинять и домысливать факты. К тому же выводы Шольца, как он мне сказал, в основных чертах совпадают с тем, о чем свидетельствуют в книге его коллеги по комбинату, проработавшие в Кунцеве. Теперешний передовой рабочий, член СЕПГ, уважаемый на комбинате человек, Гюнтер Шольц сформировался во многом под влиянием впечатлений детства, а оно совпало с разгромом нацизма и событиями весны сорок пятого. С этого и хочется начать.

Кёпеник — восточная окраина Берлина. Сейчас это промышленный район, в сорок пятом предприятий здесь было меньше. Но завод электрических кабелей «Кабельверке» находился на том же месте, на берегу Шпрее. Массивные корпуса предприятия отражаются мерцающими линиями на легкой зыби воды, вокруг сосны, клены, дубы, в обе стороны широко раскинулись рощи и парки. Это еще и район спортивных сооружений — зона отдыха и пригородных дачных поселков.

Около «Кабельверке» жила до войны и во время войны семья Шольцев, отец Гюнтера был пожарным. В сорок третьем Шольцы переехали в Кюстрин, через год вернулись в Берлин. Гюнтер объяснил это одним словом — «соскучились!». Я же подумал, что тогда он был слишком мал, чтобы вникать в мотивы семейных переездов: поводов для таких метаний из города в город было достаточно в тревожное и неустойчивое военное время.

Соскучился по родному дому, наверно, более всего сам Гюнтер, привыкший к товарищам из таких же рабочих семей, живших в маленьких домиках неподалеку, к лесному и озерному раздолью Кёпеника. Здесь в сорок четвертом маленький Гюнтер пошел в первый класс средней школы. Однако учеба продолжалась недолго. Все чаще падали бомбы на Берлин, все ближе пододвигался фронт, и когда артиллерийская канонада начала греметь уже над небом Кёпеника, учителя, среди которых было немало убежденных нацистов, покинули школу.

— Школа осталась без учителей,— сказал мне Гюнтер.— Однако мы продолжали ходить в школу и заниматься под руководством наших старшекласников.

В те десять дней конца апреля сорок пятого, когда бои вошли в сам город и огненным валом катились по кварталам Берлина, дети уже не выходили на улицу, а сидели в бункерах, то есть в подвалах под домами, в бомбоубежищах, которые, как это нередко делалось в те дни, делились на узкие пеналы «семейных отсеков».

— В нашем бункере родилась моя младшая сестренка Ингрид,— вспоминал Шольц,— ее так и называли долгое время «бункеркинд» — дитя бункера. У нас была в бункере маленькая комната на восемь коек, здесь же варили еду. В основном это были жидкие супы. Мне было семь лет, я это хорошо помню.

Семилетний мальчик! Много ли помнят дети в этом возрасте? Гюнтер сказал мне, что дети, как ему кажется, легче переносят страдания, обращая внимание лишь на физическую их сторону, нравственные муки им еще недоступны. И время воспринимается в общей эмоциональной окраске событий, в каком-то одном тоне. Так ему запомнилось то общее чувство тревоги и напряжения, которое охватило всех в бункере, когда линия фронта перекатилась через Кёпеник, и отец, мать, бабушка и дед все время повторяли: «Русские здесь!» И еще он помнит выход из бункера и переход в квартиру, в свой дом, который оказался неразрушенным, если не считать того, что «половину крыши унесло», как выразился Гюнтер.

Вскоре дед Гюнтера пошел работать в овощехранилище, которое оборудовали на месте одного бывшего бункера, и взял с собою мальчика. Здесь Гюнтер впервые увидел большие военные походные кухни. А около них русских солдат. Он видел, что немцы, и маленькие и взрослые, подходят к этим кухням с кастрюлями. Он тоже взял кастрюлю и получил обед. «Хлеб», «вода», «масло» — вот первые русские слова, которые он выучил.

Советская комендатура района Кёпеник располагалась на большой даче, ребята называли ее «дворцом». Принадлежала она какому-то сбежавшему богачу и располагалась у самого берега Шпрее. Немецкие мальчишки, и Гюнтер с ними, бегали сюда смотреть на часовых, на русских автоматчиков. Около комендатуры всегда стояли машины, и нередко офицеры, уже знавшие Гюнтера в лицо, приглашали его прокатиться по парку.

Мальчик, безусловно, вынес из необычного и сурового своего детства глубоко запавшие ему в душу чувства уважения и симпатии к людям в военной форме — советским воинам, которые и кормили и ласкали его. Они-то и помогли Гюнтеру Шольцу увидеть пути-дороги, ведущие в его будущее.

Гюнтер Шольц стал строительным рабочим. Он учился два года в школе каменщиков, а потом на курсах машинистов крана и вот уже более двадцати лет трудится в Вонунгсбаукомбинате. Недавно Гюнтер Шольц награжден орденом Карла Маркса.

Как раз в дни нашего пребывания в Берлине Шольц приступил к занятиям в партийной школе с годовым сроком. Бригадирю сохраняется его строительная зарплата на все время учебы, а затем он вернется в свою бригаду или же получит новую, а пока на прежней должности его замещает монтажник Герхард Хениг.

Встречаясь с Гюнтером в эти жаркие дни августа семьдесят шестого года в Вонунгсбаукомбинате, на стройке или же у него дома, я, признаться, уже немало зная о производственной стороне дела, более всего интересовался духовно-нравственным содержанием жизни берлинского строителя.

Личность рабочего человека, взятая в совокупности его увлечений и интересов, в совокупности его интернациональных связей,— разве не важная тема для публицистических размышлений? Разве можно пройти мимо той очевидной схожести, я бы сказал родственной близости, которая выражается в духовном облике современных рабочих стран социализма, в характере их мышления, в интернациональной основе их главных устремлений?

Мы ехали на машине Гюнтера, на его старенькой «шкоде», которую бригадир мечтает поменять на «Жигули», ехали от Вонунгсбаукомбината к его дому, когда на одной из строительных площадок мелькнул силуэт высокого крана.

— Этот — советской конструкции,— пояснил Гюнтер.— Вы знаете, я пятнадцать

лет проработал на таком кране машинистом. Освоил его в совершенстве и теперь горжусь этим.

Мне показалось, что Гюнтер гордится не только тем, что он освоил кран, но и то, что он работал именно на советском кране, ему не безразлично. Должно быть, по ассоциации он тут же вспомнил, что в его бригаде в семьдесят пятом году трудились две недели, как он выразился, «трое комсомольцев из Москвы». Гюнтер сказал, что они приехали в тот трудный момент, когда бригада приступила к освоению новой серии домов.

— Было много сложностей в связи с этим,— продолжал он,— но мы остались довольны работой москвичей. А они — своим пребыванием у нас. И поработали, и по стране поездили — соединили полезное с приятным.

Я почувствовал, что разговор о содружестве тронул Гюнтера за живое. Он сказал мне, что представляет себе такую последовательность развития содружества: сначала обмен опытом, потом, на основе обмена, выработать общий метод, технологию, принципы организации производства, которые вобрала бы в себя все лучшее, что есть у строителей и в Москве и в Берлине.

Забоченность делами, которые касаются не только бригады или комбината, но и всего строительного фронта, проходящего через многие страны социализма,— разве это не доказательство прежде всего расширения, обогащения духовной жизни самих строителей, которая характеризует их как личности?!

Гюнтер еще в машине сказал мне, что он любит работать с молодежью. В работе этой много аспектов, но прежде всего, конечно, производственный. Год от года в бригаде растет производительность труда. Если еще недавно они сдавали 90 квартир за 100 дней, то теперь успевают сделать те же 90 квартир за 30 суток. Производительность выросла втрое. Конечно, в этом немалая заслуга опыта московских строителей.

— Когда я закончу партийную школу, то знаете ли, чего бы я хотел? — спросил меня Гюнтер.

— Нет, откуда же мне знать?

— Я же сказал, что люблю молодежь. И поэтому хотел бы получить новую молодежную бригаду. И начать создавать хороший коллектив. А теперешнюю отдал бы заместителю Хенигу.

— Вот как!

Наверно, Гюнтер уловил какую-то тень удивления в моих глазах. Да так оно и было. В самом деле, кому не известно, что строить заново отношения людей внутри коллектива дело непростое и нелегкое. На это порою уходят годы, воспитательная работа требует немало сил и много терпения. Я знал немало бригадиров на заводах, на стройках, которые, как говорится, «зубами держались» за сколоченный с трудом коллектив. А тут самому взвалить на свои плечи новые заботы, при этом вряд ли рассчитывая как на быстрый деловой эффект, так и на какую-либо личную выгоду. Бескорыстие этого душевного стремления Гюнтера Шольца напомнило мне широко у нас популярное в свое время движение, названное именем ткачихи Валентины Гагановой,— движение за переход мастеров труда в отстающие бригады. Я подумал тогда: благородное желание Гюнтера было для него органично и естественно, потому что прочно связывалось с представлениями о рабочей чести, о партийном долге, о существе жизни по-социалистически.

«Жить по-социалистически». Это понятие Гюнтер распространял на все деловые и нравственные стороны своего рабочего бытия, жизни бригады. Втрое увеличить производительность — это по-социалистически. Экономить материалы, заботиться о людях, думать о государственных интересах — это по-социалистически. Строители из бригады Ральфа Тышендорфа, где Гюнтера не забыли, приглашают его на прогулки за город или посидеть за кружкой пива в баре, обговорить свои дела, если надо, помочь советом — это значит для Гюнтера жить по-социалистически.

Когда у них в бригаде заболела раком жена одного из рабочих и легла в больницу, а тот должен был сидеть дома с ребенком, то коллектив решил: полученные за счет сверхурочной работы деньги отдать товарищу, чтобы оплатить ему вынужденный отпуск.

— Правда, мы рисковали немного перед финансовым контролем,— так выразил-

ся Гюнтер,— инициатива выходит за рамки правил, однако мы это сделали для нашего друга.

Поступок бригады, отмеченный высокой мерой добра и сочувствия к товарищу по работе, для Гюнтера Шольца тоже входит в понятие «жить по-социалистически». И в своей семье, насколько я мог заметить, воспитывая сыновей, внимательно относясь к жене, Гюнтер Шольц тоже стремится строить свой быт по-социалистически.

Мне понравилась его трехкомнатная квартира в доме, где уровень комфорта и удобства достаточно высок. Здесь все целесообразно и нет ничего лишнего. Ну, а телевизор, радиоприемник, проигрыватель, хорошая мебель — все это есть сейчас в любой квартире рабочих Вонунгсбаукомбината, чья современная обстановка мало чем отличается, скажем, от трехкомнатной квартиры Суровцева в Москве. Я обратил внимание на большой книжный шкаф и русские книжки на полке. Зигфрид — старший сын — изучает русский в школе.

Хозяйка квартиры Моника находилась на службе, она кельнер в молочном баре и заведующая этим баром одновременно. Так что хлопоты по угощению гостей взял на себя Гюнтер, и он делал все быстро и ловко, как человек, привыкший помогать жене по хозяйству.

— В субботу и воскресенье жена на работе, а я хозяйничаю и занимаюсь воспитанием двух своих мальчиков,— сообщил он.

Пока мы беседовали, пришел домой старший сын. И чтобы проверить, как сынишка осваивает русский, отец попытался наладить между нами разговор. Но Зигфрид засмутился. Пробормотав несколько русских слов, он предпочел убежать во двор, где его ждали товарищи.

— У меня есть брат моложе меня на двадцать один год, зовут его Ерген, так вот он поступил учеником на наш комбинат. Я надеюсь,— сказал Гюнтер,— что мой Зигфрид сделает то же самое, когда вырастет.— Потом Шольц добавил: — Из нашей бригады за четыре года вышло два мастера, несколько человек стали инженерами, повысили свою квалификацию наши крановщики, сварщики. В другие бригады отдали пять хороших специалистов. Это, я считаю, хорошие перемены. А «плохих» уходов из бригады у нас почти не было.

Таковы некоторые черточки облика Гюнтера Шольца, современного рабочего, одного из многих в семье берлинских строителей.

ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА

Машина Фрица Краузе, ярко-синего цвета «Жигули», мягко шла от Рюдигерштрассе к месту новой застройки. От Вонунгсбаукомбината мы двигались на север Берлина. Сравнительно недавно выстроенные здесь кварталы из типовых домов стоят в зеленом кольце парков: Фолькспарк, Оберзеепарк, Вейсензеепарк, овеваемые свежим дыханием озера, именем которого и назван весь район — Вейсензее.

Водителем машины Фриц Краузе оказался опытным. Он много ездит на свои объекты, разбросанные по всему Берлину, наматывая на спидометре за день 80—100 километров. И не просто «крутит баранку», но и, если можно так выразиться, «работает», пользуясь в машине селекторной радиосвязью, выводящей его на командные пункты прорабов и мастеров.

Мне понравилось, как он вел эти разговоры — на ходу в буквальном смысле слова: получал радиоинформацию, давал указания. Подобная радиосвязь вещь очень удобная, позволяющая руководителю не терять ни одного часа.

Об организационной структуре Вонунгсбаукомбината мы, естественно, начали говорить не в машине. Еще в своем кабинете, около макетов домов, развешанных на стенах схем и графиков Фриц Краузе повел об этом речь. Слушая его, я думал о том, что уровень организации производства прямой функциональной зависимостью связан с качеством строительства. Я помню, как Краузе взял карандаш и на листе бумаги обвел большой круг. Внутри он написал — «объект».

— Если у вас,— сказал он тогда,— весь производственный цикл и финансовые расчеты ведутся по методу Николая Злобина, то есть за готовый дом, то у нас договор

заключается на комплексную сдачу сразу всего объекта. А там работает не одна, а не сколько бригад. Человек сто пятьдесят. И делают они все — от сооружения коммуникаций до отделки квартир. «До ключа», как говорят строители. Ключа от квартиры.

Я знал, что наш прославленный строитель Николай Злобин приезжал в Берлин, был гостем Вонунгсбаукомбината. Рациональные зерна его метода упали, как говорят, на благодатную почву. И проросли в виде новой организационной структуры — «объекта», где идея бригадного подряда получила расширительное применение.

— Мы этот метод дополнили,— сказал мне Фриц Краузе.

Сила прогрессивной идеи на производстве состоит еще и в том, что ее можно дополнить, расширить, углубить применительно к реалиям многообразной практики. Так, как, скажем, это делается в московских комбинатах, в той же бригаде Суровцева.

Повсеместно идет эта трансформация технологических идей и организационных структур. Черты же тождества этих процессов видишь не только в достижениях, но порою и в общих недостатках, трудностях и проблемах. Вот, скажем, проблема так называемых нулей, нулевых пиклов. Существует она в Москве, существует и в Берлине. И там и здесь создаются порою такие ситуации: строители готовы к монтажу, подземная же часть не готова, нет фундаментов, нет коммуникаций.

Фриц Краузе снова взял карандаш и заштриховал очерченный им круг, чтобы яснее показать мне, что подрядчик обеспечивает им коммуникации до черты района, а внутри объекта они все делают сами. И фундаменты, и коммуникации. Более того, внутри объектов они решают и архитектурные проблемы, ибо имеют в своем штате проектировщиков.

Московский комбинат тесно связан с МНИИТЭПом, Институтом типового проектирования, мастерскими Моспроекта. Однако проектирующие и производственные организации в Москве автономны. В Берлине же можно наблюдать непосредственный синтез строительства и архитектуры на каждом объекте. Идет опыт, проверяются возможные решения. Наверно, сама жизнь постепенно отбирает самое лучшее, прогрессивное.

— Мы довольны этим опытом,— сказал мне Краузе.— Работа с проектировщиками на комбинате дает возможность быстро решать многие задачи.

Результаты этого эксперимента наглядно видны на самой строительной площадке. Вблизи Вейсензееалле располагается один из объектов. Работали краны. В воздухе плавали длинные руки-стрелы, подавая на этажи детали домов, по площадке сновали автомашины, бульдозеры, автокары, и казалось, что механизмов здесь даже больше, чем людей. Явление для строительной площадки необычное. И верный признак хорошей организации труда.

На Вейсензееалле работала в тот день бригада Гюнтера Шольца. Сам же он находился в партийной школе, и нам показывал готовые квартиры Герхард Хеник. Он моложе бригадира, однако напоминает Шольца жизнерадостностью и энергией.

Управление объекта — деревянный одноэтажный домик, как оказалось, имеет и свою «комнату-музей». На стенах карты, схемы, и достаточно бросить на них хотя бы беглый взгляд, чтобы еще раз убедиться: немцы работают по нашей системе, как не раз говорили мне строители в Москве. Фотографии и макет рассказывают о дне вчерашнем и сегодняшнем, заглядывают и в будущее. И виден здесь не только объект, но и то, что уже сделано руками строителей в других районах. Безусловно, все это имеет воспитательное, мобилизующее значение для строителей, особенно для молодежи.

Забегая в контору по каким-либо своим делам рабочий, заглянул по пути в «комнату-музей» и увидел здесь свою работу в общей перспективе большого вдохновляющего дела, которое можно назвать новым сотворением города Берлина — столицы Германской Демократической Республики.

Когда же мы осматривали экспонаты, в том числе и макеты экспериментальных зданий (в натуре они стоят тут же, на Вейсензееалле), Фриц Краузе сказал, что ныне обмен опытом между Вонунгсбаукомбинатом и московским ДСК вступил в новую фазу.

— Какую же? — заинтересовался я.

— Теперь уже нам, немцам, надо дотягиваться до московского уровня. И не

только в смысле темпов. В этом нет новости. А в смысле качества изготовления деталей на заводах. В Союзе,— так выразился Краузе, поясняя мне свою мысль,— многое успели сделать за последние годы. На заводах модернизировали оборудование. Качество деталей резко повысилось: налицо большие сдвиги. И вот, видите, все переменялось. Теперь уже мы будем заимствовать этот ваш ценный опыт.

Потом Фриц Краузе добавил с тем очевидным удовлетворением, искренность которого не оставляла никаких сомнений, что они, немцы, рады тому, что все переменялось именно так. Сейчас берлинские строители намерены поработать над дальнейшей модернизацией у себя на заводах.

— И вообще мы хотим, чтобы хороший пример всегда исходил из Союза! — сказал он.

Примечательные слова! Но еще более красноречив сам факт, который хочется осмыслить с той мерой серьезности, которой он достоин.

Прошло всего несколько лет. И вот перед нами, как говорится, полная перемена позиций. Недавно еще отстававшие, основательно поработав, вышли в передовые. Ученики превзошли учителей, ушли вперед. Но возможно, что через какое-то время те, кто сейчас добился успехов, опять начнут учиться у своих друзей. Такова непреложная динамика делового сотрудничества и взаимообогащения опытом. Такова и коренная природа той самой животворящей силы, которая зовется социалистическим соревнованием!

...Анатолий Суровцев в четвертый раз прилетел в Берлин в августе семьдесят шестого. И не один, а с женой Валентиной Петровной. Прямых деловых целей он для себя в этой поездке не ставил. Курт Бромберг с женой Кристиной тоже отдыхали в нашей стране и гостили у него в Москве летом семьдесят четвертого года. Тогда они вместе, две семьи с детьми, поехали к Черному морю. Побывали в Гурзуфе, в Гагре, в Николаевке — селении в Крыму, где комбинат имеет свой дом отдыха. Но, конечно, не забыли и Москву: музеи, парки, театры. Суровцев пригласил Курта и в свою бригаду, работавшую тогда в Теплом Стане.

И вот теперь на такой же отдых семья Бромбергов пригласила к себе семью Суровцевых. Через неделю Бромберги повезли москвичей в санаторий «Хадель» в сорока километрах от Берлина. Дом этот так же, как и в Николаевке, принадлежал строителям, был собственностью Вонунгсбаукомбината.

Здесь Анатолий Михеевич и Валентина Петровна получили две комнаты, Бромберги тоже жили рядом. Курт, как я могу себе представить, старался всячески поддержать уровень гостеприимства, заданный Суровцевым в Москве. И действительно отдых здесь для москвичей получился и приятным, и интересным. Уютный старинный особняк, берег тихого озера, словно бы уснувшего в огромной чаше, обрамленной темным ободком леса. И пристань в конце зеленой лужайки, лодки, яхты, бороздящие сине-голубое зеркало воды, поросшие кустарником протоки, где водятся дикие утки.

В Суровцеве тогда проснулась его давняя охотничья страсть. Вспомнились свои родные зауральские озера и леса вблизи города Кургана, где он родился. В его деревне половина мужского населения были охотники. Ружье в «Хаделе» ему достали, и он несколько раз выезжал «на зорьку», поохотиться в свое удовольствие в камышах. Но, пожалуй, более всего ему все же нравились здесь глубокий и полный покой, тишина мира окружающего, тишина, которой все дышало вокруг и на много километров, ибо вблизи не было промышленных сооружений. Нравился воздух, очень чистый, и купол высокого неба, не замутненного даже легкими облаками — август был безветренный, без дождей и очень жаркий. Все вокруг было пронизано запахами сухих трав, разогретой коры сосен, теплой воды озера, не остывающей за ночь.

Все это чем-то напоминало Суровцеву родные места. Но было вместе с тем и иным — немецким. Какая-то размеренность в природе, и чистота, и пригласенность, словно бы весь этот ландшафт был возделан умелой и аккуратной рукой. И еще ему просто нравилось быть гостем у своих коллег из Вонунгсбаукомбината. Окружала Суровцевых не только приятная природа, но и атмосфера уважения, оказываемого ему, рабочему человеку. Суровцев, как всякий хороший человек, ценил внимание и заботу.

Полюю в любой рабочей судьбе случаются перемены, которые на первый взгляд кажутся неожиданными. И это оттого, что побудительные причины не лежат на поверхности, не проступают до поры во внешних проявлениях, а постепенно и зачастую незаметно для окружающих вызревают в глубине души.

Такой неожиданностью явилось для Суровцева решение Курта Бромберга, с которым он успешно соревновался несколько лет, оставить строительную площадку и стать мастером на одном из заводов Вонунгсбаукомбината. Еще во время своего приезда в Москву Бромберг сказал Суровцеву, что он учится в партийной школе, которая имеет и профессиональный уклон — готовит мастеров. Тогда же Бромберг вместе с Суровцевым посетил Хорошевский завод железобетонных изделий. То, что увидел Бромберг на Хорошевском заводе, произвело на него большое впечатление. Издавна мы привыкли к тому, что дома складываются из кирпичей, а в последние годы из более крупных элементов — бетонных блоков и панелей. Но к тому, что объемные части наших квартир могут быть произведены методом литья, как детали машин, к этому надо было еще привыкнуть. Литье в объемные формы всегда казалась монополией металлургии.

Никто не может заранее предугадать, как отзовется в его душе то или иное впечатление. Не предвидел последствий посещения Хорошевского завода и Курт Бромберг. Однако когда он был выдвинут на курсы мастеров и увидел у себя в Берлине на одном из заводов Вонунгсбаукомбината уже знакомую ему по Хорошевскому заводу технологию литья санитарных кабин, решение его созрело.

Конечно, уход Бромберга на завод — дело сугубо личное, но вот то, что завод этот был выстроен по советскому проекту, что привлекла Бромберга технология, впервые родившаяся на московском заводе, это уже типично для домостроительных комбинатов многих столиц социалистических стран. И здесь видна закономерность, которая, как известно, проявляется себя в любой цепи случайностей.

Курт Бромберг, член пленума Берлинского горкома СЕПГ, человек с активным общественным и партийным темпераментом, быстро освоил специальность мастера. Он как-то сказал Суровцеву, что чувствует себя на новом месте хорошо, и добавил, что теперь ему хотелось бы почаще бывать на Хорошевском заводе, встреча с которым оказала такое влияние на его судьбу. Тем более что два родственных по прогрессивной технологии завода — московский и берлинский — могут наладить такое же соревнование, как и строительные бригады.

Бывшая бригада Курта Бромберга теперь сильно изменилась. На заводы ушли и другие монтажники. В августе семьдесят шестого Фриц Краузе сообщил мне, что они теперь, видимо, подыщут, как он выразился, «для Суровцева другого партнера». И сделают это скоро. Ибо теперь уже все наглядно убедились, как много доброго и полезного приносят рабочим такое соревнование и прочная дружба через границы.

ЭТАЖИ СУРОВЦЕВА

Анатолий Михеевич, проведя свой отпуск в Берлине и попрощавшись с друзьями в августе семьдесят шестого, не предполагал, конечно, что пройдет всего два с половиной месяца — и он снова появится здесь уже в пятый раз и с совершенно конкретными деловыми целями.

В Берлин приехала представительная делегация МГК КПСС и Московского городского Совета. Анатолий Михеевич назвал эту делегацию «рабочей». Он имел в виду не занимаемые должности, а характер деятельности делегации, существо самой той работы, которая была подчинена изучению опыта немецких строителей во всех аспектах и направлениях.

Поездка началась с посещения Берлинского магистрата, затем Академии строительства. Делегацию принимали в Берлинском горкоме СЕПГ, в советском посольстве, в Обществе германо-советской дружбы. Потом члены делегации, разбившись на группы, занялись каждый своим делом. Суровцев поехал по стройкам. Кроме Вонунгсбаукомбината, он побывал на строительных площадках Дрездена и Мейсена.

Рабочий опыт и деловая инициатива всегда в развитии, в движении. Богатства их, по сути дела, неисчерпаемы. В этом Суровцева убеждала каждая его поездка в ГДР. Вот и теперь он возил с собою толстую тетрадь для записей. Казалось бы, он многое знает, многое видел. Однако страницы его тетради все пополнялись новыми записями.

Просматривая их, я обратил внимание на решительные пометки Анатолия Михеевича: «Взять лучшее!», «Взять на вооружение!». Это относилось к тем технологическим или организационным новинкам, которые он наблюдал, оценил и решил, что их можно и нужно применить у себя дома.

Потолочные обои. В бригаде Суровцева женщины-маляры сначала шпаклюют потолок (это физически нелегко), а потом его красят. Немецкие строители только наклеивают потолочные обои. Получается быстро, аккуратно, трудозатраты уменьшаются.

Окраска коридоров, холлов. У нас сначала шпаклевка, потом покрытие масляными красками. Немцы клеят обои, а затем наносят на них специальный лак. Такие обои можно мыть.

Наливные самовыравнивающиеся полы. С помощью насоса жидкий раствор быстро разливается по полу. Такая технология экономична, оригинальна. И как в первых двух случаях — уменьшаются трудозатраты. И снова пометка Суровцева: «Взять на вооружение!»

Мне нравится эта формулировка. Есть в ней то динамичное, волевое начало, которое освещает живительную энергию обмена маленькими рабочими открытиями. И еще, пожалуй, она отражает характер самого Суровцева. Ведь ездить по зарубежным стройкам можно по-разному. И надо иметь деловую страсть, чтобы зорко видеть и находить драгоценные крупицы опыта.

В этой необычной поездке было у Анатолия Михеевича и свое особое задание. Он приехал в Берлин еще и затем, чтобы заключить договор о соревновании с новой строительной бригадой, которая заменила бы бригаду Курта Бромберга. В Вунунгсбаукомбинате он узнал имя строителя, который захотел продолжить традицию. Это был Герой труда ГДР бригадир Герберт Кольман.

Кольман! Суровцеву это имя говорило о многом. Вспомнился его первый приезд в Берлин, работа в бригаде Кольмана по возведению последних этажей высотного здания на Ленинплац. Уже тогда он впервые почувствовал не только профессиональный рисунок мастерства Кольмана, но и чисто человеческие его черты, силу и цельность характера. Суровцеву и потом не раз приходилось встречаться с Кольманом. Да и от Курта Бромберга он немало слышал о товарище по комбинату.

Узнав, что теперь он будет соревноваться с Кольманом, Суровцев, естественно, вспомнил, что немецкий бригадир писал или говорил о «счастлимом часе» начале дружбы между строителями двух столиц и что Кольман сам себя называл «учителем молодежи». Когда Суровцев узнал, что Кольман по своей воле берет уже третью бригаду молодых, а следовательно, еще малоопытных строителей, это произвело на него впечатление. Кольман сам взвалил себе на плечи нелегкие обязанности, немало ими не тяготясь. И это говорило о нем как о хорошем человеке и коммунисте. Недавно Герберт Кольман тоже член пленума Берлинского горкома СЕПГ.

Ныне Кольман занят работой не совсем обычной: возводит панельно-каркасные дома для престарелых. Дома семизэтажные, особой конструкции, с максимумом бытовых удобств. И хотя, казалось бы, это не имеет прямого отношения к технологии строительства, все же рабочим не безразлично сознание того, что такая работа выражает заботу государства о тех, кто в ней очень нуждается, о старых и заслуженных людях.

Мысли эти, столь естественные и по-человечески понятные, входят какой-то составной в тот психологический климат, в котором живет ныне бригада Кольмана. Может быть, именно поэтому Кольман так подробно рассказывал Суровцеву об этой работе и показывал в натуре дома и квартиры, где в каждой — хорошая кухня с холодильником, хорошая мебель, телевизор, есть комнаты для постоянно дежурящих врачей.

...Подписание договора на социалистическое соревнование, которое венчало собою деловую встречу всей московской делегации с передовыми строителями Берлина, происходило в здании самого Вонунгсбаукомбината. Строители сидели за столом, который был украшен государственными флагами СССР и ГДР. Момент подписания снимало берлинское телевидение. На следующий день подробные отчеты появились в газетах. Все это придало событию значение важного, торжественного акта. Был на подписании и Курт Бромберг, ставший уже старшим мастером на своем заводе. Суровцев и Кольман в своих речах с благодарностью вспоминали о нем как о человеке, который помог упрочению ценной инициативы.

Новый договор имеет семь пунктов. Так как типы возводимых бригадами зданий не всегда совпадают, соревнование будет идти по показателям трудозатрат, по выработке на каждого рабочего, по внедрению новой техники и экономии материалов, по качеству и культуре производства.

Особой строкой записано в договоре и решение о ежегодном обмене группами строителей для совместной работы на берлинских и московских стройках. По десять человек и в течение месяца.

...Я приехал на строительную площадку бригады Суровцева вскоре после возвращения его из Берлина. Искать Анатолия Михеевича на этот раз пришлось на Юго-Западе, вблизи метро «Академическая». Здесь на улице Кедрова поднимались в небо несколько шестнадцатизэтажных жилых башен, принадлежавших к новой типовой серии домов. Невольно я вспомнил, что честь монтировать первенец этой серии в комбинате завоевала в упорном соревновании именно бригада Суровцева. И произошло это без малого два года назад.

Теперь строительство таких шестнадцатизэтажек пошло широко по Москве, их делают все три комбината и тресты Главмосстроя. И для бригады Суровцева возведение таких домов стало делом обыденным, если, конечно, можно считать обыденным тот примечательный факт, что за эти два года строители сократили сроки монтажа вдвое. Первые дома монтировались в темпе: этаж — за шесть дней. Это и сейчас так называемый усредненный норматив для домостроительных комбинатов и трестов. Ныне же график бригады Суровцева предусматривает неукоснительный ритм: этаж — за два дня.

Я назвал этот факт примечательным. Но если бы даже назвал его удивительным, то и здесь не погрешил бы, так сказать, эмоциональным преувеличением. Ведь новый дом не только более красив и внешне выглядит «представительнее», не только ростом на семь этажей выше, но и намного сложнее по конструкции; в нем больше типовых железобетонных изделий.

Переход на новую конструкцию, будь то машина, агрегат или дом, всегда требует продолжительного начального периода освоения проекта, наладки технологического конвейера, отличного от прежнего. И это на первых порах неизбежно снижает темпы. Поэтому в короткие сроки выйти на тот максимальный рубеж скорости, который всем комбинатом был достигнут на хорошо освоенных девятиэтажках, означало совершить досрочно трудное и успешное восхождение по ступенькам эффективности труда.

Однако высокие темпы только тогда оправданны, когда сопряжены с таким же высоким качеством. Качественные же критерии работы суровцевской бригады красноречиво характеризует ставшая обыденной практика «сдачи дома с первого предъявления» и то, что бригада ныне на каждый дом выдает «гарантийный паспорт».

Недавно я снова встретился с Суровцевым. Он работал на четвертом этаже монтируемого дома. Увидев меня, кивнул сверху, спустился на землю. Мы начали разговор, что называется, на ходу. Анатолия Михеевича с утра уже ловили корреспонденты ТАСС. А днем должны были приехать на площадку секретари обкомов комсомола. В Москве шло совещание, и комсомольские вожаки заинтересовались опытом суровцевской бригады.

Анатолий Михеевич сказал, что план двух лет десятой пятилетки его бригада намерена выполнить к шестидесятилетию Октября. Есть ли тут чему удивляться? Да, есть! Я знаю, как высок общий темп работы в комбинате. На стройках все точно вычислено по графикам снабжения материалами, работы транспорта, комплектации деталей.

И при всем при том закончить план двух лет пятилетки на полтора месяца раньше срока! Легко ли это? И не означает ли, что в бригаде люди действительно работают по меркам высокой рабочей совести?!

Мы сидели за столиком у окошка бытовки. Вспомнили сначала Берлин, Шротера, Краузе, Бромберга, Коальмана. Потом перешли к бригадным новостям, и тут Анатолий Михеевич сказал, что у них в бригаде скоро появится двадцать шестой диплом: плотник Николай Колодяжный оканчивает институт, штукатуры Таня Ефимова и Галя Пухова поступили в школу рабочей молодежи, сам Суровцев, заканчивая десятый класс, по примеру московского друга Владимира Копелева и берлинского друга Курта Бромберга думает поступить в Высшую партийную школу. И раз речь зашла об учебе в широком ее понимании, Суровцев вспомнил, что недавно у него на площадке гостили пятьдесят бригадиров, строителей с БАМа, изучали опыт, и поскольку он сам как раз находился в это время в ГДР, семинар проводили его заместитель Слава Чеховской и старший прораб Алексей Васильевич Фомин.

— Когда тебя могут заменить товарищи, это значит, что воспитательная работа в коллективе идет нормально, — сказал он. И тут же сообщил, что 29 апреля этого года исполнилось ровно двадцать лет существования бригады. — Юбилей! Собрались все с семьями. Отпраздновали. Событие все-таки! У нас шесть человек в бригаде с самого основания. Электрик Владимир Царьков, звеньевой Александр Шицков, бетонщик Леонид Худяков, штукатур Клава Проничихина и другие. Ветераны! Я — третий бригадир после Масленникова и Гусева и в коллективе уже десять лет.

Так живо и заинтересованно говорил Анатолий Михеевич о юбилее бригадного масштаба. Я же слушал Суровцева и думал: «Двадцатилетний юбилей обычной строительной бригады. Велико ли событие? Да еще в наши дни, когда даже полеты в космос стали чем-то привычным и обыденным?» Однако ведь и в капле воды в какой-то мере отражается океан. И малое это событие, которое, кстати говоря, было отмечено в передаче по центральному телевидению, для товарищей Суровцева стало вехой важной и волнующей, подводя итоги их честному, скромному, славному двадцатилетнему труду.

Жизнь бригады Анатолия Суровцева! Мне кажется, она интересная и не обычная. Ее конкретный и поучительный опыт, по сути дела, отражает общий процесс взаимодействия творческого опыта стран социализма.

«Это хорошо, когда тесное сотрудничество становится органической частью нашего сознания, всей нашей жизни», — говорил Леонид Ильич Брежнев на XVI съезде профсоюзов. Генеральный секретарь ЦК КПСС высоко оценил почин коллектива славного предприятия народной Венгрии «Красного Чепеля», предложившего развернуть социалистическое соревнование в честь шестидесятилетия Великого Октября.

«Если вдуматься, товарищи, то в целом мы имеем тут дело с качественно новым явлением — интернациональным движением миллионов и миллионов строителей нового мира, вдохновляемых единой целью. Это почин огромного значения, за ним большое будущее». Эти слова Леонида Ильича, относящиеся к «Красному Чепелю», вдохновляют и строителей в братских странах социализма. Их деловая дружба уже опробована на практике и доказала свою жизнеспособность.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. ЖЕГАЛОВ



ВРЕМЯ ЗРЕЛОСТИ

*Идейно-художественный арсенал социалистического реализма
и теоретическая мысль*

Наша эстетика накопила весьма солидный запас наблюдений и уже чувствует себя достаточно зрелой для синтеза, для создания широкой и многогранной характеристики эстетических основ, самой природы литературы социалистического общества.

Властным требованием времени было продиктовано в последнее десятилетие появление ряда обобщающих эстетических и историко-литературных исследований — Ю. Андреева («Революция и литература»), С. Г. Асадуллаева («Историзм, теория и типология социалистического реализма»), Ю. Барабаша («Довженко», «Вопросы эстетики и поэтики»), А. Беляева («Идеологическая борьба и литература»), Н. К. Гея («Художественность литературы»), Л. И. Залеской («О романтическом течении в советской литературе»), В. Иванова («Идейно-эстетические принципы советской литературы»), А. Н. Иезуитова («Социалистический реализм в теоретическом освещении»), З. Кедринной («Главное — человек»), Г. Ломидзе («Ленинизм и судьбы национальных литератур»), Д. Ф. Маркова («Генезис социалистического реализма», «Проблемы теории социалистического реализма»), А. Метченко («Кровное, завоеванное»), В. Новикова («Художественная правда и диалектика творчества»), А. И. Овчаренко («М. Горький и литературные искания XX столетия», «Социалистическая литература и современный литературный процесс»), С. М. Петрова («Возникновение и формирование социалистического реализма»), Бориса Сучкова («Исторические судьбы ре-

ализма»), М. Б. Храпченко («Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы», «Художественное творчество, действительность, человек»), В. Р. Щербинины («Ленин и вопросы литературы») и др.

Некоторые из авторов участвуют и в недавно вышедшем сборнике «Социалистический реализм сегодня. Проблемы и суждения» (М. «Художественная литература», 1977). На страницах сборника, составителями которого являются Е. Сидоров и Л. Якименко, нашли отголосок теоретические бои, кипевшие в последние годы среди исследователей эстетики и литературы. Сборник в известной степени итоговое (хотя и несколько мозаичное) отражение результатов движения нашей литературоведческой и эстетической мысли. Но тут мы соприкасаемся и с итогами (теоретически обобщенными) движения самой литературы.

Да, не только творческой смелостью и определенной зрелостью литературоведческой и эстетической мысли порожден этот сборник. В еще большей степени он обязан своим появлением объективному процессу развития советской литературы, процессу распространения принципов, идей, художественно-философских мотивов социалистического реализма едва ли не во всех странах мира, где существует искусство слова. Эти яркие и знаменательные процессы художественного развития человечества повелительно требуют теоретического освоения.

Сборник, появившийся в преддверии шестидесятилетия величайшей из революций, представляет собой попытку охарактеризовать в лаконичной форме тот замечатель-

ный феномен, который ныне так мощно и благотворно воздействует на духовную жизнь человечества,— социалистический реализм. Феномен этот рассматривается в различных аспектах, на базе всей мировой литературы, но в центре внимания — советская литература.

В сборнике немало конкретных наблюдений, относящихся к творчеству тех или иных советских и зарубежных писателей. Но преобладает здесь аспект литературно-теоретический и эстетический. Главный упор взят на раскрытие пафоса литературы социализма, ее решающих принципов, ее места в мировом литературном процессе, ее обновляющей, революционно-творческой миссии. Разумеется, эта книга не могла быть «спокойной», «кабинетной» книгой. Разработка теоретических проблем тесно связана в ней с борьбой против наших идейных противников, проявляющих ныне такую лихорадочную, судорожную активность.

В открывающей сборник статье Л. Г. Якименко «Эстетическая система социалистического реализма и проблема художественного мышления» очень верно сказано:

«Советская литература с ее верой в человека, с ее утверждением идеи социализма, мира, справедливости является одним из мощных факторов социального прогресса. Литература развитого социализма является подлинно передовой, прогрессивной по своим идеалам, по своему содержанию, по своему характеру... Многократные, непрекращающиеся попытки советологов разного ранга и типа скомпрометировать понятие социалистического реализма не привели к успеху. Жизненные силы социалистического реализма — в шестидесятилетней истории советской литературы, в тех достижениях и обретениях, которые характеризуют развитие социалистической литературы...»

Социалистический реализм как мощный фактор исторического прогресса, как искусство новой эпохи, обладающее невиданным духовным потенциалом, масштабы которого сейчас еще даже трудно определить,— такова генеральная тема сборника. Каждый автор подходит к ней по-своему, рассматривает ее в определенном аспекте, вносит свой вклад в коллективный запас наблюдений, в результате чего постепенно возникает достаточно целостная, хо-

тя еще не во всех пунктах теоретически проясненная картина.

Своего рода введением к размышлениям и исканиям участников сборника служит упомянутая статья Л. Г. Якименко.

С полным основанием он говорит о качественно новом уровне, достигнутом в условиях свободного творческого соревнования литературами народов СССР, о взаимодействии и взаимовлиянии национальных литератур, ставшими «важнейшим фактором современной культуры». Особенно многозначителен следующий вывод ученого:

«Если раньше мы говорили преимущественно о влиянии передовой, высокоразвитой русской литературы, то теперь мы с полным правом отмечаем плодотворное воздействие многих достижений национальных литератур и на русскую литературу, и на другие литературы Советского Союза. Конечно же, грандиозный опыт, накопленный русской классической литературой, русской советской литературой, оказал огромное влияние на становление и развитие многих национальных литератур, но теперь сама русская советская литература последних лет, например, испытывает плодотворное воздействие достижений литовского романа, поэтического богатства украинской и белорусской литератур, неповторимого таланта Чингиза Айтматова и т. п.»

Пытаясь осмыслить то новое, что внес социалистический реализм в идейно-эстетические представления человечества, автор статьи сосредоточивает свое внимание на таких капитальных соотношениях, как личность и окружающий ее мир, личность и общество. Если буржуазное искусство утверждает индивидуалистическое мировосприятие, доходящее в декадентских течениях до абсолютизации индивидуума и его самосознания, то искусство социалистического реализма, как формулирует автор, «возвращает человеку сознание социального коллектива».

Эта формула была бы односторонней, если бы Л. Г. Якименко не выдвинул и принципиально важной мысли о том, что дух коллективизма не только неотделим в социалистическом искусстве от пристального внимания к отдельному человеку, но и является мощным стимулом для художественного проникновения в глубины человеческой психологии, утверждения самых возвышенных свойств человеческих. Безусловно прав исследователь, когда он

пинизт: «В сущности, если говорить о современном мировом искусстве, то только литература социалистического реализма могла создать образ героя, человека, который был способен вступить в битву с обстоятельствами, человека, который бросил дерзкий вызов обстоятельствам, который самой смертью своей утверждал величие и непобедимость человека. Такой героической личностью стал человек, в котором были сконцентрированы надежды и верования многих».

Общая характеристика безграничных творческих возможностей и безграничного художественного разнообразия искусства социалистического реализма, данная в статье Л. Г. Якименко, углубляется в статье Г. И. Ломидзе «Спорные проблемы и ясные истины». Думается, что в культурный обиход изучающих советскую литературу должно войти содержащееся в статье Г. И. Ломидзе красноречивое и емкое определение: «Социалистический реализм — наиболее прогрессивное, революционное, новаторское, перспективное искусство современности, утверждающее великое духовное и нравственное значение социалистического образа жизни, человеческую привлекательность, красоту, непреходящую гуманистическую ценность социалистического общества».

Исходя из этой формулы, Г. И. Ломидзе размышляет над вопросом: как соотносится новый художественный метод, утверждающий вечную идею Прекрасного в самом широком, глубоком и современном ее истолковании, с традициями (иногда очень древними) различных советских национальных литератур? Достоинством статьи является то, что в ней убедительно сказано о диалектике общего и частного, диалектике «единства» и «многообразия». Ученый, владеющий огромным материалом как русской литературы, так и литератур других народов СССР, чутко воспринимает тот идейно-философский и этический пафос, который при бесконечном разнообразии национальных красок, форм объединяет и оплодотворяет искусство слова, творимое ныне многочисленными народами нашей родины. Идеал человека, понятия о добре и зле, о справедливости и счастье, об историческом процессе — вот ориентиры, с помощью которых определяет ученый основные пункты эстетических и философских «встреч» и взаимного обогащения национальных культур.

Основной философско-эстетический аспект проблемы и в этом и в других исследованиях Г. И. Ломидзе разработан убедительно. Дополнительные трудности всегда возникают при обращении исследователей к «технологии» литературы — к сюжету, композиции, стилю, а также к приемам психологического анализа в национальных литературах. Феномен национального своеобразия приемов и красок, чудесный феномен поэтической неповторимости... Он чувствуется, он воспринимается нами интуитивно, он порой бывает преисполнен обаяния. Но как взять его «на прицел глаза и ума» (выражение одного горьковского персонажа), как очертить его с помощью литературоведческих терминов, еще столь несовершенных?

Проблема национальной художественной формы, очевидно, неотделима от проблемы национального характера. Об этом у нас написано много интересного, ценного (работы того же Г. И. Ломидзе, А. И. Овчаренко, Ю. Я. Барабаша, В. Р. Щербини и др.). Несколько лет тому назад Г. И. Ломидзе в содержательной статье «Развитие нации и актуальные проблемы литературы советского Востока» справедливо писал, что «каждый народ живет и развивается в своеобразных исторических, социальных, природных и прочих условиях, поэтому так называемые общие черты в каждом случае предстают перед нами в своем неповторимом облике, как черты и общие, и конкретные одновременно. Не может быть для всех одинакового стереотипа сознания и психики»¹.

Правда, когда Г. И. Ломидзе пытался конкретизировать эту глубокую и перспективную мысль, он двинулся, как мне кажется, по слишком эмпирическому пути. Так, его наблюдения над особенностями национальной психологии молдаван занимательны, даже поэтичны, но вряд ли они соответствуют требованиям строгой научности.

В статье, опубликованной в сборнике «Социалистический реализм сегодня», Г. И. Ломидзе ищет отражение национального характера не в отдельных проявлениях душевной жизни человека (кстати, я вовсе не хочу сказать, что их надо игнорировать). Теперь ученый обращается к художественным произведениям, точнее — к их сюжетно-композиционной структуре.

¹ «Актуальные проблемы теории литературы и искусства». М. «Мысль». 1972, стр. 290.

Именно в ней и отчасти в некоторых психологических нюансах ищет он неповторимое своеобразие ряда национальных литератур. Но... пусть простит меня глубоко уважаемый мною исследователь, складывается впечатление, что он ловит руками солнечный луч. Дело в том, что национальную специфику некоторых советских романов он усматривает в том, что их герои интенсивно движутся во времени и пространстве, встречаются с разнообразными людьми, о многом рассуждают, постепенно раскрывая перед нами различные грани и своего личного характера и характера национального. Наблюдения тут есть сами по себе небезынересные, но...

Память каждого человека имеет свои капризы: мне, когда я следил за развитием мысли Г. И. Ломидзе, внезапно вспомнились затейливые перипетии романа Луи Буссенара «Из Парижа в Бразилию» (приятно иногда вернуться к любимцам своего детства). В этом романе два веселых и симпатичных француза продельвают все, о чем пишет Г. И. Ломидзе: непрерывно движутся в пространстве и времени, встречаются с разными людьми, попадают в разные ситуации, философствуют, постепенно раскрывая и свои личные черты и в какой-то степени черты остроумного, жизнерадостного, храброго и талантливого французского народа. И сколько еще можно назвать романов, созданных художниками всех времен и народов и обладающих теми же композиционными и сюжетными особенностями, которые Г. И. Ломидзе хотел бы «закрепить» за романами, возникшими в некоторых из наших национальных литератур. Очевидно, не в таком консервативном элементе искусства слова, как сюжетно-композиционная структура (взятая в ее самых общих свойствах), надо искать феномен национально-литературного своеобразия. Очевидно, Г. И. Ломидзе двинулся неверным путем. Говорю это без всякого упрека, ибо вполне отдаю себе отчет в том, как сложна задача.

Творческий потенциал художественного метода нашей литературы, динамику этого метода, его способность к безграничному развитию и самообновлению показывает Д. Ф. Марков в своей темпераментной статье «О теоретических основах поэтики социалистического реализма». Статья направлена как против догматизма, который «заковывал в кандалы канонов живой литературный процесс», так и против «субъ-

ективистской безграничности» в понимании социалистического искусства, приводящей «к разрушению его идейных и гуманистических основ». Подлинная широта эстетической платформы новой литературы, как убедительно показывает автор, обусловлена гуманистическими идеалами социализма. Д. Ф. Марков вполне последовательно приходит к выводу о том, что «в широких рамках гуманизма и правдивости социалистического реализма» находят свое выражение «общие свойства художественного творчества». Так социалистический реализм становится не только законным наследником, но и выразителем «исторической перспективы» развития прогрессивного искусства всех народов, выразителем интересов общечеловеческих.

Исторически широкий взгляд на своеобразие социалистического реализма, острый интерес к диалектическому единству классового и общечеловеческого, личного и социального, к возникающим на базе этого единства возможностям безграничного обогащения и содержания и художественных форм социалистического искусства вообще характерны для сборника. В русле размышлений на эту тему находятся и статья В. А. Дмитриева «К вопросу об определенности социалистического реализма и методологии изучения условности» и статья В. В. Дементьева «Концепция лирического героя и поэзия социалистического реализма».

В статье В. А. Дмитриева поставлен вопрос о природе «определенности» эстетических принципов социалистического искусства. Автор утверждает, что «определенность» нашего художественного метода имеет особую природу, глубоко чуждую малейшему намеку на догматизм и кастовую узость. Вспоминая опыт школы Эмиля Золя, опыт импрессионизма в живописи и символизма в поэзии, а также некоторых советских литературно-художественных группировок 20-х годов, автор выдвигает несколько тяжеловесную по форме, но весьма содержательную формулу: «Тот принцип творчества, сколь угодно новаторский и плодотворный сам по себе, который основывается на идее в одности творческой силы искусства к одной из возможностей последнего, рано или поздно обречен». Сила социалистического реализма, его перспективность в том, что он органически вырастает из социалистической действительности и развивается вместе с ней; он такой

же многокрасочный и вечно новый, как сама жизнь.

Статья В. В. Дементьева возвращает нас к теоретическому спору, который неоднократно вспыхивал среди литературоведов, но не привел к единодушию. Речь идет о так называемом лирическом герое. В. В. Дементьев предлагает нам тройную классификацию лирических стихотворений: дескать, «в одних случаях правомерно употреблять термин лирический герой, а в других — лирический характер, в третьих — поэт». Признаться, эта классификация не блещет ясностью. Да и стоит ли пересматривать традиционное деление художественной литературы на три рода? Есть эпос, есть драма, есть лирика. В лирике, как известно, поэт выражает свои настроения, внутреннюю жизнь своей души. Если поэт — настоящий, то его «самовыражение» общезначимо. Просто и ясно, хотя и не ново. Но не всегда желательна новизна. Нужно ли «сочинять» еще один род литературы — лирику с действующим в ней условным персонажем или полуперсонажем, с каким-то литературоведческим призраком, долженствующим заменить личность самого поэта? Мне кажется, что это вносит путаницу в восприятие и истолкование поэзии. И ослабляет ответственность поэта: дескать, стихотворение, конечно, мое, но в нем живу не я, в нем живет «лирический герой»...

Очевидно, к проблеме «лирического героя» еще следует вернуться. Но статья В. В. Дементьева примечательна не сомнительными терминологическими новациями, а содержащимися в ней мыслями о поэзии социалистического реализма как о поэзии, утверждающей в мире величайшую нравственную красоту, возникающую из гармонического единства художника и общества. Интересны мысли и о возрастающем значении поэзии — возрастающем потому, что «в условиях развитого социалистического общества роль социальной, нравственной, эстетической ориентации каждого человека неизмеримо возрастает». Поддержки, на мой взгляд, заслуживает и призыв автора статьи к литературоведам «внести свой вклад в науку о человеке, сделать больший, чем прежде, акцент на личности художника, его мироощущении, его эстетических взглядах».

Неисчерпаемый духовный потенциал социалистического реализма проявляется и в его способности влиять на другие художе-

ственные направления, а также усваивать, творчески преобразуя, их достижения в области поэтики. Об этом кратко, но достаточно убедительно сказано в статье Р. Р. Кузнецовой «Социалистический реализм в его отношении к другим художественным системам».

Интересные, хотя и порой бегло выраженные мысли содержатся в статье А. Г. Дубровина «Некоторые особенности типизации в искусстве социалистического реализма». Собственно, это статья о духовной универсальности социалистического реализма, о том, что проникающий его дух высокой партийности требует вовлечения в сферу художественного исследования всего бесконечного богатства человеческих отношений, всего мира природы. И если художник умеет органически связать весь этот мир впечатлений и переживаний с коммунистическим идеалом, связать даже, казалось бы, камерные темы с общественными задачами, то перед нами искусство, стоящее на высоте «своих благородных функций».

Такой же попыткой заглянуть в глубинную, сокровенную суть социалистического искусства является и статья Л. Н. Новиченко «Литература и нравственный мир современника (Этика и эстетика в искусстве социалистического реализма)». Очень хорошо сказано исследователем: «Коммунистическая партийность и народность предполагают органическую целостность взглядов писателя на жизнь, их единство, богатое и полнокровное единство, — ведь и сам марксизм-ленинизм является целостным учением, отлитым, по известным словам Владимира Ильича, из одного куска стали».

Автор выступает за такой художественный анализ жизни, в котором морально-психологические аспекты неотделимы от аспектов социально-политических, образуя гармоническое целое, соответствующее запросам времени. Именно такой широкий, гармонический, истинно партийный подход и дает социалистическому реализму возможность раскрывать «нравственные «тайники» и ресурсы личности».

О стремлении современной советской прозы к философско-нравственному синтезу убедительно говорится в статье Е. Ю. Сидорова, о многонациональном характере социалистической литературы — в статье З. С. Кедринной; интернациональную миссию социалистического реализма осве-

тили в своих статьях И. Е. Голик, Л. М. Землянова, Е. П. Чельшев. О том, что партийность художественного творчества, политическая целеустремленность предполагают острое, пристальное внимание к нравственным вопросам, убедительно говорится в статье Т. Л. Мотылевой «Нравственная проблематика как сфера проявления партийности».

Одним из достоинств сборника является то, что в нем социалистический реализм показан как динамическая художественная система, находящаяся в процессе вечного движения, роста, непрерывного обогащения своих творческих арсеналов. Можно спорить о том, насколько удачна предложенная Д. Ф. Марковым и подхваченная некоторыми учеными метафорическая формулировка, характеризующая поэтику социалистического реализма как «исторически открытую» систему художественных форм. Полюбившаяся Д. Ф. Маркову метафора — «открытость» — как-то ассоциируется с незащищенностью, пассивностью, доступностью для любого «посетителя», с грибоедовским «дверь отперта для званных и незванных». Но не будем спорить о слоге. Мысль Д. Ф. Маркова уточняется и конкретизируется и в его статье и в других статьях сборника. Мысль эта серьезная, перспективная. Она предполагает не открытость всем ветрам эпохи, не идейно-эстетическую расплывчатость, а непрерывное обогащение искусства социалистического реализма такими поэтическими формами, которые диктуются безграничными возможностями познания мира, предоставленными нашему искусству марксистской философией.

Если воспользоваться удачной формулой Т. Л. Мотылевой, можно сказать, что и в статье Д. Ф. Маркова и в статьях других участников сборника не только нравственная проблематика, но и художественные формы рассматриваются как «сфера проявления партийности».

В сущности, все статьи сборника, какие бы проблемы в них ни ставились, имеют своим «сюжетом» искания, движение, напряженную пульсацию партийной художественной мысли, проникнуты стремлением понять, оценить, раскрыть величие и своеобразие нового искусства, воодушевленного этой мыслью, искусства, ставшего сферой проявления коммунистической партийности. И нельзя не признать, что сборник дает читателям достаточно яркое общее пред-

ставление о социалистическом реализме как о самом передовом художественном методе эпохи, о завоеваниях литературы, в которой партийность стала эстетическим феноменом.

Однако общей характеристикой метода социалистического реализма содержание и смысл сборника не исчерпываются. Если заимствовать сравнения из области зодчества, авторы, как уже отчасти видно из предыдущего, стремятся не только обрисовать контуры величественного здания, но также изучить его внутреннюю планировку, заглянуть в сложную анфиладу комнат, оценить тона и краски интерьера. Здесь, в этом здании, еще много неизученного, воспринятого скорее интуитивно, стихийно, нежели рационалистически-научно. И нельзя не приветствовать творческую смелость создателей сборника, вступивших в область малоизученного и спорного.

В этой области едва ли не важнейшей темой, в которой как бы концентрируются многие актуальные вопросы эстетики и литературоведения, является тема стилового разнообразия и своеобразия социалистического реализма. Все согласны: в социалистическом реализме существуют разные стили — это бросается в глаза. Но каковы эти стили? Как, с помощью каких критериев произвести их классификацию? И как соотносится метод со стилем?

Последний вопрос — вопрос особенно важный — было бы, наверное, легче решить, если бы все художественные стили социалистической литературы отличались реалистически-конкретным характером. Но существует и властно, дерзко заявляет о себе стиль романтический. Как же получается, что при общем реалистическом методе на его базе, в качестве его эманации, что ли, возникает романтический стиль, романтическое течение? А может быть, они и не возникают — только мерещатся нам?

Решение всех этих вопросов затрудняется тем, что мы еще не очень далеко продвинулись в области исследования истории романтизма. Романтический метод (применительно к литературе досоциалистической, несомненно, можно говорить о романтизме как о самостоятельном методе) привлекал в последние десять—пятнадцать лет внимание многих ученых. К романтизму стали относиться несколько почтительней. Но будем говорить откровенно: у нас еще слабо разработаны методологиче-

ские и методические приемы исследования романтизма. Преобладают эмпирические наблюдения, и очень мало теоретических обобщений. И еще не изжиты не только рапповские антиромантические представления, но и некоторые антиромантические предрассудки, возникшие на старой, до-революционной почве.

У романтического метода, общий смысл и колорит которого заключается в том, чтобы в каждом мгновении бытия увидеть прежде всего наиболее патетические, контрастные, «необычайные» элементы или грани (реализм «спокойней», рационалистичней, он склонен изображать жизнь скорее в ее повседневном течении, а не в одних лишь патетических проявлениях), был непреклонный, упорный, довольно-таки сильно вооруженный и влиятельный противник. Этот противник — буржуазный позитивизм XIX века. Трезвый, осторожный, скованный своей приверженностью к эмпирике (не случайно он явился философской базой натурализма), позитивизм не мог усвоить того факта, что романтизм, как и реализм, отражает реальную, объективно существующую действительность, и не только отражает, но и по-своему, своими средствами, художественно исследует ее. Гносеологическое значение романтизма было совершенно недоступно позитивистам. Романтизм казался им едва ли не порождением болезненной экзальтации. Такая точка зрения, пожалуй, с наибольшей самоуверенностью выражена Луи Мегроном, объявившим романтизм болезнью века, своеобразной «неврастенией»².

Да что Мегрон! Позитивизм наложил свой отпечаток даже на труды литературоведов первого ранга. Когда читаешь монографию А. Н. Веселовского о Жуковском, восхищаешься умением замечательного исследователя улавливать, так сказать, историческую квинтэссенцию литературного явления, восхищаешься тем, как хорошо разглядел он в поэте «общественно-психологический тип». И одновременно с грустью думаешь: а все-таки Веселовский не конгениален Жуковскому! Веселовскому не хватает эстетической непосредственности, доверчивости к поэзии, в нем рациональное слишком преобладает над интуитивным. Он даже порой позволяет себе быть немножко иронически-над-

менным по отношению к тончайшему поэту. А то может и вовсе по-базаровски написать, что Жуковский «засентиментальничал» или что он «не мог не витать, не идеальничать, не писать страшных баллад»³. Позитивизм не дал Веселовскому возможности глубоко и простодушно войти в сложный, не всегда близкий нам, но зачистую тревожащий, остро волнующий и нас, материалистов, мечтательный мир большого поэта.

Саму сферу «владений» романтизма позитивисты суживали. Многие произведения, явно не укладывающиеся в рамки реализма и скорее принадлежащие романтизму или представляющие собой явление синтеза этих двух методов, зачислялись по реалистическому ведомству. Если довольно-таки рационалистические «ожные поэмы» Пушкина без колебаний были отданы романтизму, то почему-то не была замечена гораздо более мощная романтическая струя, пробившаяся в «Медном всаднике». Если чудом реализма был роман «Евгений Онегин», то не была ли чудом романтизма поэма «Медный всадник» с ее фантастическими коллизиями, интенсивностью красок, патетикой и потрясающими контрастами между образом «маленького человека» и образом великого государственного деятеля, между повседневным бытом и историческим бытием? И не была ли древняя русская поэма «Слово о полку Игореве» с ее сверканием красок, обостренным лиризмом, причудливыми образами также одной из вершин русского романтизма?

Дореволюционное академическое литературоведение склонно было ограничивать и исторические рамки романтического направления. Принцип историзма подменялся принципом исторического герметизма, несколько напоминающим концепции Н. Я. Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби. Вместо того чтобы проследивать трансформацию романтической линии в различные эпохи, эту линию старались замкнуть в узкие пределы конца XVIII — начала XIX века.

Инерция позитивизма (усугубленная рапповскими пережитками) дает себя знать и в отношении современного литературоведения к романтическому направлению мировой литературы.

² Луи Мегрон. Романтизм и нравы. М. 1914, стр. 52.

³ А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». П. 1918, стр. 42, 247.

Было бы неинтересно обращаться для подтверждения этой мысли к работам заурядным. Возьмем и в данном случае работу первого ранга. Возьмем «Исторические судьбы реализма» Б. Л. Сучкова.

Не так уж много существует литературоведческих трудов, способных подарить читателю эстетическую радость. Книга Сучкова дарит такую радость. Автор — и ученый и художник. Он гранил каждую фразу, и мы любуемся ее порой весьма сложным, но всегда гармоническим построением. А главное: он умел ощутить, увидеть движение философско-эстетической мысли. Он всматривался в разные эпохи художественного развития человечества и замечал их своеобразие. Историзм мышления, наблюдательность позволили ему с большой рельефностью вывить, если можно так выразиться, историческую неизбежность возникновения социалистического реализма, подготовленного всем художественным опытом человечества.

И все-таки, все-таки... Есть у талантливой книги Б. Л. Сучкова одна парадоксальная особенность: рисуя панораму художественного прогресса человечества, автор отдает реализму даже такие достоинства и свершения, которые, собственно, принадлежат искусству в целом. «Реалистическое искусство, — писал Б. Л. Сучков, — немислимо без познания художником действительности»⁴. А разве существует какое-либо истинное искусство, не познающее действительности? «Нереалистическое искусство может создавать характеры, но ему не свойственна их типизация»⁵. Но разве в явно романтической пьесе Шекспира «Буря» не созданы характеры, имеющие широкое (типическое) значение? И неужели у Гофмана, Лермонтова, Гюго образы лишены типичности? Неужели мы откажем в типичности образу старого Понса де Леона из архиромантической, сумасбродной и очаровательной поэмы Генриха Гейне «Остров Бимини» — образу человека, мечтающего об источнике вечной молодости? И как быть с Фаустом? Сказать, что этот образ реалистический, значит допустить натяжку. Может быть, и не романтический. Наверное, тут синтез. Но в этом нереалистическом образе воплощены, типизированы свойства Челове-

ка... Душой реализма в книге Сучкова признан «социальный анализ». Неужели, однако, романтики не анализировали — своими способами — социальные отношения? И еще один вопрос, который я сознательно заостряю: есть ли «социальный анализ» в стихотворении «Я вас любил...» — в стихотворении, судя по всему, реалистическом? Очевидно, «социальный анализ» присущ и романтизму и может отсутствовать в определенных явлениях реализма?

В социалистическом реализме, по мнению Б. Л. Сучкова, романтизм отсутствует — отсутствует даже на уровне «стиля». Течение в социалистическом реализме, получившее в ряде работ название «романтического», автор «Исторических судеб реализма» предпочитает называть «лирико-патетическим»⁶. Чтобы не осталось и следа от термина «романтизм»!

В сборнике «Социалистический реализм сегодня» инерция излишне сурового отношения к романтическим устремлениям искусства, характерная для работ Б. Л. Сучкова и многих других работ, вышедших в последние годы, уже проявляется не столь заметно. Однако проявляется! Тут, несомненно, сказывается и другая инерция — неостывший пыл борьбы, развернувшейся несколько лет назад вокруг эстетических исканий А. И. Овчаренко, рассматривавшего — с полным основанием — романтизм как большую творческую и культурную силу, но как-то упускавшего из виду, что в обществе зрелого социализма исчезают исторические и социально-психологические предпосылки для «автономного» воплощения романтического мировосприятия, для кристаллизации романтических форм изображения действительности в отдельный художественный метод. Кстати, сам же А. И. Овчаренко в своих работах убедительно, на огромном материале показал, что порожденный новыми социальными отношениями, новой философией, новой эстетикой метод социалистического реализма является методом универсальным, как бы вбирающим в себя все художественные устремления человечества, все виды художественного восприятия, все тончайшие движения души и всю художественную впечатлительность человека, борющегося за идеалы коммунизма. Сам же А. И. Овчаренко показал, что этот метод не только универсален, но и монолитен, представ-

⁴ Борис Сучков. Исторические судьбы реализма (Размышления о творческом методе). М. «Советский писатель». 1970, стр. 27.

⁵ Там же, стр. 29.

⁶ Там же, стр. 384.

ляет собой широкую и развивающуюся, но идейно отчетливую и единую систему философско-эстетических принципов, воплощаемую в бесконечном разнообразии индивидуальных стилей, в том числе и стилей романтических.

Тут необходимы некоторые терминологические пояснения. Термин «стиль» практически употребляется у нас в двух значениях — в узком и широком. Принято говорить о стиле отдельного художника и о стиле, объединяющем многих художников, — вернее, представляющем собой известную общность изобразительных форм и приемов, характерных для многих художников. Стиль в таком широком понимании термина — это уже течение.

А. И. Овчаренко много занимался исследованием романтического стиля в социалистической литературе, или, иными словами, романтических форм выражения, претворения метода социалистического реализма. В этой области у него есть наблюдения, которые пригодятся нам, когда мы наконец возьмемся за широкую разработку истории и особенно теории романтического течения в искусстве социалистического реализма (история этого течения разрабатывается хотя и робко, неглубоко, но все-таки более успешно, нежели теория). Увлеченный своеобразием и силой романтического стиля, А. И. Овчаренко склонен был это ответвление или одну из линий метода воспринимать как самостоятельный метод. И хотя А. И. Овчаренко никогда не пытался делать из своих размышлений и гипотез теоретический абсолют, романтический экстремизм этого исследователя, обладающего «умением ставить действительно крупные проблемы и до предельного накала заострять на них свое и наше внимание»⁷, возбудил немалые страсти среди его коллег. В дальнейшем А. И. Овчаренко пересмотрел свои взгляды на романтическое течение и привел их в соответствие со всей логикой своих многочисленных и тематически разнообразных исследований, направленных именно к выявлению сложного, диалектического единства художественного метода социалистической литературы, к раскрытию его новаторской сущности и всемирно-исторического значения. Но атмосфера былых споров все еще дает о себе знать. Споры эти принесли свою пользу,

они стимулировали работу наших ученых по исследованию природы социалистического реализма. Только вот по отношению к романтическому стилю все еще не преодолена некоторая настороженность. Здесь уже проявляется какой-то противоположный экстремизм, возбужденный полемикой с А. И. Овчаренко. В отдельных случаях «осторожное», позитивистски трезвое и скептическое отношение к романтическому началу переходит прямо-таки в негативное отношение к нему, к самой идее существования романтического стиля в искусстве социалистического реализма.

Один из видных наших ученых, Д. Ф. Марков, в своей книге «Проблемы теории социалистического реализма» исследует такое своеобразное явление, как «революционный романтизм», в котором видит «особенность ранней социалистической литературы»⁸, «этап на пути к широкому реалистическому изображению революционной действительности, без чего немислимо утверждение социалистического реализма»⁹. Здесь, конечно, есть «традиционное» преуменьшение самостоятельного значения романтизма, но диалектика становления социалистического реализма, как бы вбирающего в себя и достижения романтической поэтики, элементы романтического видения мира, намечена верно. Остается «только» исследовать, как все же происходит процесс превращения романтического метода в один из компонентов реалистической эстетики, как именно проявляется в социалистическом реализме романтическое начало. И каков удельный вес романтической формы в поэтике социалистического реализма? Какие глубины помогает раскрыть эта форма? Или она лишь яркий праздничный бантик на солидной и строгой одежде реализма?

На эти вопросы Д. Ф. Марков в своей книге не дает ответа. Не дает он на них ответа и в статье, помещенной в сборнике. Д. Ф. Марков лишь предлагает «не абсолютизировать» романтический «тип» или «принцип» изображения, как и другие формы художественного обобщения в поэтике социалистического реализма. Абсолютизировать, конечно, не надо. Но изучить романтический «принцип» художественного освоения действительности было бы весьма интересно и полезно.

⁷ Д. Марков. Проблемы теории социалистического реализма. М. «Художественная литература». 1975, стр. 310.

⁸ Там же, стр. 141.

⁹ Там же, стр. 152.

М. Н. Пархоменко (в сборнике) признает существование романтического течения в социалистическом реализме, но спешит добавить, что оно развивается в сторону обогащения своей «реалистичности», углубления и укрепления своей «реалистической основы». Как видим, романтическому течению отказывают в малейшем намеке на своеобразие, на самобытность! Едва заговорив о романтическом стиле, торопятся превратить его в реалистически-конкретный.

Очень интересно начинает свои размышления о романтическом стиле В. В. Новиков: «Романтизм в советской литературе — своеобразное, новаторское явление, не повторяющее полностью особенности «старого» романтизма и не разрушающее все законы романтической поэтики». Дальше, однако, исследователь, как бы спохватившись, добавляет, что этот своеобразный новый романтизм приближается «к принципам реализма». Романтические приемы теперь «обретают реалистическое наполнение».

И снова читатель недоумевает: в чем же все-таки своеобразие, пафос романтического течения? Сам же исследователь как будто не отрицает того, что на общей эстетической платформе, на базе социалистического реализма сформировался стиль, что-то воспринявший от «романтической поэтики». И что значит в данном случае «приближение к принципам реализма»? К принципам социалистического реализма? Но именно о его своеобразном выражении, проявлении, об одной из форм его осуществления и идет речь. Значит, автор хочет сказать, что романтический стиль приближается к реалистическому стилю, даже «обретает его черты»? Но тогда зачем было заводить разговор о «романтизме в советской литературе»?

Статья В. И. Гусева специально посвящена романтическому стилю («О романтическом стиле в советской прозе последних лет»). Очень сжато, но интересно и темпераментно обрисован старый романтизм, «ориентированный» на опыт Шекспира и на опыт неведомого создателя «Слова о полку Игореве», романтизм, «давший миру молодого (да и только ли молодого? Что есть Фауст?) Гёте и Шиллера» и других. Высказаны интересные соображения о романтических стилях в украинской, армянской, грузинской, казахской, аварской ли-

тературах. «Внимание к жизни в предельно контрастных ее проявлениях, — пишет В. И. Гусев, — поиск, разностороннее выявление духовной подосновы характера, напряжение внешне-стилевых форм, призванных выразить сложность, динамику мира, резкое сочетание различных духовных линий, традиций, — все это, на мой взгляд, и порождает новый интерес к романтическому стилю, традиции». И все-таки, переходя к конкретному рассмотрению живого бытования романтического течения, — на примере одного из рассказов Гранта Матевосяна, — автор статьи спешит выдвинуть тезис о том, что «романтические внешне-стилевые формы» служат здесь «реалистическому внутреннему заданию». Значит, в социалистическом реализме романтическая поэтика — это что-то внешнее? И что такое «реалистическое задание»? Конечно, в советской литературе, как уже сказано, «романтическое течение» возникает на широкой эстетической платформе социалистического реализма. Но стоит ли забывать о том, что течение это имеет свою индивидуальность?

Для теоретического подкрепления высказанных мной соображений сошлюсь на помещенную в этом же сборнике статью Н. К. Гея «Активность искусства социалистического реализма». Статья написана несколько туманным языком и перегружена цитатами, но в ней мерцает серьезная и глубокая мысль — о монистической природе подлинного искусства, о том, что стиль не есть формальное начало в искусстве, о том, что форма превращается в содержание «на любом уровне, в том числе и на уровне стиля». Неплохо бы применить этот тезис и к рассмотрению романтических форм социалистического реализма.

Впрочем, романтический стиль не только «преображают» в нечто формальное. Иногда от него вовсе стараются избавиться. Во всяком случае, такую попытку предпринял А. П. Эльяшевич в статье, посвященной типологии стилиевых течений социалистического реализма. Не без гордости А. П. Эльяшевич объявляет, что он в своей классификации вовсе обошелся «без столь распространенной категории, как романтический стиль». Автор статьи предпочитает пользоваться понятиями «объективных» и «субъективных» стилей, которые, в свою очередь, делятся на «потoki» и «ручейки», а внутри «потоков» и «ручeyков» еще просматриваются «добавочные русла». А в

руслах можно разглядеть и «еще более подробные дефиниции».

Один из авторов сборника, Е. Ю. Сидоров, заметил, что типологическая классификация А. П. Эльяшевича «временами напоминает таблицу Менделеева». Ну как сказать. Таблицу Менделеева, на мой взгляд, освоить легче. Она проще и серьезнее.

Не удалось участникам сборника найти согласованные и отчетливые ответы и на вопросы: что такое «направление» и как оно соотносится с «методом»? и является ли «метод» принципом отражения действительности или чем-то еще более широким? и как соотносятся понятия «социалистический реализм» и «социалистическая литература»?

А в статье Л. Г. Якименко поставлен и такой вопрос: является ли «метод» ровесником искусства или он возникает на каком-то позднем этапе художественного развития человечества? Л. Г. Якименко полагает, что понятие творческого метода «стоило бы применять к более поздним стадиям развития искусства. Для эпох с развитым классовым сознанием, для эпох, условно говоря, осознанного реалистического воспроизведения действительности».

Л. Г. Якименко не уточняет эту свою мысль, но поскольку возникновение реализма, да еще реализма «осознанного» (об «осознанном романтизме» автор статьи забывает), принято относить самое раннее к эпохе Возрождения, то получается, что на протяжении тысячелетий искусство не знало никаких методов!

Но может ли существовать искусство без художественного метода. то есть без определенного целостного комплекса или системы мировоззренческих принципов, идей, понятий и эмоционально-чувственных, психологических восприятий, связанных с художественным познанием и воссозданием объективной реальности? Не думает же Л. Г. Якименко, что искусство может быть порождено совершенно произвольно — как явление природной стихии? И возможны ли вообще какое-нибудь творчество, какой-либо труд без метода?

Конечно, методы бывают разные — и бывают разные степени развития и осознанности метода. В методе художественном много и от стихийного мироощущения, от стихийного, эмоционального восприятия действительности, характерного для дан-

ной эпохи или данных социальных слоев. Всемирно-историческое значение метода социалистического реализма в том, что он, не утрачивая интуитивно-эмоционального элемента, выступает во всеоружии научных понятий об историческом процессе, об окружающем нас мире. Такая степень осознанности своего эстетического отношения к бытию — явление новое в истории, и оно привнесено в мир революционной борьбой рабочего класса. Однако высокая степень осознанности своих художественных целей и задач была присуща и выдающимся мастерам прошлого — как реалистам, так и романтикам. И не только в XIX веке или в периоды Возрождения и Просвещения. Было бы неуважением к человеческой мысли, к культуре прошлого предполагать, что художники былых эпох творили, не имея никакого художественного метода.

Я не решаюсь утверждать, что, например, создателя «Антигоны» не было художественного метода. Каждая строчка знаменитой трагедии говорит о железной последовательности философско-художественной и политической мысли Софокла, о наличии у него определенных принципов художественного исследования и воссоздания жизни. Что это за метод — вопрос особый. Думаю, что — реалистический. Особая, ранняя модификация реализма. Кстати, здесь можно найти и «социальный анализ» — этот, по мнению некоторых исследователей, основной, определяющий признак реализма...

Надо полагать, что и романтический метод возник отнюдь не на поздних стадиях развития искусства. Он возник тогда, когда возникло романтическое мироощущение. Мы не знаем, когда это произошло, но я думаю, что правы те исследователи, которые ставят вопрос, например, о романтизме в античном искусстве¹⁰. Разве в Катулле не заметна та эксцентрика и склонность к парадоксам, к сближению «несоединимых» понятий («*odi et amo*»), которые присущи художникам романтического типа?

Однако не уклоняюсь ли я от моей «сюжетной линии»? Нет, напротив! Актуальные проблемы, поставленные в сборнике «Социалистический реализм сегодня», требуют для своего глубокого решения историко-литературной ретроспекции.

¹⁰ См. Л. И. Савельева. Романтические тенденции в античной литературе. Издательство Казанского университета. 1973, стр. 149.

Исследование исторических модификаций основных художественных линий (методов, направлений) мировой литературы проливает свет и на природу социалистической литературы. Позволю себе — в порядке обсуждения — высказать следующую мысль: досоциалистическая художественная литература со всем ее необозримым духовным богатством, в сущности, всегда развивалась по трем основным линиям: реалистической, романтической и синтезирующей; последняя представляет собой слияние первых двух. Других методов или направлений (направление — это метод, рассматриваемый в его исторической динамике, в его коллективно-социальном бытовании) в досоциалистической литературе я бы здесь называть не стал. А как же, например, классицизм? Или символизм? Или экспрессионизм? Полагаю, что, как бы ни были своеобразны эти художественные формы, они представляют собой модификацию: классицизм — модификацию реализма, символизм и экспрессионизм — модификацию романтизма. Подлинный историзм в подходе к направлениям литературы заключается не в том, чтобы «закреплять» их за определенным историческим периодом, а в том, чтобы понять, разглядеть, ощутить их трансформации в разные исторические периоды. Отдаю себе отчет, что высказанные столь бегло мои соображения о методе и направлении звучат и субъективно и спорно, однако я лимитирован размерами журнальной статьи.

Метод (или направление) социалистического реализма замечателен тем, что в нем — на новой идейно-философской основе — осуществлен небывалый синтез трех основных методов (направлений) досоциалистической литературы. Самый термин «реализм», соединяясь с определенным «социалистический», приобретает новый философско-эстетический смысл. Это уже не «один из методов» (я разумею, конечно, социалистическую литературу). Как уже сказано, наш художественный метод — метод и универсальный и монолитный. Поэтому и вызвала полемику рабочая гипотеза о «социалистическом романтизме» как особом методе. Но чтобы разобраться в стилях, возникающих на базе универсального метода социалистического реализма, необходимо учитывать его эстетический генезис, его связь с методами досоциалистической литературы; необходимо помнить о творческой преемственной

связи его с мировой литературой. И если мы в этом аспекте рассмотрим художественное богатство социалистической литературы, мы увидим, что оно укладывается в рамки трех мощных, полнокровных стилей, как бы наследующих специфические художественно-психологические и эмоциональные особенности старых художественных методов (при совершенно новой и единой философской и социально-политической основе). Итак: стиль рационалистически-конкретный (собственно реалистический), стиль романтический и стиль синтезирующий. Таковы, на мой взгляд, стили, порождаемые методом социалистического реализма. Первый стиль с полной отчетливостью выражается, например, в творчестве Шолохова, Твардовского, Федина, Исаковского, Рыленкова, Шукшина; второй — в творчестве Багрицкого, Светлова, Довженко (и как литератора и как режиссера), Яновского, Бабеля, Стельмаха; третий — в «Молодой гвардии» Фадеева, в повестях Василя Быкова, Чингиза Айтматова...

Мне кажется, некоторые неясности и противоречия, содержащиеся в сборнике «Социалистический реализм сегодня», не возникли бы, если б его авторы рассматривали советскую литературу в более тесной преемственной связи с предшествующим художественным развитием человечества.

Нерешенность ряда существенных проблем в той или иной степени ощущается и самими участниками сборника, а некоторыми из них ощущается даже очень остро. Так, Г. Н. Поспелов в статье «К спорам о литературе социалистического реализма» сетует по поводу того, что понятия и термины в теории социалистического реализма «недостаточно точны и расчленены». К сожалению, Г. Н. Поспелов вряд ли вносит ясность в нашу терминологию, когда ратует за то, чтобы «правдивость» не отождествляли с «реалистичностью». Отождествлять, конечно, не следует. Но зачем отрывать эти понятия друг от друга? Несколько метафизическими кажутся мне и противопоставления «правдивости» и «верности» художественного изображения.

Г. Н. Поспелов придает большое значение романтическому началу — это, разумеется, не вызывает возражений. Но романтическое начало он не склонен связывать с «познавательной объективностью» и «исторической конкретностью» мировоззрения, «влекущими» писателей «к реализму».

У романтиков, дескать, «желаемое» господствует «над объективно возможным».

Право же, давно пора отказаться от такой интерпретации романтизма. Давно пора понять, что романтизм способен не только прославлять «желаемое», но и своими средствами выявлять вполне реальные черты вполне реальной действительности. Гносеологический потенциал романтизма нельзя недооценивать. И уж во всяком случае романтический стиль социалистического реализма — это стиль, продиктованный не пресловутым «бегством» от «исторической конкретности» бытия в царство «желаемого», существующего лишь в воображении художника-романтика. Нет, нап романтический стиль обусловлен всей творческой динамикой жизни, историческим оптимизмом марксистско-ленинской философии.

Неясность в деле классификации стилей, поверхностное и какое-то опасливое отношение некоторых исследователей к романтическому стилю дали пищу для целого «гамлетовского монолога», с которым на страницах сборника выступает серьезный и ищущий литературовед Г. И. Ломидзе:

«Все же необходимо более пристально всмотреться в некоторые важные теоретические проблемы. Не получается ли так, будто реализм — чрезмерно обширная крыша, под которой мирно уживаются между собой писатели совершенно различного типа, неодинакового мироощущения, несходных, порой взаимоисключающих творческих пристрастий? Различные писатели — реалисты по тому признаку, что все они пишут о реально существующем, о социальной и духовной истории своего народа? Их делает реалистами одна лишь приверженность правде увиденного и познанного? А если они пишут по-разному о

сходных, исторически близких явлениях? Это «разное» не следует учитывать вовсе при определении их творчества? Почему же мы боимся признать самоочевидную истину: в отдельных произведениях, появившихся за последнее время, нет в чистом виде того реализма, который критики привыкли считать реализмом, а есть нечто необычное, неожиданное, сильное, самобытное, расширяющее наше представление о границах и возможностях современного социалистического искусства?»

Как видим, создатели сборника столкнулись с определенными теоретическими трудностями (не только поэтам знакомы «муки творчества»). Эти трудности связаны с бесконечной сложностью, глубиной и разнообразием искусства социалистического реализма. Наше литературоведение и эстетика уже много сделали для раскрытия того колоссального и непрерывно развивающегося художественного мира, который называется «социалистический реализм». Наша теоретическая мысль все глубже проникает в поэтические арсеналы социалистического реализма — арсеналы художественно-философских идей и мотивов, разнообразных стилей (форм). Но, как правильно заметил тот же Г. И. Ломидзе, «теория не поспевает за практикой». Есть много проблем, которые для своего решения еще требуют коллективных усилий.

В сборнике «Социалистический реализм сегодня» эти трудности не затушеваны. Перед нами книга не только научных свершений, но и научных исканий, раздумий. Надо полагать, что эта при отдельных своих слабостях интересная и содержательная книга послужит стимулом для дальнейшего движения теоретической мысли, исследующей самый передовой и перспективный художественный метод нашей эпохи.



И. КРАМОВ



РАЗГОВОРЫ С МАРШАКОМ

К 90-летию со дня рождения

Часу в двенадцатом ночи я возвращался из города в ялтинский Дом писателей и уже внизу услышал сухой, надсадный кашель. Маршак сидел у дверей своего номера на втором этаже, курил. Каждый вечер Розалия Ивановна, его секретарь, неразговорчивая, прямая как жердь старуха лет восьмидесяти, выставляет его за дверь, пока номер проветривают перед сном, и он сидит у двери, курит, молчит.

Проходя мимо, я поклонился, и он остановил меня вопросом:

— Вы из Ленинграда?

Я ответил, что из Москвы. Он посмотрел сквозь очки старческими, внимательными глазами. Познакомились. И тут же начался разговор, быстрый, без пауз. Маршак вставал, садился, снова вставал, кашлял, курил, доставая из смятой пачки антиастматические сигареты, присланные ему из Англии, цепко смотрел сквозь очки. На нем мышинного цвета фланелевая измятая куртка, распахнутая на груди. Маршак очень стар, шея в складках, сквозь седые редкие волосы просвечивает бледная кожа. Морщины глубокие, резкие, но еще отчеканен нос с горбинкой, очень заметный своей точной лепкой на крупном лице. Рот упрямо поджат. Большая голова на хилом теле сразу же запоминается выразительностью и резкостью черт, в которых видны энергия, властность, ум.

Началось с Зоценко. Хвалил его долго как знатока языка и прекрасного писателя, человека тонкого и умного.

— Все в нем было приятно,— говорит Маршак,— небольшие сухие руки, смуглая кожа, невысокий, подобранный. Как писатель он идет от Гоголя... Гоголь! Великий писатель, умища, гений. Какие мысли!

Чего стоит хотя бы вот эта: Пушкин ушел, не оставив к себе лестниц. Гениальная мысль! Вообще вся проза крупная дальше идет от Лермонтова и от Гоголя. Толстой от лермонтовской школы. Достоевский, Шедрин — от гоголевской. О России Гоголь сказал больше чем кто бы то ни было другой. Знаете, только сейчас настает время Гоголя. То, что писали о нем символисты,— чепуха. Плоско. Его еще нужно открыть. И тогда окажется, что он опередил свое время на сто, а может быть, и на двести лет. Как художник. Современный сюрреализм, если хотите, идет от Гоголя. Не правда ли?. Так вот. Гоголь умирал так. Неделю лежал на кровати лицом к людям, потом повернулся лицом к стене. И лежал, пока не умер. Истошил себя. Не хотел жить. И умер. Фантазмагория в духе Гоголя. Конец, можно сказать, художественный. Зоценко тоже истошил себя. Вообще в его таланте есть общее с гоголевским. А в детскую литературу вовлек его я.

Все это вышаливается нетерпеливо, сквозь сигаретный дым.

Половина второго ночи. Розалия Ивановна время от времени выставляет в дверь сухое недоверчивое лицо, но Маршак отмахивается от нее и она исчезает.

Я стою, облокотившись о перила, он вскакивает со стула и, устав, снова садится, положив ногу на ногу. Когда он стоит, налегая на палку, видно, как выпирает из-под фланелевой куртки правая лопатка.

— В основе всякого искренного произведения,— говорит он,— обязательно есть музыкальная тема. Недавно я прочитал стихи о том, как хор поет песни революции. Поэту нравятся эти песни, а стихи написаны в заунывном ритме. Песни эти пели задорно. Видно, у поэта была смысловая тема, но не было музыкальной. У

большого поэта всегда есть музыкальная тема. У Шекспира слышен бас Отелло.

Все, что он говорит, поначалу напоминает немного лавку литературных знаний, своего рода антиквариат, где каждая вещь отобрана со знанием и вкусом. Но нет, теплота этого глуховатого голоса заставляет подумать о другом. Какое-то смутное назидаение заключено в зрелище этого старца, торопливо и горячо раскрывающего посреди примолкшего, уснувшего дома скопленное за целую жизнь богатство.

Работает он ежедневно с одиннадцати часов. Читает, низко склонив голову, уткнув лицо в страницу — у него ослабло зрение, — правит верстки, пишет письма твердым, четким почерком. В его номере поставили телефон, и из московских редакций и газет звонят с утра.

Розалия Ивановна — седые волосы на пробор, убранные сзади в жидкий пучок, строгие очки и темных тонов, невзирая на Крым и щедрое октябрьское солнце, платье — весь день неторопливо снует по двухкомнатному номеру, печатает на машинке, отвечает на письма. После смерти жены Маршак, по-видимому, целиком на ее попечении. Они очень привязаны друг к другу и постоянно ссорятся. Время от времени Розалия Ивановна собирается уехать из Ялты, и тогда Маршак очень серьезно и немного нервничая сообщает, что Розалия Ивановна решила бросить его и пойти в стюардессы.

Его душит астма. Каждый вечер его ведут принимать ванну, облегчающую страдания. Он, надрывно кашляя, ковыляет, опираясь на палку, за горничной. В эти минуты кажется, что в теле его уже нет никакой жизни и оно только по привычке и в силу случайной нераспорядительности природы еще присутствует на земле.

Вчера Соня, горничная, пропустила его — они шли по открытой галерее второго этажа, а мы, несколько человек, стояли внизу и смотрели на них, задрав головы. Подождав, пока старик, содрогаясь от кашля, проковыляет вперед, она наклонилась к нам и доверительно сообщила громким шепотом:

— А умирать не хочет.

Обычно разговор начинается с чего-нибудь не слишком существенного и после короткой разминки бурно вторгается в общения. Он любит обобщать.

— Россия — это страна возможностей, — говорит он. — Так было еще в девятнадцатом веке. Недаром у Достоевского в одной комнате сходятся князь, купец, семинарист, чиновник и т. д. Ну, Достоевский преувеличивал, на то он и Достоевский. Но суть все же схвачена верно. В России сословные перегородки между социальными группами не были так глухо закрыты, как в других странах. Как в Англии, например. В Петербурге у моих родителей была знакомая еврейская семья. Отец торговал чем-то, дети учились музыке, языкам. У них собиралось общество, дочери танцевали с офицерами. И вот отец разорился, семья перебралась в Лондон. Когда в двенадцатом году я поехал со своей молодой женой учиться в Лондон, родители просили, чтобы я разыскал этих бывших петербуржцев. И я их разыскал. Это было наше единственное знакомство в Лондоне. Здесь петербургский купец держал маленькую скорняжную мастерскую, жил очень скудно. И я понял тогда, как трудно в Англии выбиться, перейти в более высокий этаж общества, попросту прилично заработать. Там я знал одного художника, зарабатывающего портняжным ремеслом. В доме, где мы жили, снимали комнаты семь старых дев. Они не вышли замуж, потому что у них не было денег. Меня спрашивали: вот вы женились, приехали с женою учиться в Лондон — вы, вероятно, очень богатый человек? Да нет же, говорил я, я беден. Мне не верили. Там вообще русскую жизнь и русских не понимали. Каждый русский, приехавший в Лондон, считался аристократом. В какой-то хронике светской жизни в отчете об открытии выставки обо мне написали: князь Маршак.

Он рассказывает, что, приехав в Лондон и не зная английского языка, он нанял репетитора, запоминал в один прием сотни слов. Поступил в колледж на факультет искусств. Жена училась в том же колледже на естественном факультете. По Англии путешествовали с женою пешком. И вот в одном маленьком городке увидели школу, которую организовал и возглавил странный человек — высокий, красивый, похожий на Иоанна Крестителя. Одет он был в домотканую одежду, крашенную в яркие цвета. В школе дети занимались по его системе — все было основано на свободном выборе ребенка. Это показалось сначала обыкновенным чудачеством — мало ли чего не увидишь в

Англии. Но через некоторое время он вспомнил о школе уже совсем иначе. И понял, что никогда прежде не видел таких беззаботно-счастливых детских лиц. Вероятно, учитель в домотканой одежде обладал каким-то утерянным секретом, может быть, одним из самых нужных и самых запрятанных. Ведь дети совсем не так благополучны, как часто нам кажется. И они правы, что не доверяют нам, взрослым, чаще всего мы деспоты, неспособные их понять.

Совсем недавно он пытался узнать, сохранилась ли эта школа, наводил справки — нигде никаких следов, никто ничего не слышал о ней. Исчезла.

— И я, признаться, нисколько не удивился. Какой-то рок тяготеет над начинаниями такого рода. Они появляются и исчезают, не оставляя следов, — может быть, самые счастливые догадки человека. Англия вообще страна чудаков, — помолчав, говорит он. — Каждый седьмой наверняка чужак. В Германии, в Америке господствуют системы взглядов — в политике, в социологии. Меняются системы — меняется жизнь. В Англии господствуют традиции. Там традиции и обычаи более важны, чем законы. И выросли они естественно, как коралловые рифы. Причудливо, иногда уродливо, но — естественно. Потом — у людей там очень развито чувство собственного достоинства. И это во всех классах. Я видел, как в Гайд-парке фотограф оттолкнул какого-то бедно одетого человека — тот размахнулся и влепил ему пощечину.

Вспомнив о Гайд-парке, Маршак оживляется, веселеет, задорно поглядывает сквозь очки.

Англия — неостывшая любовь. Он любит в ней стародавнее, прочное — культуру, форму, противостоящую хаосу.

Утром читал его книгу «В начале жизни». Он подарил ее накануне.

Автобиографическая повесть о детстве в обстановке небогатой трудовой семьи. Написана ясным слогом, очень чисто, спокойно, легкими красками. Говорит он иначе — быстро, порывисто, больше модуляций в голосе и дыхание наполненной. И взгляд сквозь очки — быстрый, умный, насмешливый, наблюдательный. Я определенно предпочитаю общение с ним его повествованию — ясному, тихому, как ручей.

Написанное как будто процежено сквозь

фильтр, отбирающий резкость и остроту суждений, оценок, пристрастий, кипение мысли, темперамент — все то, что дает его разговор. Вообще все, что я знал о Маршаке, начиная с «Мистера Твистера», не предвещало того полнозвучия жизни, какое есть в старике. Мысль в его разговоре живет, пульсирует, и забываешь, слушая его, о немощном теле, до того слабым и немощным, что, очнувшись, смотришь на старика со страхом — как бы не дунуло из окна.

Вечером у Маршака был ялтинский поэт, молодой человек, сотрудник местной газеты. Маршак ему покровительствует. При нем он солировал. Под конец парадоксы: в России было время бритых — Пушкин, потом время бородатых — Чернышевский, Щедрин. Время бритых было временем чести, бородатых — временем совести. Все это говорится холодно, без воодушевления, скорее по обязанности занимать общество. Но вот переходим к современности — и, естественно, возникает Твардовский. И Маршак загорается. Читает стихи Твардовского спокойно и немного торжественно.

— Толстой говорил, что любит, чтобы язык — как колодезная вода: пусть и с соринкой, но чтобы зубы ломило от холода. Это редко удается в поэзии, но вот Твардовскому удалось.

И он читает снова из лирики последних лет.

— Вот язык не интеллигентский, не городской, а подлинно народный. Вероятно, Твардовский еще не понят до конца, так же как не был понят Некрасов. В Некрасове не видят, что он поэт того же времени и того же города, что и Достоевский. Он во многом предвещает Достоевского. Он первый дал тип, близкий к Мармеладову, типы дельцов, разночинцев, колорит и краски не императорского, а разночинного Петербурга.

Маршак разогрелся, это лучшие его минуты. На темном, как старинный пергамент, лице пробивается слабое подобие румянца. Разговор незаметно соскальзывает на наши 30-е годы, на Горького.

— Да, да, у него, как и у каждого из нас, были слабости, — говорит Маршак, — но я бы хотел, чтобы понимали, что все это меркнет перед тем, что он сделал для людей и для литературы. Это был сложный человек. Русский человек. Вообще он был человек неожиданных поворотов. Любил кого-нибудь и мог неожиданно разлюбить.

И тогда этот человек переставал для него существовать. Для меня он сделал много. В юности, когда я заболел туберкулезом, Горький привез меня в Ялту, и я жил у него. Потом, лет пятьдесят назад, когда я был в Англии, я написал ему: вот живу здесь, увлекся Блейком, перевожу. Он ответил мне очень сухо, что-то вроде — не советую переводить Блейка. И сухо подписался: Пешков. Я очень обиделся и не ответил. И так до пятнадцатого года. Мы встретились в Петрограде после его возвращения из Италии и расцеловались. В начале тридцатых годов я приехал из Ленинграда в Москву и заболел — оказался дифтерит. Меня стали выселять из гостиницы, и я разыскивал своего приятеля академика Сперанского. Позвонил секретарю Горького (Горький был в Тессели), чтобы узнать служебный телефон Сперанского — тот был близко знаком с Горьким. Потом произошло следующее. Через два часа за мною приехали и отвезли на улицу Чайковского, в какую-то большую квартиру, пришли врачи, и был прекрасный уход, пока не выздоровел. Это сделал Горький. Он звонил из Тессели как раз после моего звонка, узнал, что я болен, кому-то позвонил в Москву и попросил, чтобы позаботились обо мне. Да, такой это был человек. Редкий. И знаете, когда сидишь с ним вдвоем — прост и не величав. Вообще в нем я всегда чувствовал две струи — рассудочную и музыкальную...

Говорим о последних днях жизни Горького, о его конце.

В пятом часу дня за Маршаком иногда приезжает такси и отвозит его к морю подышать морским воздухом. Машина ждет иногда час, а то и больше, пока он сидит на берегу у самой воды. Несмотря на щедрые чаевые, шоферы неохотно выполняют этот заказ. Вероятно, их южный темперамент с трудом переносит вынужденное безделье ожидания, а может быть, оно и невыгодно или просто им не нравится возить старика. Во всяком случае, с ялтинскими таксистами у Маршака конфликт, и, отправляясь на прогулку, он обычно бывает хмур и неразговорчив.

Однажды, поднимаясь из города, я увидел его в машине, спускавшейся мне навстречу. Он сидел рядом с шофером, хмуро глядя перед собой. Поравнявшись со мною, он остановил машину и поздоровался. Он был в шляпе и в своем выношенном фланелевом костюме, еще более,

чем обычно, хрупкий и маленький рядом со здоровенным малым в ковбойке, сжимавшим баранку волосатыми руками. Было прохладно, с гор дул предвечерний колючий ветерок, и я сказал, что хорошо бы ему надеть пальто, но он отклонил:

— Не люблю пальто.

Он простудился, скорее всего в одной из таких поездок, и слег с высокой температурой.

Болеет он терпеливо, без капризов, не требуя докторов. Все же пришлось позаботиться, чтобы его осмотрел опытный врач. У него воспаление легких.

Захожу к нему. Он сидит в постели, просторная пижама распахнута на груди. Как обычно, серьезен и говорит о себе не жалуясь, а словно сообщая сведения: дед-подкидыш. Подкинули деда.

— Сейчас отчасти подкинули вам.

Это и благодарность без лишних слов за врача.

Поднимаюсь, побыв немного, чтобы не утомлять, но он останавливает:

— Посидите, если не торопитесь.

Ему хочется поговорить, и он, прерывисто и тяжело дыша, говорит о Пушкине — странный для утра и у постели больного разговор. Пушкин первый учил русских писателей уважать свое звание. Это сказано для разбега. Вяло соглашаюсь и, предчувствуя, что это только начало беседы, все же ухожу.

Вечером, когда захожу к нему в номер, как он просил, в шестом часу, я сразу улавливаю, что он нетерпеливо ждет. Он тотчас поднимается и садится в постели. Дышит он тяжело, беспрерывно почесывает грудь, голову, руки. Жалуеться, что донимает зуд — врачи говорят, что это последствия лечения антибиотиками и что тут ничем помочь нельзя. Сидя в постели, он расчесывает гребешком волосы, и они дымчатым нимбом вздымаются над иссеченным морщинами большим лбом. Сумерки постепенно скрывают его лицо. Свесив голову набок, он говорит без перерыва часа два. В комнате душно, я прошу Розалию Ивановну проветрить; она открывает дверь в лоджию — сквозь ветви закрасневших осенних деревьев видно море, синяя спокойная гладь.

Как-то Твардовский сказал ему:

— Мы познакомились, когда тебе было пятьдесят лет. С тех пор ты написал все свое самое лучшее — лирику, переводы, статьи. Что же ты делал до той поры?

До пятидесяти лет предшествующие двадцать были отданы издательским и журнальным делам, связанным в основном с детской литературой. Маршак рассказывает об этом охотно. Вероятно, ему хотелось бы, чтобы сделанному было воздано. Есть даже известная настойчивость в том, как он излагает ход событий: пустое место, оставшееся после Чарской и детских журнальчиков, и на этом пустыре при его деятельном участии возникает новая ветвь литературы.

В начале 20-х годов он с семьей жил в Краснодаре. Организовал там детский театр. Потом Ленинград, он редактирует первый детский журнал «Новый Робинзон». Первый номер готовили долго — не было ни опыта, ни традиции. Составили номер из воспоминаний о Шлиссельбурге и из рассказов молодых, никому не известных авторов.

— Ах! — восклицает Маршак. — Вы представить себе не можете, сколько было энтузиазма и надежд. — Он вздыхает и задумывается. — Однажды пришел в журнал молодой человек, представился: Житков. Оставил рассказ, и я тут же прочитал его. Когда он явился за ответом, вызвал всю редакцию, его поздравляли, он молча кланялся в полной растерянности, не понимая, что происходит — то ли смеются над ним, то ли поздравляют всерьез. Когда понял — расцвел, разговорился. С того дня поверил в себя. Знаете ли, чтобы стать писателем, нужно поверить в себя. Это было на первых порах что-то вроде селекции. Книжки выращивались, как сад. Заглянул как-то к нам Алексей Толстой, охает и вздыхает: денег нет, нельзя ли заработать, ну, что-нибудь перевести наскоро, есть даже идея — он переведет итальянские сказки. Я стал уговаривать писать оригинальное по мотивам сказок. Толстой отмахивался: не буду. Но вскоре принес своего Бура-тино.

Маршак знает, несомненно, не только об удачах «селекции». Ведь порою она приводит к тому, что узаконивается ремесленный подход к творчеству и литература становится прибежищем делателей книг. Понимает ли это старик? Конечно, понимает. Но, видно, нет у него сейчас ни времени, ни охоты отделять зерно от плевел.

Он попросил прочитать вслух верстку его статьи о сказках Тамары Габбе, над

которой работал здесь в последнее время. В конце этой статьи он пишет о самой Габбе, приводит несколько строк из ее писем. Пишет немного анемично как о человеке замечательно чистом, ясном в том понимании этого слова, какое ему присуще.

Слушал, пока я читал, со слезами на глазах, задыхаясь, ворочаясь в постели. Потом, кашляя и дымя сигаретой, говорил, замолкая, чтобы унять дрожь в голосе или проглотить слезу. Чувство — не остывшее, может быть и более острое, чем прежде. С собою — ее портрет.

— Это была женщина небольшого роста, — говорит он, — очень живая в обществе, умеющая быть светской. Но мало кто знал, как тяжело ей давалось это, — больше всего она любила одиночество. У нее было все — красота, талант, ум, женственность, доброта, — не было только двух мускулов: мускула честлобия и мускула корыстолюбия. Она пришла ко мне в Ленинграде ученицей, а под конец ее жизни я у нее учился — это был изумительно одаренный человек. Сказки ее прекрасны. Но истинное ее призвание — жизнь, люди. Она говорила, что хотела бы руководить школой. Вероятно, ей тоже удалось бы что-нибудь необычное, вроде той школы в Англии с Иоанном Крестителем и счастливыми детьми. Но и без того лучшее ее произведение — это ее жизнь. Она много пережила: муж ее трагически погиб, потом блокадная зима в Ленинграде. Это не разрушило ее любить людей. Она выхаживала много лет разбитую параличом мать и больного отчима. Когда умер отчим, она похоронила его, не сказав об этом матери, оберегая ее последние дни. Незадолго до смерти Фадеев приехал ко мне — это была последняя наша встреча, — говорит Маршак. — Приехал, чтобы поговорить о Твардовском — они поссорились. Фадеев тяжело переживал это. Я хотел помирить его с Твардовским. Была у меня Габбе. Она ушла вскоре после прихода Фадеева — из деликатности, чтобы не мешать нам. И, уходя, сказала в коридоре: «Не говорите с ним ни о себе, ни о Твардовском. Поговорите о нем. Видите, какое у него лицо?» А я ничего и не заметил. Действительно, лицо у Фадеева было страшное. Он посидел несколько минут и ушел.

Маршак замолкает, оборвав на полуслове. Сидит, нахохлившись, как зимняя птица, утопая в дыму.

...Ему семьдесят шесть лет. Он отмечает свой последний день рождения. Он уже не доживет до следующего ноября.

Не знаю, свойственны ли ему предчувствия, но на этот раз, несмотря на запрет врачей, он хочет во что бы то ни стало отметить этот день.

Вечером в вестибюле третьего этажа собирается пестрое общество — писатели, работники Дома творчества. Маршак появляется в темно-сером хорошем костюме, на нем галстук, вывязанный Розалией Ивановной. Все привыкли к его фланелевой курточке, и вид принаряженного именинника определенно приподнимает настроение собравшихся. Вдруг ясно видишь, что Маршак — человек общества. В этот час он обычно отправляется в сопровождении Сони принимать ванну, надсадно кашляя по пути. Но сейчас он удовлетворенно озирает гостей и длинный стол, уставленный фруктами и вином. Он с трудом поднялся сюда со второго этажа, где живет, и теперь ему предстоит длинный вечер, поздравления, тосты. Но это его нисколько не пугает и даже нравится. Он сознает, что принадлежит публике, и сам смотрит на себя как на ее достояние.

И люди, собравшиеся здесь, — именитые прозаики, безвестные поэты, горничные и литературоведы, официантки и врачи — все это смешанное застолье являет в каком-то смысле панораму его жизни. Все шумело и сплеталось вокруг, и он сам был частью этого хоровода.

Маршак сидит, немного отстранясь от стола, опираясь на палку, поставленную меж коленей. Блестит очками — внимательно-подобранный, доброжелательно-властный, еще полный жизни старик. Рядом с ним прилетевший из Москвы сын.

Не снимая с палки рук и как бы присев на время среди слегка подвыпивших людей, Маршак рассказывает, как впервые встретился с Блоком. Пришел к нему на Галерную читать стихи. Ему было восемнадцать, Блоку — двадцать пять лет.

— Это был уже, несмотря на незрелый по нашим понятиям возраст, вполне взрослый, очень серьезный, внушающий уважение человек, — говорит Маршак.

Вероятно, и сам Маршак из рано повзрослевших серьезных юношей. И эта цепкость ума, и трудолюбие, и строгость, отмечающая в общении житейскую шелуху, — все это издавна, с ранней молодости. Впрочем, мне трудно представить

себе его молодым. Он так точно отлит, что, кажется, таким был всегда. Старость, как ни странно, к лицу ему. Она не отталкивает, не пугает холодом, и это шумящее застолье согрето ее теплом.

Его просят прочитать стихи, и он читает неожиданно громко, с внезапной энергией:

Моя душа, ядро земли греховной,
Мятежным силам отдаваясь в плен,
Ты изнываешь от нужды духовной
И тратишься на роспись внешних стен.

Недолгий гость, зачем такие средства
Расходуешь на свой наемный дом,
Чтобы слепым червям отдать в наследство
Имущество, добытое с трудом?

Расти, душа, и насыщайся вволю,
Копи свой клад за счет бегущих дней
И, лучшую приобретаю долю,
Живи богаче, внешне победней.

Над смертью властвуй в жизни
быстротечной,
И смерть умрет, а ты пребудешь вечно.

За столом стихают. И в тишине слышно, как скрипнул под стариком стул. Он встает, прощается. Говорит каждому «спасибо, голубчик», пожимает руки, целуется. Просит, чтобы я помог ему спуститься вниз. Он немного возбужден, и рука, которой опирается о мою, дрожит.

Мы медленно отсчитываем ступеньку за ступенькой, и он говорит обеспокоенно, что ошибся, трижды сказал сегодня «мое шестидесятишестилетие». Приглашает зайти к нему и заговаривает о сегодняшнем вечере.

— Я считаю, что есть два круга читающих литературу: круг узкий — ценителей, и круг широкий — читателей. Плохо, когда пишут для того или для другого круга. Хорошо, когда и для того и для другого. Аристократом я себя никогда не считал. Заметно, что он устал, праздничный костюм стесняет его, руки его все еще немного дрожат.

Мы попрощались. Розалия Ивановна уведает его в комнату, где расстелена постель, чтобы он уgomонился наконец и отдохнул. Он вышел через минуту в коридор и снова увел меня к себе. Неожиданно и даже с некоторым пафосом:

— Я полюбил разговаривать с вами.

И тут вдруг двадцатиминутная вспышка, горячий монолог:

— О недостатках человека можно знать по-разному. Мать знает недостатки своего сына. И следовательно и прокурор знают

недостатки этого же человека. Но это разные знания. Литература о недостатках человека должна говорить и думать, как мать. Литература не может утратить материнского участия и боли за человека... Дерево выделяет клей; ученый изучает клейкость дерева — важное качество. Но все дерево целиком охватить может только искусство, объединяющее точное знание и могучую интуицию. Только на самых высотах наука может обрести обобщающую идею и силу искусства... В прошлое пути нет. Нужно искать только в будущем. Мы живем в странных городах, где уже задушили асфальтом землю, траву, но вернуться на природное лоно не удастся. В будущем можно научиться многому разумному с помощью искусства. Ему дано смягчить нравы и сердца, и оно может стать второй природой для человека. Но чтобы оно стало ею, оно должно существовать в естественных условиях, беря для себя из окружающей среды все, что ему нужно для развития и совершенства. Подумайте, какой это может быть сад, сколько талантов и ума могут отдать ему люди и как много он вернет им, вселяя в них образ человеческого, который мы так часто теряем, сохраняя для нас лучшие порывы души, самые высокие мысли, самые счастливые прозрения человечества.

Входит сын. Маршак смотрит на него цепкими, живыми глазами. Его морщинистое лицо добреет.

...Солнечный ноябрьский день. Маршак сошел вниз и ждет машину. Он сидит в кресле, одетый в дорогу, в шляпе, окруженный людьми. В этой сутолоке он несколько не потерялся, и мы даже успеваем перебраться несколькими словами. Он говорит, что столбовая дорога русской литературы не Кольцов, а Пушкин. Я говорю, что нечто схожее пишет Герцен. Он — вполне непосредственно:

— Да, много совпадений бывает с Герценом. Умный был человек.

Осеннее солнце освещает его лицо, и он умиротворенно щурится и греется напоследок в его лучах.

Через несколько минут мы прощаемся. Он крепко сжимает руку, глядя прямо в глаза. Мы целуемся...

В Звенигороде июльским утром прошел мимо почтальон, окликнул:

— Возьмите газету.

В «Литературке» на всю полосу в траурной рамке — «Самуил Яковлевич Маршак».

Сжало сердце. Первое, о чем подумал, — что не позвонил ему в последний месяц и зимою не смог поехать к нему, когда он пригласил — порывисто, глуховатым голосом: «Приезжайте сейчас ко мне, голубчик».

Однажды Маршак сказал Твардовскому:

—Надо, чтобы хорошо был разложен костер, а огонь упадет с неба.

Он был одним из тех, кто помогал хорошо разложить костер. В определенные моменты жизни общества заслуга таких людей поистине неоценима. Они берегут накопленное и готовят почву для новых всходов. Воздавая им должное, мы выражаем признание культуре, традиции, таланту, поэзии и труду.

Это и чувствуется в толпе, стоящей у Дома литераторов в жаркий июльский полдень, в день похорон.

Стою внизу, когда проносят венки, горы цветов. Потом проносят на руках гроб с Маршаком. Желтое спокойное лицо, медальный профиль, жестковатый, крепкий.

Слышу его глуховатый голос:

Люди пишут, а время стирает,
Все стирает, что может стереть.
Но скажи — если слух умирает,
Разве должен и звук умереть?

Он становится глуше и тише,
Он смешаться готов с тишиной.
И не слухом, а сердцем я слышу
Этот смех, этот голос грудной.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Баранов, В. Терехов. Книга и революция. — **Юрий Андреев.** Эффект достоверности. — **Ираида Воронина.** Высокий костер.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Шарапов. Октябрь в Москве. — **И. Дрейцер.** Планета у нас одна... — **Иг. Бубнов.** Космос, общество, мысль.

Литература и искусство

КНИГА И РЕВОЛЮЦИЯ

А. С. Блинов, Т. А. Пострелова. Мария Малых. Очерк. Лениздат. 1976. 182 стр.
С. Белов. Книгоиздатели Сабашниковы. «Московский рабочий». 1974. 176 стр.

Характеризуя обстановку в России в период первой русской революции, В. И. Ленин писал: «Миллионы дешевых изданий на политические темы читались народом, массой, толпой, «низами» так жадно, как никогда еще дотоле не читали в России»¹.

Эмблема французской революции — женщина с горящим факелом в одной руке и со знаменем свободы в другой — была изображена на обложке «Песни о Соколе» и «Песни о Буревестнике», первого массового издания, вышедшего в Риге в 1902 году. Оно было осуществлено человеком, который только еще начинал свой трудовой путь от скромной томской гимназистки, затем слушательницы курсов Лесгафта до негибимой революционерки издательницы произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова.

Мария Александровна Малых... После поражения революции 1905—1907 годов против Марии Малых как издательницы революционной литературы было возбуждено более сорока судебных процессов. В

январе 1909 года, когда становится ясно, что дело уже не ограничится штрафом, а нависла вполне реальная угроза тюремного заключения, она совершает дерзкий побег прямо из зала суда!

Все эти и многие другие интересные факты читатель узнает из книги А. С. Блинова и Т. А. Постреловой «Мария Малых», выпущенной в 1976 году Лениздатом. Книга эта, написанная в жанре популярного очерка, не просто характеризует издательскую деятельность М. Малых, но воспроизводит и процесс становления ее как человека и деятеля культуры. Перед читателем, таким образом, и неповторимая человеческая судьба, и типичный путь революционерки-марксистки.

Сейчас в читательском мире издатели книг и собиратели библиотек становятся иной раз не менее известными, чем писатели. Достаточно вспомнить хотя бы описания библиотек Н. П. Смирнова-Сокольского и И. Н. Розанова. Интерес к книжному собирательству, несомненно, усилили вышедшие в последние годы специальные издания — книги Л. Борисова «Родители, наставники, поэты...», В. Лидина «Друзья мои — книги» (переиздание), Ф. Шилова «Записки старого книжника» и др.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 83.

Стремительный рост интереса читателей к путям рождения книги именно на рубеже XIX и XX веков имеет особые основания и заслуживает специального разговора.

Ленинские слова, приведенные в начале рецензии, с полным правом относятся к революционной литературе, выпускавшейся такими издателями, как М. Малых. Книга ленинградских авторов является хорошим вкладом и в историю развития русского книгопечатания на рубеже двух веков, и в изучение истории пропаганды идей марксизма в России.

Все дальше уходят события тех грозных революционных лет, но и сейчас, и, может быть, именно сейчас, когда все передовое человечество готовится отметить шестидесятилетие первого в мире социалистического государства, важно еще раз осмыслить глубинные истоки духовной культуры социализма. И если никак нельзя сказать, что исчерпаны все возможности изучения рабочей печати периода пролетарского движения, то исследованию «общедемократического» направления, выявлению в нем элементов социалистических до недавнего времени уделялось явно недостаточно внимания. Тем более отрадно, что за последние годы вышло несколько интересных работ, восполнивших ощутимый пробел в истории русской книги на рубеже прошлого и нынешнего веков. Это, например, обзорная книга С. В. Белова и А. П. Толстякова «Русские издатели конца XIX—начала XX века» (о ней уже писал «Новый мир»²), а также появившиеся ранее «Рыцарь книги» А. Адмиральского и С. Белова (Лениздат, 1970), «Книгоиздатели Сабашниковы» С. Беловз («Московский рабочий», 1974). Читая эти книги, получаешь новые подтверждения того, что прогрессивно-демократическое направление в книгопечатании в конце XIX—начале XX века сыграло выдающуюся роль в общественно-политическом и культурном развитии нашей страны. Приведенные в них факты убеждают, что в условиях самого реакционного общественного и государственного строя и вопреки им в обществе начались плодотворные процессы, связанные с пробуждением народного сознания.

«Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены

в смысле образования, света и знания,— такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России»³,— писал Ленин. И именно в России массы наиболее остро почувствовали потребность ликвидации столь вопиющей несправедливости, осознали, что образование и культура становятся для них насущной и первоочередной жизненной необходимостью.

Характерная особенность развития России рубежа XIX—XX веков — невиданный прорыв трудящихся в сторону знания. Для 1905—1907 годов, например, характерен так называемый брошюрный поток. По подсчетам известного библиографа Н. А. Рубакина, вышло не менее 50 миллионов книг «определенного прогрессивного направления», в том числе 26 миллионов экземпляров социал-демократической литературы. «Школьная подготовка второй русской революции» — так яркий враг революции Пуришкевич квалифицировал выпуск И. Д. Сытиным дешевых учебных книг для народа. И не будет преувеличением сказать, что книги о русских книгоиздателях углубляют наши представления о тенденциях развития духовной культуры в России в условиях третьего, пролетарского этапа освободительного движения.

Изменения в социальном составе «потребителя» книги были столь разительны, что именно в 90-е годы впервые в России читатель становится предметом специального изучения. В 1895 году выходит книга Н. А. Рубакина «Этюды о русской читающей публике» — первый опыт социологического подхода к читателю. Уже сам факт появления подобной работы, вызвавшей огромный интерес демократической общественности, говорит о том, что проблема «культура и народ» осознается передовыми представителями интеллигенции как одна из важнейших, требующих самого пристального внимания. В своей книге Н. А. Рубакин намечал новые аспекты исследования литературы: «История литературы не есть только история писателей и их произведений, несущих в общество те или иные идеи, но и история читателей этих произведений». Показательно, что в этом направлении интенсивно работает исследовательская мысль и наших современных ученых: двадцать пятый том трудов Ленинградского института культуры, вышед-

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 127.

² 1977, № 7.

ший в 1974 году, так и называется — «История русского читателя».

На рубеже XX века в России наряду с демократизацией потребителя духовной культуры — читателя происходит и процесс демократизации ее «производителя».

Появляется немало издателей, среди которых не все обладали достаточно широким культурным кругозором, но потребности русской жизни, русского общества они чувствовали отлично.

«Иногда из теснообразной, бесформенной массы русского народа выбираются на поверхность жизни какие-то особенные, крепкие, очень трудоспособные люди.. Для меня лично это — самые ценные русские люди как по их любви к делу, так, главным образом, потому, что они выходят из демократии, из самой глубины темной народной массы», — писал Горький об И. Д. Сытине⁴, но эту мысль можно отнести и к другим крупнейшим книгоиздателям второй половины XIX века — М. О. Вольфу, А. Ф. Марксу, П. П. Сойкину, К. Л. Риккеру, Н. П. Карбасникову и многим другим.

Когда братья Сабашниковы задумали издать первую книгу, старшему из них было семнадцать лет. Ф. Ф. Павленков начинал издательскую деятельность в двадцать шесть, П. П. Сойкин — в двадцать три, И. Д. Сытин — в двадцать пять лет. Немного старше были М. О. Вольф, К. Л. Риккер и А. Ф. Маркс. В монографии «Рыцарь книги» авторы широко и убедительно показали своеобразие издательской деятельности П. П. Сойкина; начавшаяся задолго до Великой Октябрьской социалистической революции, она продолжалась в советскую пору, являя собою один из примеров преемственной связи предоктябрьской культурной жизни и строительства социалистической культуры.

Закономерно, что история книгоиздательства П. П. Сойкина под пером А. Адмиральского и С. Белова часто переходит в историю проникновения в русское общество идей марксизма. Специальная глава «Первая ленинская...» посвящена истории опубликования первой легальной работы В. И. Ленина «Экономическое содержание народничества и критика его в книге

г. Струве». Небезынтересно напомнить также, что гонорар за две опубликованные в 1899 году в журнале «Научное обозрение» статьи Сойкин выслал в место ссылки Владимира Ильича — Минусинск.

«С первых же дней советской власти я начал работать вместе с нею», — писал П. П. Сойкин в автобиографии. Подобные же слова вынесены в название одной из глав книги С. Белова «Книгоиздатели Сабашниковы».

Признание революции и сотрудничество с советской властью И. Д. Сытина, братьев Гранат, П. П. Сойкина, М. В. Сабашникова было органично подготовлено всей их предыдущей жизнью и деятельностью.

Заслуга литературоведов А. Адмиральского и С. Белова и в том, что они напомнили нам о деятельности многих и многих замечательных популяризаторов, чьими усилиями было обеспечено проникновение в русское общество передовых естественнонаучных идей. Это сотрудники издаваемого П. П. Сойкиным журнала «Природа и люди» братья Груздевы, Я. И. Перельман, В. В. Битнер, И. А. Рынин, В. В. Рюмин и др. Специальная глава «Созвездие имен» в книге о Сабашниковых рассказывает о замечательном авторском коллективе, сформированном издателями.

Свидетельством подлинного демократизма издателей М. В. и С. В. Сабашниковых является их активнейшее участие в открытии первого Народного университета в России — университета А. Л. Шанявского. Этому факту в книге С. Белова посвящена специальная глава «Шанявцы».

Ленин называл книгоиздательство Сабашниковых одним из «наиболее культурных» в России. В отличие от П. П. Сойкина и И. Д. Сытина братья М. В. и С. В. Сабашниковы были энциклопедически образованными людьми и являлись не только издателями, но и редакторами выпускаемых книг.

С. Белов выделяет капитальность и академичность как наиболее характерные признаки их изданий. Они публиковали труды К. Тимирязева, А. Вейсмана, А. Иоффе, О. Хвольсона, Д. Прянишникова и многих других крупнейших русских и зарубежных ученых. В течение сорока лет книгоиздательство М. В. и С. В. Сабашниковых способствовало пропаганде в России передовых естественнонаучных идей.

К сожалению, сравнительно небольшой объем рецензируемых нами книг обусло-

⁴ В книге «Полвека для книги. Литературно-художественный сборник, посвященный пятидесятилетию издательской деятельности И. Д. Сытина, 1866—1916». М. 1916, стр. 31—32.

вил и некоторую, порой чрезмерную конспективность в изложении материала. Нет развернутого критического взгляда на продукцию издательств в целом, недостаточно вскрыта определенная ограниченность мировоззрения людей либерально-демократического толка, занимавшихся выпуском книг.

Хотя авторами предприняты попытки вскрыть своеобразие человеческой личности каждого издателя, к сожалению, часто перечни имен, названий и цифр заслоняют исключительность, а вместе с тем и типичность их характеров.

В книговедении и вообще в литературе, надо сказать, сравнительно повезло Ф. Ф. Павленкову и И. Д. Сытину. Еще В. Г. Короленко в «Истории моего современника» отдал дань замечательному труду Ф. Ф. Павленкова; вдохновенные страницы посвятил этому издателю Н. А. Рубакин в своей работе «Из истории борьбы за права книги». Ф. Ф. Павленкову неизменно посвящены страницы всех трудов по истории русской книги. В 1960 году вышла книжка о нем Н. М. Рассудовской. Библиографами и краеведами Кирова тщательно исследуется период вятской ссылки знаменитого издателя. Здесь следует указать интересную работу А. В. Блюма «Ф. Ф. Павленков в Вятке», выпущенную в 1976 году Кировским отделением Волго-Вятского книжного издательства. Эта работа обобщила и дополнила исследования П. Н. Лупшова, Н. П. Изергиной, Е. Д. Петряева.

Что касается И. Д. Сытина, то в 1960 году вышли его великолепно изданные воспоминания «Жизнь для книги». К. Коничев посвятил ему свою книгу «Русский самородок». Широко отмечался в прошлом году и столетияпятилетний юбилей издателя: в Московском институте культуры была осуществлена выставка его изданий.

Размах книгоиздательской деятельности

в первые годы советской власти, так поразивший Г. Уэллса, в значительной мере базировался на лучших демократических традициях крупнейших книгоиздательских фирм конца XIX—начала XX века. Доказательств этому в трудах книговедов мы найдем немало. Здесь можно привести только один пример: издательство братьев Гранат просуществовало вплоть до 1939 года и способствовало созданию «Советской энциклопедии».

История книг—это история идей, «а история идей есть история смены и, следовательно, борьбы идей»⁵. До конца раскрыть диалектику борьбы идей, может быть, самого сложного периода во всей русской и мировой истории—такая задача успешно решается рядом современных авторов, изучающих книгоиздательское дело периода конца XIX—начала XX века, но и задачи здесь стоят еще немалые. Ждут своего исследователя такие деятели отечественной книги, как О. Н. Попова, С. А. Скирмунт, М. И. Водовозова.

«Книги имеют свою судьбу»,—говорили древние, и, знакомясь с трудами современных книговедов, мы убеждаемся, что история каждой книги и судьба каждого человека, тесно связанного с ней, глубоко своеобразна и поучительна.

Надо полагать, в недалеком будущем появится единая обстоятельная монография об общих процессах и закономерностях демократического книгоиздательского дела на рубеже двух веков. Такая работа позволит нам глубже уяснить, насколько важный сдвиг в общественном сознании произвела книга, открывавшая глаза миллионам в пору подготовки и осуществления величайшей из революций.

**В. БАРАНОВ,
В. ТЕРЕХОВ.**

Горький.



ЭФФЕКТ ДОСТОВЕРНОСТИ

Д м и т р и й Г у с а р о в. За чертой милосердия. Роман-хронина. «Север», 1976, №№ 7—9.

Дмитрий Гусаров принадлежит к писателям того поколения, путь которого в литературу лежал через Великую Отечественную войну. Он участвовал в боевых действиях партизанского отряда, сражавшегося на оккупированной врагами терри-

тории Карельской АССР. Совсем молодой тогда Д. Гусаров за эти бои получил четыре боевые медали.

⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 112.

Как правило, первые книги наших писателей «военного призыва» написаны по материалам времен войны. Вполне естественно, что и первое крупное произведение Д. Гусарова — роман «Боевой призыв» (1957) было посвящено карельским партизанам. Логично для писательского развития Д. Гусарова и то, что следующая его крупная вещь «Цена человеку» (1963), повествующая о карельских лесозаготовителях, анализировала такие непростые жизненные явления, которые позволили писателю вплотную заняться проблемой подлинно духовных ценностей. Эта же проблема стала центральной и в документальной книге Д. Гусарова о замечательном большевике-руководителе — «Три повести из жизни Петра Анохина» (1968).

И вот теперь — «За чертой милосердия», роман-хроника о героическом и трагическом походе карельских партизан летом 1942 года в тылы противника. Произведение, построенное на документах, обращенное на исследование реальных человеческих ценностей. Перед нами книга в известной степени итоговая для писателя. Уже этого достаточно для ее серьезного, внимательного рассмотрения. Но помимо того роман-хроника «За чертой милосердия», на мой взгляд, воплощает в себе определенные позитивные свойства, достигнутые нашей документальной прозой в целом, и поэтому разговор о нем, о его несомненных удачах, о некоторых его недоработках сам собою приобретает обобщающий характер.

Произведения, основанные на исторически засвидетельствованных фактах, разумеется, не новость для художественной литературы. Практически всегда наряду с «вымышленными» художественными произведениями существовали книги с большей или меньшей опорой на реальные, конкретные действия, которые могли быть документированы. В этом смысле современные книги новизной не отличаются, новизна заключается в том, что в послевоенной литературе резко возросло число документированных произведений, что эстетика документа, достоверности — свойство отнюдь не только тех произведений, которые опираются на реальные события и исторические личности, в ряде случаев она стала захватывать и вовлекать в свою зону влияния и книги, основанные на художественном вымысле от начала до конца. Вот характерное высказывание известного писателя на этот счет: рассказывая об одном из много-

численных обсуждений повести «А зори здесь тихие...», Б. Васильев вспоминает: «От группы молодых театроведов слово взяла девушка лет двадцати с небольшим. Объяснила, что для настоящего, без оговорок, восприятия книги ей необходимо знать точно: реальные ли события описаны в книге, реальные ли герои живут и умирают там, или все это вымысел?»

Я тогда нарочито резко ответил: «Вымысел!» И почувствовал невысказанное разочарование аудитории. Слово я в чем-то обманул... Я потом долго размышлял над этим эпизодом. Вспоминал: до войны, когда мы учились нелегкому искусству чтения книги, никому не приходило в голову ломать копы, был или не был Мегелица. Нагульнов, с кого писал Арбузов Таню? А сегодня резко обозначился интерес именно к документальной точности описываемого как к чему-то такому, что должно существовать реально» («Литературное обозрение», 1973, № 3).

Почему же произошел этот скачок? Б. Васильев отвечает на это так: «Понять это, в общем, нетрудно. Во-первых, телевидение обрушивает на нас лавины документальных лент разных времен — точных, убедительных, порой беспощадных в своей достоверности. Во-вторых, если в основу произведения положены, скажем, события недавней войны, то тем, кто прошел ее, важно знать, как повествуют о ней сегодня — не приукрашивают ли, не лукавят? Те же, кто знает о войне лишь «понаслышке», естественно, хотят понять, как все это было. Порой и относятся поэтому к художественному произведению как к документу в буквальном смысле этого слова. И все это важно и серьезно».

Разумеется, к подобному мнению нельзя не прислушаться, с ним нельзя не согласиться как с частным объяснением более широкого явления. Несогласие вызывает лишь фраза «Понять это, в общем, нетрудно». Бесспорно, в ней содержится немалая доля упрощения проблемы.

Да, безусловно, сила «протокола» (непосредственного отражения реальной жизни) очень велика, особенно если наполнена необыкновенными событиями сама эта протоколируемая жизнь. Однако нынешний всплеск интереса к документальной литературе объясняется не только «чистым» документальным основанием, но и — здесь я забегая несколько вперед в своем изложении — теми художественными возможно-

стями, которые потенциально содержит в себе документ.

Ведь не случайно огромной популярностью пользуются сейчас мемуары. Причем мемуары не только знаменитых полководцев и флотоводцев, но и рядовых участников войны, но и конструкторов, инженеров, организаторов производства. И вместе с тем обратим внимание и на тот факт, что в нашей послевоенной литературе не меньшую популярность приобрели собственно исторический роман, историко-революционный роман, книги биографического жанра. Так, например, в серии «Жизнь замечательных людей» число томов уже перевалило за пятьсот; огромным читательским спросом пользуется серия «Пламенные революционеры» — за короткий срок в ней издано много десятков книг.

Интерес к художественно-документальной литературе нынче представляет собой явление, получившее всемирное распространение. Член Французской академии, лауреат Гонкуровской премии (за роман «Сильные мира сего») Морис Дрюон в одном из своих последних интервью, отвечая на вопрос, почему в его седьмом романе из серии «Проклятые короли» столь значительное место занимает документированное изложение, сказал, что этот акцент вызван изменением вкусов публики. «Читатели — и с этим их только можно поздравить — ныне ждут от исторического романа прежде всего исторической правды, опоры на первоисточник, на документ» («За рубежом», 1977, № 15, стр. 22).

Более того, как о явлении мирового масштаба сейчас можно говорить не только о распространении жанров художественно-документальных произведений, но и произведений, авторы которых сознательно имитируют поэтику своих вымышленных произведений под поэтику произведений сугубо документальных. Примеры здесь можно приводить самые разнообразные: от романа В. Богомолова «В августе сорок четвертого...» до романа Г. Бёля «Групповой портрет с дамой», от упоминавшейся уже выше повести Б. Васильева «А зори здесь тихие...» до телевизионного фильма авторов из ФРГ К. Хубалека и П. Шельце-Роора «Двадцать первое июля» (в основу которого положена гипотеза о том, как развивались бы события в Германии, если бы известный заговор генералов против Гитлера 20 июля 1944 года удался).

Чем же объясняется рост всеобщего инте-

реса к документу, какая сила стоит за ним?

На мой взгляд, следует говорить о целом комплексе явлений, которые лежат в основе нынешнего документального «бума». Разумеется, если иметь в виду всемирную литературу, здесь сказывается и весьма заметная общая политизация литературы, то есть усиленное первоочередное внимание к процессам, связанным с крупными социальными и классовыми движениями и изменениями в обществе. Это очень благодарная, но специальная тема для теоретиков литературы, свидетельствующая о расширении самого предмета искусства: если длительное время наши идеологические оппоненты упрекали советскую литературу в постоянном ее внимании к событиям, основанным не столько на личной жизни героев произведений, сколько на движении самих масс, то теперь и литераторы буржуазных стран вынуждены все чаще рассматривать характеры своих персонажей в тесной связи с политическими событиями, совершающимися в мире.

Здесь и огромное количество таких фактов, которые принесла с собой прошедшая война и которые превосходят любое воображение, их невозможно придумать, в целом ряде случаев они представляют сами по себе бесценный материал для художественной литературы. Нужно ли здесь напоминать о героической обороне Брестской крепости, о деятельности молодого гвардейцев, о бессмертном подвиге Александра Матросова, о работе наших легендарных разведчиков, таких, как Рихард Зорге, Николай Кузнецов, Кузьма Гнедаш, о таких подвигах и страданиях, которые превосходят меру человеческого воображения? Кстати говоря, книга Д. Гусарова «За чертой милосердия» также опирается на факты подобного героического и трагического одновременно ряда: их нельзя выдумать, сама реальная действительность превосходит порождения досуговой фантазии.

Разумеется, следует учесть и такой немаловажный момент, порожденный эпохой НТР, как стремление человеческого мышления к максимальной информативности, к жадному познанию того, что еще неизвестно.

Можно назвать еще немало других важных причин, которые способны объяснить оправданность, весомость и значительность для современного искусства его интереса к документу, его опоры на документ. Исследованию этого феномена посвящена значи-

тельная по количеству и содержащимся в ней ценным суждениям теоретическая и критическая литература, которая сама заслуживает особого рассмотрения и изучения.

И вместе с тем — и это совершенно ясно — опора на документ отнюдь не является панацеей от творческой неудачи, далеко не всегда произведение, основанное на самом поразительном жизненном факте или выдающейся биографии, становится значительным явлением культурной жизни. Документально-художественное произведение живет только тогда, когда оно создано по законам художественной литературы. Если из документа встает характер. Если художник сумеет психологически точно воспроизвести человеческие отношения, возникшие в реальной ситуации. Если автор, пользуясь системой эстетических средств, сможет дать убедительную оценку человеческим качествам своих персонажей. В противном случае — когда художественного открытия в документальном произведении нет — это произведение не спасет от быстрого забвения никакое даже самое потрясающее реальное событие, положенное в его основу.

Интересно отметить, что почти одновременно с романом-хроникой Д. Гусарова (судя по биографической справке «Дмитрий Гусаров», изданной в Петрозаводске в 1974 году, писатель работал над своим романом довольно долго) вышла в свет книга финского писателя Пентти Тикканена «Разгром партизанской бригады» (Акционерное общество Арви А. Каристо, 1973), повествующая о том же событии — походе карельской партизанской бригады по тылам противника.

Конечно, идейные позиции финского писателя (автора немалого числа произведений, изображающих действия финских диверсионных отрядов) и советского писателя никак не совпадают, достаточно сравнить хотя бы названия, чтобы увидеть это: в одном случае акцентируется официальная версия тогдашнего финского командования — разгром, и только в другом подчеркнуты нечеловеческие трудности похода, которые пришлось перенести партизанам в тылу у врага. Замечу, что при всем том Пентти Тикканен не позволяет себе дискредитации советских людей — участников похода, в его книге неоднократно встречаются описания героического поведения советских партизан. Вот, например, мы читаем сцену

допроса взятой в плен раненой медсестры Нины Концалевой — девушка ведет себя героически-дерзко. «Я не предаю своих товарищей», — отвечает она с вызовом на вопросы допрашивающих. — Мы специально подготовленные бойцы и сражаемся за Родину, — говорит она. — Вы нам ничего не сможете сделать... Зря вы меня допрашиваете, больше ничего не расскажу.

— Когда вы вышли?

— Выясняй сам, га...

— Кто же ваш командир? — спросил Пуока.

— Ты же хотел сам выяснить. Ну и выясняй тогда, — грозилась женщина. — От меня вы ничего больше не получите, если даже убьете, — упорствовала она».

Приведу еще примеры из книги финского писателя, свидетельствующие об уважении к стойкости и героизму советских партизан: «Специально подготовленные бойцы, они умели сохранять боеспособность и волю даже в самой грудной обстановке. Они умело использовали в свою пользу особенности местности. Прорвавшись из окружения, они были способны к эффективным противодействиям, путая и минирова свои следы. В боевой обстановке они сумели оторваться так ловко, что соприкосновение с ними прервалось почти на сутки. Исключительность их успеха возрастает еще и потому, что партизаны были без командира после гибели майора Григорьева». Рассказав о стремительной ночной контраатаке партизан, в результате которой был уничтожен отряд финских пограничников, Пентти Тикканен пишет далее: «Ночной прорыв показал, что партизанская бригада состояла из тех отборных солдат, которые действительно владеют лесным боем даже ночью. Отряду удалось собраться в темноте так тихо, что даже сторожевые посты не обнаружили никаких признаков этого. Следующим этапом и была решительная атака и прорыв партизан».

Успех был полный, если еще вспомним, что партизанский отряд жил на грани безнадёжности и смерти как из-за голода, так и из-за постоянного преследования».

Цепь аналогичных примеров может быть продолжена, но, кажется, и приведенных вполне достаточно для того, чтобы отдать должное объективности финского писателя. Коротко замечу, что и Дмитрий Гусаров, в свою очередь, отмечает воинское мастерство и профессиональную сноровку боевых финских отрядов. Кстати, Пентти Тикканен

неоднократно в своем повествовании использует советские документы, в частности «Боевые листки», захваченные у партизан, а Д. Гусаров неоднократно пользуется документами из финских источников. Так, например, он на основании исключительно только финских материалов сумел восстановить судьбу бесследно исчезнувшей группы партизан, о которой из документов партизанской бригады ничего узнать не удалось.

Таким образом, в данном случае идейное противостояние писателей не повело к шаржированию противостоящей стороны. И тем не менее существует помимо водораздела идеологического еще один водораздел, который существенно разграничивает поэтику документализма в этих книгах, повествующих об одном и том же событии.

Автор «Разгрома партизанской бригады» видел свою главную задачу в протоколировании событий, по возможности более достоверном: в книге дано пунктуальное описание расположения отрядов советских партизан и их преследователей, боев и маневров.

Для П. Тикканена очень важна оперативная точность набрасываемого им рисунка, и действительно, военный историк, видимо, сможет с достаточной степенью достоверности и с привязкой к топографической карте воссоздать маршруты передвижения борющихся сил, расположение таких-то рот на тот или иной день или даже час, хронологию стычек и потерь обеих сторон. Когда мы закроем его книгу, мы еще некоторое время будем помнить общий план операции: начало похода партизан, их полное драматизма и жертв возвращение, но — и это, пожалуй, самое существенное — мы не сможем восстановить в памяти ни одного человеческого лица, ни одного человеческого характера, ни одной человеческой судьбы, изображенной Тикканеном, потому что за поверхность событий этот писатель проникать не стремится, полагая, очевидно, что факт сам за себя скажет.

Роман-хроника Д. Гусарова тоже насыщен документами. Он начинается пространной выпиской из приказа начальника штаба партизанского движения при Военном совете Карельского фронта, объясняющего стратегические и тактические цели похода партизан по тылам врага; он включает в себя радиогаммы, выписки из дневников, записи рассказов участников событий, обширные цитаты из финских источников и т. д.

Писатель изображает все этапы этого пяти-сотверстного похода, целью которого было отвлечь боевые части противника от Ленинграда, с Ленинградского фронта. Не оставлен без внимания почти ни один из пятидесяти семи дней этой героической и трагической одиссеи, во время которой партизанам пришлось выдержать двадцать шесть боев с превосходящими силами противника — превосходящими подчас до десяти раз, снова и снова прорываться через окружение, погибая от ран и голодного истощения. Да, это действительно роман-хроника, то есть произведение, основанное на хроникально-последовательном изображении событий. И вместе с тем это роман, так как живой движущей силой произведения является интерес к внутреннему миру людей, оказавшихся в этих необыкновенной сложности условиях.

Для Д. Гусарова поэтика документального произведения — это поэтика художественного реалистического произведения, обстоятельства и перипетии которого строго, жестко определены рамками тех событий, которые происходили в действительности. Поэтика реалистического произведения подразумевает прежде всего воссоздание, раскрытие типических и вместе с тем индивидуализированных человеческих характеров. Если их нет — нет и запоминающегося, впечатляющего повествования.

В романе-хронике «За чертой милосердия» изображен целый ряд персонажей, выписанных автором в совокупности и своеобразии их деловых качеств, в диалектике их характеров. Световой луч писательского внимания поочередно — в хорошо продуманной композиционно последовательности — выхватывает то одного, то другого участника похода.

В произведении есть персонаж, выбор которого, представляющийся сначала несколько парадоксальным, является глубоко продуманным и весьма симптоматичным для нашей подлинно демократической литературы. Этот персонаж входит в повествование как бы случайно. Рядовой боец Вася Чуткин, длинный, нескладный, из тех, на кого все шишки валятся, сам умудряется портить впечатление даже от своих удачных действий в разведке, потому что способен спутать свои фантазии с правдой.

Вася мучительно день за днем отстает в сложном походе от всех, «доходит», что называется. Но когда встает вопрос о том, чтобы, списанный с боевого счета, он в ка-

честве сопровождающего вернулся бы с ранеными в тыл, Вася Чуткин протестует и из последних сил, но все же идет вперед с партизанами.

Писатель воссоздает образ человека — внешне простого, скажем, даже чудаковатого, но, как оказывается, не столь уж простого по своему внутреннему складу. После жестокого боя посланный вместе с товарищами за рюкзаками убитых врагов — в поисках столь необходимого для партизан продовольствия, — Чуткин под огнем автоматов возвращается, притаскивая смертельно раненного бойца. Придирчивый командир взвода выслушивает его рассказ.

«— Вот уж воистину говорят, — тяжело вздохнул он, — заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет... А я все ждал, когда же ты, Чуткин, поумнеешь!

— Че я опять не так сделал? Ты скажи!

— Тебя, Чуткин, я ведь за делом послал... Это ты хоть взял ли в толк? Ты хоть видел ли, куда Коверского ранили?

— Че, я слепой, че ли?

— А ты знаешь, что с такой раной человек уже не жилец? Вот так-то... О живых ты и не думал! Тащил себе мертвеца, и наплевать тебе, что без жратвы завтра все живые не подымутся.

— Бросить надо было, че ли?..

Вася никак не хотел соглашаться с Живяковым, было в его рассуждениях что-то такое, что противно было его представлениям о войне, о долге и товариществе, однако найти какой-то довод и возразить он не мог и оттого чувствовал себя все более виноватым. Вылазка за продуктами стала казаться ему позором».

И тем не менее Живяков не мог не оценить надежности и товарищеской верности Чуткина, он умудряется подкармливать его, делится с ним остатками своего скудного пайка. Однажды, когда Вася сменился с дежурства, Живяков предложил ему порыбачить. Чуткин отправился на рыбное озеро километрах в полтора от линии обороны. Он «повернулся к вещмешку, чтобы достать комбриговскую блесну, — и застыл в оцепенении.

В узком просвете между кустами, в каких-нибудь тридцати—сорока метрах от себя, он четко увидел серо-голубую спину поднимающегося по косоугору человека. Он удалялся какими-то странными бесшумными рывками, пригнувшись и поглядывая то вправо, то влево, словно кто-то гнался за ним; потом в проеме зарослей — чуть

дальше и выше по косоугору — появилась еще одна такая же сгорбившаяся фигура... Вася все уже понял, ведь мысль о возможной опасности не оставляла его ни на минуту, он уже догадался, что на высоту наступает целая цепь егерей и видит он лишь нескольких крайних, но верить все равно не хотелось. Машинально Вася залег, притянул винтовку, тихо перевел затвор, а сам все еще думал — неужели же это правда?.. Почему же молчат наши посты? Неужели они заметили финнов и неслышно отошли? Он мог бы еще спастись. Стоило поглубже нырнуть в кусты и переждать — ведь цепь шла наискосок и уже оставила его позади себя».

Ситуация предельно острая, ведь нет человека, который не хотел бы жить. «Если бы он был уверен, что взвод успел отойти, то, наверное, так бы и поступил. Но стоило на мгновение представить себе безмятежно сидящих вокруг комзвода товарищей и разморенных жарой постовых, когда от истощения и усталости хоть подпорки меж веками ставь, — как решение пришло само собой.

Наскоро прицелившись в ближайшего егеря, Вася нажал спуск. Гулкое эхо выстрела укатилось куда-то за гору.

Он успел сделать еще два выстрела, и лишь после этого по верхушкам кустов шарахнули с разных сторон автоматные очереди. Но ни одна пуля не задела его». Длинная очередь с другой стороны озера полоснула его по спине, он упал, так и не услышав, как захотали на высоте партизанские пулеметы.

Самоотверженная смерть Васи Чуткина является нравственным ключом для понимания того главного, что объединяло всех сотен партизан в их тяжелом походе. Его характер и поступки композиционно скрепляют хроникальное повествование; неизбежно состоящее из многочисленных эпизодов. Но не только этот характер. Романическое начало в хронике определяется и сложным взаимоотношением характеров командира отряда Григорьева и комиссара Аристова. Значительность этой коллизии обусловлена тем, что внутренний конфликт между двумя безусловно героическими руководителями вытекает отнюдь не из различия их внутренних качеств, а из тех нравственных положений, которые каждый считает главными для себя. Если Григорьев, кадровый военный, умеет поддерживать железную дисциплину в отряде, умеет вме-

сте с тем быть веселым, человечным, в полном смысле своим среди своих, если его отношение к бойцам опирается прежде всего на доверие к ним, если он умеет брать на себя полную ответственность и принимает решения в соответствии с изменившейся обстановкой, то Аристов характеризуется другими качествами. Он не был раньше кадровым военным. «Как и у всех, кто никогда не служил в армии,— пишет Д. Гусаров,— у Аристова еще с довоенных времен жило представление, что воинская часть — это абсолютно выверенный, четкий механизм, где нет и не должно быть места каким-либо случайностям, сбоям, отклонениям от установленного порядка, где человек должен подчинять так себя долгу, делу, службе, что остальное просто не должно существовать... Коль все в армии заранее определено и строится по четкой системе «приказ — исполнение», то успех дела зависит от командира, от его умения найти самое верное решение».

Обратим внимание на это «остальное просто не должно существовать».

Но это «остальное» — человеческие отношения в условиях дальнего, исключительно опасного похода по тылам противника; индивидуальные человеческие свойства, когда каждый человек провернется на излом, когда от самостоятельности и инициативы одного человека (того же Васи Чуткина) зависит жизнь остальных...

Тот внутренний конфликт, о котором рассказывает Д. Гусаров, уже не впервые привлекает к себе внимание советских писателей: вспомним отношения Мещерякова и Брусенкова в «Соленой Пади» С. Залыгина, вспомним соответствующую сюжетную линию в трилогии К. Симонова. И вот Аристову приходится выводить после героической гибели Григорьева остатки бригады из окружения. Все чаще мы видим, как он терпеливо выслушивает критические суждения боевых товарищей, а в конце концов и сам приходит к тем принципам, которыми когда-то руководствовался Григорьев, ибо за ними не догма, но реальность, не отвлеченные представления о жизни, но сама жизнь в ее главных течениях!

Романное начало, которое делает документальное произведение, посвященное прошлому, актуальным и для современников, присутствует в книге Д. Гусарова в многообразных проявлениях и выказывает себя тем активнее, тем сильнее, что за ним

стоит эффект достоверности. За ним — пролитая кровь, героический подвиг и смерть реальных людей.

Актуальность и даже злободневность практически всех линий произведения доказывает идейно-художественную зрелость писателя. Скажем, разве не впечатляет осознание того, какие бедствия терпели партизаны потому, что в каком-то ничтожном, но необходимом звене произошел сбой, потому что в тылу кто-то халтурно увязал тюки с продуктами, которые надлежало сбросить с самолетов, и поэтому продовольствие от падения разлеталось, как шрапнель, потому что по небрежности каких-то других исполнителей даже такие тюки попадали к партизанам крайне редко?.. Проблема совести, честного отношения к общему делу приобретает в таком повороте жизненно важное значение.

Сила писателя-документалиста в том, что он умеет в полном соответствии со спецификой искусства извлекать из документа его человеческое содержание, его общинтересную проблематику. Там, где писатель ослабляет внимание к этой стороне материала, где начинает самодовлеть событие вне его отношения к людям и их характерам, там изложение начинает пробуксовывать, там роман-хроника превращается в протокол. Мне кажется, что последние главы написаны в известной степени торопливо, в фокусе внимания Д. Гусарова уже не столько люди, сколько те или иные военные операции почти без привязки их к характерам партизан. Это обидно, так как тот подвиг, который партизаны совершают, прорываясь к своим войскам на пределе и за пределом человеческих сил, может быть, самое яркое проявление их воли, мужества, устремлений, но об этом, к сожалению, остается лишь догадываться.

Хороший роман-хроника «За чертой милосердия» видится мне книгой концепционной и представительной не только для творчества Д. Гусарова, но вообще для современного состояния художественной документалистики. Объективные законы искусства обязывают писателя, если он, конечно, хочет воздействовать на читателей с максимальным эффектом, извлекать из материала прежде всего его человеческое содержание. Я позволю себе обратить внимание читателей на интереснейшую, с моей точки зрения, статью С. Н. Семанова «Григорий Мелехов (Опыт биографии героя романа М. Шолохова «Тихий Дон»)», опубликованную в

альманахе «Прометей», том 11. Осуществив кропотливейшее документальное исследование, С. Н. Семанов безупречно доказывает, что в биографии главного героя «Тихого Дона», такой, как она изображена М. Шолоховым, нет ни единой даты, ни единого события, которое не было бы привязано к конкретным фактам истории, устанавливаемым с точностью даже не до месяцев или недель, а дней!

Звучит неожиданно, но опровергнуто после работы С. Н. Семанова быть не может: «Тихий Дон» создан на протоколно точной, исторически достоверной основе. Но разве эта строгая, пунктуально-добросовестная привязка жизни героя к реально-историческим фактам послужила хоть каким-либо препятствием для создания великой эпопеи XX века? Разумеется, нет! Думается даже, что достоверность, из которой писатель сумел извлечь огромный духовно-нравствен-

ный, человеческий эквивалент, придавала дополнительные силы Михаилу Шолохову в его работе над «Тихим Доном».

К. Симонов в письме к автору книги «За чертой милосердия» (позже опубликованном в газете «Ленинская правда») говорит:

«Вы написали книгу суровую и точно соответствующую своему очень обязывающему названию «За чертой милосердия». И нравственная сила людей, о которых написана Ваша книга, именно потому и очевидна, что с достаточной очевидностью и подробностью рассказано о том, в каких жесточайших условиях проявляли эти люди мужество, терпение, стойкость, человеколюбие и каких усилий им все это стоило — и физических, и нравственных».

Справедливые слова!

Юрий АНДРЕЕВ.

Ленинград.



ВЫСОКИЙ КОСТЕР

Людмила Татьяничева. Избранные произведения в двух томах. М. «Художественная литература». 1976. Т. 1, 327 стр., т. 2, 350 стр.

Где-то в глубине Уральских гор жила девочка, с детства впитывая в себя неповторимую красоту родного края. Собственная нелегкая судьба, раннее сиротство не ожесточили. Напротив, росли доверие и благодарность к людям, чьей отзывчивости была обязана очень многим. Закалялся, креп в борьбе характер.

...Так они потом и пойдут рука об руку в ее поэзии — несокрушимая душевная сила и трогательная женская нежность.

В пятнадцать лет, «не думая выйти в поэты», встала девочка за токарный станок. По вечерам жадно «глотала» знания на рабфаке. Училась в Институте цветных металлов, участвовала в строительстве Магнитки... Да ее ли только эта дорога? Ведь то жизнь целого поколения советских людей, шагавших вместе со всей страной маршрутами пятилеток! И печатью этой слитности собственной судьбы Людмилы Татьяничевой с судьбой народа будут отмечены ее произведения.

Уже первые сборники стихов Л. Татьяничевой, вышедшие на Урале в 40—50-е годы, — «Верность», «Родной Урал», «Синегорье», «Малахит» — привлекли внимание читателей искренностью, ясностью взгляда на жизнь.

С годами росло, оттачивалось мастерство поэта. Прибавлялись краски к ее многоцветной поэтической картине мира. «Пора медосбора», «Корабельный бор» и другие сборники последних лет содержали немало образцов светлой, целомудренной, жизнелюбивой лирики.

Теперь вышел двухтомник избранных стихов Людмилы Татьяничевой.

Стихи, охватывающие более чем тридцатилетний период, расположены здесь не только по хронологическому принципу, но и тематически. Деление двухтомника на разделы во многом условно, ибо истинная поэзия всегда шире любой, даже самой точной систематизации. Но тем не менее оно помогло ярче выявить главные направления поэтической мысли, дало возможность проследить творчество поэтессы в движении.

Взгляд Л. Татьяничевой редко останавливается на конкретных бытовых подробностях жизни. О чем бы она ни писала — о любви к родному краю, к родине, о труде, о радости и ответственности творчества, о счастье и тревогах материнства или о родной, столь близкой ей природе, поэтесса стремится заглянуть в глубь явлений, понять их человеческую, философскую суть.

И с годами это стремление все настойчивей, все сильнее. Все объемнее, многомернее поэтическое исследование мира, все смелее и шире обобщения, все щедрее — чувства и краски, все насыщенной, раскованной — строка. На протяжении всего своего творчества Татьяничева неизменно верна короткому лирическому стихотворению, редко выходящему за рамки шестнадцати—двадцати строк. Но эта малая площадь наполняется все большим содержанием, все большим богатством мыслей и чувств, сконцентрированных, сжатых, как пружина, в точных, емких поэтических образах.

Я в один из синих дней
Из загона выпущу коней.
Для отрады,
Не для похвалбы
Выпущу коней своей судьбы.
Выбежит, игрив и легконог,
Золотого детства стригунок.
Я его горбушкой угощу
И на луг зеленый отпущу.
Лягнется,
Внезапный, как стрела,
Конь-огонь,
Не знающий седла.
Серебром уздечек и копыт
Юность моя дробно прозвенит
Положу я сахар на ладонь:
—На, поешь,
Мой норовистый конь! —
Выйдет зрелость —
Конь мой коренной,
Крепкогрудый, масти вороной.
Умница,
Послушный седоку,
Он меня подхватит на скаку,
Дам ему отборного овса
И с надеждой загляну в глаза:
— Конь мой сильный,
Конь мой коренной,
Расставаться не спеши
Со мной! —
У меня есть и четвертый конь.
Он устал от скачек
И погонь.
Чуть бредет,
Недугами томим.
Это — старость,
Конь студеных зим.
Но пока еще не время мне
О последнем
Говорить коне!

В этом стихотворении есть попытка трактовать тему философски.

За лирическими исповедями и раздумьями Татьяничевой неизменно встает суровый рабочий Урал, ее поэтическая родина.

«Каждое стихотворение Татьяничевой, — пишет во вступительной статье к двухтомнику Анатолий Софронов, — словно омыто уральскими бурными реками, расцвечено

яркими северными красками, напоминающими горные самоцветы, — щедрые примеси железа, золота и всяких других полезных ископаемых, которыми так богата уральская земля».

Каменная, трудная земля... Но как седые скалистые хребты берегут внутри сказочную красоту минералов, так богаты человеческим содержанием внешне простые, неброские строки стихов Татьяничевой. Будто видишь встающих за ними сильных, трудолюбивых людей заводского края, скупых на слово, но открытых и добрых душой, с надежными и прочными уральскими характерами.

Татьяничева — подлинно самобытный мастер с выразительной гаммой красок, неповторимым строем чувств, мыслей, характером отношения к жизни, притом строем и характером истинно народными в своей основе.

Вдали от синих гор Урала,
В руках сжимая автомат,
Спокойно смотрит с пьедестала
От солнца бронзовый солдат.
Он дышит вольным ветром жизни,
Над ним не кружит воронье.
Не клялся он в любви к Отчизне —
Он просто умер за нее.

Именно так понимается в народе высокое мужество, не ждущее награды. И Татьяничева поведала о нем столь же неброскими, как оно само, словами, которые, однако, несут в себе заряд истинной любви к родине.

Одна из ее излюбленных мыслей — о «золотом обеспечении» слов, об их соответствии делам, в том числе об обеспеченности слов поэтически:

Стихи о мужестве писать —
Железо молотом ковать...

Стихи о Родине писать —
Ей жизнь по капле отдавать.

Неизменна на протяжении лет любовь поэтессы к родному уральскому краю, в котором, «как солнце в драгоценной грани», для нее вся Русь отражена. В строках о России, о родном Урале достигает Татьяничева особенно высокого накала гражданственности и силы. О большом и сложном — об истоках любви к родине, о путях и достижениях Страны Советов, о братстве народов и многом другом — она говорит подкупающе просто, искренне и задушевно.

Факты собственной биографии превращаются под пером Татьяничейвой в своеобразную лирическую историю времени, народа. И в стихах, посвященных магнитогорскому периоду, — «Огнепоклонник», «Магнитогорские пальмы», «Строителям Магнитостроя» — и в полных драматизма строках о войне поэт рисует зримые картины героического времени и образы тех, кто вынес бремя его на своих плечах.

Лирическая героиня поэзии Татьяничейвой подобна камеломке — хрупкому маленькому цветку-жизнелюбу, который смог «сквозь камень грубый нежным сердцем прорасти».

Одному из разделов «Избранного» в качестве эпиграфа предпосланы строчки Татьяничейвой, выражающие самую суть ее нравственного восприятия мира: «Все лучшее — в душе осталось. И сердце с совестью в ладу...»

Поэтизация моральной чистоты и истинной человечности сквозным мотивом проходит через ее лирику.

Иные стихи прямо так и озаглавлены: «Благородство», «Красота доброты», «Баллада о доброте», «Искренность», «Постоянство», «Гордые»... И самими названиями и всем содержанием они как бы утверждают вечность, незыблемость этих прекрасных, всегда привлекательных человеческих качеств и понятий. Но главным критерием нравственного поэта считала и считает честное отношение человека к своему труду. И душу и истинное творческое горение видит она в работе своих земляков — уральских мастеров: сталеваров, камнерезов, рудокопов, гончаров... И ярко запечатлевает это в стихах. Тема труда получает у нее и обобщенное выражение: «У великой матери — России — руки тоже в садинах труда».

Поэтической манере Татьяничейвой присущ пафос утверждения. Но ее доверительный мягкий голос начинает звучать сурово, когда поэтесса сталкивается в жизни с неприемлемым, недостойным человека: удручающим легкомыслием в отношениях («И ссорятся и мирятся легко»), с неуважением к прошлому родной страны («Диалог»), с душевной пустотой и скудостью («Братство»).

В нравственных критериях поэта — высота наших идеалов, помноженных на многовековой опыт народной души. И в этом смысле характер лирической героини Татьяничейвой — в высшей степени русский народный характер.

При глубокой смысловой, проблемной наполненности в стихах Татьяничейвой нет ни назидательности, ни унылой прямолинейности, ни размашистой категоричности. Она умеет видеть предмет с разных сторон, тонко понимать всю сложность и неоднозначность поступков и душевных движений, что под силу только мудрому, опытному мастеру. Она не боится сомнений, не считает себя застрахованной от ошибок.

Мы учились у сосен крутой прямизне.
Мы дивились упорству горных пород.
И всю жизнь неотступно думалось мне,
Что мой голос, увы, недостаточно

тверд.
Мы боялись дать волю нежным
словам,

Может быть, потому,
Что и век был суров...
От даров нераздаренных
Тяжко рукам.
А душе тяжело
От несказанных слов!

Велика щедрость чувства, обращенного к людям. Душа поэта уподобляется колодезю, который тем чище, чем больше из него берут воды, конечно, если богаты родники, питающие его. Заглохший источник глубинный — самое безотрадное зрелище для поэта.

«Берите же воду, берите, несите, прозрачную, в дом! Веселые ведра, звените в наполненном сердце моем!» — восклицает поэтесса.

Горячая любовь к родной земле живет у Татьяничейвой не только в мужественных и нежных стихах о России, но и в тонких, как бы хрустальных строках, посвященных природе. Все волнует, все находит отзвук в ее душе — и снега, и метели, и ветер, и зной, и просто погожий денек.

Обычно несколько сдержанная в выражении чувств, в лучших своих стихах о природе Татьяничейва как бы выплескивает наружу всю дремлющую до поры до времени ширь и удаль русской души. Ей хочется, как матери, защитить природу — и деревья, и цветы, и все живое — от бездумности, а то и намеренной жестокости иных людей (стихи «Раненый лось», «Копалуха», «Волчонок» и др.), защитить и сохранить ее для потомков во всей красе и трогательности.

Удивительно легко дышится, светло думается в просторном и добром поэтическом мире Татьяничейвой, вобравшем в себя всю широкую и многообразную палитру дум и чувств наших современников.

В стихотворении «Мой возраст» есть такие строки: «Лучей осенних собираю хворост, чтобы высокий распалить костер». С годами этот высокий костер поэзии, что особенно отрадно, не тускнеет, а, напротив, разгорается все жарче. При этом лирика Татьяничей заметно молодеет, как бы набирается новых сил, новых соков родной земли. Не утратив со временем ни удивления

перед миром, где «каждый день жизни впервые», не потеряв ни остроты взгляда, ни святости чувств, поэтесса все пристальнее всматривается в окружающий мир, все глубже ее осмысление действительности, все чеканней и полновесней строка. И все требовательней к себе мастер!

Ираида ВОРОНИНА.



Политика и наука

ОКТЯБРЬ В МОСКВЕ

А. Я. Грунт. Москва 1917-й. Революция и контрреволюция. М. «Наука». 1976. 387 стр.

За одну неделю февраля 1917 года, по образному выражению В. И. Ленина, была опрокинута в канаву истории кровавая телега царского самодержавия. Основной, решающей силой, свершившей это историческое событие, был российский пролетариат, гегемон революции.

«Революцию сделали рабочие и солдаты», — подчеркнул Владимир Ильич в середине марта 1917 года. «Товарищи рабочие! — обратился он к пролетариям России в знаменитых «Письмах из далека». — Вы проявили чудеса пролетарского героизма вчера, свергая царскую монархию. Вам неизбежно придется в более или менее близком будущем... снова проявить чудеса такого же героизма для свержения власти помещиков и капиталистов, ведущих империалистскую войну».

Свергнув царизм, трудящиеся России на исходе того же года сделали новый громадный шаг всемирно-исторического значения — под руководством ленинской партии большевиков они свершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию. О том, как она победила в Москве, «второй» столице России, и повествует в своем исследовании автор рецензируемой книги. У него было немало предшественников, хотя многие московские сюжеты истории Великого Октября и оставались неизученными.

А. Грунт поставил своей задачей проследить период перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую на примере Москвы. Естественно, московские события рассматриваются автором как органическая составная часть всероссийского революционного процесса. Вместе с тем исследователь выявляет все то специ-

фическое, что было присуще именно Москве, характерные особенности в расстановке классовых и политических сил в городе.

Автор рецензируемой монографии опирался прежде всего на ленинские труды. Достаточно сказать, что только за период с 4 марта по 7 ноября 1917 года В. И. Ленин возвращался к вопросу о развитии революции в Москве не менее ста раз более чем в сорока трудах! Монография А. Грунта построена на солидной основе архивного и мемуарного материала, статистики, исторической географии.

А. Грунт детально рассматривает состав московского населения во всех разрезах, привлекая немало статистических данных. Приведем лишь одну важную цифру: фабрично-заводские рабочие Москвы составляли около шести процентов российского промышленного пролетариата. Нам становится ясным ленинское высказывание о том, какое огромное значение имела победа социалистической революции в Москве вслед за Петроградом.

Одна из центральных глав монографии та, в которой прослеживается история формирования органов народной и буржуазной власти в Москве — двоевластия, сложившегося фактически во всей стране. Того самого двоевластия, которое оказало в Москве самое сильное, серьезное влияние на ход развития революции и осложнило превращение Москвы в советскую.

Наряду с буржуазными органами власти с первых же дней Февральской революции в Москве, как и повсюду, возникли, возродились Советы. Автор приводит замечательные, исполненные великого исторического смысла ленинские слова: «... в феврале

1917 года массы создали Советы, раньше даже, чем какая бы то ни было партия успела провозгласить этот лозунг. Самое глубокое народное творчество, прошедшее через горький опыт 1905 года, умудренное им,— вот кто создал эту форму пролетарской власти». 1 марта 1917 года в полдень в здании городской думы собрались представители 52 московских предприятий и учреждений. Это было первое организационное заседание Московского Совета рабочих депутатов, в состав которого вошло около трехсот депутатов. А. Грунт подробно рассматривает состав Совета, его первые шаги, затем переходит к солдатскому Совету и Советам в различных районах города.

В главах «На мирном этапе революции», «Контрреволюция на марше» и «Кризис на зрел» автор впервые в нашей литературе столь детально и скрупулезно анализирует события и факты московской истории, обусловившие заметное своеобразие процесса установления советской власти в Москве после победы революции в Петрограде. Здесь рассматриваются и обе муниципальные кампании (выборы в органы местного самоуправления), и обстановка в Москве в связи с Государственным совещанием, и большевизация Московского Совета, и разгром корниловщины.

В результате второй муниципальной кампании мелкобуржуазные партии потерпели сокрушительное поражение. Если в июне эсеро-меньшевистский блок, указывает автор, получил вотум доверия в 70 процентов голосов, то в сентябре он едва собрал чуть больше 18 процентов голосов всех избирателей. Таковы были результаты «исторической проверки», которую устроили массы идеологам из соглашательского лагеря, — вывод, к которому приходит автор рецензируемой книги.

Этот сдвиг настолько вывел Москву вперед, что она могла стать не просто участником, но и застрельщиком революции. 1 октября 1917 года В. И. Ленин писал: «Очень может быть, что именно теперь можно взять власть без восстания: например, если бы Московский Совет сразу тотчас взял власть и объявил себя (вместе с Питерским Советом) правительством...

Необязательно «начать» с Питера. Если Москва «начнет» бескровно, ее поддержат наверняка: 1) армия на фронте сочувствием, 2) крестьяне везде, 3) флот и финские войска *идут на Питер*».

Автор анализирует это ленинское поло-

жение. Он справедливо указывает, что Владимир Ильич ни разу не ставил вопрос о восстании в Москве как об отдельном, изолированном акте. Сама мысль «начать» в Москве представлялась В. И. Ленину как один из возможных способов поразить врага неожиданностью. Замысел состоял в том, чтобы нанести удар врагу там, где тот меньше всего ждет, так как главное его внимание приковано к Петрограду. А. Грунт указывает, что этот вывод В. И. Ленин сделал, опираясь на три фундаментальных факта: августовскую стачку, большевизацию Московского Совета рабочих депутатов и итоги сентябрьских выборов в районные думы.

Однако, как известно, события в Москве развернулись в октябре—ноябре 1917 года весьма своеобразно. Еще в начале 20-х годов историк Ф. Анулов, которого цитирует А. Грунт, усмотрел один из моментов этого своеобразия в том, что слой московской торгово-промышленной буржуазии был, несомненно, более приспособлен к борьбе, чем буржуазные круги Питера. Московский Октябрь и питерский Октябрь, писал в свое время тот же историк,— поучительная антитеза, которая подчеркивает причины успешности одного и тактические недочеты другого восстания. Решающую роль в восстании играют активность, решительность и наступательность. Присоединяясь к подобной оценке, А. Грунт подчеркивает, что эта «антитеза» не искусственное построение, а историческая реальность. «Эта антитеза проявилась в том, что в Петрограде восстание победило быстро и почти бескровно, а в Москве борьба приняла затяжной и кровавый характер, в том, что руководители восстания в Петрограде действовали без колебаний, во всяком случае после прибытия В. И. Ленина в Смольный, а в Москве колеблющаяся позиция руководства наложила столь заметный отпечаток на ход событий, что на какой-то момент поставила под сомнение успех всего дела, наконец в том, что силы контрреволюции в Москве проявили большую стойкость и упорство, чем в столице...» — к такому важному, принципиальному выводу приходит А. Грунт.

25 октября в 11 часов 45 минут в Московском Совете приняли телефонограмму из Петрограда, переданную В. П. Ногиным и В. П. Милютиным. В ней сообщалось о том, что революция в столице побеждает быстро и бескровно, что открывается II съезд Со-

ветов. «Наступил момент,— пишет автор рецензируемой книги,— которого ждали в Москве и когда нужно было принимать ответственные решения».

Заключительная, шестая глава «Победа Советской власти в Москве» и повествует о том, как была достигнута победа социалистической революции в Москве, какие нелегкие перипетии выпали на долю московского Октября, как в конце концов воля революционных рабочих Москвы, их самоотверженность и неукротимое движение вперед взяли верх над контрреволюцией. Автор подробно, шаг за шагом, час за часом, прослеживает события в Москве от 25 октября до 2 ноября 1917 года. К главе приложена и карта района боевых действий в Москве в указанный период.

А. Грунт опирается в своем анализе происходившей борьбы между силами революции и контрреволюции на широкий круг исторических источников. Он не скрывает противоречий, встречающихся в литературе, дает им оценку, высказывает собственное мнение.

Другим важным отличительным качеством монографии является ее историзм. Это чувство весьма необходимо историку. Как оценить с «исторической вышки» шести десятилетия события в Москве в октябре—ноябре 1917 года? Проще всего было бы судить исходя из опыта истории, с позиций сегодняшнего дня. Но историк-марксист, располагая всей суммой исторических источников, так поступить не может. Он должен глубоко проникнуть в обстановку изучаемого периода, его атмосферу, понять, почему тот или иной деятель в данную минуту оказался нерешительным, а через час действовал смело и активно. История — отнюдь не опрокинутое в прошлое сегодня. У истории свои объективные закономерности, своя правда, свой реализм. Факты, писал В. И. Ленин, если они верны и точны, без-

условно доказательная вещь. С этих верных принципиальных позиций и написал свою книгу А. Грунт.

Монография густо населена людьми, действующими лицами описываемых событий. Перед читателем проходит галерея большевиков-ленинцев, таких, как В. П. Ногин, П. Г. Смидович, Г. А. Усиевич, Т. Ф. Лядвинская, М. Н. Покровский и другие. Мы узнаем о подвиге солдат-двинцев и их вожаке Е. Н. Сапунове, отважной Люстик Люсиновой, П. Г. Добрынине и многих других героях московского восстания. Автор точно обрисовал вражеский лагерь, в том числе молодого, равшегоса в наполеончики, не останавливавшегося перед кровавой расправой над солдатами в Кремле подполковника Рябцева, эсера, начальника штаба округа.

Монография А. Грунта — значительный вклад в историографию московского Октября. Автор много лет занимается темой, хорошо знает ее. Но, как это нередко бывает, человек, увлеченный проблемой, иногда меньше, чем следовало бы, обращает внимание на окружающие сюжеты. Так получилось и в данном случае. На наш взгляд, хотелось бы видеть более широкую картину триумфального шествия советской власти в стране, о котором автор, разумеется, упоминает. Во многих других городах революция побеждала быстро и решительно, подчас, как в Иваново-Вознесенске, бескровно. И Москва не была одинокой, ей пришли на помощь рабочие центра России.

Все это, разумеется, ни в коей мере не снижает научной ценности книги А. Грунта. Она является итогом неустанного труда историка, давно и плодотворно разрабатывающего свою тему. Усердие и высокая квалификация автора в таких случаях всегда приносят успех.

Ю. ШАРАПОВ,

кандидат исторических наук.



ПЛАНЕТА У НАС ОДНА...

Земля людей. М. «Знание». 1976. 223 стр.

Человек и природа. Вып. 1—12. М. «Знание». 1976.

Поистине удивительной бывает судьба некоторых терминов. Когда выдающийся немецкий биолог Эрнст Геккель, на работы которого ссылается Ф. Энгельс в «Диалектике природы», около ста лет назад ввел в научный оборот слово «экология», едва ли он мог предположить, что

его детищу будет уготована такая популярность в последней трети двадцатого столетия. Возникнув в сугубо специальной области научного знания для обозначения взаимоотношений животного и растительного мира с окружающей средой, экология неожиданно перешагнула тесные «цехо-

вые» границы, чтобы привлечь внимание Человека к неблагоприятию в его Доме.

«Экологический взрыв», «энергетический кризис», «оскальпированная земля»... Словосочетания одно страшнее другого постепенно переключались со страниц специальных изданий на газетные полосы, были подхвачены средствами массовой информации с единственной целью — сосредоточить общественное внимание на том кризисном явлении, которое возникло из не всегда правильно регулируемых отношений человека с окружающей средой. Из того избыточного нажима на природу, особенно в развитых капиталистических странах, который стал возможен благодаря мощному всплеску человеческого разума.

Все наше господство над природой, предостерегает Ф. Энгельс, состоит в отличие от других существ в умении познавать ее законы и правильно их применять. Это обстоятельство в контексте разговора об экологических последствиях НТР весьма существенно. Ведь еще совсем недавно наша самонадеянность в отношении с окружающей средой оправдывалась известным призывом не ждать милости от природы, получившим, увы, слишком расширительное толкование¹.

Здесь мы обнажаем важную грань рассматриваемой проблемы. Сегодня обстоятельно исследуются медико-биологические, технические, географические, социальные, правовые аспекты взаимосвязи человека со средой обитания. Хотя и не столь интенсивно, но все же изучается градостроительный срез проблемы — в конечном счете качество среды в значительной мере зависит от реализуемых в городах планировочных решений.

В этом убывающем ряду менее всего разработана педагогическая, воспитательная сторона. Наряду с правовым регулированием непростой процесс гармонизации отношений человека и природы сегодня вырастает в крайне актуальную задачу воспитания стройной системы взглядов на эту проблему, если хотите, определенной модификации образа мышления². В решении же этой задачи, естественно, не по-

следнюю роль призваны сыграть литература и печать.

С этих позиций достойна, на мой взгляд, всяческой поддержки та большая работа, которую ведет издательство «Знание» по пропаганде столь необходимой в создавшихся условиях экологической информации. Четкую природоохранную ориентированность обнаруживают все международные ежегодники, которые выпускает издательство. Эти проблемы занимают должное место в брошюрах естественнонаучного, технического и сельскохозяйственного циклов. Однако наиболее концентрированно вопросы здоровой биосферы разрабатываются в продолжающемся цикле «Народный университет», на его факультетах «Человек и природа» и естественнонаучном.

Давайте же попытаемся пройти ускоренный курс этого университета — хотя бы бегло обозреть «продукцию» двух его факультетов за последний год. Впрочем, введем еще одно дополнительное ограничение: естественнонаучный факультет в нашем обзоре будет представлен всего одной работой — книгой для чтения «Земля людей». Ее выбор обусловлен тем обстоятельством, что здесь под одеждой обложкой конспективно изложены основные частности, которые в своей совокупности и составляют сложную проблему охраны среды. Иными словами, читателю как бы предлагают небольшое «зведение в специальность»³. Из этих соображений и наш обзор целесообразно начать именно с этой книги.

О чем она? Ну, разумеется, о Земле и человеке на ней — тема заявлена самим названием. Но и о науке, которая добра к человеку, но подчас поворачивается своей «злой» стороной к природе... О здоровой среде и о том, что делает ее таковой. О ресурсах нашей небольшой планеты и о прогнозах на будущую численность ее обитателей. О том, как соотносятся технология и природа, и об экономике природопользования... Едва ли, впрочем, имеет смысл такое перечисление тематики — ее многообразие просто не позволяет сделать это в рамках рецензии. Высокий уровень материалов, образующих книгу, зависит от состава рассказчиков — в основном крупные ученые, известные жур-

¹ См. М. Руткевич, С. Шварц, «Философские проблемы управления биосферой» («Вопросы философии», 1971, № 10).

² «Нам, как воздух, нужна сейчас «биосферная революция в умах», — говорит герой книги М. Белавина и В. Доронина «Земная чаша» профессор Башкиров.

³ В этом году издательство намерено выпустить маленькую энциклопедию — словарь по биосфере «Азбука природы».

налисты. (Забегая вперед скажем, что авторский вопрос столь же удачно решается и в выпусках факультета «Человек и природа».)

И хотя рецензируемый сборник порой избыточен мрачноватой экологической информацией, в основе своей он оптимистичен. Этот оптимизм продиктован верой авторов в разумное начало человека и в возможности науки. Которая, как сказал академик Г. Франк, внесла свою невольную лепту в нарушение природного равновесия и которой предстоит в ближайшие годы найти способы заживления наносимых ран. Такова в конечном счете диалектика развития.

Как всегда, интересен рассказ известного демографа профессора Б. Урланиса о соотношении ресурсов планеты с ростом численности ее населения. Демографический «взрыв», которым ознаменовано развитие нашего общего дома в последние десятилетия, обострил отношения в этой системе, заставив ученых серьезно задуматься над возможностями Земли прокормить постоянно растущее число ее обитателей. Не случайно ныне столь популярным стало демографическое прогнозирование.

Авторский материал в книге перемежается небольшими редакционными «информашками», объединенными все той же природоохранной направленностью. И еще. Текст удачно дополняют рисунки, многие из которых не могут не вызвать доброй улыбки.

В завершение нельзя не посоветовать на то, что материал в книге плохо систематизирован. Ощущается также отсутствие оглавления, которое облегчило бы пользование сборником.

«Новое ежемесячное издание «Человек и природа», — читаем мы в аннотации издательства, — призвано дать широкое многоплановое освещение комплекса современных проблем взаимодействия человека и окружающей среды...» Посмотрим, насколько успешно реализована эта программа в выпусках 1976 года, предварительно согласившись с тем, что ее актуальность несомненна.

Два слова о структуре ежемесячников — небольших книжечек карманного формата с голубем Пикассо на обложке. Основу каждого из них составляет одна большая работа по какому-то частному вопросу из заявленной названием выпуска проблемы.

Ее предваряет редакционный комментарий — он вводит в тему. Выпуски дополняют постоянные рубрики «Проблема. Проект. Опыт», «Международное сотрудничество» и др. Хорошо вписываются в архитектуру издания стихи о природе, которыми завершается каждый сборник. Не забудем при этом, что ежемесячник рассчитан на массового читателя. Эта его специфика ставит перед авторами дополнительные трудности: рассказ о сложных материях необходимо вести доступным языком.

Видимо, не должен вызывать удивления тот факт, что примерно половина работ имеет природоведческую направленность и написана биологами. Среди них — известные популяризаторы. Назовем, в частности, имена И. Акимущкина, перу которого принадлежит более десятка книг, в том числе повсеместно пользующийся успехом многотомник «Мир животных», и В. Дежкина, автора нескольких изданий.

Диапазон другой половины выпусков довольно широк — в них предпринята попытка предельно сжато изложить вопросы, которые по праву можно отнести к ключевым в понимании сущности сложившегося кризисного состояния. И здесь в первую очередь следует назвать работу члена-корреспондента АН СССР, лауреата Международной премии ЮНЕСКО В. Ковды «Великий круговорот», в которой вскрыты глубинные механизмы миграции и преобразования вещества и энергии биосферы.

Исследования так называемых биогеохимических циклов важнейших элементов и соединений (такой подход к изучению биосферы был впервые использован академиком В. Вернадским) позволяют выявить природу многих катаклизмов. Или, если воспользоваться медицинской терминологией, проследить за состоянием биосферы в норме и патологии.

«В ходе истории современной цивилизации и особенно в минувшие 50—100 лет многосторонняя хозяйственная деятельность человека возвысила роль антропогенного фактора до уровня биогеохимических воздействий, а в некоторых звеньях, причем не только локально или регионально, но и глобально приобрела главное значение, — пишет ученый. — Поэтому теперь естественно говорить и об антропогенных факторах нарушения и изменения прежде нормальных биогеохимических циклов».

По критерию такой цикличности в работе оценивается взаимодействие триады компонентов жизнеобеспечения — почвы, воздуха и воды. Обстоятельно исследуются важнейшие химические элементы углерод и кислород, их роль в биосфере, круговорот азота и его значение в жизни планеты, пагубное влияние избыточных объемов органических веществ в почве на Великий Круговорот и многое другое. Знание рассмотренных в работе закономерностей и дает возможность, по мнению В. Ковды, научно планировать хозяйственную деятельность человека, оптимизировать природопользование.

В условиях ограниченности ресурсов особый смысл приобретает рационализация природопользования, действенный контроль за оптимальным использованием ресурсов, эффективное управление этим процессом. Иного пути здесь нет, если исходить из совершенно реалистической мысли, что повернуть развитие вспять уже невозможно. Контроль же за использованием ресурсов, кроме соответствующего правового регулирования (в последнее время у нас приняты законы о земле, о недрах и др.), может быть обеспечен знаниями, информированностью, выступающими в этом случае своеобразной «охранной грамотой».

Охранная грамота... Эта метафора дала название выпуску ежемесячника, где центральное место принадлежит беседе журналиста с рядом ученых, излагающих свои взгляды на рассматриваемую проблему. В связи со сказанным выше читателя должно заинтересовать мнение академика Н. Мельникова, возглавляющего комиссию по изучению производительных сил и природных ресурсов при Президиуме АН СССР.

В чередѣ материалов, опубликованных в прошлом году, обращает на себя внимание работа И. Лаптева «Экология, политика, идеология». Мировоззренческий «срез» проблемы взаимодействия человека и природы уже не первый год находится в сфере

научных интересов философа и писателя И. Лаптева. В рецензируемой очерке сопоставляются две идеологии, два противоположных подхода к оценке кризисного состояния, которое переживает сейчас мир. Автор критикует модели развития общества, в основе которых лежит ставшая популярной в последнее время мысль о необходимости «нажать на тормоза».

Среди других материалов назовем очерк журналиста Г. Остроумова о проблемах использования ресурсов мирового океана («Аква инкогнита»); исследование геолога и писателя Р. Баландина о минеральных ресурсах громадного района, расположенного вдоль трассы Байкало-Амурской магистрали («БАМ. Аспект геологический»); работу О. Барояна и А. Лепихова о соотношении среды обитания и здоровья человека («Зачем ее беречь»).

В этом небольшом разборе мы коснулись только стержневых материалов, задающих направление каждого выпуска. Уже простое перечисление их тематики позволяет, на мой взгляд, утверждать, что издательство достаточно аккуратно оплачивает векселя, выдаваемые подписчикам.

Так ли безукоризненны эти несомненно интересные издания? Думается, что кое в чем все же можно упрекнуть составителей и редактора. Отдельные выпуски грешат повторами, как это случилось, к примеру, с критикой «пределов роста». Может быть, не всегда в полном объеме раскрывается существо исследуемой проблемы. И уж если помнить о педагогической сверхзадаче серии, нелишне было бы сделать язык некоторых выпусков более популярным или, по крайней мере, снабдить каждый из них небольшим словариком.

Сказанное, разумеется, не меняет существа общей оценки серии, которая даже с учетом перечисленных издержек роста остается высокой.

И. ДРЕЙЦЕР.

Кемерово.



КОСМОС, ОБЩЕСТВО, МЫСЛЬ

А. Д. Урсул. Человечество, Земля, Вселенная. Философские проблемы космонавтики. М. «Мысль». 1977. 264 стр.

В канун шестидесятилетия Октября мы отмечаем двадцатилетие прорыва человека в космос. Это имеет не только глубокий символический, но и громадный исто-

рический смысл. Дню 4 октября 1957 года суждено было стать знаменательной вехой в истории нашей цивилизации. До этого дня, до мига выхода на орбиту первого в мире

искусственного спутника Земли, запущенного в Советском Союзе, человечество жило в одной эре — земной (В. Брюсов: «Мы были узники на шаре скромном...»). С этого мига — в другой. Новая эра получила название космической. Получила авансом — первый спутник стал лишь первым научно-техническим экспериментом такого рода, но не было сомнений, что с ним человечество обрело принципиально новые возможности для своего развития.

Факт запуска первого спутника сразу же приобрел всемирно-историческое значение. Но то, что событие это состоялось в нашей стране, придало ему особо мощное общественное звучание. Потрясение, которое мир испытал в тот день, можно было бы сравнить разве что с резонансом на разгром фашистских армий под Сталинградом во второй мировой войне. Значение этих событий далеко выходило за рамки их непосредственного содержания, хотя в обоих случаях само это содержание — военное ли, научно-техническое ли — было этапным. Главная же суть их заключалась в том, что, имея своей точкой отсчета социалистическую революцию 1917 года в России, они убедительно продемонстрировали всему миру великую прогрессивную силу нового общества, безграничные творческие возможности нашего народа.

Идея космического полета всегда была созвучна самым широким представлениям об общественном прогрессе. Наверное, поэтому она зародилась в сознании человека уже на заре развития цивилизации. Сначала идея эта жила в древних легендах, мифах, эпосе. Затем, естественно, перекочевала в литературу. Художественное развитие ее шло вместе с эволюцией научных представлений о мире, причем первое нередко обгоняло второе. В античной литературе, например в произведениях Лукиана, идея космического полета служила целям критики действительности с социальных и мировоззренческих позиций. В эпоху Возрождения возникли социально-позитивные мотивы в основном утопического характера. Со второй половины XVIII века под влиянием социальных революций и стремительного взлета науки она постепенно вторгается в сферу философско-теоретическую.

С XIX века в развитии идеи космического полета активно участвует русская философская мысль. Одним из первых здесь выступил писатель и философ В. Ф. Одоев-

ский, пришедший (в ответ на теорию Мальтуса) к выводу о возможности разрешения «проблемы народонаселения и проблемы сырьевых ресурсов путем расселения человечества в космосе. Хорошо известен философский труд драматурга А. В. Сухова-Кобылина «Учение Всемира» (1890), в котором говорится о трех этапах развития человечества: земном, солнечном и звездном. Н. Ф. Федоров, по-видимому, впервые высказал мысль о «великой миссии» человечества — активном преобразовании космоса (В. Брюсов: «Мы должны нести другим планетам благовестие маленькой Земли»). Затем появилась «космическая философия» Циолковского...

Наше вступление в разговор о книге А. Урсула несколько затянулось, оправданием чему, может быть, послужат не только названные великие даты, но и то, что все сказанное имеет самое непосредственное к ней отношение. «Человечество, Земля, Вселенная»... Ставшая уже штампом в различных своих вариациях, эта триада, на наш взгляд, неточно соответствует содержанию книги (почему и понадобился подзаголовок), в которой основное внимание уделяется проблеме «космонавтика и общество», философско-методологическим вопросам освоения космического пространства. Тема эта носит мировоззренческий характер, поэтому всегда актуальна. Не секрет, что это один из весьма сложных и узловых вопросов в идеологическом противоборстве с буржуазными философами. Не уступить здесь наших позиций, позиций марксистско-ленинской диалектики, — важная задача, с решением которой, забегая вперед отметим, А. Урсул справился вполне успешно.

Сейчас, по всей вероятности, можно уже говорить о том, что сложился вполне определенный читатель, которого волнуют вопросы, связанные с научно-техническим прогрессом, его перспективами, его воздействием на человека, общество, природу. Разумеется, воспринимать собственно достижения космонавтики, тем более ее рекорды, то есть, по существу, ее внешние, чисто технологические результаты, несравненно проще, чем проникнуться ее внутренней проблематикой, основными теоретическими и конструкторскими задачами, решение которых определяет успех того или иного космического полета. Не менее трудно вникнуть в социально-философские аспекты развития космонавтики.

Поэтому сказать, что книга А. Урсула читается легко, было бы некоторым преувеличением. Тем не менее усилия читателя в данном случае будут вознаграждены — мы имеем дело с серьезной монографией, в основе которой многолетние исследования самого автора и анализ наиболее интересных результатов, полученных другими отечественными и зарубежными учеными.

Следует также заметить, что за рубежом «философско-космические» (если можно так выразиться) исследования носят несистематический, почти случайный характер, и значительной заслугой советской науки является то, что у нас в этом направлении в последние годы работает большая группа ученых в разных городах; надо сказать и то, что эти ученые в отличие от зарубежных трудятся не изолированно друг от друга, а более того — ежегодно встречаются в рамках философской секции Чтений, посвященных изучению и развитию идей К. Э. Циолковского, в Калуге.

Философско-методологический анализ космической деятельности человечества важен не только для самой философии, которая, несомненно, обогащается, «наполняясь космическими знаниями», но и для практиков космонавтики. Недаром со своими соображениями по социальным аспектам космонавтики выступали или выступают такие выдающиеся ученые, как С. П. Королев, В. П. Глушко, М. К. Тихонравов, Б. В. Раушенбах, космонавты К. П. Феоктистов, В. И. Севастьянов и др. Невозможно, очевидно, прокладывать новые пути в науке и технике, не уясняя для себя время от времени их роль в развитии общества, не думая о возможных последствиях практического использования их достижений.

С развитием космонавтики возникает необходимость в постоянном углублении ответов на такие ставшие вдруг «вечными» вопросы: закономерны ли и своевременны ли нынешние усилия в области космонавтики? каков исторический смысл текущего этапа ее развития? в чем состоит воздействие космонавтики на человека и общество? каково ее влияние на природу Земли и природу космоса? ждет ли человечество «космическое будущее» или космонавтика всегда будет носить чисто «земной» характер? И многие другие проблемы, разобраться в которых без привлечения философских, диалектических знаний невозможно.

Поэтому, как отмечает автор, с начала 70-х годов началось «выделение предмета философских вопросов освоения космоса, исходя из природы философских знаний». Хотя, разумеется, сама по себе философия без участия точных наук разрешить их едва ли в состоянии.

А. Урсул предлагает свою классификацию философских аспектов космонавтики. К первой группе их относятся объективно-диалектические аспекты, анализ которых состоит «в выявлении наиболее общих законов взаимоотношения общества и космоса». Подчеркивая важность изучения этих аспектов для выяснения тех общих свойств материи, которые специфически связаны с выходом человечества в космос, автор предупреждает, что акцент только на эти аспекты неизбежно привел бы к известной односторонности и поверхностности — в ущерб конкретной истине. Поэтому в качестве второго направления выделяются социологические аспекты, под которыми понимается объяснение и прогноз космической деятельности общества. В связи с этим рассматриваются перспективы развития человечества во времени и пространстве, общего социального прогресса и общественного сознания. И, наконец, третья группа вопросов — теоретико-познавательная, то есть, по существу, результаты освоения космоса как объекта познания. При анализе последнего аспекта А. Урсул выдвигает любопытную гипотезу, согласно которой в будущем в качестве субъекта познания будет выступать не просто человеческое общество, а вся общественная форма движения материи во Вселенной. Такого рода гипотезы, построенные на прочной диалектической основе, не могут не будоражить воображение.

Впрочем, такой смелый взгляд в будущее — в традициях передовой философии и буквально переполняет «космическую философию» Циолковского. Как известно, основоположника теоретической космонавтики особенно отличает богатая творческая фантазия — брался ли он за сугубо теоретический труд по механике движения ракеты, баллистическое производство или философскую разработку. А. Урсул основательно уделяет в своей книге немало внимания характеристике космической направленности мышления Циолковского. Но, к сожалению, подробный анализ социально-философских идей пионера космонавтики не попал в книгу. И этим, как нам

кажется, автор заметно обеднил ее (в предыдущей монографии на ту же тему «Освоение космоса», вышедшей ровно десять лет назад, такой анализ был помещен в приложении).

Тем более что за последние годы в изучении философского наследия Циолковского получено много заслуживающих широкого интереса результатов. Известное энциклопедическое определение его «космической философии» — «вариант натурфилософии, своеобразный сплав естественнонаучного эволюционизма, буддистских идей и элементов теософии» — ныне подверглось значительному уточнению. Суть философского открытия Циолковского — неизбежность перехода от геоцентризма к антропокосмизму — представляет собой, по словам А. Урсула, «материалистическую идею необходимости и важности активного отношения человечества к космосу, его освоения не в каких-то мистических целях, а для блага людей». (Вспомним — А. М. Горький: «Обязательно — в Калугу... В этом городе некто Циолковский открыл «Причину Космоса». Вот вам!») Не затушевывая анализа всего случайного, противоречивого в размышлениях Циолковского (и объясняя их природу), А. Урсул акцентирует внимание на гуманизме идеи антропокосмизма, логическим выводом из которой была возможность бесконечного развития человечества. При этом, как известно, ученый исходил (и в этом он был тогда далеко не одинок) из реальности существования инопланетной жизни и возможности контактов с внеземными цивилизациями. Все основные элементы «космической философии» были исполнены величественного гуманистического звучания. «Космическая философия» и «космическая этика» (во Вселенной господствует разум и все разумные силы направлены на искоренение в космосе зла — вот основной ее тезис), построенные Циолковским, — интереснейший этап истории нашей философии, без которого было бы трудно представить себе сегодняшние успехи в философском исследовании проблем космонавтики.

Что же достигнуто в этой области сегодня? В книге А. Урсула аналитически развернута грандиозная картина процесса «космизации» человеческой деятельности — начавшегося с первых дней космической эры процесса наполнения «космическим содержанием» всех областей познавательной, технико-производственной и духовной дея-

тельности человека. Можно сомневаться в точности и благозвучности этого термина (как и вообще в справедливости увлечения суффиксом «зация»: «химизация», «биологизация», «кибернетизация»), но, как известно, привычка к новому термину вопрос лишь времени. Тем более что объективно воздействие развивающейся космонавтики, ее практических результатов на все стороны нашей жизни ощущается постоянно. С существованием космических средств дальней связи и метеорологических спутников мы уже просто сжились. Все решительнее космонавтика вторгается и в другие сферы нашего быта, все более властвует над нашим мироощущением. Не замечать этот процесс и тем более отмахнуться от него невозможно. Едва ли кто может оспорить, что волнующая проблема сохранения окружающей среды и разумного использования земных ресурсов, за которую человечество взялось сейчас столь решительно, не может быть разрешена без широкого использования космических средств.

Отдавая дань благотворному, стимулирующему влиянию космонавтики на науку, технику, общественные отношения, нельзя, конечно, забывать и о некоторых ее теневых сторонах, обнаруживающихся на современном этапе развития, — влиянии на окружающую среду, расходовании природных ресурсов, значительных материальных затратах. Все это, разумеется, себя оправдывает или оправдает в будущем, однако никак не может не учитываться в теоретическом анализе процесса «космизации».

В чем же главное предназначение космонавтики, если говорить об обозримой перспективе ее развития? Нам кажется, в ответе на этот вопрос А. Урсул придерживается оптимальной точки зрения: промышленное использование околоземного космоса. Размещение на орбитах всех энергоемких и вредных производств, энергетической базы, а также использование планет и межпланетного пространства в качестве источников сырья — вот космические цели будущего. Заметим, что такое отношение к космосу — идея, переживающая уже не первый виток своего развития (вспомним Одоевского, потом Циолковского и других пионеров космонавтики, об этом же писал в 1962 году С. П. Королев), и, может быть, уже совсем недалеко до начала проектных работ в этом направлении.

И все же, читая книгу, постоянно ловишь себя на том, что остается неясным. пожа-

луй, один из главных вопросов: что такое космическая деятельность человека в широком смысле слова? Ограничивается ли она лишь практически полезной для земных дел сферой или последнюю нужно рассматривать как часть, как этап будущей деятельности человечества по «преобразованию космоса», по Циолковскому? Ответ на этот вопрос должен быть более отчетливым, иначе современная философия космонавтики рискует остаться всего лишь разделом долгосрочного технического прогнозирования. К сожалению, в книге нам не удалось обнаружить разграничения сфер космической деятельности, скажем, на околоземную, межпланетную и за пределами солнечной системы (А. Блок: «Где кажется Земля звездой, Землею кажется звезда»). Это необходимо тем более после введения автором понятия «космопрактика», которая, по его мысли, возникнет вслед за процессом «космизации». Но до этого этапа еще далеко, а пока автор (так и напрашивается: спускается с облаков на землю!) увлеченно анализирует и интересно классифицирует типологию космизации человеческой деятельности.

Буквально к каждой из современных методологических проблем можно, оказывается, подойти с «космической» точки зрения. Пробуется на ее оселок и проблема НТР, причем выясняется, что космонавтика не просто один из равноправных признаков НТР, а «выступает в качестве одной из сторон сущности НТР» и в то же время в ней, космонавтике, как в одном из направлений НТР «проявляются все остальные стороны сущности этого многопланового процесса».

Подробному исследованию подвергается в книге проблема окружающей среды. Главным образом под углом зрения критики в адрес буржуазных концепций — как «алармистских», так и упрощенно опти-

мистических. Вплотную к первой примыкает распространенная на Западе точка зрения «антикосмических пессимистов» (выход в космос — «трагическая ошибка здравого смысла», по словам М. Борна), а ко второй — «астронавтический оптимизм», то есть абсолютизация преимуществ, создаваемых космонавтикой. Последняя тенденция, впрочем, нередко проявляет себя и в нашей литературе.

Одним из краеугольных вопросов философской теории космонавтики является, на наш взгляд, отношение к идее неизбежности в будущем переселения человечества в космическое пространство из-за грозящей перенаселенности Земли и истощения ее энергетических и материальных ресурсов, а также возможности земных катаклизмов. Идея эта, выдвинутая еще Циолковским, который опирался на научные воззрения начала века, находит сторонников и в наше время. Не вдаваясь в подробности спора с этой концепцией — существо ее освещалось в «Литературной газете», — хотелось бы обратить внимание на четкость и самостоятельность аргументов, изложенных в книге А. Урсула. Отвергая идею переселения в космос как выход из всех земных проблем, автор считает, что космос будет заселяться людьми в связи с развитием там материального производства. Хотелось бы и здесь поразмышлять: а не будет ли это космическое производство полностью автоматизированным?.. Но сделать это лучше, пожалуй, за пределами данной рецензии.

Философские вопросы космонавтики — сложная мировоззренческая проблема, которая, несмотря на богатую предысторию, по существу только начинает определяться и крепнуть. Здесь требуется еще большая работа исследовательской мысли.

Иг. БУБНОВ,

кондигат технических наук.



ИЗ РЕДАКЦИИ ОНН(О)И П(О)Ч(Т)Ь

В ТЕ ЗОРЕВЫЕ ГОДЫ

Оглядываясь в эти праздничные дни шестидесятилетия Октября на уже отдалившуюся пору самой первой молодости советской культуры, с особой благодарностью думаешь о художниках, трудами которых закладывались ее основы.

В ряду художников-первоначинателей был и прозаик Павел Георгиевич Низовой (1877—1940), активно работавший в 20—30-е годы, автор многих повестей, в частности «Черноземье», «Пути моего духа», романов «Океан», «Сталь», «Недра» (последний роман и ряд других произведений писателя впервые увидели свет на страницах «Нового мира»).

В этой небольшой статье я поделюсь своими воспоминаниями о П. Г. Низовом.

1

...По земле шел апрель. С каждым днем теплее становились лучи солнца, глубже и глубже пронизывали они еще не растаявшие под сорами, в мелких ельниках, овражках сырые, зернистые пласты снега: Грачи строили новые и ремонтировали старые гнезда, неумолчно и громко кричали, будто что-то рассказывали друг другу или громкогласно радовались возвращению на родину. Прилетели жаворонки, чибисы, чирки, утки. Все было так, как бывает на земле в апрельские дни. Но 11 апреля 1925 года стало для меня необычным. Накануне я получил от моего старшего друга Александра Степановича Яковлева телеграмму, в которой он сообщал, что придет ко мне на охоту. Я очень любил Яковлева, талантливого писателя, одного из зачинателей советской литературы: своими советами и искренней дружбой он поддерживал меня на литературном пути, по которому я начинал шагать. С Яковлевым я впервые встретился в 1921 году, мы быстро и крепко подружились. Время от времени он приезжал в Дулёво, интересовался

жизнью рабочих-фарфористов, крестьян окрестных деревень. На охоту мы ходили и ездили с Иваном Карповичем Харитоновым, у которого в окрестных деревнях было множество знакомых.

Получив телеграмму, я сообщил о ней Ивану Карповичу, и он, обрадованный приездом Яковлева, начал готовиться к охоте...

Вместе с Александром Степановичем приехал плотный, среднего роста человек с добродушным, немного рябоватым лицом и коротко подстриженными усиками. Знакомая нас, Яковлев сказал:

— Павел Георгиевич Низовой.

Этому знакомству я искренне обрадовался — имя Низового мне было хорошо известно. Я читал его рассказы в альманахах и журналах, прочитал повести «Черноземье» и «Язычники». Мне особенно понравились «Язычники», я чувствовал, с какой радостью и болью писал эту повесть Низовой. Должно быть, картины прошлого неистово ярко возникали перед ним, когда сидел он за письменным столом, склонившись над рукописью. Спустя девять лет после нашей первой встречи я убедился, что так именно и было. В 1934 году вернувшись с Алтая, я привез Павлу Георгиевичу кiset с галькой и камешками, взятыми мною на берегу Алтынколя, Золотого озера. Отдавая кiset, я сказал:

— Вот тебе подарок от земли, по которой ты ходил с Язычницей.

Павел Георгиевич был очень тронут, на его глазах выступили слезы.

Все это произойдет позднее, а в тот далекий апрельский вечер мы сидели за столом и вели дружескую беседу — о новостях литературы, о новых писательских именах. Но вскоре пришел Иван Карпович и, прервав нашу беседу, сказал, что пора отправляться.

Охотники на лошади уехали в Губино. Я очень жалел, что не смог поехать с ними: болел малярией и не выходил из дому.

Не помню, когда Низовой и Яковлев вернулись, удачна или неудачна была их охота, в памяти осталась только первая встреча с Павлом Георгиевичем, его добродушие, способность как-то сразу раслюложить к себе.

Спустя несколько дней я перечитал повесть «Язычники». Да, конечно, в часы творчества он видел перед собой потрясающую красоту Горного Алтая, где встретил необыкновенную женщину. Как много дала ему эта встреча, какой радостью и болью одарила!

В конце 1928 года в один из приездов Низовой в Дулёво я попросил его написать несколько слов в маленький ученический альбом для рисования. Он прочитал в альбоме записи Леонида Леонова, Александра Яковлева, Бориса Пильняка, подумал и написал следующее:

«...Я люблю тебя, я преклоняюсь перед тобой, я молюсь тебе — целомудренная, святая, бесстыдная, грешная Земля!

Ты была первая моя любимая, и ты будешь ею последнею!

Переступая таинственную немисляемую грань зачатия, к тебе первой стремилось мое человеческое существо; и когда, совершив свой жизненный путь, оно дойдет до другой грани. — ты последняя примешь его в свои объятия!..

В каждое мгновение круга моей человеческой жизни я был в тесном союзе с тобой. Чувствовал твою любовь, твою нежность и материнство. И ты всегда владела моей душой и моей страстью!

(«Язычники») П. Низовой. 3/ХІІ—28. Дулёво».

Любовь к земле, ее обожествление слились в повести с любовью к женщине, имени которой нет, писатель называл ее Язычица. Она ушла от него, сказав на прощание: «Я благодарна тебе за те радостные часы, которые ты дал мне своей любовью».

Они боялись и не хотели обиденности городской жизни, возможных бытовых и семейных неурядиц. Пусть их таежная, яркий костром вспыхнувшая любовь навсегда останется безоблачной и радостной.

Спустя некоторое время автор покидает Алтай, и повесть свою он заканчивает такими строчками:

«Медленно возвращаюсь по дороге, которой ходила ко мне Язычица, где впервые встретил ее. Огоньков (цветы. — А. П.) уже нет, но это нисколько не печалит ме-

ня. И хорошо, что их нет. Золото и багрянец на фоне блеклой травы и прозрачной лазури говорят, что была когда-то любовь и страсть, а теперь радостное спокойствие и углубленность.

Вот здесь к этой траве прикасались ее башмаки; эти ветви задевали ее голову и плечи. Может быть, вот эта, наполовину разорванная липкая паутина коснулась ее лица..

Как хорошо! Как все прекрасно и мудро! Гаснет день, над синей горой розовеет заря. А завтра утром зажжется другая заря.. Великую благодарность посылаю всему, что наполняло меня, заставляло мыслить, любить и радоваться.

Прощайте, тайга, горы и озеро! Иду в иную, новую жизнь, к иным, новым зорям. Город снова зовет к себе...»

2

Прошло два года после моей первой встречи с Низовым. За это время мы почти не виделись. Бывает так: познакомился с хорошим человеком, расстался, встреч больше не было и дружба не зародилась. Так, я думал, получится и у меня с Павлом Георгиевичем. Но добрая дружба возникла у нас в 1927 году. Алексей Силыч Новиков-Прибой, Павел Георгиевич Низовой и прозаик Петр Алексеевич Ширяев (1888—1935) решили провести два месяца на юге в доме отдыха химиков, где брат Ширяева работал бухгалтером. Дом отдыха находился в пяти километрах от Алушты, под горой Кастель, в тихом Профессорском (ныне Рабочем) уголке. Вскоре к ним присоединился прозаик Леонид Николаевич Завадовский (1888—1941), который постоянно жил в Усмани. Я же во второй раз приехал в этот дом отдыха. Все мы очень быстро сошлись и, вернувшись домой, не потеряли связи. Приезжая в Москву, я останавливался у Новикова-Прибоя, к нему часто приходил Павел Георгиевич — их связывала давняя и крепкая дружба.

Низовой не любил говорить о себе и о своем прошлом, но от Алексея Силыча я узнал, что в 1910 году в альманахе «Словохи» был напечатан цикл стихов Павла Георгиевича и это событие он считал началом своей литературной деятельности. Затем в «Журнале для всех» стали появляться его рассказы. В 1912 году большевистская газета «Звезда» напечатала его

очерк о бакинских нефтяниках, затем рассказы. В 1913 году он редактировал журнал «Живое слово», и его привлекали к судебной ответственности за статью, направленную «к ниспровержению царского строя». Первая книжка Павла Георгиевича «На промыслах» вышла в 1914 году под именем П. Георгиева. Только с 1920 года свои произведения он стал подписывать «Павел Низовой». Этот псевдоним придумал для своего друга Новиков-Прибой.

В 1928 году в издательстве «Современные проблемы» вышел под редакцией Вл. Лидина сборник автобиографий писателей «Писатели». В нем Низовой писал:

«Родился я в деревне лесной, медвежьей. И люди в ней были похожи на медведей, и уклад жизни медвежий». Учиться грамоте он начал десяти лет по часослову у старого николаевского солдата-инвалида. Отстающих учеников солдат подгонял веревкой. Такой метод обучения не понравился мальчику, и вторую зиму письму он учился у отца. Весной отец сказал: «Ну, довольно на собаках шерсть бить, пора и за работу приниматься! Не маленький!» — и через месяц взял сына в Москву работать по малярному делу. В Москве началась трудовая жизнь будущего писателя. Сначала он тер краски, мыл кисти, носил на плечах стремянку и ведра с крахмалом и побелкой, исподволь постигая малярное и кровельное дело. Потом был маляром, стекольщиком, кровельщиком, живописцем, делал мыло и краски. В свободное от работы время «глотал» книжки. Сначала это были «Ева Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Как солдат спас Петра Великого» и другие, подобные этим. Только в семнадцать лет прочитал он стихи Кольцова, Некитина, Некрасова.

«Умственное развитие.—писал Низовой,— шло убийственно медленно. Рабочая среда (строительные рабочие), в которой я проводил дни и ночи, совершенно не интересовалась книгой и наполовину была неграмотной. Исключением был только один маляр, бывший ротный фельдшер; он говорил мне что-то о звездах и стихах. Работая с ним в одной паре — подмастерье и ученик — и получая на обед по 10 копеек (5 копеек чай в трактире и 5 копеек фунт ситного), мы ухитрились экономить из этой суммы на газету или какую-либо книжку-листочку. Вместе читали и обсуждали.

Потом, когда денег стало несколько

больше, начали покупать на «толкучке» более серьезные книги...»

Малограмотный деревенский парень стремился к знанию, ему хотелось «знать все», но это «все» было так огромно, что трудно было понять, с какой стороны нужно подойти к нему. Более десяти лет успешно и сумбурно он наполнял свою голову чем придется, не подозревая, что это можно делать по определенной системе. Откуда-то он узнал о Пречистенских курсах и стал ходить на них, одновременно слушая лекции в обществе Народных университетов, а позднее в университете Шанявского по литературе, истории искусств, астрономии, римскому праву. Но все же заниматься по плану было для него трудно — не хватало времени и терпения. На двадцать седьмом году, скопив 13 рублей, решил сделать передышку, побродить по русской земле. Четыре года ходил и ездил по России, объехал около трехсот городов и местечек. Был вояжером и корреспондентом, ходил по Кавказу и Крыму, под Кутаисом окапывал виноградники, в маленьком городишке Бессарабии читал лекции по астрономии...

Многое видел и пережил Павел Георгиевич, и о многом ему хотелось рассказать. Быть писателем — вот цель жизни, к которой нужно идти, и Низовой шел к ней упорно, настойчиво. Но наступила первая империалистическая война, четыре года Павел Георгиевич провел на западном фронте и за это время не написал ни строчки.

Вспоминая прошлое, Низовой признавался в автобиографии:

«Самая лучшая глава вписана в мою жизнь Алтайем. В 1918 году с инородцем художником Г. И. Гуркиным сидели мы на скалистом берегу голубой, ревущей, изумительной Катунь и вслух мечтали. Он — о Каракарумской республике русского и монгольского Алтая — это давнишняя мечта его. Я — о колонии писателей и художников в горах на Катунь (это моя давнишняя мечта) и об издательстве «Алтын-Кун» («Золотое Солнце»).

Конечно, я не думал того, что год спустя сам буду чем-то вроде президента республики, вестать территорией в несколько тысяч квадратных верст. Буду ходить в самодельных сапогах из оленьей шкуры, самодельных кожаных штанах и такой же шапке. Владения мои простирались от истоков р. Бии до границ Монголии — непро-

ходимая черневая тайга с ледниковыми и каменными хребтами, с бесчисленными горными озерами и реками. А я всего был только старший объездчик-лесник Телецкого лесничества, куда меня от колчаковских улан надежно вклинили надежные товарищи».

Как же попал Низовой на Алтай? Об этом я узнал от А. С. Новикова-Прибоя.

Страшной была зима 1918 года в Москве. С перебоями работали фабрики и заводы: не хватало сырья, топлива, продовольствия. Рабочие, получая мизерный паек, голодали. Молодая советская власть боролась с саботажем, налаживала народное хозяйство. Враги советской власти с нетерпением ждали, что голод вот-вот задушит революцию. В стране оставались еще большие запасы хлеба, но его трудно было перебросить в Москву: не хватало вагонов, паровозов. Решено было использовать для доставки хлеба санитарные поезда Земского союза, без дела стоявшие на запасных путях. Три таких поезда получили правительственное задание отправиться в Барнаул, обменять там мануфактуру на хлеб и доставить его в распоряжение Московского продовольственного комитета.

Начальником одного из этих поездов был назначен Новиков-Прибой, на другом поезде его жена, Мария Людвиговна, поступила на должность заведующей хозяйством. В первую империалистическую войну оба они работали на санитарных поездах.

До Барнаула добрались благополучно. Три недели поезда простояли в Барнауле на запасных путях, местные власти принимали мануфактуру по частям. За это время Новиков-Прибой хорошо понял настроение жителей этого города. Рабочих здесь было мало, но много было купцов, торговцев, чиновников, владельцев кустарных заведений, духовенства. В учреждениях, оставшихся от старого режима, деятельность многих бывших чиновников сводилась к тому, чтобы подорвать доверие к большевикам и советской власти. Среди обывателей ходили слухи, что в городе создана контрреволюционная организация и готовится восстание.

Наконец вся мануфактура была обменена на хлеб, и первым из Барнаула двинулся поезд № 204, начальником которого был Новиков-Прибой. Остальные два должны были последовать за ним в тот же день. Поезд с хлебом двигался медленно, с большими остановками на станциях. Спустя не-

сколько часов после того, как поезд отошел от Новониколаевска, власть в городе была захвачена белогвардейцами. Через несколько дней стало известно, что белогвардейские восстания произошли в Челябинске, Пензе, Сызрани. Новиков-Прибой опасался, как бы по дороге не был разграблен нагруженный хлебом поезд, но до Москвы добрались благополучно.

Проходили дни, а два остальных поезда не прибывали. Новиков-Прибой слал в Барнаул телеграммы, но ответа не получал. Наконец от Марии Людвиговны пришло письмо, что едва поезд № 204 отошел от Барнаула, как кем-то был подорван железнодорожный мост и путь двум другим санитарным поездам был отрезан. Жена просила не беспокоиться о ней, она сможет найти себе работу, а при первой же возможности попытается добраться до Москвы. Но как было не беспокоиться, мало ли что может случиться с молодой женщиной в такой обстановке. Он решил поехать в Барнаул. В этом помог нарком просвещения А. В. Луначарский, у которого возник замысел послать в Сибирь нескольких писателей и художников для культурно-просветительной работы. Среди них был и Павел Георгиевич Низовой.

В конце июня 1918 года добрались до Барнаула, где Мария Людвиговна работала в Алтайском союзе кооперативов. Вскоре после приезда москвичей город был занят белыми, и не о культурно-просветительной работе приходилось думать, а о том, как бы не попасться в лапы белогвардейцев. Новиков-Прибой «ушел в подполье», а Низового «надежные товарищи надежно вклинили» в горную тайгу Алтая, где он и встретил Язычницу...

«Самая лучшая глава вписана в мою жизнь Алтаем», — говорил Павел Георгиевич, и яркими красками вспыхнул Алтай в его творчестве. На алтайском материале Низовой написал, кроме «Язычников», рассказы «Золотое озеро», «Крыло птицы», «В горном ущелье», «Звериным следом»...

3

Ранней весной 1928 года Низовой, Ширяев, Завадовский и я поехали вместе с Новиковым-Прибоем на охоту на его родину, в глухие мордовские места.

Почти ежедневно я делал короткие заметки в своей записной книжечке, и вот спустя сорок шесть лет я держу в руках

эту книжечку и на первой ее странице читаю:

«14 апреля 1928 года.

Суббота. Пишу в старой избе на мельнице в Тамбовской губернии. Сюда мы приехали на охоту, но охота еще не началась. Весна такая, какой я никогда не видел: холод, снег, ветер. Сегодня с утра началась метель, намело много снега.

Сегодня Низовой читал отрывки из романа «Под северным небом», над которым он сейчас работает...»

Навсегда запомнился мне этот ненастный вечер. Пододвинув к себе лампочку и положив на стол рукопись, Павел Георгиевич начал читать. Было заметно, что он волнуется, вынося на суд друзей свое произведение. Изредка Низовой прерывал чтение и коротко пояснял развитие сюжета.

Новиков-Прибой слушал внимательно, изредка глухо покашливал. Ширяев, сидевший на лавке у стены, запрокинул голову и закрыл глаза. Казалось, он дремлет, но внезапно веки его раскрылись, он бросал внимательный взгляд на Павла Георгиевича и снова закрывал глаза. Завадовский сидел у окна, а за окном бушевала метель, от порывов ветра позвякивали стекла в маленьких оконцах, в трубе завывал ветер.

Вот так, вероятно, бушевала метель и завывал ветер, обрушиваясь на небольшой дом, построенный на берегу Ледовитого океана, где начинали свою совместную жизнь молодые муж и жена. Он был человек железной воли, настойчивый в достижении поставленной перед собой цели. А цель его была необычна: вдалеке от людей, на берегу сурового океана, начать новую жизнь, полную невзгод и опасностей. За этим суровым, стойким, казавшимся необыкновенным человеком пошла девушка, чтобы быть ему женой и помощницей. Об их жизни и борьбе с природой Крайнего Севера рассказывал Низовой в своем романе. Несколько лет назад вместе с Новиковым-Прибоем он побывал в Мурманске и Архангельске, на берегах Ледовитого океана и Белого моря. Эта поездка, конечно, многое дала ему, но в тот далекий вечер, слушая Павла Георгиевича, я удивлялся его знанию Севера, труда и быта поморов и лопарей, которые после Октябрьской революции стали называться саами. Можно было подумать, что не один год прожил с ними Низовой, ходил на лов рыбы, на промысел пушного зверя...

Когда Низовой закончил чтение, все сначала помолчали. Павел Георгиевич медленно и аккуратно сложил листки в папку, не спеша завязал тесемки.

Самым серьезным и строгим критиком среди нас был Ширяев. Он первый высказал свое мнение о прочитанном Низовым. Отметив точность и яркость описания северной природы, самобытность характера Вильяма, главного героя романа, он сказал:

— Вот что мне показалось непонятным и, по правде сказать, не удовлетворило меня — поступок Вильяма. Почему он порвал с обществом, что заставило его бежать от людей и строить свою жизнь одиноко? Если у него произошла какая-то драма, виной которой были люди, то об этом ничего не сказано, да и можно ли только этим оправдать поступок, который переломил судьбу человека? Люди разные бывают: и плохие и хорошие. Если одни люди сделали Вильяму зло, то другие могли помочь ему в трудные для него дни. Если он совершил преступление и убежал от наказания — не похоже, по всему видно, что Вильям порядочный человек. Неудачная любовь? Тоже нет. Любимая им девушка пошла за ним. Если он хотел побороться с суровым Севером и занять там для себя прочное место — не мало ли этого? И потом, жизнь в одиночку, в отрыве от коллектива должна кончиться драмой. Это уж всегда так бывает, и твой Вильям добром не кончит. Ты говоришь, что «Под северным небом» — первая книга романа; значит, во второй книге у тебя обязательно будет драма, а кончать произведение драмой... — Ширяев пожал плечами. — Придется тебе о многом подумать, продолжая роман.

Павел Георгиевич согласился:

— Это верно. У Вильяма будут дети; когда они вырастут, их потянет к людям, к городу, где заводы, музеи, театры, яркая жизнь, наполненная не только узкими интересами одинокой семьи. Вот в этом, вероятно, и будет начало драмы... Ты прав, об этом много нужно думать, и над второй книгой романа работа будет труднее, чем над первой... Ничего, справлюсь...

— Обязательно справишься, — отозвался Новиков-Прибой. — А Север ты здорово описал, и Вильям твой — яркая фигура...

Завадовский тоже одобрительно отозвался о прочитанном.

Первую книгу романа Низовой закончил в 1929 году и дал новое заглавие роману — «Океан». А. С. Новикову-Прибою в знак

давной и крепкой дружбы посвятил Павел Георгиевич этот роман, вошедший в пятый том его собрания сочинений.

4

Глухая зимняя ночь. Лесная дорога, занесенная глубоким снегом, по ней не ездят, и в снегу пробита только тропа до лесной сторожки, стоящей в пяти километрах от Дулёва. По одну сторону — темные ели, по другую — высокие сосны с пышными верхушками. Ели и сосны покрыты обильным снегом. Кое-где на обочинах дороги — маленькие елочки, будто ребятишки в белых шубках выбежали из толпы великанов и остановились, увидав идущих людей.

Идем впятером: я впереди, за мной — Новиков-Прибой, Ширяев, Низовой, Завадовский...

Близость к природе, охота, привалы у охотничьего костра, душевные разговоры — это надежный цемент, прочно скрепляющий дружбу. И наша первая охотничья поездка на родину Новикова-Прибоя всех нас очень сблизила. Мы часто встречались в Москве, куда по своим литературным делам приезжал из Усмани и Завадовский. Моим друзьям хотелось всем вместе приехать ко мне, побывать на Дулёвском фарфоровом заводе, посмотреть, как делается фарфор. Эта поездка все откладывалась и наконец состоялась в последний день 1931 года. Друзья-писатели приехали в Дулёво встретить Новый год...

Мы вспомнили нашу первую охотничью поездку на родину Новикова-Прибоя, вспомнили, как Павел Георгиевич читал отрывок из своего романа, спросили, как идет работа над второй книгой. Очевидно, Низовому не хотелось говорить об этом, он только коротко сказал, что пока отложил эту рукопись и работает над другим произведением. В писательском труде бывает так: нужно отдохнуть от того, что очень много берет умственных и физических сил, нужно переключиться на иную работу, а спустя некоторое время снова вернуться к старому. Вероятно, так происходило и с Низовым.

5

Вспоминаю, как мы вместе с П. Низовым бывали на охотах; как проводили литературные вечера в Харькове и городах Донбасса; как, принимая участие в подготовке к Первому съезду советских писателей, Ни-

зовой, Вл. Нарбут и я ездили в Башкирию, где встречались с рабочими, башкирскими писателями, артистами, государственными деятелями; как навещали с Новиковым-Прибоем больного Павла Георгиевича на его даче на Николиной горе. Вспоминаешь все это и не знаешь, на чем остановиться. Больше всего думаешь о его работе над романом «Океан»...

Приезжая в Москву, я обязательно навещал Низового в небольшой квартирке в Гагаринском переулке, где он жил вместе со своей сестрой Варварой Георгиевной и ее дочерью Лелей, которую удочерил. Иногда я оставался у него ночевать. Нередко наш разговор касался Севера, и тогда мы засиживались далеко за полночь. Павел Георгиевич, увлекаясь, с такими подробностями рассказывал о Северном Ледовитом океане, о людях, живущих на его побережье, что видно было: не только личное знакомство с Севером и огромный, собранный о нем материал дает «плоть и кровь» роману «Океан», но и богатые знания об этом суровом крае, почерпнутые из книг и научных трудов.

Во второй книге романа повествуется о драме в личной жизни Вильяма, драме, которая должна была произойти и о которой говорил Петр Алексеевич Ширяев на весенней охоте в Мордовии. Дети, сыновья и дочь Вильяма, покинули его. Один из сыновей стал ученым, другой — капитаном траулера, дочь — агрономом, целью своей жизни поставившая создать такой сорт стелющихся яблок, который мог бы расти на Севере. Вильям после смерти жены передал свой дом рыболовецкому колхозу и сам поступил на должность смотрителя маяка.

Ни над одним из своих произведений Павел Георгиевич не работал так долго и упорно, как над «Океаном». Если его «Язычники» вылились из сердца как солнечная песня любви, то «Океан» — плод огромного и многолетнего труда.

Первая и вторая книги «Океана» в одном томе вышла в издательстве «Советский писатель» вскоре после смерти Низового.

На обратной стороне переплета романа «Океан» я наклеил некролог, вырезанный из «Литературной газеты».

В тихий предутренний час достаю из шкафа книгу и читаю на пожелтевшей от времени газетной вырезке:

«Умер Павел Низовой, писатель, которому Горький писал: «Я рад, что Вы — есть».

Литература для Низового была «делом жизни». Страстную любовь к ней, жажду творить он сохранил до последнего дня... Накануне смерти, пребывая уже в очень тяжелом состоянии, он уверял лечивших его врачей, что если бы смог он сейчас писать хоть один час в день, его организм оказался бы сильнее любого недуга. Но его физических сил уже не хватало для этого спасительного часа!..

6

Почти у каждого человека есть какая-то ему одному присущая странность, была такая странность и у Низового. Над ней добродушно посмеивались его друзья: Павел Георгиевич никогда и никому не говорил, сколько ему лет. Я не раз был свидетелем случаев, когда не знавшие об этой странности или люди малоделикатные спрашивали у Низового о его возрасте. Это было неприятно ему, но он вежливо улыбался:

— А как вы думаете?.. Сколько мне можно дать?..

Спрашивающий называл цифру, вероятно, меньше подлинной, так как улыбка Павла Георгиевича становилась шире:

— Да, приблизительно столько...

И начинал говорить о другом.

В старой «Литературной энциклопедии» (т. 8, 1934) и в новой (т. 5, 1968) год рождения Низового указан 1882-й, а в некрологе — 1877-й. Последнюю дату называла и жена Новикова-Прибыля.

Я не знал, чему верить: двум энциклопедиям или некрологу и Марии Людвиговне. А в 1974 году я получил письмо из Костромы от директора вечерней школы для молодежи, краеведа, члена Союза журналистов, Михаила Павловича Магнитского, который собирает сведения о писателях, родившихся в Костромской области или связанных с нею. В своем письме Магнитский сообщал, что в церковных книгах он нашел: П. Г. Низовой (Тупиков) родился в 1877 году в деревне Новоселки Кинешемского (ныне Островского) района Костромской области.

Какие внимательные, глубокие, ищущие читатели живут в Советском Союзе! Ко-

нечно, таких читателей нет ни в одной из стран буржуазного мира. Не так давно пришло ко мне письмо из Уварова. В нем Александр Иванович Акиндинов пишет, что в городе создается народный краеведческий музей с большим разделом, посвященным Петру Алексеевичу Ширяеву, местному уроженцу. Акиндинов просил меня написать о писателе Ширяеве, о том, как он работал, и, если имеются, прислать другие материалы. Я послал в Уварово все что смог.

До этого письма я получил письмо от старой учительницы из Усмани, где жил Завадовский. Она сообщала, что в одной из школ города создается большой стенд, посвященный жизни и творчеству Завадовского, и просила помочь им. Конечно, я и этой учительнице послал что мог.

С волнением и радостью получаешь такие письма и чувство глубокой благодарности к читателям испытываешь за такое внимание к нашим художникам слова.

Низовой, Ширяев, Завадовский были хорошими писателями, но их книг в библиотеках нет, и большинство библиотекарей об этих писателях не слышали. Правда, несколько лет назад был переиздан роман Ширяева «Внук Тальони» и роман Завадовского «Золото», но вышли они маленькими тиражами и попали только в немногие библиотеки. После же смерти Низового не переиздавалось ни одно из его произведений. Все меньше и меньше становится людей, которые знают этого писателя. Читатель Павел Петрович Сидоренко из поселка Угледар Петровского района Донецкой области в своем большом письме писал мне о Низовом: «В настоящее время следовало бы вернуть из забвения честное имя покойного писателя — издать его лучшие произведения». Об этом он написал в «Литературную газету», просил ознакомить читателей с жизнью и творчеством Низового.

Мне тоже хотелось бы «вернуть из забвения» это доброе, честное имя..

Александр ПЕРЕГУДОВ.

Дулёво Московской обл.



КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР ВЕРМИШЕВ. Избранное. Вступительная статья Льва Озерова. М. «Художественная литература». 1977. 381 стр.

Октябрь 1917-го... В рядах, штурмующих Зимний, был красный боец, на которого Николай Подвойский возложил поручение особой важности — сохранить для будущего Советского государства сокровища Эрмитажа. Человек этот — профессиональный революционер. В тюрьмах он изучал латынь, французский, философию и юриспруденцию и, выйдя на свободу, сдал экзамены за курс юридического факультета университета. Человек осознавал всю огромную ответственность за происходящие события. Он проявил недюжинные смелость, решительность, проницательность, и величайшие сокровища мировой культуры были сохранены для будущих хозяев — трудящихся Страны Советов

Имя этого человека — Александр Александрович Вермишев.

В небольшой томик «Избранного» вошли стихотворения и пьесы писателя. Все созданное А. Вермишевым теснейшим образом связано с его жизнью и работой — борьбой, революцией, фронтом... Большое количество стихов было написано в тюремной камере («Заря занялась... Уж солнца свободы...», «В одиночке», «Ночь в одиночке», «Жаждай битвы горя», «Остров страданий») или на фронте в короткие передышки между жаркими боями.

Стихи А. Вермишева торопливы, обнаженно публицистичны, иногда наивны, но они идут прямо из сердца, в них живет истовый огонь борьбы за справедливость, революцию, за новый мир.

В «Избранное» включены две пьесы А. Вермишева «За правдой» и «Красная правда». Первая посвящена трагическим событиям 9 января 1905 года. Автор в этот день с отрядом рабочих строил баррикады на Васильевском острове. За участие в революционных событиях А. Вермишев вместе с группой большевиков Выборгского района Петербурга был арестован и посажен в одиночку. Там-то и была написана пьеса «За правдой». Зная, что пьесу не удастся вынести, он выучил текст наизусть, а выйдя из тюрьмы, записал еще раз. В 1908 году пьеса была опубликована. Однако вскоре тираж ее был конфискован. Автора вновь арестовали и заключили в Шлиссельбургскую крепость.

Пьеса «Красная правда» создавалась в марте 1919 года в сравнительно «спокойный» для писателя период — несколько месяцев он заведовал отделом транспорта Петрокомпрода. Но времени остро не хватало, и, по признанию автора, «я отнял у себя 7 ночей и написал эту пьесу для пролетарского театра».

Действие пьесы разворачивается осенью 1918 года на южной окраине России. Небольшое село, в котором установлена советская власть, неожиданно захватывают белые. Автор развенчивает иллюзии тех, кто еще готов поверить, что белогвардейская армия хочет принести свободу России. Один из героев пьесы — старый солдат Ипат, георгиевский кавалер, — приученный к дисциплине и уважительному отношению к властям, вблизи увидев «освободителей», понимает, из какого сброда — пьяного, тупого, бесстыжего, жестокого — состоит белая армия. Никаких сомнений, с кем ему быть, не остается. Весь свой солоно нажитый солдатский опыт он старается передать сельчанам, выступившим против белогвардейцев.

В этой пьесе даны уже более психологически углубленные характеры. Ощущается огромный гражданский темперамент автора, наблюдательный пытливый глаз, все фиксирующий и запоминающий. Видимо, последующие пьесы Александра Вермишева вошли бы в золотой фонд советской литературы. Но он не успел их написать...

Однако и то, что осталось, с полным правом следует считать истоками нашей драматургии, первым или одним из первых ее детищ.

С начала 1919 года Александр Вермишев — комиссар бригады красных курсантов. Как всегда, он там, где труднее всего — в гуще событий. В боях против Юденича под Гатчиной его ранило, и пришлось возвратиться в Петроград. В это время он пишет пьесы, которые широко ставятся на сценах фронтовых студий Пролеткульта и фронтовых агиттеатров. В Героическом театре в Петрограде идет его пьеса «Праздник Сатаны». На спектакль красноармейцы приезжают прямо с передовой.

Законченную именно в это время пьесу «Красная правда» Вермишев посылает вместе с письмом Владимиру Ильичу Ленину.

Хочется привести отрывок из его письма, потому что в нем очень выразительно проступает характер автора, его отношение к жизни, к работе, к своему творче-

ству. «Очень прошу уделить время и просмотреть предлагаемый труд,— пишет А. Вермишев.— В дни, когда наши коммунальные театры сидят без пьес по злободневным вопросам по той причине, что «присяжные» писатели земли русской, очевидно, все еще продолжают дуться на Октябрьскую революцию... нам, рядовым партийно-советским работникам, неизвестным и малоопытным в литературе, очевидно, приходится и в этой области нашего строительства проявить свои силы и энергию...»

Пьеса эта была передана В. И. Лениным Луначарскому, Горькому и Бедному на отзыв.

Оценивая ее, они отметили ряд художественных недостатков, но в то же время писали и о том, что «как агитационное орудие пьеса должна действовать очень сильно, особенно там, где переживали гражданскую войну».

Уже после смерти А. Вермишева в ноябре 1919 года «Красная правда» была поставлена в одном из залов Смольного. Пьеса шла на сцене первого Петроградского революционного театра, во многих городах страны. С этой пьесой связаны и последние часы жизни писателя. С актерами-бойцами во время затишья он репетировал последнюю сцену «Красной правды». Неожиданно на них напали мамонтовские отряды. Завязался бой... Попавшего в плен Вермишева допрашивал сам Мамонтов. Он был готов сохранить жизнь писателю, но хотел, чтобы тот отдал перо «на службу священной России».

Вермишева пытали, потом изрубили на куски. Он умер со словами: «Да здравствует власть Советов!».

Читая томик «Избранного», невольно думаешь о том, что книга эта вышла с опозданием по крайней мере на пятьдесят лет.

Но приходит в голову и другое: какое было удивительное время, сколько самоотверженнейших, разносторонне одаренных людей участвовало в утверждении советской власти, если даже сейчас, отмечая ее шестидесятилетие, мы открываем для себя все новые и новые имена. И какие!

Книга избранных произведений А. Вермишева займет прочное место в истории нашей литературы. Этого заслуживают и произведения, вошедшие в нее, полные героического пафоса и романтической приподнятости. Этого заслуживает и исключительная личность их автора, воплотившего в себе лучшие черты революционеров ленинской гвардии: идейность, самоотверженность, благородство, внутреннюю духовную культуру... В таких вот людях для нас и материализуется величественное понятие — Революция.

Г. Петрова.



В. С. БАРАХОВ. Искусство литературного портрета. Горький о В. И. Ленине, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове. М. «Наука». 1976. 184 стр.

Интереснейшая тема «Горький — мастер литературного портрета» долгие годы не

привлекала серьезного внимания литературоведов и критиков. Только в последние десять—пятнадцать лет она стала изучаться и разрабатываться более или менее систематически. Появилось немало книг, статей, публикаций, в которых исследуются горьковские очерки о В. И. Ленине, Л. Толстом, В. Короленко, А. Чехове, Л. Крестинке, А. Блоке, С. Есенине и других деятелях революционного движения и русской культуры. Во многих из них рассматриваются особенности мастерства Горького как создателя литературных портретов (статьи и книги В. Гречнева, Л. Жак, Н. Николаева, А. Мясникова, В. Панкова, Е. Тагера и др.).

Среди работ на эту тему заметное место заняла и книга В. Барахова, основанная на богатом и разнообразном литературном материале, в том числе и архивном. Ценность этой небольшой книги видится мне в том, что «портретные» очерки М. Горького рассматриваются автором не изолированно, а в органической связи с основной идейно-эстетической программой великого писателя.

В. Барахов не только обстоятельно анализирует известные очерки Горького о выдающихся его современниках, но стремится теоретически осмыслить сущность и специфику жанра литературного портрета, его отличие от произведений мемуарно-биографического типа. В книге справедливо подчеркивается мысль о современном звучании горьковских очерков, воссоздающих живые образы великих деятелей России, которые каждый в своей сфере, своими средствами боролись за будущее страны и всего человечества. В. И. Ленин и Л. Н. Толстой, по верному наблюдению автора книги, были для художника двумя полюсами притяжения самых разнородных идейно-политических и социально-философских сил, которые определяли духовную атмосферу предреволюционной эпохи.

Проникая в творческую лабораторию Горького, В. Барахов раскрывает процесс работы писателя над очерками, анализирует художественные средства и приемы, которыми пользовался Горький-портретист. Сопоставляя различные редакции и варианты очерка о Владимире Ильиче Ленине, автор прослеживает движение мысли писателя, сумевшего воссоздать образ великого революционера и человека.

В литературных портретах своих современников Горький стремился показать их во всей сложности и противоречивости, не затушевывая при этом собственное отношение к идеям, социальным программам, которые они отстаивали. Не удивительно поэтому, что горьковские очерки полемичны и темпераментны, исполнены высокого пафоса гражданственности.

На все эти качества Горького-портретиста обращает внимание автор книги, подробно исследуя особенности его художественного мастерства. Им подчеркивается высокий интеллектуализм очерков, искусство словесной живописи писателя, его умение предельно обнажить духовный об-

лик изображаемого человека, афористичность стиля и т. п. Интересно наблюдение В. Барахова, отмечающего, что литературные портреты Горького создаются по принципу самораскрытия. Изображаемые в них люди действуют как бы от себя, и тем самым усиливается эмоциональное воздействие на читателя.

Можно сказать, что со страниц книги В. Барахова встает и образ самого Горького, художника и мыслителя, внимательного и вдумчивого собеседника, тонкого психолога, продолжившего и обогатившего классические традиции русской литературы, в особенности Герцена и Короленко.

Читая книгу В. Барахова, приобщаешься к «секретам», к «тайнописи» Горького-портретиста, великолепно владевшего этим искусством.

Вл. Борщуков.



А. И. АЛЕКСЕЕВ. Хождение от Байкала до Амура. («Бригадина») М. «Молодая гвардия». 1976. 208 стр.

Кто был там, где проходит БАМ?

Именно на такой обширнейший вопрос весьма полно отвечает книга ученого и писателя А. Алексева. Доктор исторических наук, кандидат географических наук, в прошлом офицер-гидрограф Тихоокеанского флота, исколесивший весь Дальний Восток и, наверное, по крайней мере пол-Сибири, автор прекрасно знает не только районы, о которых он пишет, но и их историю.

В книге нет ни грама вымысла. Все в ней с начала и до конца правда. Это историческое, документально-художественное повествование, в котором скупыми, лаконичными, но емкими словами рассказывается об открытии и освоении мест, где пролегал Байкало-Амурская магистраль, о первых проектах БАМа, об изыскателях и строителях 30—50-х годов, о сегодняшних героических буднях БАМа.

«Хождению от Байкала до Амура» предпосланы замечательные пушкинские слова: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». И автор сделал много для того, чтобы советский народ мог гордиться теми, кто в разные эпохи исследовал места, где сейчас строится БАМ; кто проектировал и строил вторую транссибирскую магистраль в годы первых пятилеток, в военные и первые послевоенные годы. Он провел изумительный поиск, отыскав ныне здравствующих первопроходцев БАМа в различных городах нашей родины и даже в Болгарии, собрав у них богатый фактический материал, изучив многотомные архивы, связанные с проектированием и строительством БАМа.

Более чем трехсотпятидесятилетняя история нашла свое отражение в сравнительно небольшой по объему книжке. Землепроходцы от Байкала до Амура — К. Иванов, П. Бекетов, В. Поярков, Е. Хабаров и многие другие — начали сбор сведений о бу-

дущей зоне БАМа, появились первые описания, первые чертежи — русские обосновывались в этих местах, строили остроги, возникали города, сюда бежала «вольница», переселялись крестьяне.

Первопроходцев сменили путешественники и ученые. Из конца в конец изучались Сибирь и Дальний Восток. Колумбы русские — народ российский смело шагнул через Тихий океан, открыл Курильские, Алеутские острова — и появилась Русская Америка. В. Беринг, А. Чириков, Е. Крашенинников, П. Паллас, А. Миддендорф, Г. Невельской и его доблестные сподвижники, Н. Пржевальский, В. Арсеньев и многие, многие другие написали первые научные монографии о природе, жителях, прошлом Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки, нанесли их на карты.

В конце прошлого столетия появились первые проекты железнодорожной магистрали севернее Байкала со вторым выходом к Тихому океану. А в 30-х годах наша страна приступила к изыскательским работам, была утверждена трасса Байкало-Амурской магистрали и соединительные ветви ее с существующей транссибирской магистралью, началось строительство.

В 30—50-х годах были построены участки Комсомольск—Советская Гавань, Тайшет—Усть-Кут, соединительные ветви Комсомольск—Волочаевка, Ургал—Изведковая, БАМ—Тында. Появились первые герои БАМа — их было много: И. Шамаев, Ф. Гвоздецкий, А. Смирнов, П. Татаринцев, Б. Флеров, Г. Мышкин, А. Осипов — всех не назовешь в рецензии, но очень многие из них присутствуют на страницах книги.

Прекрасны страницы, посвященные изыскателю А. Кузнецову, описанию условий деятельности изыскателей, летчиков-аэрофотосъемщиков. А. Алексеев нарисовал замечательную картину района трассы БАМа, его природных условий.

Последняя глава охватывает новую историю строительства БАМа — с 1967-го по конец 1975 года. «Байкало-Амурская магистраль строится на всем своем протяжении, — пишет автор. — Великая стройка Сибири, стройка века, находится в центре внимания партии и правительства, она пользуется всенародной поддержкой. Советский народ гордится своими посланцами и уверен в том, что строители сдержат свое слово. Байкало-Амурская железнодорожная магистраль в срок вступит в строй действующих. В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» об этом сказано коротко — продолжать строительство Байкало-Амурской магистрали. Стройка БАМа продолжается».

Мне хочется поздравить автора с большой литературной удачей. Он подарил читателям превосходную, правдивую, документальную художественную книгу о стройке века, о БАМе. Он — Нестор БАМа.

А. Окладников,
академик



А. А. МУРАВЬЕВА, И. И. СИВОЛАП-КАФТАНОВА. Ленин в Мюнхене. Памятные места. М. Политиздат. 1976. 207 стр.

Это уже третья книга о пребывании В. И. Ленина в эмиграции, в написании которой принимают участие авторы. Предыдущие были посвящены памятным ленинским местам в Швейцарии (А. Кудрявцев, Л. Муравьева, И. Сиволап-Кафтанова, «Ленин в Женеве. Женевские адреса Ленина» — 1967, их же — «Ленин в Берне и Цюрихе. Памятные места» — 1972). Теперь читатель переносится в Мюнхен, Берлин, Нюрнберг, Штутгарт и другие города Германии, где Владимиру Ильичу пришлось бывать и жить в 1900—1902 годах главным образом в связи с его деятельностью по изданию «Искры» и созданию большевистской партии. В книге рассказывается и о первом приезде В. И. Ленина в Берлин в 1895 году, и о его участии в конгрессе II Интернационала, проходившем в Штутгарте в 1907 году.

Материалов, освещающих «мюнхенские годы» Ленина, сохранилось значительно меньше, чем о его жизни в Швейцарии, Франции, Польше. Не в последнюю очередь причиной тому непреклонное решение Ленина и его ближайших соратников по «Искре» поставить литературный аппарат нелегально и оставаться на конспиративном положении, вне эмигрантской среды. Необходимо было максимально обезопасить «Искру» не только от русской, но и от германской охраны. Епервые публикуемый в книге документ из штутгартского архива показывает, что опасения в отношении германской полиции имели полное основание, она прилагала настоячивые усилия для розысков подпольной русской газеты (факты, которые, кстати сказать, отрицаются многими западными историками).

Знакомясь с книгой, читатель имеет возможность оценить значение вдумчивой исследовательской работы над опубликованными документами, тщательного поиска неизвестных архивных и печатных источников, проведенного авторами книги в ФРГ. Авторы стремятся не упустить ни одного документального или мемуарного свидетельства, которое позволило бы установить или уточнить хронологию событий, адреса, где жил Ленин, обстоятельства перемены места жительства, паспортов, обстановку и детали быта, время и место наиболее важных встреч и бесед (в частности, уточнено место первой встречи Ленина с замечательной революционеркой Розой Люксембург), имена, адреса, биографические данные лиц, с которыми так или иначе соприкасались Ленин и другие члены редакции «Искры» — будь то русские революционеры, германские социал-демократы, активно помогавшие им в постанов-

ке и транспортировке нелегального издания, или хозяева квартир.

Уточняя адрес, по которому Ленин и Крупская проживали короткое время после приезда Надежды Константиновны из ссылки, авторы приводят неизвестные советскому читателю, затерявшиеся в одной из немецких газет воспоминания плотника Ганса Кайзера. Именно в его квартире по Шляйсхаймерштрассе, 106, поселились «супруги Иордановы» — Владимир Ильич и Надежда Константиновна. Адрес и фамилия хозяина не сохранились в памяти Крупской, но она в своих мемуарах точно восстановила некоторые черты быта: теснота (в маленькой «комнатешке» и кухне семья из шести человек), и несмотря на нее, «чистота была страшная, детишки ходили чистенькие, вежливые», в кухне было можно только варить пищу, все приготавливалось в своей комнате, и, чтобы не мешать Ленину заниматься, Надежда Константиновна старалась поменьше греметь посудой. Ганс Кайзер добавляет к этому, что комната его жильцов не имела печки и ему пришлось проложить трубу из кухни через всю комнату, чтобы было теплее.

Жильцы, хотя и были открытыми безбожниками, очень понравились хозяйну. Они напряженно трудились, все время проводили за рабочим столом, были серьезными, аккуратными и в то же время общительными людьми, ласковыми не только с детьми хозяев, но и с соседскими ребятишками.

В этой квартире Ленин приступил к работе над книгой «Что делать?».

Авторы пытались собрать дополнительные сведения и о работе Ленина в мюнхенских библиотеках. И здесь видна та же тщательность и добросовестность. В письмах Ленина несколько раз упоминается, что он посещал мюнхенскую библиотеку. Но какую именно? Сверка в каталоге Государственной (бывшей Королевской) библиотеки нескольких сохранившихся в бумагах Ленина книжных шифров убедила, что эти книги Ленин мог получать только в читальном зале Королевской библиотеки. Регистрационные книги показали, что в 1901—1902 годах в читальном зале было записано всего 22 человека! По мнению авторов, это должно было создавать для Ленина немалые неудобства в конспиративном отношении. Его одинокая фигура чересчур выделялась в полупустом зале.

Авторы не ограничиваются фиксацией и документальным обоснованием мемориальных мест, связанных с пребыванием Ленина в Германии. Их книга — ярко и интересно написанный очерк о Ленине, о его борьбе за партию нового типа, о его литературной и организаторской деятельности, о его жизни в эти годы, полной подвижничества.

Ю. Амиантов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Памяти Герцена. 16 стр. Цена 3 к.

Л. И. Брежнев. О проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик. Доклад на Пленуме Центрального Комитета КПСС 24 мая 1977 г. 16 стр. Цена 5 к.

В. Красильщиков. В начале будущего. Повесть о Глебе Крижиановском. («Пламенные революционеры») 408 стр. Цена 1 р. 52 к.

О Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Воспоминания, статьи, очерки современников. Составитель И. Поликарпенко. 303 стр. Цена 68 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Е. Антошкин. Пригород. Стихи. 119 стр. Цена 39 к.

А. Бучис. Роман и современность. Становление и развитие литовского советского романа. 414 стр. Цена 1 р. 24 к.

И. Ваншенкин. Дорожный знак. Лирика. 143 стр. Цена 32 к.

В. Горбачев. За далью непогоды. Роман. 448 стр. Цена 1 р. 62 к.

В. Джанян. Моя близкая даль. Стихи. Перевод с армянского Н. Панченко. 102 стр. Цена 28 к.

Р. Ибрагимбеков. Прикосновение. Пьесы. 376 стр. Цена 1 р. 24 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ю. Барабаш. Алгебра и гармония. О методологии литературоведческого анализа. 224 стр. Цена 63 к.

Г. Мусрепов. Пробужденный край. Роман. 464 стр. Цена 1 р. 90 к.

Непобежденное молчание. Рассказы сирийских писателей. Перевод с арабского. («Современный сирийский рассказ») 302 стр. Цена 90 к.

А. Таммсааре (Хансен). Новый Нечистый из Пекла. Роман. Перевод с эстонского. 269 стр. Цена 1 р. 55 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Е. Богат. Золотое весло. Повесть в письмах. Размышления. Истории. 287 стр. Цена 1 р. 8 к.

Г. Куцев. Молодежь и молодые города. 190 стр. Цена 45 к.

«НАУКА»

А. Григорьев. Русская литература в зарубежном литературоведении. 302 стр. Цена 1 р. 72 к.

Идеологическая борьба и современные литературы зарубежного Востока. Сборник статей. Ответственный редактор Л. Аганина. 238 стр. Цена 1 р. 54 к.

«СОВРЕМЕНИК»

Ф. Абрамов. Пряслины. Трилогия. 815 стр. Цена 3 р. 20 к.

Д. Каинчин. Его земля. Повести и рассказы. Перевод с алтайского. 272 стр. Цена 1 р. 23 к.

И. Машбаш. Метельные годы. Роман. Перевод с адьгейского. 319 стр. Цена 1 р. 38 к.

П. Ошанин. Издалека — долго... Лирика. Баллады. Песни. 272 стр. Цена 1 р.

Ю. Сноп. Техника безопасности. Роман. («Новинки «Современника») 333 стр. Цена 1 р. 50 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Аджиев. Дальние дороги песни. Заметки о кумыкском героическом эпосе. Махачкала. Дагкнигоиздат. 101 стр. Цена 25 к.

В. Акаткин. Александр Твардовский. Стихи и проза. Воронеж. Издательство Воронежского университета. 214 стр. Цена 72 к.

Лирика. Стихи марийских поэтов. Переводы. Йошкар-Ола. Маркнигоиздат. 96 стр. Цена 72 к.

Э. Маллен. Эстонская литература в 1975 году. Таллин. «Ээсти раамат». 144 стр. Цена 37 к.

А. Нурманов. Гибель Кулана. Роман. Перевод с казахского. Алма-Ата. «Жазушы». 181 стр. Цена 78 к.

В. Соснора. Стихотворения. Лениздат. 176 стр. Цена 74 к.

М. Хомонов. Бурятский героический эпос «Гэсэр». Эхирит-булагатский вариант. Улан-Удэ. Буряткнигоиздат. 187 стр. Цена 1 р. 76 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 21/VII 1977 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 5/IX 1977 г.

Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)

А 11588. Тираж 180 000 экз. Заказ 2496.

Отпечатано с матрицы ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 04340

Цена 70 коп.

70636